Даниил Аль

Хорошо посидели!

OZON.ru

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Даниил Аль — известный ученый и писатель. Его тюремные и лагерные воспоминания посвящены людям, которые оставались людьми в сталинских тюрьмах и лагерях. Там жили и умирали, страдали и надеялись, любили и ревновали, дружили и враждовали…

Поскольку юмор, возникающий в недрах жизненной драмы, только подчеркивает драматизм и даже трагизм происходящего, читатель найдет в книге много смешного и веселого.

Следует подчеркнуть важнейшее достоинство книги, написанной на столь острую тему: автор ничего не вымышляет и ничем не дополняет сохранившееся в его памяти.

Книга написана живым образным языком и вызовет интерес у широкого круга читателей.

- Даниил Аль
  - К читателю
  - Часть I
    - Арест не по правилам
    - «Дела» и люди
    - «Диверсант» Каштанов
    - «Шпиён» Микита
    - «А как насчет Маркса и Энгельса?»
    - «Vive Vita!»
    - Покушение на Тольятти
    - «Академия перепихнизма»
    - Следствие. Следователи. Свидетели
  - Часть II
    - «Этапы большого пути»
    - «Столыпин»
    - Пересылка
    - «Эта аудитория — тоже ведь история»
    - Вот мы и «дома» — в Каргопольлаге МВД СССР строгого режима
    - В карантине
    - Обряд моего «крещения» в «ЗК»
    - Член-марионетка
    - «Лососина» небывалой свежести
    - Любовница Николая II и прочая, и прочая…
    - Вступаю в строй работяг
    - Неожиданная встреча
    - Это страшное слово — «лесоповал»

- Небываемое бывает
- Развод, или «Раньше был у нас режим…»
- Голый индеец на крыше, или Театр одного актера
- Сверхъеврей и бандеровцы
- Бандеровцы решили заговорить на английской мове
- Очень платоническое свидание
- Чье-то третье дыхание
- Кобыла легкого поведения
- Профессор Штейнберг и актриса Окуневская
- Воровской суд
- Русский характер
- Смерть Сталина. Прелюдия
- Предпоследнее известие
- Свершилось
- Запахло свободой
- Амнистия
- Искусство принадлежит «врагам народа»!
- Небывалый доклад о международном положении
- «Обыкновенный» концерт
- Театр под конвоем
- Наш клуб
- Концерты на женском лагпункте
- Новый год — пятьдесят пятый
- Пора домой и мне!
- Постфактум
- Наконец-то я дождался суда и оказался «в законе»

○ Приложения

- Некоторые из моих лагерных литературных опытов
  - Стихи и песни про беду
  - Две баллады
  - Стихи, сочиненные и посланные домой малышу-сыну
  - Песни на мои слова, разрешенные к исполнению на сцене лагерного клуба
- Сохранившиеся у меня фотографии «преступников» той эпохи
- Письмо от заключенных нашего лагпункта, провожавших меня на свободу

• notes

○ 1

- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31

Даниил Аль
Хорошо посидели!

Посвящаю эту книгу светлой памяти тех знакомых и незнакомых мне сидельцев сталинских тюрем и лагерей, сумевших оставаться там людьми:

«О, люди! Люди с номерами.
Вы были люди, не рабы.
Вы были выше и упрямей
Своей трагической судьбы».

Анатолий Жигулин

К читателю

Число публикаций, посвященных тюремно-лагерной теме, огромно. Не «устала» ли она — эта тема, — как любят выражаться литературоведы и критики? Поразмыслив, я все же рассудил так: во-первых, тюрьма, как и война, у каждого своя. И значит, я могу дополнить то, что уже написано, и даже то, что еще будет когда-нибудь написано на эту тему, описанием таких событий, фактов и деталей, о которых никто другой, кроме меня, не напишет. Люди, находившиеся одновременно в одной камере или на одном лагпункте, ставшие свидетелями одних и тех же событий, по-разному их и оценивали, и понимали, разное запомнили. Во-вторых, большинство воспоминателей пишет в основном о себе, о своих страданиях и переживаниях. Такие воспоминания, естественно, имеют полное право на внимание читателей. Но у меня в таком ключе не получится. Я буду присутствовать в моих рассказах в основном лишь как очевидец того или иного события.

Мои лагерные воспоминания посвящены главным образом людям, которые оставались людьми в сталинских тюрьмах и лагерях. Это было, пожалуй, даже труднее, чем на войне. В лагерях зачастую переставали быть людьми не только те, кто старался выжить или устроиться с максимальным комфортом за счет других — по знаменитой формуле «умри ты сегодня, а я завтра», — но и те, кто превращался, в силу слабости характера, в страдальца-мученика и таким образом переставал быть самим собой, то есть человеком, наделенным разными страстями, наклонностями и чувствами, в том числе — чувством юмора.

Разнообразие увиденного в тюрьмах и лагерях было поистине огромно. Люди там жили и умирали, страдали и надеялись, плакали и смеялись, любили и ревновали, дружили и враждовали, трудились и отдыхали — смотрели кинофильмы, ставили спектакли. Разумеется, все эти общечеловеческие проявления жизни, пересаженные в нечеловеческие условия, приобретали, как правило, совершенно необычный, а порой противоестественный и даже дикий характер. Чего стоит, например, социалистическое соревнование между бригадами, состоявшими из убийц и воров. Или то, что целый театр — так называемую культбригаду, сформированную из профессиональных артистов и музыкантов, — ведут на выступление под охраной автоматчиков и разъяренных овчарок?!

Людям, замурованным в тюрьмы или лагеря, казалось бы, не до смеха. Тем не менее, юмора в жизни «тюремщиков» и гулагерников было едва ли не больше, чем на свободе, или, как

мы тогда говорили, в «Большой зоне». Да, юмор дарован человеку не зря. В минуту жизни трудную он становится чем-то вроде спасательного круга для души, поддерживающего ее на плаву, не позволяющего ей утонуть в ледяных волнах горя и отчаяния. Да и сама ситуация — заключения, точнее, заколючивания в лагерях ни в чем не повинных людей под самыми дикими предлогами — в огромном множестве порождала такие смехотворные случаи, каких не придумали бы никакие Свифты, Вольтеры, Гашеки и даже Салтыковы-Щедрины. Поэтому читатель найдет в моих тюремных рассказах немало смешного и веселого. Я глубоко убежден в том, что юмор, возникающий в недрах жизненной драмы, только подчеркивает драматизм и даже трагизм происходящего.

Недавно мне посчастливилось найти авторитетнейшее высказывание на эту тему у А. С. Пушкина: «…Только… людям легкомысленным, не рассуждающим…» непонятно, «…что иногда ужас выражается смехом»[1].

Я уже не раз ссылался на слова Д. С. Лихачева из его воспоминаний о пребывании в Соловецком лагере: «Я всегда находил что-нибудь смешное в том, что происходило вокруг, и мне поэтому не было страшно».

Исходя из сказанного, надеюсь, никому, даже самым неуемным любителям критики ради критики не покажется, что смешные ситуации в моем описании различных эпизодов тюремной и лагерной жизни снижают ее драматизм.

Приятно было убедиться в том, что мой подход к описанию тюремной и лагерной жизни сталинских времен находит понимание. По поводу моих воспоминаний об этом, опубликованных в 3-м номере журнала «Нева» 2007 года, обозреватель «Литературной газеты» В. Яранцев написал: «Такого широкого взгляда на события 30–50-х гг. (герой еще историк, специалист по эпохе Ивана Грозного) не хватает иным авторам, которым уютно и покойно сидеть в «ГУЛАГе» одной точки зрения» (Литературная газета. № 22–23, 2007).

Сегодня нередко встречаешь воспоминания, авторы которых с завидной смелостью обличают, разоблачают, громят тяжкое прошлое нашей истории. Особенно яростно преуспевают в этом те, которые могли бы с еще большей яркостью повспоминать о том, как воспевали это прошлое.

Таких «прозревших» сейчас расплодилось немало. Труднее было, находясь там, в стенах тюрем и за колючей проволокой лагерей, запоминать и, по возможности, записывать увиденное. Таких людей было в тех «местах» немало. Имена некоторых всем известны. Здесь же хочу назвать еще два имени: Варлаам

Шаламов и Анатолий Жигулин. С первым из них мне встречаться не довелось, а с Анатолием Жигулиным я не раз встречался после нашего освобождения в Москве и в Домах творчества писателей[2]. Я назвал эти два имени не случайно. Бескомпромиссной правдивости их описаний лагерной жизни я буду стараться следовать в меру своих сил и способностей.

Как мы теперь знаем, многим тогдашним сидельцам в тюрьмах и лагерях было понятно, что увиденное и переживаемое там надо не только проклинать, но и изучать, и что надо для изучения всей тамошней обстановки и жизни также и в будущем делать документальные зарисовки, в том числе в стихах. Их труды не пропали даром и украшают многие воспоминания. Недавно издан объемистый том стихотворений узников ГУЛАГа — замечательное свидетельство несломленности, неистребимого творческого духа их авторов. Публикации такого рода ярчайшим образом свидетельствуют для истории о том, какой могучий интеллектуальный потенциал был изъят сталинским террором из жизни страны и народа.

Как профессиональный историк и сотрудник великого архивного хранилища — Отдела рукописей Публичной библиотеки я, разумеется, достаточно хорошо понимал, как важно записать и по возможности сохранить в памяти и на бумаге то, что приходилось видеть и переживать в тюрьме, на этапе и в лагере. И, как говорится, слава богу, многое и в памяти, и на бумаге сохранить удалось. В своих записках я ничего не вымышляю и ничем не дополняю сохранившееся в моей памяти. Впрочем, искушения заниматься какими-либо «приписками» к тюремно-лагерной действительности у меня никогда и не появлялось.

Хотя бы уже потому, что никакое самое пылкое воображение не может сочинить ничего более интересного, чем сама эта действительность.

К тому же, нетрудно себе представить — как снизили бы всякого рода «добавки» и домыслы интерес ко всему написанному.

Часть I

Арест не по правилам

Послепобедные годы были не просто трудными. Разруха, карточки на основные продукты, а для многих и многих семей нищета, массовая безотцовщина — все это после такой страшной войны было в порядке вещей. А вот пережить, выправить, преодолеть тяготы послевоенногодия можно было, надо полагать, по-разному. На фронте мечталось: райская будет жизнь; война кончится — все силы, все помыслы вождя и руководства страны будут направлены на то, чтобы предельно облегчить и украсить жизнь народа-победителя, сделать все, чтобы помочь семьям фронтовиков, самим фронтовикам, позаботиться о матерях и вдовах погибших, о семьях, потерявших кормильцев.

Действительность, однако, оказалась совершенно другой. К миллионам семей, потерявших кормильцев на войне, прибавились новые миллионы семей, потерявших кормильцев уже в мирное время — жены и дети людей, поглощенных ГУЛАГом, людей, в своем абсолютном большинстве ни в чем не повинных перед государством и народом. В первые послевоенные годы вчерашние фронтовики целыми армиями пошли в лагеря под самыми странными предлогами. С многими из них читатель познакомится на страницах этих воспоминаний.

Начиная с 1947 года, стали сажать за «измену Родине» под гребенку всех, кто был в плену. Ареста избежали только единицы из числа бывших военнопленных. Долгие годы, если не десятилетия, продолжалась дискриминация миллионов горожан и сельских жителей, оказавшихся на оккупированной немцами территории. Их не брали в ВУЗы, не прописывали в столице, не брали на заводы сколько-нибудь серьезного значения. Семьи пропавших без вести не получали никакой пенсии и приравнивались едва ли не к семьям действительных предателей, карателей и полицаев. Понятно, что «месть семьям», в том числе детям тех, кто перешел на сторону врага, или даже стал пособником оккупантов, тоже не назовешь актом справедливости. А уж семьям пропавших без вести на войне. Словом, время было и тяжелое и мрачное. Все это хорошо известно.

Что касается меня лично — должен сказать, что никогда в своей жизни — ни до войны, ни на фронте, ни даже в тюрьме и в лагере — я не чувствовал себя душевно так неуютно и так плохо, как в те предарестные мои годы — 1947–1949. Существо мое как бы раскололось на две половины, «на полы», как говорили в Древней Руси. Во мне тогда уживались два совершенно разных человека. Один — такой молодой, жизнерадостный, уверенный в

себе, счастливый. Другой — мрачный, растерянный — что-то вроде жалкой букашки, суетливо уползающей из-под наступающего на нее неумолимого сапога. Тому первому — самоуверенному и довольному жизнью — грешно было бы жаловаться на судьбу. Все у него складывалось по меньшей мере прекрасно. И в самом деле: на войне уцелел — что может быть большим счастьем?! Вернулся в университет. Сдал сразу после Победы экзамены за пятый курс истфака и госэкзамены, получил диплом с отличием. (Тогда мне казалось, что это очень важно.) Поступил по призванию и по избранной еще до войны на первых курсах специальности — История Древней Руси — в аспирантуру при Публичной библиотеке. За полтора года вместо трех сдал все кандидатские минимумы и еще одиннадцать так называемых «библиотечных предметов», защитил кандидатскую диссертацию в Институте истории Академии наук. Диссертация оказалась знаменитой. В ней были исследованы исторические повествования Ивана Грозного, написанные им самим для включения в летописную историю его царствования. Главы из этой работы были опубликованы в «Исторических записках» Академии наук. Да и работа в Отделе рукописей началась на редкость удачно. При описании рукописных книг XVI века удалось обнаружить Список опричников Ивана Грозного — «ведомость зарплаты» на 1849 человек, с указанием обязанностей и конкретного оклада каждого.

Вслед за этим — другая находка[3]. Словом, все складывалось хорошо. Личная жизнь у того, «первого» из живших в моей душе людей, тоже была, как говорится, куда уж лучше. Здоровьем Бог не обидел. Внешностью тоже. Военная форма (гражданского костюма пока не было) — вполне к лицу. На груди побрякивают фронтовые награды. Множества юбилейных медалей, отягощающих ныне пиджаки ветеранов, тогда еще не начеканили. А тут еще и любовь, и женитьба. Значит, скоро будет наследник. Да и хороших друзей не мало. Казалось бы — живи и радуйся!

И этот «первый» человек, естественно, радовался жизни, был счастлив, и гордился всем, что удавалось сделать хорошего. Но радоваться жизни ему очень мешал тот «второй» человек, который жил в таком близком от него соседстве. Тому, «второму», жилось очень тоскливо и плохо. Начать с того, что он болезненно, как-то очень личностно реагировал на удручающие явления тогдашней общественной жизни, которые, следуя одно за другим, отравляли атмосферу, убивали всякую радость бытия и сулили еще более страшные «подарки» судьбы в будущем.

Удручающее впечатление оказало Постановление ЦК ВКП(б), втоптавшее в грязь писателей Зощенко, Ахматову и «некоего

Хазина» — автора веселой и остроумной поэмы «Евгений Онегин в Ленинграде».

Еще не утихли на собраниях и в печати раскаты этого литературного погрома, как начались новые чудеса. Развернулась борьба с «низкопоклонством перед Западом». Начали разоблачать ученых, театроведов, писателей, историков и многих прочих, посмевших в данное время, или когда-либо раньше, разглядеть там, «на Западе» хоть что-то хорошее, полезное, новаторское в театре, в музыке, в литературе, в технике. При этом вдруг оказалось, что буквально все изобретения и открытия имели место сначала в России, и только потом, вторично совершались где-нибудь в Англии, в Германии, во Франции или в Америке. «Россия — родина слонов» — шутили по этому поводу тогдашние острословы. Впрочем, шутки с этими темами были плохие. Множество ученых различных специальностей были изгнаны за низкопоклонство перед Западом с работы. Многих писателей и критиков беспощадно травили на повсеместных собраниях печатным и непечатным словом. Больно было человеку, искренне любящему Россию и ее историю, видеть, как нелепая эта кампания унижает и выставляет на посмешище великую страну и ее действительно великую, не нуждающуюся в «приписках» культуру. Дикая эта возня естественным образом перешла в следующую более «высокую» фазу — в разоблачение «безродных космополитов». Этих последних называли еще в печати и в расклеенных на улицах плакатах с карикатурами — «беспачпортные бродяги в человечестве». Под этими закавыченными словами проставляли имя Белинского, которому эти слова действительно принадлежали. От его имени они и звучали в выступлениях погромных ораторов на многочисленных собраниях, в том числе на филологическом факультете Университета. А уж там должны были знать и знали, что Белинский до конца жизни не уставал раскаиваться как в страшном и постыдном грехе в том, что написал когда-то по молодости лет реакционную, верноподданническую в худшем смысле этого слова статью «Бородинская годовщина». Именно из нее знатоки и вытащили упомянутые слова. Обидно было все это видеть и слышать.

В 1948 году на печально знаменитой сессии ВАСХНИЛ началась очередная погромная кампания — борьба против вейсманистов-морганистов-менделистов.

В Ленинграде издавна сложилась замечательная школа ученых-генетиков и, соответственно, побоище, учиненное здесь морганистам-вейсманистам-менделистам, было весьма шумным и беспощадным. Разумеется, у настоящих ученых, в том числе и у

нашего брата — историка, Лысенко и его учение не пользовались доверием. Ленинградская научная молодежь, особенно универсанты, с уважением и доверием относились к нашим замечательным ученым-биологам. До войны мы, студенты-историки, постоянно бегали на лекции академика Ухтомского. Я до сих пор помню, с каким телячьим восторгом слушал я этого высокого, красивого, но необычного вида старика. Необычность состояла в том, что Ухтомский носил длинную бороду. Тогда это было большой редкостью. Казалось, что он сошел с портрета XIX века. И вот теперь, после войны, нас начали убеждать, будто А. А. Ухтомский и другие выдающиеся ученые — шарлатаны. Само собой разумеется, что фамилия лютеранского пастора Менделя и немецкого ученого Вейсмана воспринимались массой читателей разгромных статей как еврейские.

На фоне всех этих прелестей начались аресты. Масштаб их нарастал от месяца к месяцу и быстро перекрыл количественные масштабы 37-го года. К моменту, о котором я сейчас говорю, «Ленинградское дело» и связанный с ним обвал арестов были еще впереди.

Никто еще не мог предвидеть сокрушительной силы этого обвала, который должен был вскоре обрушиться на наш многострадальный город. Но, как и всегда в предгрозье, неотвратимость скорой грозы ощущалась вполне явственно. Теперь, с высоты времени, хорошо видно, что разгром ленинградских журналов «Звезда» и «Ленинград» был, по существу, началом «Ленинградского дела». Десятилетиями копившаяся ненависть Сталина к Ленинграду прорвалась тогда злобным рыком, предварявшим «прыжок» хищника-людоеда на горло намеченной жертвы. Да, предвидеть это было тогда невозможно. Но предчувствие беды зародилось и набухало в сердцах и душах ленинградцев.

На этом общем фоне и разрасталась во мне не отпускавшая ни на шаг тревога. Я ждал, что меня посадят. И не только в том было дело, что в послевоенные времена любой житель нашей страны был уже достаточно умудрен опытом и понимал: чтобы оказаться за решеткой и стать «врагом народа», вовсе не надо совершать какие-либо преступления или иметь на совести хоть что-нибудь похожее на реальную антисоветскую деятельность. «Правом» попасть за решетку обладал буквально каждый. Просто у одних было на это больше шансов, у других меньше. У меня шансов на это было больше, чем у многих других. Во-первых, у меня была очень дурная анкета. Еще в 1930 году (когда мне было одиннадцать) мой отец был арестован как вредитель, а затем выслан в Туруханский край сроком на десять лет. Таким образом,

к описываемому времени я имел почти двадцатилетний стаж сына вредителя. Нет сомнения в том, что моя анкета послужила начальным поводом для того, чтобы на меня было обращено пристальное внимание как на кандидата на должность «врага народа». Конечно, я и сам хорошо понимал, что может означать для меня тот ответ, который я вынужден был давать на обязательный для каждой анкеты вопрос: «Имеете ли компрометирующих родственников?»

Помимо «компрометирующего» отца, были на меня и другие «компрометирующие материалы». Я нарушил заповедь, которую современная молодежь очень удачно выражает формулой — «Не возникай!»

Результаты моей научной работы, о которой я рассказал выше, естественно, не могли пройти мимо внимания «компетентных органов», как их весьма элегантно называют теперь. В те времена слово «органы» произносилось без этого комплиментарного прилагательного, но с почтением, а то и с придыханием, поскольку широту их компетенции люди представляли себе очень даже хорошо.

При всем при этом я еще и «возник» не просто, а прямо-таки вызывающе. Ведь моя диссертация и, соответственно, опубликованные на ее основе статьи были написаны на актуальную в те времена тему — об Иване Грозном. Этой исторической личностью весьма интересовался, как было всем известно, сам товарищ Сталин. А между тем, любой, даже неискушенный в исторической науке «компетентный» деятель мог легко увидеть, что в моей работе допущена явная антисталинская «вылазка»: в ее тексте ни разу не цитировался и даже не упоминался виднейший «специалист» по истории эпохи Грозного товарищ Сталин.

В то время было не принято, чтобы научная статья или книга по любой отрасли знания не начиналась с цитаты из Сталина и не заканчивалась цитатой из него. Хорошо помню попавшийся мне на глаза в Публичной библиотеке автореферат кандидатской диссертации о методах измерения температуры у тифозной вши. Текст открывался цитатой из Сталина, гласившей, что кадры решают все. После этого автор говорил о том, как важно беречь наши кадры от вшей, то есть от эпидемии тифа. А уж по этому мостику он плавно переходил к своим конкретным «вшивым» делам. Забавно и грустно было видеть, что этот бедный доктор не смог себе позволить обойтись и без цитаты из Максима Горького, которая, кстати сказать, еще с 30-х годов постоянно звучала из уст следователей на допросах в ежовских и бериевских органах — «Предатель хуже тифозной вши». Диссертант задействовал эти

слова примерно в таком смысле: видите, как велика общественная опасность тифозной вши! Не даром великий классик поставил ее на втором место, вслед за предательством. Вот до какого пароксизма доходил культ руководящих цитат. Впрочем, стоит ли удивляться, если даже поваренная книга (Книга о вкусной и здоровой пище. М., 1952) открывалась цитатой из Сталина.

Что касается книг и статей на исторические темы — в них полагалось цитировать Сталина с беспредельной щедростью. Не всегда это было просто — не обо всех периодах истории Сталин успел высказаться. Некоторым авторам приходилось поэтому притягивать за волосы более или менее подходящие сталинские цитаты. Для меня же процитировать Сталина не составило бы никакого труда, поскольку за год до моей защиты вышла книга артиста Николая Черкасова «Записки советского актера». В ней был приведен текст беседы, которую Н. Черкасов и режиссер С. Эйзенштейн имели со Сталиным по поводу кинофильма «Иван Грозный». Во время этой беседы Сталин дал подробную характеристику Грозного, обвинив его, между прочим, в недостаточной жестокости по отношению к боярам.

Несмотря на это единственное критическое замечание в адрес Ивана Грозного, Иосиф Виссарионович в целом исключительно высоко оценил заслуги Ивана Васильевича. Тотчас же вокруг имени Ивана Грозного возник самый настоящий ажиотаж. В романах, кинофильмах, театральных спектаклях, а также в учебниках и научных трудах его изображали в качестве самого «великого государя».

С тревогой и грустной иронией писал в те дни о безудержном возвеличении личности Грозного в литературе, искусстве, в трудах историков крупнейший знаток эпохи Грозного, подлинный патриот своей науки академик С. Б. Веселовский: «Итак, реабилитация личности и государственной деятельности Ивана IV есть новость, последнее слово и большое достижение советской исторической науки. Но верно ли это? Можно ли поверить, что историки самых разнообразных направлений, в том числе и марксистского, двести лет только и делали, что заблуждались и искажали прошлое своей родины, и что «сравнительно недавно» с этим историографическим кошмаром покончено и произошло просветление умов». Естественно, что работы Веселовского на эту тему писались тогда, как говорится, «в стол»[4].

Отдавал ли я себе тогда отчет в том, на что иду? Отчасти да. Но только отчасти. С одной стороны, я не мог не понимать, что иду против мощного течения. И этот факт выступал в достаточно очевидной форме. Я сидел в здании Публичной библиотеки и на документальном материале доказывал, что Иван Грозный

самолично и намеренно фальсифицировал историю своего царствования, имея, в частности, целью оправдать задним числом свои кровавые расправы. А напротив, через площадь, в Пушкинском театре почти ежедневно шла пьеса В. Соловьева «Великий государь», изображавшая царя несчастной жертвой боярских заговоров и возвеличивавшая его чуть ли не как революционного демократа.

Примеров искажения фактов прошлого авторами всевозможных исторических повествований — летописцами, хронистами, придворными историками, разумеется, хватало во все века. Однако столь яркого совпадения ситуации — буквально один к одному: «великий государь» в XVI веке и «великий вождь» в XX самолично препарируют описание истории своего царствования и притом по весьма сходной схеме — прежним историкам не встречалось. Все это я понимал достаточно ясно. Понимал, повторяю, отчасти и то, что могу навлечь на себя большие неприятности. С другой стороны, я весьма упорно себя успокаивал. Ход мыслей был примерно таков: диссертация на эту опасную тему защищена официально и публично. На нее есть похвальные отзывы официальных оппонентов. Основная ее часть опубликована в академической печати. Признанный глава советской исторической науки академик Греков (и опять же публично) оценил мой труд. И никто ни словом, ни намеком не обмолвился насчет опасной аналогии. И в самом деле — говорил я себе — ведь не ради каких-то намеков на современность я и вел свое исследование. У меня не было другой цели, кроме добросовестного и объективного изучения событий XVI века. Какие же ко мне могут быть претензии?! После моего ареста я имел достаточно времени, чтобы оценить всю наивность этих моих самоуспокоительных рассуждений. Но до того как это произошло, я усердно подпитывал ими надежду на то, что пронесет, обойдется.

«Возникал» я и по другим линиям. После пресловутой сессии ВАСХНИЛ Т. Д. Лысенко и его подручные начали активную пропаганду своего учения. В Ленинград приехал тогда главный оруженосец Лысенко — Презент. Аспирантов всех учреждений Ленинграда заставляли прослушать цикл его лекций. Для аспирантов-гуманитариев они происходили в лектории исторического факультета ЛГУ. С возмущением и горечью большинство из нас — аспирантов гуманитарных специальностей — выслушивали погромные речи Презента против ученых-генетиков. Позитивная сущность его лекций — восхваление выводов Лысенко — вызывала даже у нас, не специалистов по биологии, ироническое отношение.

Я написал тогда шуточное стихотворение — «Письмо к Лысенко» и отпечатал его на машинке своего приятеля. На следующий день я послал Презенту это стихотворение по рядам.

Отвечая на записки, Презент развернул и мою. Пробежав глазами «Письмо к Лысенко», он весь налился кровью, ударил кулаком по кафедре и закричал: «Это пасквиль! Я этого так не оставлю!!»

Что стал он делать с моим «письмом», мне неизвестно. Быть может, показал самому «народному академику», быть может, передал «куда следует», а может быть, просто уничтожил. Зато сам я читал, показывал и давал списывать свое стихотворение многим друзьям и знакомым. Думаю, что именно с моей активной помощью оно и стало известно тем же «компетентным органам». Вот это стихотворение:

Письмо к Лысенко

Спасибо за то, что призвали к ответственности
И приняли строгие административные меры
Ко всем, кто проповедует теорию наследственности
И прочие антинаучные химеры.

Вы бы могли и меня утешить,
Правда, просьба моя не совсем пшеничная —
Нельзя ли произвести яровизацию плеши?
Не то блестит, как скорлупа яичная.

Были мой дед и отец лысоваты,
Но верю я вам без всякого прекословия —
Не наследственность в плеши моей виновата,
А одни только современные условия.

Буде ваше на то одобрение —
Я не струшу, таков уж закал —
Возложу на себя удобрение,
И навозу, и химикал…

С вами всякий тогда согласится,
Возражений не будет совсем,
Коль на плеши моей всколосится
Урожайчик, хотя бы сам-семь.

И, согласно такому обилию,
Современников будет оценка:
Вам придется сменить фамилию
И назвать себя АНТИЛЫСЕНКО!

Надо сказать, что отношение моего следователя к этому стихотворению было весьма сдержанным. То ли он не усматривал в нем серьезного криминала, то ли нечего было тут «расследовать» — текст налицо, подследственный не отпирается от своего авторства. Так или иначе, во время следствия дальше краткого разговора об этом стихотворении дело не пошло. Но тот факт, что оно фигурировало в качестве слагаемого для обоснования моего ареста, сомнений не вызывает.

В марте 1949 года я был приглашен в Москву в Институт истории АН СССР для доклада на секторе Истории феодализма о моих находках в рукописных фондах Публичной библиотеки. Заседание под руководством членкора профессора С. В. Бахрушина прошло для меня очень удачно. Мои разыскания высоко оценили и сам Бахрушин, и профессора Л. В. Черепнин, П. А. Зайончковский, известный ученый и ответственный секретарь «Исторических записок» Академии наук И. У. Будовниц. Я сохранил выписку из протокола этого заседания, в которой фигурируют всяческие одобрения моей исследовательской работы. Для меня, молодого, начинающего исследователя, такие отзывы знаменитых историков были большой честью. Словно на крыльях летел я домой в Ленинград. С гордостью показывал я товарищам по работе и своим друзьям-историкам столь окрылившую меня оценку моей научной работы. Меня поздравляли, дружески пожимали руки. И вдруг. Так бывает, когда человек, спокойно и радостно бегущий по дороге, вдруг спотыкается о небольшой камень, падает и разбивает лицо об асфальт.

Вскоре по приезде из Москвы я встретился со своим близким другом, Олегом Вагановым — тоже историком, окончившим истфак на три года раньше меня. В 1949 году он был доцентом Исторического факультета и работал в Институте истории Академии наук. С Олегом Вагановым мы подружились еще до войны на истфаке. Вышли как-то раз вместе после очередного бурного комсомольского собрания, происходившего в актовом зале Университета. Я как-то сразу проникся доверием к этому высокому юноше с прямыми светлыми волосами, которые он то и дело откидывал рукой со лба. Подкупала его улыбка — умная и добрая. Огонек иронии всегда возжигался в его серых глазах, о

чем бы он ни говорил.

Мы долго гуляли в тот вечер после собрания по набережной Невы. Было зябко и холодно, но расставаться не хотелось. Мы говорили о том, что было на собрании. Радовались, что удалось спасти от исключения из комсомола очередного студента, «потерявшего бдительность» и не разоблачившего «заклятого врага народа» — собственного отца. Говорили об общей обстановке, об арестах, о процессах над бывшими соратниками Ленина. Мы уже немало понимали тогда. Во всяком случае, террор Сталина против героев революции и гражданской войны мы оценивали, как теперь говорят, однозначно — как его борьбу за установление личной власти. Обвинениям сотен тысяч членов партии в шпионаже и диверсиях в пользу иностранных разведок мы не верили ни на йоту.

После войны наша дружба с Олегом Вагановым окрепла. Не так много товарищей по довоенному истфаку осталось в живых. Тем крепче дружили те, кто уцелел. Довоенные воспоминания тогда очень сближали переживших войну людей. После войны мы с Олегом часто встречались по вечерам вместе с женами. Говорили мы с ним по-прежнему вполне откровенно. И вот, по возвращении из Москвы в марте 1949 года, я поспешил к своему другу, чтобы поделиться радостными для меня итогами моей поездки. Олег выслушал меня молча, потом произнес какие-то слова, вроде «молодец», «поздравляю». Я не заметил на его лице никаких признаков столь знакомой мне приветливой улыбки.

— Вот что, — сказал он после довольно долгого молчания. — Когда тебя не было, меня вызывали в Большой дом на допрос.

Я почувствовал недоброе.

— Спрашивали про тебя. О твоей антисоветской деятельности.

Ваганов подробно рассказал мне о допросе. Участвовали в разговоре с ним несколько сотрудников отдела, «обслуживавшего» учреждения науки и культуры. Кстати сказать, слово «обслуживать» употреблялось в «компетентных органах» совершенно серьезно, без всякого юмора. Уполномоченный такой-то «обслуживал», скажем, Публичную библиотеку, а такой-то — Университет и т. д. Соответствующие отделы «обслуживали» определенные отрасли — науку, культуру, транспорт и т. д. Не надзирали, не выслеживали, а именно обслуживали. Пикантная лексика!

По словам Олега от него добивались показаний о том, что я вел антисоветские разговоры, пытался опорочить вождя народов, приписывал победу в Отечественной войне исключительно помощи союзников… А главное — пытался под видом описания

событий XVI века поставить под сомнение правдивость «Краткого курса истории ВКП(б)». Ваганов назвал все эти обвинения смехотворными и решительно отказался давать какие-либо показания о моей антисоветской деятельности. При этом он наговорил обо мне много хорошего.

Ему пригрозили: если не даст показаний против «врага народа», не поможет меня разоблачить — будет уволен из Университета и из Института истории. Угроза, как хорошо понимал Олег, была вполне реальной. Перспектива остаться без работы да еще с «волчьим паспортом» мало радовала. У него была семья, только что родилась дочь с врожденным сердечным пороком. Работать физически он не мог. У него была астма, были и другие болячки, как-то связанные с перенесенным в детстве туберкулезом. Страдал он и сердечной недостаточностью. Ну, а, кроме того, в перспективе ему тоже маячил арест. Стоило только попасть «под колпак» — остальное дело времени.

Позднее, по окончании следствия, когда мне предъявили мое следственное дело, я прочитал протокол того допроса Олега Ваганова и убедился, что он решительно отказался давать какие-либо порочащие меня показания и вынудил допрашивавших его сотрудников записать с его слов лестную для меня характеристику. Забегая вперед, скажу, что свою угрозу в отношении Олега Ваганова МГБ выполнило. После моего ареста он был уволен из Университета и из Института истории за связь с врагами народа и за отказ содействовать органам госбезопасности в их разоблачении.

Я написал «с врагами» во множественном числе потому, что Ваганов отказался дать показания и еще раз, против профессора истфака Н. Корнатовского.

Ваганов не смог никуда устроиться работать, даже в школу. Жил за счет жены. Стал много пить. Скончался Олег Ваганов 14 января 1953 года в зале почтамта. В руках у него была развернутая газета с сообщением прокуратуры СССР о разоблачении группы врачей-евреев. Это сообщение его и убило. Олег Александрович Ваганов был настоящим русским интеллигентом. Очередная, столь откровенная и дикая антисемитская акция Сталина и его подручных потрясла его. К тому же, он, надо полагать, понял, что «дело врачей» означает начало нового витка массового террора. «Острый повар», как называл Сталина Ленин, заваривал очередное острое блюдо.

Но вернемся назад, в 49-й год. Рассказ Ваганова не оставлял сомнений — меня хотят посадить. В те же дни пришло и еще одно подтверждение этому.

Я был близко знаком с сотрудником Публичной библиотеки

Борисом К. Отношения были довольно странные. Сближало нас то, что оба мы были историками, бывшими истфаковцами. Правда, он был старше меня лет на восемь, и когда я в 1937 году поступил на первый курс, он заканчивал аспирантуру. До войны я знал его только в лицо. Встретившись в Публичной библиотеке, мы разговорились. Потом встречались часто. Он постоянно восхвалял мои научные достижения. Сетовал на то, что в его области — в истории советского периода и истории партии — никакие открытия невозможны. Хвалился тем, что все же пытается в своих статьях говорить по возможности правдиво о голоде в Поволжье 1921 года, об экономической политике партии в период гражданской войны и в годы НЭПа. При всем том он был человеком весьма официозных взглядов. Еще в довоенные годы К. постоянно выступал в университетской газете со статьями, в которых громил всех и всяческих отступников от генеральной линии партии. В этом же духе он продолжал и тогда, в 40-е годы, читая в лектории лекции на партийно-политические темы. Вполне естественно, что в разговорах с ним я тоже всегда держался «правильных» позиций.

Вскоре после моего возвращения из Москвы и разговора с Ваганом К. подошел ко мне в Публичной библиотеке и предложил пойти после работы — где-нибудь посидеть.

— Есть разговор, — сказал он весьма многозначительно, и как-то странно поглядел на меня поверх очков.

Вечером, за столиком второразрядного ресторана, помещавшегося на углу Суворовского и Старо-Невского, он рассказал мне о том, что его на днях, во время моего пребывания в Москве, вызывали в Большой дом. Он назвал примерно ту же дату допроса, что и Ваганов, тот же номер кабинета. Он, естественно, не предполагал, что я знаю о вызове Ваганова в те же дни, в тот же кабинет. Он рассказал мне, что его допрашивали об антисоветских разговорах целого ряда наших с ним общих знакомых — сотрудников Публичной библиотеки. На мой прямой вопрос — шла ли речь обо мне — он решительно заявил, что обо мне речи не было. Я понял, что он лжет, что вызывали его по тому же поводу, что и Ваганова, что допрашивали обо мне.

По окончании следствия я прочел протокол допроса К. от 22 марта 1949 года. Тот самый, о котором он рассказывал. После реабилитации и освобождения я не раз встречался с К. И мы не раз возвращались к истории моего ареста. Но я и сейчас не могу объяснить — зачем понадобилось К. рассказывать мне о вызове на допрос, если он не хотел говорить и не сказал правды о том, зачем его вызывали. Сам он мне тоже ничего вразумительно объяснить не мог. Говорил что-то вроде того, что рассказать

правду боялся, но предупредить меня о том, что надо быть осторожным, что «снаряды рвутся рядом», — хотел.

Разговор с К. окончательно убедил меня в том, что я буду скоро арестован. Поделиться своими опасениями было не с кем. Жена была в положении, и я, естественно, не мог включать ее в свои тревоги и треволнения. Каждую ночь, ложась спать, я думал — «а вдруг сегодня, сейчас.» Я был наивно убежден — таков был стереотип представлений на эту тему, — что меня арестуют обязательно дома, обязательно ночью. Раздастся звонок, явится несколько энкавэдэшников в форме, с ними понятые — управдом, кто-то из соседей. Начнется многочасовой обыск. Меня посадят на стул в углу, начнут вываливать из ящиков стола бумаги, перетряхивать книги, прощупывать мебель, простукивать стены. Затем велят взять пару теплого белья, разрешат попрощаться с родными. Тут я спокойно (обязательно спокойно!) скажу: «Не волнуйся, это недоразумение. Я скоро вернусь.» Затем машина, пустынные улицы.

В таком ожидании шли дни и месяцы. Помню, однажды посреди ночи раздался звонок. Потом другой, третий. «Ну, все», — решил я. Жена тоже проснулась. Я уже хотел, было, начать сотни раз продуманную речь на тему — «Это за мной. Не волнуйся, это недоразумение, я скоро вернусь.» Оказалось, что с какой-то вечеринки заявился сосед.

Двадцать шестого октября у меня родился сын. Мысль о предстоящей разлуке, теперь уже и с ним, усиливала мое угнетенное состояние. Всего сорок дней мне было отпущено судьбой видеть своего сына младенцем.

Днем страхи ожидания несколько отступали. Было много работы — захватывающей, интересной. Как-то удавалось отвлечься от мрачных мыслей. Я ходил на службу в Отдел рукописей, руководил большой группой студентов истфака, приходивших ко мне на практику. Под моим руководством они составляли картотеку воевод и разных других чинов XVI века, тысячи назначений которых содержались в обнаруженном мною интереснейшем историческом источнике — Разрядной книге Московских государей. При поддержке директора библиотеки Л. Л. Ракова мы готовили этот грандиозный памятник к изданию.

Откуда-то брались силы на юмор. Вместе с Л. Л. Раковым мы сочинили тексты для капустника и с успехом провели в зале Дворца пионеров веселый, жизнерадостный праздник для сотрудников Публичной библиотеки. Главной мишенью наших насмешек были, естественно, библиотечные псевдоученые, те, кого я окрестил — «библиоты». Было немало обиженных, но, в основном, народ веселился. Словом, жизнь продолжалась. Тем не

менее, всегда, неотвязно, особенно по поводу каких-либо приятных событий, возникала мысль — «а может быть, это в последний раз».

Между тем, мрачные тучи над Ленинградом сгущались. «Ленинградское дело» начинало разбег. Аресты и увольнения приобретали все более массовый характер. Шла очистка аппарата от ленинградцев. Их заменяли московскими «кадрами». Новые секретари райкомов, горкома, обкома.

Однажды, в конце ноября, меня вызвали к директору. Лев Львович Раков встретил меня, как обычно, встав из-за стола и быстро пройдя мне на встречу. Он, как всегда, любезно поздоровался со мной, но я заметил на его лице нехарактерное для него выражение обреченности и грусти. Он долго не мог начать разговор, спрашивал о каких-то пустяках. Наконец сказал главное:

— На меня очень крепко давят, чтобы я вас уволил из Публичной библиотеки.

— За что? — спросил я. — За досрочное окончание аспирантуры и защиту кандидатской? За высокие оценки моих исследований?

— Зачем вы задаете мне эти вопросы? — с печалью в голосе произнес Лев Львович. — Мне не за что вас увольнять. Поэтому я прошу вас подать заявление об уходе по собственному желанию. Этим вы очень облегчите мою задачу.

Лев Львович смотрел на меня жалостным, чуть ли не просящим взглядом. А во мне боролись тяжелые чувства. Я понял — близится развязка. Какие-то силы, вроде отдела кадров и партбюро библиотеки, информированы о моем предстоящем аресте и хотят заблаговременно избавиться от меня, чтобы не оказаться в положении проморгавших врага народа, допустивших его работу, к тому же еще в архиве — в Отделе рукописей, до самого последнего момента. Подать заявление об уходе — означало бы сделать подарок всем этим блюстителям государственной безопасности, каковых в тогдашнем коллективе библиотеки было хоть отбавляй. Кроме того, это означало бы, что я сам чувствую себя в чем-то виноватым, что-то натворившим (навредившим?) и поспешающим удрать с того места, где я совершал свои преступные дела. Ко всему этому примешивалась горечь обиды за незаслуженное изгнание. Вместе с тем, я всей душой сочувствовал Льву Львовичу Ракову. На него жалко было смотреть. Я понимал, что ему очень тяжело в эти минуты. Под него уже шел серьезный подкоп как на основателя и первого директора Музея обороны Ленинграда. Конечно, ни я, ни даже он не могли в тот момент предположить, как обернутся

предъявленные ему обвинения и что военный трибунал приговорит его к расстрелу. После четырех дней, проведенных в камере смертников, он узнает о гуманном решении — заменить высшую меру двадцатью пятью годами тюрьмы. Этого мы, конечно, не предвидели. Однако дыхание тюрьмы и лагеря было достаточно ощутимо разлито в ленинградском воздухе того времени. Я понимал, что, подав заявление об уходе по собственному желанию, в какой-то степени облегчу положение Льва Львовича. По крайней мере, избавлю его от тяжкой для него обязанности подписать приказ о моем увольнении под каким-то выдуманным предлогом. Я не забывал о том, сколько доброго успел для меня сделать этот во всех отношениях достойный человек. Словом, искушение — написать «прошение» об уходе по собственному, и будь, что будет — у меня было.

Мы долго молчали. Лев Львович расхаживал по кабинету и в ходе своего внутреннего монолога иногда разводил руками. Я смотрел то на него, то в окно — на людей, снующих вокруг Гостиного двора. Наконец я твердо сказал: нет, такого заявления я не напишу. Собственноручно расписываться в каких-то неведомых мне проступках, или в каком-то своем вредительстве библиотеке — не стану. Мое изгнание из библиотеки я считаю преступлением. И пусть тот, кто его совершит, и понесет за него ответственность. Рано или поздно это случится. А я на роль жертвы, облегчающей убийцам их работу тем, что сама на себя накладывает руки, — не подхожу.

— Ну, что же, поступайте, как знаете, — сказал Лев Львович и протянул мне руку.

Наша следующая встреча с Львом Львовичем Раковым состоялась только через пять лет, после того, как мы оба возвратились из мест достаточно отдаленных — он из Владимирской тюрьмы, я из Каргопольлага. Интересно, что встретились мы как бы в продолжение того самого разговора. Речь шла строго о том же самом — о моем увольнении из Публичной библиотеки тогда, в 1949 году. Оно состоялось после моего ареста. Теперь, на заседании народного суда Куйбышевского района, слушалось дело о моем восстановлении на службе в Публичной библиотеке. Как незаконно уволенный из библиотеки после необоснованного ареста я был в 1955 году полностью восстановлен и вернулся в Отдел рукописей. Надо ли объяснять, что никакой суд не восстановил бы меня, если бы я в 1949 году ушел из библиотеки по «собственному» желанию. Лев Львович был приглашен на то судебное заседание в качестве свидетеля. Как бывший директор библиотеки он засвидетельствовал, что я до своего ареста и увольнения работал

хорошо, и что никаких оснований для моего увольнения не было.

После этого судьба подарила мне около пятнадцати лет тесной творческой дружбы с Львом Львовичем Раковым. Мы написали вместе две сатирические комедии, вместе радовались их успеху, вместе переживали всякого рода нападки, вместе ездили в отпуск на юг, многократно сидели за дружеским столом. Но почему-то ни разу не возвращались мы к тяжелому для каждого из нас разговору в ноябре 1949 года. Это вовсе не значит, что каждый из нас затаил какую-то свою обиду на другого. Нет, ничего, кроме доброжелательства и уважения друг к другу, не гнездилось в наших душах. Но так было — к тому эпизоду мы никогда не возвращались.

Ну, а тогда, в 1949, я продолжал работать. Приказа о моем увольнении Лев Львович так и не подписал. Я оставался в тревожном ожидании ареста.

Но вот наступило 6 декабря 1949 года. День начался как обычно. В девять утра я находился на своем рабочем месте.

Надо сказать, что мое рабочее место в Отделе рукописей было весьма примечательным. Окно первого этажа, вблизи которого я тогда сидел, выходит на Невский проспект. Непосредственно возле окна стоял письменный стол Александры Дмитриевны Люблинской — уже в то время известного ученого-медиевиста. Мой стол находился позади ее стола, в некотором удалении от окна. Этот мой стол, или лучше сказать столик, был самым настоящим и притом исключительно ценным памятником истории. В течение нескольких месяцев сидения возле него я этого не знал. Однажды Александра Дмитриевна Люблинская, еще в бытность свою заместителем директора Публичной библиотеки по научной работе, привела и усадила за свой стол весьма именитого читателя — академика Евгения Викторовича Тарле. Я знал, что их связывает многолетняя теплая дружба. Люблинская познакомила меня с Евгением Викторовичем. После этого он постоянно приходил и читал нужные ему рукописные материалы за ее столом. Как-то раз я напомнил Евгению Викторовичу, что был знаком с ним еще до войны, на истфаке, что сдавал ему экзамен по новой истории. Евгений Викторович был по-старчески очень разговорчив, и мы с ним подолгу беседовали. Он очень любил рассказывать и слушать анекдоты. В этом смысле я, видимо, был для него интересным собеседником. Подходя ко мне своей раскачивающейся, грузной походкой, он издалека протягивал мне руку и спрашивал — нет ли чего новенького. Имелся в виду какой-либо новый анекдот. Обычно я имел в запасе один-два анекдота.

Я, со своей стороны, интересовался анекдотами в другом

смысле этого слова — рассказами о примечательных, обычно забавных случаях с великими историческими деятелями. Евгений Викторович был начинен подобными историями, как говорится, до краев.

Однажды он меня спросил:

— А знаете ли вы — что это за столик, за которым вы восседаете? — Я сказал, что не знаю. Вот тогда я впервые и узнал, за каким историческим столиком имел честь сидеть. Столик этот представлял собой правильный квадрат. Края столешницы полированного красного дерева окаймляли зеленое сукно. Ножки стола, тоже из красного дерева, складывались, уходя в специальные желобки по сторонам столешницы. Там же, с двух сторон находились две бронзовые петли, в которые продевался специальный ремень. Оказалось, что этот столик принадлежал Александру I. Казак возил его на ремне за спиной, вслед за императором в далекие походы: в Вену в 1805 году, в Тильзит в 1807 и в Париж в 1813.

Слушая рассказ Евгения Викторовича, я перевернул столик, сложил его ножки, разглядел бронзовые петли для ремня. Я засыпал академика вопросами. Особенно меня интересовало — видел ли этот столик Наполеон. Евгений Викторович сказал, что это вполне возможно. Наполеон мог видеть этот столик в Тильзите, где оба императора многократно встречались и подписывали важнейшие документы — мирный договор, соглашение о континентальной блокаде Англии и другие.

— А могло быть, что Наполеон даже присаживался на этот столик. Он имел, по словам Евгения Викторовича, обыкновение, пошагав во время разговора по помещению (кабинет, штабной шатер, комната во дворце), время от времени присаживаться на край стола, скрестив на груди руки.

— Учитывая маленький рост императора, можно предполагать, что этот столик должен был ему вполне приглянуться для принятия любимой позы, — пошутил Евгений Викторович.

Утром 6 декабря 1949 года я сидел за столиком Александра I в последний раз. По возвращении в Публичную библиотеку через пять лет, я его на прежнем месте не обнаружил. Не оказалось его и вообще в Отделе рукописей. Столик бесследно исчез. Скорее всего, он стал объектом «революционной конфискации» императорского имущества со стороны кого-то из хозяйственных деятелей Библиотеки. Обнаружить его в течение последовавших затем тридцати лет моей работы в Публичной библиотеке мне так и не удалось.

Возле моего рабочего места, непосредственно за моим стулом

находился (и находится сейчас) стеклянный шкаф, окружающий одну из колонн, поддерживающих сводчатый потолок Отдела рукописей. Шкаф этот со стороны, обращенной ко мне, был заполнен рукописными книгами, взятыми мною из фонда для описания. Справа от моего столика стояла этажерка с моими рукописями и различными записями.

Около часу дня я работал на своем месте. Остальные сотрудники ушли в столовую. Я, по обыкновению, уходил на обед позже, ближе к четырем часам, так как оставался обычно в Библиотеке допоздна. Таким образом, я был в нашем круглом зале один, и когда раздался звонок, подбежал к телефону. Незнакомый мужской голос спросил:

— Можно Даниила Натановича?

— Я вас слушаю.

— Добрый день. С вами говорят из Управления госбезопасности. Мы хотим, чтобы вы к нам сейчас подъехали. В бюро пропусков на вас будет пропуск.

Сердце у меня екнуло. Ничего приятного от такого приглашения ждать не приходилось.

— Мне надо спросить разрешение на уход с работы у руководства, — сказал я в трубку. — Сейчас с этим очень строго.

— Не нужно никого спрашивать, — ответили мне. — Мы вас задержим ненадолго. Можете же вы уйти на обед?

— Могу.

— Ну, мы вас ждем.

— А куда и к кому явиться?

— Номер кабинета будет указан в пропуске.

Делать было нечего, надо было отправляться. Я уже говорил, что ждал ареста. Ждал его в виде ночного визита в квартиру, с обыском и понятыми. Поэтому я старался объяснить себе этот вызов посреди рабочего дня какими-то иными причинами. «Хотят, видимо, познакомиться перед арестом, посмотреть в лицо.» Я был убежден, что это еще не арест, и не сделал ничего, что следовало бы сделать, если бы знал, что меня ждет.

В этот день выдавали зарплату. Я мог получить причитавшиеся мне деньги, завезти их по дороге домой — я ведь должен был проехать мимо своего дома на углу Литейного, мог зайти попрощаться с женой и сыном. Быть может, сделать какие-то распоряжения, позвонить кому-либо из друзей. Ничего этого я не сделал. Я прошел мимо кассы в библиотеке, я проехал мимо своего дома, я никому не позвонил, никому ничего не сказал.

Было холодно и зябко. Стоял декабрьский мороз градусов двадцать. С военных времен я ходил зимой в демисезонном пальто, перешитом из шинели и покрашенном в черный цвет, и в

велюровой шляпе темно-синего цвета.

Бюро пропусков Большого дома помещается в отдельном здании кубической формы на углу улицы Чайковского и Литейного проспекта, на том самом месте, где раньше, еще на моей памяти, стояла Сергиевская церковь. Мне запомнились с детства ее синие, усыпанные золотыми звездочками купола. Церковь разрушили в начале 30-х годов для того, чтобы выстроить на ее месте здание бюро пропусков Управления НКВД.

Лет за десять — двенадцать до того дня, о котором идет речь, в разгар репрессий 37–38-го года, не раз приходила в голову мысль о том, что на месте церкви, которую верующие рассматривали как «бюро пропусков» в рай, поставили бюро пропусков в ад. Переступая порог этого помещения, я невольно вспомнил свою давнишнюю мысль.

Я подошел к окошечку, возле которого со скучающим видом стоял, как я подумал, в ожидании пропуска, высокий, плотный майор, и постучал в окошечко. Я назвал свою фамилию открывшей его женщине и приготовился протянуть ей паспорт.

— Даниил Натанович? — спросил меня майор. — Пойдемте, нас пропустят без пропуска.

С этими словами он не оглядываясь пошел к выходу. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Я вышел на улицу. Майор шел в сторону Большого дома. Увидев на ступенях бюро пропусков «моссельпромщицу»[5], я задержался, купил у нее пачку «Казбека» и четыре соевых конфеты. Майор тем временем ушел довольно далеко. Я догнал его уже за улицей Каляева, возле Большого дома, и зашагал чуть сзади него. Он свернул на улицу Воинова. Туда выходил один из подъездов Большого дома. Следующим зданием на этой, бывшей Шпалерной улице, была тюрьма, знаменитая еще с царских времен Шпалерка, а теперь куда более знаменитая так называемая внутренняя тюрьма Управления МВД и МГБ.

«Уж не в тюрьму ли мы идем?» — мелькнула у меня мысль. Хотелось думать, что нет. Я оглянулся, чтобы посмотреть не сопровождает ли меня кто-либо сзади, чтобы я не сбежал. Вроде бы никто позади меня не шел. Я стал внимательно, с волнением и надеждой смотреть на сапоги майора. Вот они приблизились к подъезду Большого дома. Вот они сделали шаг вдоль гранитной ступеньки. Это еще не все, можно сделать еще шаг и свернуть к двери. Но вот этот шаг сделан. И еще шаг, и еще один. Все. Мы идем в тюрьму.

И тут случилось чудо. Нежданное и негаданное чудо. Давившая меня почти десять месяцев гора страха и горестного ожидания вдруг мигом свалилась с моих плеч. Я впервые за

долгое время почувствовал себя легко и свободно. «Как это оказывается просто, буднично, а я-то боялся»[6]. Навстречу по панели шли прохожие. Какая-то счастливая парочка шла, держась за руки и что-то щебеча. На кучке конского навоза посреди мостовой чирикали воробьи, в обе стороны шли машины. И я шагаю себе по панели, как и все. Жизнь продолжалась, вроде бы ничего не случилось.

Майор остановился у ворот тюрьмы и нажал кнопку звонка. Открылась вырезанная в воротах калитка.

— Вот, доставил, — сказал майор солдату, одетому в длинный, до самой земли тулуп. Тот молча отступил в сторону, и я перешагнул высокий порог калитки. Калитка за моей спиной захлопнулась. Раздался резкий металлический щелчок замка. Моя свобода осталась на улице, за воротами, а я оказался во дворе тюрьмы. Затем мы с майором пересекли небольшой двор и поднялись по невзрачной черной лестнице на второй этаж. Там в небольшом помещении, похожем одновременно на предбанник и на дежурную комнату милиции, за деревянной загородкой сидел сурового вида старшина с белыми лычками на синих погонах.

— Вот, доставил, — снова сказал майор. Принимайте. — Старшина стал заполнять на меня карточку. Майор тем временем достал из планшетки, что висела у него на боку, какой-то заполненный бланк на глянцевитой бумаге.

— Ну, что ж, пора представиться, — сказал он мне. — Майор Яшок. А это ордер на ваш арест.

Я прочитал вписанный в ордер текст — свою фамилию, имя и отчество, статью 58–10 часть 1-я[7], по которой я привлекаюсь, санкцию прокурора.

— Распишитесь на обороте, что читали, и поставьте дату, — сказал майор.

Я расписался большими, раза в три большими, чем обычно, буквами.

— Почему такими аршинными буквами написали? — спросил майор.

— На всякий случай, — ответил я. — Может быть, здесь у вас не все грамотные.

Майор взял у меня ордер и сказал вполне доброжелательным тоном:

— Я ваше следствие вести не буду. Мое дело было доставить вас сюда. Так что мне все равно, как вы будете себя здесь вести, молодой человек. Но могу дать добрый совет: не острите. Вот это уж точно не поймут. А если поймут, то не в вашу пользу.

Я внимательно взглянул на майора. Простое лицо, глаза, как мне показалось, смотрели на меня, если не участливо, то и не

враждебно. Пожалуй, все-таки участливо. Да и слова его звучали действительно добрым советом. Я спросил его, будет ли у меня дома обыск и будет ли он в нем участвовать.

— Да, — ответил он. — Сейчас сразу и направлюсь к вам домой.

— Можно я напишу жене записку, чтобы не волновалась, и доверенность, чтобы получила мою зарплату в Публичной библиотеке?

— Нет, нельзя, — резко отрезал майор, и лицо его сразу как-то закаменело.

Старшина, сидевший за загородкой, собрал свои исписанные моими данными бумаги и куда-то вышел. Майор Яшок тотчас вынул из планшетки блокнот, вырвал из него два листика и дал их мне.

— Пишите скорей доверенность и пару слов на другом листочке.

Я быстро написал доверенность и записку. Майор сунул эти листки в свою планшетку. Вскоре вернулся старшина с другим надзирателем, который повел меня в соседнее помещение — фотографироваться, «играть на рояле», то есть делать отпечатки пальцев, к парикмахеру, потом в душ. Началась моя тюремная жизнь.

Майора Яшока я больше не встречал. Но на свидании с женой, происходившем десять месяцев спустя, узнал, что он передал мою записку и доверенность. Жена сумела в тот же день получить мою зарплату, что, надо полагать, было очень кстати. Тогда же майор Яшок сделал еще одно доброе дело. По рассказу жены, произведенный им обыск происходил так.

Около трех часов дня она кормила полуторамесячного сына. В дверь комнаты сильно постучали. Вошел мощной комплекции военный в шинели и зимней шапке. За его спиной смущенно топтались понятые — управдом и какой-то неизвестный мужчина.

Комната у нас была довольно большая, но плотно забитая мебелью. Слева от двери — тахта. За ней буфет, кровать тещи за ширмой, кроватка сына. Посередине комнаты стоял обеденный стол. Справа умещался платяной шкаф. За ним, ближе к окну, стоял мой письменный стол — очень небольшой, закрытый листом зеленой промокательной бумаги. Столик этот стоял возле дверной ниши в соседнюю комнату. В нишу был вставлен стеллаж с книгами. Большое венецианское окно, освещавшее комнату, находилось напротив двери.

Среди множества вещей и книг, которыми была забита наша комната, майор буквально от самой двери углядел один совсем небольшой предмет, лежавший на моем письменном столике, —

финский нож. Такие ножи сохранялись тогда у многих бывших фронтовиков. На фронте их носили обычно у пояса. На офицерских ремнях было специальное кольцо для их крепления. Пользовались ими главным образом для нарезания хлеба и для вскрытия банок с тушенкой. Как правило, эти ножи красочно оформлялись фронтовыми умельцами. Рукоятка набиралась из колечек разноцветной пластмассы, на что шли мыльницы, отслужившие корпуса ручных фонариков-жужжалок и тому подобные материалы. Самодельные ножны украшались металлическими треугольничками и квадратиками, снятыми с кавказских ремешков, и обязательно красной пятиконечной звездочкой. Именно такой нож, подаренный мне в знак благодарности бойцом, которого я вытащил из боя и доставил в медсанбат, лежал на моем столе. Этот нож был при мне с начала 1944 года и до конца войны. Само собой, я не видел причин, чтобы с ним расставаться.

Углядев эту финку, майор в несколько шагов пересек комнату, подошел к моему столу и прикрыл нож лежавшей рядом газетой. Понятые за его широкой спиной этой операции не видели. Улучив момент, майор тихо сказал моей жене, кивнув в сторону ножа: «Сегодня же в Фонтанку».

Он наскоро осмотрел мои книги, выдвинул ящик письменного столика, взял из него мою записную книжку в зеленом матерчатом переплете (к ней я ниже вернусь), еще несколько мало что значащих бумаг. Затем он составил протокол обыска. Вслед за ним его подписали понятые и моя жена. Майор передал ей записку и доверенность, попрощался и ушел. Вся эта процедура заняла меньше часа.

Услугу, которую мне оказал майор Яшок, я сумел полностью оценить только в лагере. Мне встретилось там немало людей, посаженных по той же статье, что и я — 58–10 часть 1-я — антисоветские разговоры, но имевших еще и вторую статью: хранение холодного оружия. У каждого из них при обыске был обнаружен и внесен в протокол такой вот ножик.

Иметь эту вторую статью было весьма неприятно. Наличие ее отрицательно сказывалось при назначении на работу, при получении (обычно через три года) пропуска на бесконвойное хождение к месту работы или в поселок по служебным делам. Но главное было не в этом. Главная тяжесть этой второй статьи состояла в том, что ты уже не мог считать себя незаконно репрессированным, ни в чем не виновным. За тобой в этом случае оказывалась конкретная и вполне реальная вина. В годы освобождений, последовавших после смерти Сталина, наличие второй статьи исключало реабилитацию.

Как выяснилось, майора Яшока вспоминал добрым словом не я один. Лет десять спустя после моего ареста, я рассказывал об этих обстоятельствах за чашкой чая у моего соавтора Льва Львовича Ракова. Его супруга — Марина Сергеевна Фонтон после заключения Льва Львовича в тюрьму была репрессирована как жена «врага народа». Ее арестовали и после короткого пребывания в тюрьме выслали в Кокчетав. Выслушав мой рассказ, она сказала, что ее арестовывал и отвозил в тюрьму этот же майор Яшок. Он запомнился ей своим явно сочувственным отношением. После предъявления ордера на арест, который происходил в ее квартире, Яшок разрешил ей сделать несколько звонков по телефону родственникам и знакомым.

Из рассказов своих многочисленных «сосидельцев» я знаю, что подобное отношение к арестовываемым и к их семьям со стороны тех, кто за ними приходил, было не правилом, а редким исключением. Правилом была официальная холодность или откровенная враждебность. В протокол обыска старались вносить как можно больше «компрометирующих материалов», в первую очередь, «вражеские» книги, не говоря уже о финских ножах. Но вот было и так.

Не часто, совсем не часто встречались мне, да и другим, прошедшим тяжкий путь лагерей и тюрем, пересылок и этапов, душевные люди в синих фуражках с красными околышами. (Майор Яшок в другие времена года тоже носил такую фуражку). Но именно поэтому такие люди хорошо запомнились. Речь идет не о тех, кто в отдельных случаях допускал те или иные послабления режима, вызывая одобрительный возглас блатных — «Начальничек — человек!» Речь идет о тех, кто не мог, вопреки своему служебному положению и служебному «долгу» подавить в себе человеческие чувства, несмотря на то, что доброта и человечность по отношению к заключенному были связаны с большим риском. В том перевернутом мире, в котором эти люди жили, добрые поступки могли быть расценены вышестоящими и даже их товарищами по службе не иначе как неслужебное поведение, а то и как тяжкое преступление. Не случайно поэтому человеческие проявления со стороны тех или иных следователей, надзирателей, начальников имели место только тайно, только с оглядкой, только в стороне от глаз «своих» и только в расчете на то, что человек, которому они сделали доброе дело, их не выдаст. А ведь и такое бывало. Иной «советский человек», воспитанный в духе уважения к доносу как к патриотическому и уж, во всяком случае, партийному поступку, выдавал начальника, пошедшего ради него на то или иное нарушение режима.

Лев Львович Раков рассказал мне такой случай. В момент его

освобождения из Владимирской тюрьмы в 1953 году начальник тюрьмы (фамилия мне неизвестна), вручая ему и его сокамерникам документы об освобождении, поздравил их всех с избавлением от несправедливых, чудовищных двадцатипятилетних сроков и с полной реабилитацией. Покидавшие тюрьму верили в то, что он вполне искренне радуется за них, так как не раз отмечали, что он старался по возможности облегчить условия их содержания в тюрьме. В этот момент один из сокамерников Льва Львовича, бывший крупный партийный деятель, заявил, обращаясь к начальнику тюрьмы:

— Я на днях буду в ЦК и сообщу о том, что вы развели здесь санаторный режим для заключенных. Вас не для того сюда поставили, чтобы вы либеральничали с врагами народа.

По словам Льва Львовича невозможно было различить — кто больше опешил — тюремное начальство или бывшие сокамерники этого твердокаменного сталинца. Они — сокамерники — единодушно накинулись на него.

— Почему же вы раньше, сидя в камере, не протестовали против слишком мягкого режима? — спросил его Лев Львович. И, не удержавшись, назвал его негодяем. А один из освобожденных, в прошлом машинист, а перед арестом Председатель Верховного Совета Карело-Финской ССР Виролайнен (позднее я встречался с ним в квартире Л. Л. Ракова), хотел избить этого человека по выходе из тюремных ворот. Товарищи еле уговорили его не пачкать руки.

Итак, я в тюрьме. Меня довольно коротко подстриг парикмахер, внешность которого я не запомнил. Помню только, что он, так же как «банщик» в душе и кухонные рабочие, развозившие по камерам на тележке бачки с едой, — был из числа заключенных, оставленных после суда отбывать срок при тюрьме. Скорее всего, все эти тюремные «придурки» не были «политическими», проходившими через следствие здесь, во внутренней тюрьме МГБ. Видимо, это были так называемые «бытовики» — лица, осужденные за незначительные хозяйственные преступления и переведенные сюда из уголовной тюрьмы «Кресты».

Из парикмахерской надзиратель повел меня в душ. Банщик выдал мне кусочек мыла и небольшое вафельное полотенце. Мыться под горячим душем было очень приятно, и я старался затянуть процедуру. Однако бдительный надзиратель, опять же торчавший возле дверей душевой, меня поторопил. После душа банщик выдал мне казенное белье, проштемпелеванное черными цифрами. Я натянул на себя брюки. Тут оказалось, что пока я мылся, с них были срезаны все пуговицы. Не было пуговиц и на

пиджаке и даже на пальто. Со шляпы была срезана лента, из ботинок были вынуты шнурки, шарф и галстук были изъяты.

В таком распахнутом виде, шаркая ногами и придерживая штаны, я побрел, сопровождаемый надзирателем, обратно в сторону «приемного покоя», где сидел вышеупомянутый старшина. В этот, именно в этот момент я почувствовал себя арестантом, каким-то другим человеком, чем тот, которым я был раньше, всю жизнь, до этой минуты. А ведь до этой минуты я уже успел услышать за собой щелчок замка в тюремных воротах, подписать ордер на арест, дать отпечатки пальцев, выслушать несколько окриков надзирателя. И тем не менее, я продолжал ощущать себя самим собой, сохранять в себе чувство прежнего самоуважения и подсознательной уверенности в том, что меня уважают, должны уважать все окружающие. Уважать как гражданина, как участника войны, как ученого, как отца семейства, как друга моих друзей. Да мало ли еще за что. В этот момент все это ушло. Вернее, не совсем ушло. Все это удерживалось моей памятью, но вместе с тем находилось как бы вне меня, держалось на мне, подобно моим штанам, которые я неловко подтягивал двумя руками и которые стали как бы не моими, а каким-то отдельно от меня существующим предметом. Мог ли я раньше подумать, что чувство самоуважения и самоуверенности в такой сильной степени держится на пуговицах от штанов.

В те же минуты стало расти во мне чувство внутренней самообороны против унижения и плена, на которые судьба обрекла меня, осознание необходимости устоять, удержаться, несмотря ни на что сохранить в себе самого себя. Я крепко, до ощущения боли в ногтях, вцепился в свои штаны, согнул пальцы ног, прижав их к подошвам и тем самым несколько укрепив ботинки на ногах. Это дало мне возможность ступать тверже, уверенней, разумеется, не так, как раньше, в прежней жизни, но все же.

Надзиратель возвратил меня старшине, который, выйдя из-за загородки, отвел меня в соседнее помещение. Это был большой темный зал, освещенный несколькими лампочками, свисавшими на белых шнурах с потолка. Лампочки тускло освещали узкий проход между двумя рядами деревянных клетушек — боксов.

Старшина открыл деревянную дверь одной из таких клетушек и велел мне в нее зайти. Дверь закрылась за моей спиной. В боксе стало почти совсем темно. Свет просачивался только через несколько круглых отверстий, просверленных в верхней части двери. Почти все пространство бокса занимал топчан — голые продольные доски с поднятой под углом поперечной доской-

подголовником. На полу, в левом углу, я разглядел целую пирамиду окурков. Какой-то мой предшественник искурил здесь не одну пачку «Беломора». В кармане моего пальто оставалась пачка «Казбека» и спички. Старшина вернул их мне после тщательного осмотра. Соевые конфеты он конфисковал — «не положено».

Я сел на топчан и закурил. Кругом было тихо. Соседей у меня, вроде бы, не было. Я объяснил себе это тем, что меня поместили сюда днем и что основную массу «врагов народа» так-таки забирают вечером и ночью. Я задумался над обстоятельствами моего ареста, произведенного, как мне представлялось, «не по правилам». Почему меня вызвали по телефону, не опасаясь того, что вызов меня насторожит, и я попытаюсь скрыться? Почему за мной никто не шел, когда я за майором Яшоком следовал в тюрьму? Или я просто не различил среди прохожих умело маскировавшихся оперативников? Ответ на эти вопросы напросился едва ли не сразу. Никто не опасался, что я пущусь в бега и не явлюсь по вызову в бюро пропусков МГБ. Наверняка никто не шел за мной, когда я по приглашению майора покорно брел «своим ходом» в тюрьму. Те, кто состряпал мое дело и принял решение о моем аресте, не хуже меня понимали, что никакой я не преступник, что именно поэтому я никуда не сбегу. Они понимали и знали, что я покорно, как баран (именно как баран — осел, например, стал бы изо всех сил упираться), побреду в заготовленный для меня загон. Как говорится — все правильно, «все по науке». Досадно было, конечно, что я не зашел домой. Ну, подождал бы майор Яшок возле окошечка в бюро пропусков еще полчаса. И вдруг мне стало смешно. Я представил себе, что за эти лишние полчаса к окошечку подходили бы какие-то другие люди — так, безусловно, должно было быть — и что майор Яшок спрашивает у какого-то подошедшего — «Даниил Натанович?». А этот — какой-нибудь заслуженный борец против космополитизма — выпячивает на него глаза, заподозрив ужасную провокацию. «А вдруг, — подумал я, к окошечку подошел бы мой тезка. На вопрос: «Даниил Натанович?» — он ответил бы — «Да». И тогда майор Яшок привел бы его в тюрьму, а я, узнав в окошечке, что никакого пропуска на меня нет, вернулся бы в Публичную библиотеку.»

Эти мысли меня успокоили. «Надо устраиваться» — решил я. Постелив под голову шляпу, я улегся на топчан, накрылся пальто и уснул. Спал я крепко и долго. Как выяснилось, до позднего вечера. Проснулся я от громкого женского голоса, читавшего в соседнем боксе справа от меня стихи Маяковского «О советском паспорте». Женщина читала стихи с истерическим надрывом. В

голосе чувствовался протест против того, что ее — советского гражданина, обладательницу «серпастого и молоткастого советского паспорта» — засадили в тюрьму. Слева от меня слышались приглушенные мужские всхлипывания. «Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза!» — с вызовом прокричала моя соседка. «Для кого она старается? — подумал я. — Для старшины в соседнем помещении или для нас, своих товарищей по несчастью?»

Интересно, что никто из сидящих в боксах не сделал попытки познакомиться друг с другом.

Через много месяцев, уже в лагере, я познакомился с крупным ленинградским инженером Евгением Осиповичем Войниловичем. Оказалось, что он был арестован в один день со мной, сидел в одном из соседних боксов и тоже слышал истерическое чтение стихов Маяковского.

Но вот дверь моего бокса раскрылась, и я услышал приказание, которое потом пришлось выслушивать неоднократно.

— На выход, с вещами.

Надзиратель в военной форме, в синей фуражке и с синими погонами протянул мне какую-то не то тесемку, не то тряпочку небольшой длины.

— Для чего это? — спросил я.

— Штаны подвяжите.

Просунув тесемку в верхнюю петлю штанины, я обвязал ее вокруг штрипки для ремня и таким образом укрепил свои брюки.

— А теперь руки назад, — последовала команда.

Я сложил руки за спиной и, повинуясь очередному приказанию, пошел вперед. Куда бы меня отныне ни водили в течение десяти месяцев пребывания в тюрьме — на допросы, в амбулаторию, на прогулку, я шагал, сложив руки за спиной. Как ни странно, закладывать руки за спину при ходьбе вошло в привычку надолго. Я и сейчас нередко так поступаю. До тюрьмы такой привычки у меня не было.

Надзиратель повел меня по каким-то коридорам и лестницам в здание собственно тюрьмы. Мы долго шли по узкой металлической галерее, кружившей вдоль толстенных стен, в которых через равные промежутки виднелись утопленные в глубоких нишах двери камер. Я глянул вниз через перила и увидел натянутую на уровне второго этажа металлическую сетку, занимавшую все пространство до противоположной стены. Назначение ее было вполне очевидно — предотвратить самоубийство заключенного, если тот бросится с галереи вниз. Я подумал, что своим общим видом тюремное помещение напоминало трюм мощного парохода. Железные лестницы, точно

трапы, соединяли галереи этажей. Сами галереи — узкие металлические мостки с перилами, похожими на леера корабельных палуб. Длинные ряды дверей напоминали двери кают в корабельном коридоре. Но что-то было не так, чего-то не хватало для полного впечатления, что находишься внутри корабля. Да, конечно. Там, внизу, не хватало мощных машин, крутящих могучие валы, не хватало их мерного шума, не хватало дрожания и тряски всего корпуса. Не хватало теплого запаха машинного масла. Вместо машины внизу была металлическая сетка. В здании царила какая-то напряженная тишина. Резко пахло дезинфекцией. Этот запах, кстати сказать, стоял уже там, в «приемном покое». Он заполнил все здание, все его пространство, все его помещения. Привыкнуть к этому запаху — перестать его замечать мне так и не удалось за все долгое время пребывания в тюрьме.

Неожиданно из-за поворота, к которому мы приближались, раздалось какое-то позвякивание. Тотчас шедший за мной надзиратель постучал себя чем-то железным, скорее всего ключом, по пряжке ремня. При этом он скомандовал — «Лицом к стене!» и втолкнул меня в нишу, к двери какой-то камеры. Сам он встал за мной почти вплотную и приказал не оглядываться. Стоя возле двери в камеру, я слышал за ней приглушенные голоса, а за моей спиной прошли два человека. Один из них топал по металлическому полу сапогами, другой шел неестественной шаркающей походкой. Я понял, что этот второй шагает так же, как и я, без шнурков. Прислоненным к двери камеры я простоял, пока шаги не стихли за поворотом.

Впоследствии мне не один месяц пришлось именно таким образом ходить по тюремным галереям. То меня всовывали в нишу, то, наоборот, вели безостановочно, а встречного заключенного ставили носом к первой попавшейся двери камеры. Несмотря на четкую отработанность регулировки встречного движения подследственных и старательное сигнальное позвякивание, сопровождающие, бывало, и ошибались, и тогда заключенные сталкивались лицом к лицу. Надзиратели в этих случаях крепко поносили друг друга, подобно водителям, столкнувшимся на дороге. Каждый обвинял другого в том, что случилось такое ЧП. Мне раза два или три пришлось сталкиваться с какими-то заключенными, но знакомых встречать таким образом не довелось.

Надзиратель подвел меня к двери камеры, на которой был укреплен довольно крупный металлический овал, в центре которого стояла хорошо начищенная металлическая цифра — 66. «Счастливое число», — подумал я. Так оно и оказалось. Я остался

жив и вот пишу воспоминания о своей тюремно-лагерной эпопее. А ведь могло быть хуже. Еще как могло! Как же после этого не верить в приметы?!

«Дела» и люди

Пусть теперь читатель отдохнет от моей персоны, от моих личных переживаний и размышлений. Расскажу о своих сокамерниках. За десять месяцев пребывания в следственной тюрьме я повидал разных людей и наслушался всякого. Запомнились, естественно, наиболее примечательные люди и наиболее интересные «дела», которые им «шили».

Меня привели в 66-ю камеру, где уже находились — а в тот момент спали и были разбужены моим появлением — два заключенных. Одному из них — Берстеневу было двадцать восемь лет, другому — Ефимову — пятьдесят с небольшим гаком. Мне шел тридцать первый год. И мы с Берстеневым, само собой, называли Ефимова «стариком». Берстенев — простой рабочий парень из области — обвинялся в каких-то антисоветских разговорах. Под этим, как мы увидим дальше, могло значиться все что угодно. Хотя в основе всех подобных обвинений лежал определенный стандартный набор. Первым обычно шло: «Клевета на одного из руководителей партии и правительства». Под формулой — «один из» — имелся в виду Сталин. Его святое имя нельзя было ни в каких документах впрямую связывать с какими бы то ни было критическими высказываниями. Считалось, видимо, что сама бумага не может такого стерпеть, а рука следователя не может повернуться, чтобы такое записать. Главное же соображение состояло, скорее всего, в том, чтобы не накапливать в архивах распространенные в миллионах протоколов хулы на «отца всех народов и наций». А вдруг какие-нибудь будущие читатели поверят в то, что все эти высказывания действительно имели место. И тогда вместо картины всенародной любви к великому вождю возникнет из самих же эмгэбэшных протоколов картина всенародной к нему ненависти, всеобщего, по крайней мере массового, понимания того, что во всех бедах и безобразиях нашей жизни виноват именно он — Сталин. Затем обычно шли обвинения вроде: «неверие в возможность построения социализма в одной стране», «восхваление западного образа жизни», «космополитизм» и, конечно, «клевета на советский политический и государственный строй». Под эту резиновую формулировку подходило все, что было угодно душам оперативников, стряпавших протоколы допроса свидетелей «антисоветских» высказываний, и следователей, добивавшихся признания этих «фактов» от обвиняемых. Кстати сказать, удивительную категорию — свидетель — то есть очевидец высказывания, породила именно наша советская

действительность. В древности на Руси употребляли куда более точное слово: послух. Не очевидец, а ухослышец.

Шли в «дело» любые разговоры о малой зарплате, об отсутствии продуктов в магазинах, критика своего непосредственного начальства и т. д. и т. п.

Что именно говорил в действительности Берстенев, я не помню. Какие-то явные пустяки.

Ефимов сидел по той же нашей, или как ее называли в лагерях — «народной статье» — 58–10, то есть за антисоветскую агитацию. Однако суть дела у него была особенная, совсем не такая как у нас — обычных «антисоветчиков». Он был «повторником».

На этом слове я хотел бы остановиться, чтобы разъяснить его удивительную сущность, а затем рассказать несколько новелл — иначе не назовешь — о «делах» тех из «повторников», с кем мне довелось сидеть.

«Повторниками», как легко догадаться, называли тех политзаключенных, которые сидели повторно, по второму разу. В основном, это были люди, сидевшие в тридцатых годах, но получившие в то время слишком «малые» сроки: три, четыре, пять лет. Теперь, в 1949–1950 годах, их по специальной директиве сажали снова и добавляли к прежнему сроку еще несколько лет, обычно до десяти. Если раньше отсидел четыре года — получай еще шесть лет. Если раньше отсидел всего два года, получи еще восемь. Вроде бы все просто. При этом, однако, предъявлявшееся каждому из них теперешнее, новое обвинение было настолько диким и иезуитским, что при всем трагизме положения этих несчастных людей — вторичное заключение уже в пожилом возрасте — о нем нельзя было без смеха рассказывать, как нельзя было без смеха об этом слушать.

Общая формула обвинения повторников была такова: «антисоветская агитация, выразившаяся в клевете на органы государственной безопасности». В каждом конкретном случае эта клевета состояла в том, что человек рассказывал дома, знакомым, сослуживцам, за что он был осужден тогда, в тридцатых. Теперь тогдашние обвинения, за которые человек получил срок, объявлялись клеветническим вымыслом. Некоторые следователи конца сороковых–пятидесятых годов искренне возмущались рассказами повторников о своем прежнем деле и действительно считали их клеветническими выдумками. Никто из этих следователей не спешил, однако, запросить из архива прежнее дело своего подследственного с тем, чтобы проверить, правдив или ложен его рассказ. Все они знали, что есть директива посадить этих неисправимых «врагов народа», значит, они

заведомо виноваты и должны быть осуждены.

Итак, несколько примеров из числа дел повторников.

«Диверсант» Каштанов

Сидел одно время в нашей камере инженер Каштанов. В тридцатых годах он служил на Украине, на железной дороге. В то время ему было лет тридцать пять. Теперь — изрядно за пятьдесят. В тридцать седьмом или в тридцать восьмом году его посадило железнодорожное НКВД. Ему было предъявлено модное в те времена обвинение для лиц, связанных с техникой: подготовка диверсии по заданию иностранной разведки. В данном случае, разумеется, речь шла о диверсии на железной дороге.

Следователь требовал от Каштанова признания. Но инженер, абсолютно ни в чем, как и другие подобные «диверсанты», не виновный, решительно отказывался признать себя преступником. Следователь постоянно бил его кулаками по лицу и в живот, лишал курева, тюремного ларька, пытал бессонницей, вызывая на допросы по ночам, заставлял часами стоять не шевелясь. Словом, к нему был применен весь набор принятых в те годы способов получения «чистосердечного признания». Инженер упорствовал. Тогда следствие использовало еще один весьма эффективный прием получения от невиновных признаний в несовершенных преступлениях. Инженера перевели в камеру, где сидели такие же, как он, «диверсанты», но уже признавшие предъявляемые им обвинения. Это был тонкий психологический расчет. Человек сломавшийся, то есть принявший по слабости решение уступить давлению и согласиться на самооговор, вольно или невольно начинает склонять к такому же поступку других. Ему тяжело, быть может, невыносимо осознавать себя слабым и ничтожным рядом с другими, которые держатся, выносят все то, чего он не вынес. И вот «расколовшиеся» обязательно начинают обрабатывать непризнавшегося, уговаривают его последовать их благоразумному примеру и подписать то, что от него требуют. Все равно-де рано или поздно подписать придется. Так уж лучше раньше. Разрешат ларек, папиросы, перестанут лупить и пытать. Непризнавшийся начинает колебаться. Ему смертельно хочется курить, но просить папиросы у тех, кто их заработал тяжким трудом признания, ему стыдно. Обработка происходит день за днем, сутками. Ни о чем другом не говорят, потому что ни о чем другом и не говорится. Нет в камере более важной темы, чем тема следствия и будущего суда. Для ведения такой обработки следователям даже не нужны какие-нибудь специальные «подсадные утки». «Расколовшийся» проведет нужную воспитательную работу лучше любого подсаженного агента.

Короче говоря, Каштанова уговорили взять на себя какое-нибудь нужное следствию преступление и тем самым облегчить свое положение. Придя на очередной допрос, он сказал:

— Гражданин следователь, хочу рассказать правду, сделать чистосердечное признание. Я был завербован немецкой разведкой и получил задание совершить диверсию на железной дороге.

Следователь, как рассказывал инженер, от радости вскочил со стула и начал нервно потирать руки.

— Ага! Хорошо! Молодец, что осознал. Иди, садись, закури. Давай-ка быстренько запишем все с твоих слов. Так сказать, дословно. Давай кури, садись. Ну, какое, значит, тебе дали задание?

— Мне дали задание взорвать участок железной дороги между Жмеринкой и Фастовом.

При этих словах Каштанова следователь снова вскочил со стула и яростно вдарил кулаком по столу.

— Да что вы все между Жмеринкой и Фастовом! Называй другой участок!!

Каштанов назвал другой участок своей железной дороги и подписал протокол. Он получил папиросы, ларек, свидание с родственниками и восемь лет лагерей.

Теперь, в 1949 году, Каштанов был арестован за злостную клевету на органы государственной безопасности, а именно за рассказ о своем «деле» 1936 года.

«Шпиён» Микита

В отличие от инженера Каштанова — русского, служившего на Украине, — Микита был «щирым» украинцем. В первый раз он был арестован в 1939 году у себя на родине, на Украине, незадолго до подписания договора между Германией и СССР о ненападении.

Перед вторым арестом Микита (если память мне не изменяет — Тарасович) работал на одном из ленинградских заводов. Он завербовался на работу в Ленинград после освобождения из лагеря в Средней Азии. Возвращаться после освобождения «до хаты», в «ридный» край, побывавший в оккупации, он не захотел. Родичей у него там не осталось. Хозяйство было разорено или освоено колхозом. В Ленинграде после войны «в рабочие» брали без особой бдительности — рабочей силы не хватало.

К моменту второго ареста Микита успел поднабраться грамоты и вообще изрядно «вырос над собой». А тогда, в тридцать девятом, он был темен и неграмотен. Его хутор, или, как он говорил, «баз», находился вблизи границы с Польшей, возле какого-то магистрального шоссе. Именно это, надо полагать, и послужило причиной его ареста в качестве шпиона. На следствии его нещадно колотили, добиваясь признания в том, что он шпион, завербованный фашистской разведкой. Микита, естественно, это отрицал, искренне не понимая, чего от него хотят. Как и в предыдущем случае, сокамерники, уже успевшие признать возводимые на них обвинения, его просветили: уговорили признаться в том, что он шпион, и таким образом облегчить свою участь. Микита решил послушаться образованных людей.

Явившись на допрос, он заявил:

— Гражданин следователь, дозвольте заявить: я доподлинно шпиён. Решил признаться.

Затем все было разыграно по обычным нотам.

— Ну, Микита, молодец! Садись. На, закури. Рассказывай, как тебя завербовала фашистская разведка.

Микита сел, закурил и рассказал, «як было дило». Фантазия у него была небогатая.

— Працюю я это на своем базу. Вдруг бачу: литак.

— Самолет? — уточняет следователь.

— Нехай буде самолет, — соглашается Микита. — Так вот, бачу: вин садится прямо на моем базу.

— На огороде, что ли? — с иронией в голосе спрашивает образованный следователь.

— Нехай буде на огороде.

— Разве самолет может сесть на огороде? Может быть, он рядом с твоим базом, на поле сел?

— Нехай буде на поле, — охотно согласился Микита.

— Нет, не «нехай», а точно говори: на огороде или на поле? Мне протокол надо писать.

— Ну, нехай на поле. Бачу, из литака вылезает этот. Ну, как его. Хитлер.

— Какой еще Гитлер? Ты что, совсем одурел! Ишь ты, Гитлер к нему пожаловал! Говори правду, кто к тебе прилетел?!

Однако Микита, кроме Гитлера, ни одного другого фашиста при всем желании назвать не мог. И как следователь с ним не бился, он упрямо твердил свое: «Хитлер, ей-богу, Хитлер».

Тогда следователь пошел, как говорится, другим путем.

— А может быть, толстый такой прилетал?

— Точно, толстый, — обрадовался подсказке Микита.

— И фуражка у него такая… большая?

— Добре, добре! Дюже велика фуранька.

— И орденов много?

— И орденов дюже богато.

— Так это же не Гитлер. Это же Геринг! — определил следователь.

— Тфу ты, бисова холера! Ну, точно! Це был Херинг! Як же я его не зараз признал! — возрадовался Микита.

— Вот так бы сразу и дышал! — сказал следователь. — Какое он тебе дал задание?

— Велел доглядати и считати, скильки военных машин идет до границы и скильки от границы.

— Ну и ты выполнял задание фашистской разведки — считал наши машины?

— А як же. Выполнял, раз велено.

— И как ты должен был передавать эти сведения?

— Вин обещал ишо прилетати.

— Ну и прилетал он еще раз к тебе на баз? Успел ты ему передать разведданные?

— Ни, не успел. Хиба ж я мог? Вы ж меня забрали.

— Ну, ладно, — сказал следователь. — Так и запишем.

Так он и записал. И Микита получил свой первый срок. Теперь он сидел с нами за антисоветскую агитацию, то есть за клеветнический рассказ о том, за что его в первый раз посадили.

«А как насчет Маркса и Энгельса?»

Сидел в нашей камере рабочий по фамилии Лоншаков. Был он столяром-краснодеревщиком высшего класса. Работал на авиационном заводе, где изготовлял модели будущих самолетов.

В декабре 1949 года по всей стране происходил сбор «подарков великому Сталину» по случаю его семидесятилетия. Подарок от авиационного завода — модель самолета нового поколения — делал Лоншаков. Когда модель была готова, директор завода, секретарь парткома и Лоншаков повезли ее в Таврический дворец, где должна была открыться выставка подарков ленинградцев великому вождю.

Драгоценную модель бережно внес в зал дворца ее создатель — Лоншаков. Торжественным шагом, словно с венком к подножию памятника, все трое — Лоншаков с красавцем-самолетом на руках в середине, директор и секретарь парткома по бокам — подошли к указанному им месту. Лоншаков бережно опустил свою модель и… В ту же минуту два коренастых молодчика, оттеснив директора завода и секретаря парткома, ухватили Лоншакова за освободившиеся от подарка руки и повели его из дворца к поджидавшей у входа машине. Через десять минут он был уже в тюрьме, благо Таврический дворец и Шпалерка расположены на одной улице (тогда улице Воинова), на недалеком расстоянии друг от друга. Ясно, что Лоншакова собирались арестовать уже давно, но не хотели (или не решались?) это сделать, пока он не закончил подарок вождю. Но когда он его закончил… тут уж медлить не стали.

Что же такого опасного совершил рабочий-краснодеревщик Лоншаков? Об этом он рассказал мне отнюдь не сразу после появления в нашей камере. Отмалчивался, явно не доверяя нам, интеллигентам, и упорно не рассказывал о своем деле. Был он хорошего роста, широк в плечах. Лицо у него было ширококостное, некрасивое, волосы густые, черные. Глаза тоже черные. Руки у него были очень сильные. Ладони широкие, как лопаты. Мы пробовали с ним соревноваться — кто кому пригнет руку к столу. Ему я всегда проигрывал, хотя со многими другими справлялся без особого труда.

Приходя с допроса, этот сильный человек садился на свою койку и горько плакал. Мы — было нас тогда в камере еще трое — пытались его утешать. О причине своих слез он нам рассказывал, совершенно не стесняясь. Думал, что пропадет, и жалел свою восьмилетнюю дочку. Любил ее, видимо, без памяти и страшно переживал разлуку с ней.

Однажды, придя с допроса, он явно расположился со мной поговорить о своем деле. Заметив это, я спросил его прямо:

— Что от тебя хотят, Лоншаков? О чем спрашивают?

— Да вот, понимаешь, пристает следователь, как с ножом к горлу: признавайся, говорит, Лоншаков, сукин ты сын, и так далее… ты говорил рабочим в курилке, что Маркс и Энгельс не признавали возможности построения социализма в одной стране?

— Ну, а ты что на это отвечаешь? — спросил я.

— Как что? Отпираюсь.

— Ну и напрасно, — сказал я. — Совершенно напрасно ты отпираешься, даже если и говорил такое.

Я постарался объяснить Лоншакову следующее. В «Кратком курсе» истории партии сказано, что Маркс и Энгельс, жившие в эпоху домонополистического капитализма, еще не могли представить себе возможность построения социализма в одной отдельно взятой стране. Заслуга Ленина и Сталина как раз в том и состоит, что они теоретически и практически доказали такую возможность.

— Ты пойми, — сказал я Лоншакову, — и следователю своему постарайся втолковать: если бы Маркс и Энгельс дошли до идеи построения социализма в одной, отдельно взятой стране, то никакой заслуги Ленина, а тем более, товарища Сталина, в открытии такой возможности не было бы. Объясни, — добавил я, — своему следователю, что он в год семидесятилетия товарища Сталина преподносит ему своими действиями нехороший подарок.

Лоншаков все понял.

Надо ли говорить, с каким волнением ждал я его возвращения со следующего допроса. Возвратился он на этот раз в камеру довольно быстро. По его лицу было заметно, что он находится в весьма приподнятом настроении. Когда ключ в замке щелкнул, а глазок камеры, в который заглянул надзиратель, закрылся, Лоншаков, не сдержав эмоций, подошел ко мне, прижал меня к себе и сказал:

— Спасибо, Даниил Натанович. Кажется, ты меня выручил.

С его слов, в кабинете следователя произошло вот что:

— Ну, Лоншаков, — закричал следователь, едва подследственный переступил порог его кабинета, — ты будешь, наконец, говорить правду, мерзавец ты этакий!

— Гражданин следователь, — сказал Лоншаков — я вспомнил насчет Маркса и Энгельса. Было дело, говорил я про них в курилке, что не признавали они.

— Ага! Наконец! Иди, садись, закури. — Ну и так далее.

Обрадованный и умиротворенный следователь записал

признание Лоншакова.

— Теперь иди сюда, — подозвал он подследственного. — Подпишись прямо здесь под строчкой. А то, чего доброго, еще откажешься. Знаем мы вас.

Лоншаков подписал признание факта разговора о Марксе и Энгельсе.

— Так, — сказал следователь. — Продолжим. Значит, ты признаешь, Лоншаков, что занимался среди рабочих своего завода антисоветской агитацией?

— Нет, не признаю!

— Как?! Ты ведь только признался и подписал!! — взвился следователь. — Ты что же, издеваешься надо мной, негодяй!..

— Нет, не издеваюсь, — спокойно возразил Лоншаков. — И от своих слов не отказываюсь. Что говорил — то говорил. Только это не антисоветский разговор. Это по «Краткому курсу».

— Что?!!

Короче говоря, Лоншаков, видимо, вполне толково пересказал следователю то, что я ему разъяснил. Следователь растерялся. Во всяком случае, он выгнал Лоншакова с допроса, не закончив ведения протокола и не дав ему на подпись слова, обязательно заканчивавшие каждый протокол допроса: «Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан».

Лоншакова не вызывали на допросы больше месяца. Я, как говорится, молил Бога, чтобы его или меня не перевели в какую-нибудь другую камеру, чтобы нас не разлучили. Уж очень хотелось узнать, как же дальше пойдет его следствие.

Наконец, его вызвали на допрос. Потекло время. Я нервно ходил по камере, не находя себе места.

Лоншаков вернулся. На лице его было выражение полной растерянности. По его словам, на допросе произошло следующее:

— Ну, Лоншаков, сволочь ты этакая! — встретил его с порога следователь, точно так, как встречал на допросах до перерыва. — Ты будешь, наконец, говорить правду?! Ты говорил в курилке рабочим, что в СССР тринадцать миллионов политических заключенных?! Говорил или нет, я спрашиваю!!

— Гражданин следователь, а как же насчет Маркса и Энгельса?

— А ну их к чертовой матери! О них больше вспоминать не будем, — сказал следователь и досадливо махнул рукой.

Было ясно, что предыдущее заявление Лоншакова насчет отношения Маркса и Энгельса к построению социализма в одной стране тщательно проверялось. Судя по длительности проверки, обращались в Москву, быть может, в Институт марксизма-ленинизма. Оттуда, надо полагать, подтвердили справедливость

слов Лоншакова, и вопрос о Марксе и Энгельсе был из дела Лоншакова исключен.

Так или иначе, Лоншаков получил восемь лет лагерей. Как знать, не внеси он ясность в проблему «Маркс и Энгельс о построении социализма в одной стране», может быть, он получил бы все десять.

Один раз в жизни пошел я на футбольный матч, на стадион имени Ленина. Было это году в пятьдесят восьмом. Возле касс я столкнулся с Лоншаковым. Мы радостно обнялись, на ходу обменялись информацией: кто где сидел, когда вышел на свободу и что делает сейчас. Само собой, мы обменялись телефонами. Но так больше никогда и не встретились.

«Vive Vita!»

Однажды в нашу камеру ввели очень пожилого человека. Небольшого роста лысоватый интеллигент подслеповато щурился при свете негасимой лампочки, свисавшей с потолка. Двигался вновь прибывший мелкими неуверенными шажками. Кто-то из нас помог ему дойти до пустовавшего в этот момент топчана.

Познакомились. Фамилия новичка была Фейгин. Лет ему было хорошо за семьдесят. В памяти он навсегда остался под укрепившимся за ним тогда именем: «Старик Фейгин».

Обвиняли его по двум пунктам. Во-первых, он напечатал на машинке и распространил среди каких-то знакомых стихотворение, высмеивающее Сталина. Текст, разумеется, не был подписан. Фейгина «установили» по машинке.

В то время все до единой пишущие машинки были зарегистрированы. В момент регистрации сдавали образец «почерка» машинки — полстраницы напечатанного на ней текста. Вот по этому образцу и была найдена машинка, на которой был напечатан антисталинский стих. Ее хозяин, старик Фейгин, утверждал на следствии, что ни сном ни духом не ведает, какой негодяй посмел напечатать на его машинке такие гнусные стихи против нашего любимого товарища Сталина. Следователь ему, понятно, не верил и не хотел верить. На допросах от него добивались признания в авторстве «гнусных стихов». Но старик держался своих показаний: машинка моя, а кто на ней печатал стихи про нашего любимого Сталина, про то знать не знаю. Сталина он «любил», разумеется, в соответствии с анекдотом, который сам и рассказывал:

— На собраниях заводского коллектива, в моменты бурных оваций в честь Сталина один пожилой еврей постоянно выкрикивал: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Однажды приятель спросил его: «Хаим, почему ты все время благодаришь товарища Сталина за свое счастливое детство? Ведь когда ты был ребенком, никакого Сталина еще и на горизонте не было».

— Вот поэтому я и благодарю его за наше счастливое детство!»

Старик Фейгин, вспоминая свое детство и юность, постоянно повторял: «Спасибо товарищу Сталину за мое счастливое детство».

Следователь придумал ему утонченную пытку, выглядевшую притом чуть ли не актом гуманизма. Он держал Фейгина на допросах недолго, сравнительно быстро отпускал, «уважая его

старость». Зато вызывал старика часто. Можно было представить себе, как мучился почти слепой старик, вынужденный по нескольку раз в день спускаться и подниматься с этажа на этаж по крутым металлическим трапам.

Однажды Фейгин пришел с допроса в странном состоянии. Он был взволнован. Ему было предъявлено новое, совершенно неожиданное обвинение. Веселиться по этому поводу не приходилось. Тем не менее, рассказывая нам о том, что произошло на допросе, Фейгин то и дело разражался смехом.

А произошло вот что.

Когда старик вошел в кабинет следователя, он разглядел, что возле стола сидят два человека в военной форме — то есть какие-то сотрудники МГБ. Следователь объявил Фейгину, что это понятые и что сейчас ему будет предъявлено вещественное доказательство по его делу. При этом будет составлен специальный протокол.

Следователь старательно заполнил начальную страницу бланка протокола допроса, занес туда в который раз все данные Фейгина: фамилию, имя, отчество, год и место рождения, национальность, партийность, социальное положение и так далее. Затем он поднял со своего стола и предъявил подследственному… его собственную трость, с которой тот в течение многих лет ходил обычно на прогулку.

Кстати сказать, у меня из рассказов Фейгина о его жизни отложилось в памяти, что жил он на Литейном, почти на углу Невского, напротив дома, на котором укреплена мемориальная доска Салтыкову-Щедрину.

— Узнаете ли вы этот предмет? — торжественно спросил следователь, протягивая Фейгину его трость.

— Конечно, узнаю.

— Подтверждаете ли вы, что эта трость была изъята у вас в квартире во время обыска в вашем присутствии?

— Да, подтверждаю.

Фейгин подумал тогда, что его хотят обвинить в намерении убить набалдашником трости какого-нибудь ответственного партийного работника. Он было уже приготовился дать отпор подобным диким наветам. Однако его воспаленное воображение было слишком маломощным для того, чтобы вообразить то, что он услышал. Да что там его воображение! Сам Салтыков-Щедрин не смог бы навоображать подобный наворот невежества, тупости и злобной обвинительной воли, на какую оказались способны сталинские мастера произвола и фальсификации.

— Значит, палка принадлежит вам, — констатировал следователь. — Расскажите чистосердечно: как она оказалась в

вашем владении?

Теперь старик Фейгин подумал, что его начнут уличать в краже трости из Русского музея или из Эрмитажа. Но он снова не угадал.

— Эту трость подарил мне мой отец, когда я был еще студентом.

Откровенный хохот раздался в ответ на эти слова. Послышались реплики понятых вроде:

— Ишь ты, одной ногой в гробу стоит, а врет!

— Совести нет ни на грош.

Следователь снова протянул Фейгину его палку, верх которой украшали серебряная втулка и набалдашник из слоновой кости.

— Вы можете прочитать надпись, которая выгравирована здесь на серебре?

— Прочитать не могу, а наизусть знаю: здесь по латыни — «Vive Vita!», что означает «Да здравствует жизнь!».

Присутствовавшие вновь расхохотались.

— Ох, и хитер! Во дает старый еврей!

— Прекратите вводить следствие в заблуждение, Фейгин, — отсмеявшись, произнес следователь с металлом в голосе. — Вы что думаете, здесь дураки собрались, которых вы можете за нос водить?! Не выйдет, Фейгин! Вы не хуже нас знаете, кому эта палка принадлежала до вас и кто, следовательно, вам ее в действительности подарил. Гравировка, как обычно, означает имя владельца трости. И написано здесь «Vive Vita!», что означает: «Да здравствует Витте!».

Фейгин, которому так и не предложили сесть, аж покачнулся от неожиданности.

— Позвольте, гражданин следователь.

— Прекратите болтать! Отвечайте на вопрос: вы знаете, кто такой Витте?

— Конечно, знаю. Граф Сергей Юльевич Витте, председатель Совета министров при царе с 1904 по 1906 год. И вообще великий политик и реформатор.

— Запишите в протокол эти откровенные монархические заявления, — приказал следователю один из «понятых», видимо, какой-то начальник.

— Ишь, как хорошо знаком с графом Витте. По имени-отчеству его величает, — заметил второй «понятой». — Может быть, вы и адрес знаете, где граф изволили проживать?

— Конечно, знаю, — сказал Фейгин. — На Петроградской стороне. Я знаю даже, где царь проживал: зимой в Зимнем дворце и в Петергофе, а летом в Царском Селе.

— Ну, хватит издеваться, Фейгин! — прервал старика

следователь. — Отвечайте честно и прямо: в каких отношениях вы находились с махровым контрреволюционером, монархистом графом Витте, и при каких обстоятельствах у вас оказалась его трость?

Напрасно старик Фейгин пытался взывать к разуму своих следователей, объясняя, что ему — в те давние времена бедному студенту-еврею — было так далеко до царского премьер-министра графа Витте, как нынче до Калинина, к которому он собирается обратиться с просьбой о заступничестве. Еще меньше внимания было обращено на его замечание, что фамилия Витте должна быть написана с двумя, а не с одной «т» в середине, и с буквой «е», но не «а» на конце.

За отказ от дачи правдивых показаний ему пригрозили карцером и прочими карами. Предложили крепко подумать над своим вражеским поведением.

Рассказ бедного старика вызвал в камере бурное обсуждение. Все понимали, для чего Фейгину «шьют» монархические связи. Стихи против товарища Сталина мог написать только матерый, закоренелый контрреволюционер, враг советской власти. Значит, хочешь не хочешь — надо искать корни этих контрреволюционных настроений. Разумеется, нашлись бы какие-нибудь — не эти, так другие — «корешки». Но тут подвернулась палка с такой надписью! Вещественное доказательство еще дореволюционных контрреволюционных связей обвиняемого! Вот и решили кинуть палку на весы обвинения!

Кто-то из сокамерников предложил Фейгину объявить себя незаконным сыном Витте. Во-первых, ослабнет политический характер связи с царским премьер-министром, а во-вторых, могут и зауважать. Приученные к холопству «сталинские соколы», сознательно или подсознательно, в душе уважают всяких бар и «графьев».

Я тоже, в шутку, конечно, предложил Фейгину признаться в том, что «черносотенец» Витте подарил ему свою палку при вступлении Фейгина в «Союз Михаила Архангела», с тем, чтобы Фейгин мог использовать ее тяжелый набалдашник, участвуя в еврейских погромах. Пусть, мол, так запишут в протокол. А на суде вскроется вся дичь этого обвинения. Тем более что Витте был врагом черносотенцев.

— Не вскроется, — печально покачал головой старик Фейгин. — Осудят как миленького: и за то, что состоял в «Союзе Михаила Архангела», и за то, что участвовал в погромах. И если незаконным сыном самого царя признают — все равно упекут. Нет уж, дорогие мои, пусть будет, как будет.

Чем кончилась эта история, толком не знаю. Фейгин

довольно скоро угодил в тюремную больницу. Доносились сведения, что он был осужден Особым совещанием на смехотворный по тем временам срок: пять лет лагерей. Впрочем, для Фейгина и этот срок вроде бы оказался пожизненным. Рассказывали, что до смерти Сталина и до реабилитации он не дожил.

А я до сих пор невольно вспоминаю старика Фейгина, когда захожу в книжный магазин на Литейном, что вблизи Невского.

Представляю себе, как он выходил из подворотни и шел к Невскому своими мелкими шажками, ощупывая впереди себя панель палкой с тяжелым набалдашником из слоновой кости и с серебряной втулкой, на которой было выгравировано «Vive Vita!», то есть «Да здравствует жизнь!»

Покушение на Тольятти

Как-то раз в дверях камеры зазвякал и защелкал ключ. Каждый из нас — троих тогдашних ее обитателей — стал взволнованно смотреть на дверь: «За кем пришли? Кого «выдернут» на допрос?»

Оказалось, что прибыло пополнение. В камеру тихо шагнул пожилой человек в каком-то весьма поношенном полупальто, в валенках и старой солдатской шапке без звездочки. Лицо у него было простое, добродушное. В его наивных, широко раскрытых глазах застыли испуг и удивление. Он довольно долго — минуту, а то и две — молча стоял возле захлопнувшейся за его спиной двери. Потом он поклонился нам и сказал. Впрочем, об этом потом. Рассказ о Василии Карпове и о том поразительном факте, который привел его в нашу камеру, лучше начать с самого начала.

Василий Карпов родился еще перед первой русской революцией в деревне где-то под Псковом. Семья была очень бедной. Свой хлеб Василий зарабатывал с самого раннего детства. Пас скотину, работал в поле. Когда немного подрос — это было в годы Первой мировой войны — осенью уходил из деревни на заработки. Учиться Василию не довелось. Жизнь была бедной, трудной и однообразной. «Темь и холод, грязь да голод» — так он сам охарактеризовал свою жизнь в те годы. Ничего не изменили для него и революции — Февральская и Октябрьская. Все так же он работал крестьянскую работу, все так же ходил на заработки. И только один раз на короткое время увидел он в «окошке» своей жизни яркий радужный свет.

Василий был мобилизован в Красную Армию. Было это под самый конец гражданской войны. В боях и походах ему участвовать не пришлось. Застал он уже шумный пир победы. Чуть не каждый день происходили митинги. Над головами бойцов и жителей деревень, в которых останавливалась часть Василия, полоскались красные полотнища. На трибунах сменялись ораторы — один другого голосистее и красноречивее. Гремела медь духовых оркестров. Ораторы громили Антанту, добивали разбитых белых генералов. Каждая речь заканчивалась здравицей в честь товарища Ленина, товарища Троцкого, товарища Зиновьева, товарища Белы Куна и многих-многих других вождей победоносной революции и гражданской войны.

Два года, проведенные Василием Карповым в Красной Армии, пролетели быстро. Он вернулся в свою деревню, в свою бедняцкую избу. Жизнь его стала еще бедней и тягостней.

Наполнилась она невиданными «напастями»: коллективизация, голод, оккупация. И всегда, во всем мраке и темноте его жизни, виделся ему один свет в окне — вспоминались годы службы в Красной Армии: митинги, оркестры, яркие речи. В те годы он, Вася Карпов, был вместе со всеми, такой же, как все, ничуть не хуже и не ниже любого другого — все были равны, все были победителями, все торжествовали и все состояли при великом, хоть и не очень понятном ему всемирном деле. Да, он тоже торжествовал и тоже кричал: «Да здравствует товарищ такой-то! Да здравствует товарищ такой-то!» А ведь чем больше прокричишь великих и грозных имен, тем больше к ним приближаешься, как бы подымаешься над собой. А как встречали их полк у околиц деревень и на окраинах городов!! Крики «Ура!», цветы. Кринки с молоком подносят. И ему подносили. Да, все это было. А потом.

В 1948 году Василий Карпов снова ушел из своей деревни на заработки. Добрался он до бумажного комбината в городе Энсо, в Карелии. Нанялся в качестве «разнорабочего» в цех уборки территории. Целый день он подметал то один, то другой участок — то в цехах, то между цехами. Заводской народ Васе нравился. Начальник цеха у него был строгий, но справедливый, заработок выводил неплохой. Все шло хорошо, и быть бы Василию Карпову с хорошим заработком дома, и жить бы ему спокойно в своей деревне, и прийти бы через год снова в Энсо на заработки. Но случилась беда. В далекой Италии, в городе Неаполе, какой-то нехороший человек — «супостат», как говорил Василий, — совершил покушение на секретаря коммунистической партии Пальмиро Тольятти, а в тюрьме оказался он, Василий Карпов.

Непросто себе представить, как могло событие, случившееся в городе, о котором Василий, возможно, никогда и не слыхал, с человеком, о котором он тоже не слыхивал, так круто изменить его судьбу?

Как говорится: где Вася Карпов, а где Пальмиро Тольятти? Где Энсо и где Неаполь?

А вот случилось! Однажды утром, когда Карпов спокойно подметал заводской двор, к нему подошел начальник цеха разнорабочих. Он держал в руках какую-то бумагу.

— Слыхал, Карпов: в Италии произошло покушение на Тольятти!

— Не, не слыхал.

— Ну, про Тольятти ты знаешь?

— Не, не знаю про такого.

— Эх ты, темнота! Это же генсек Итальянской коммунистической партии.

— Все равно не слыхал.

— На него покушение было. Стрелял кто-то в него на площади.

— Ой, как нехорошо. Жалко человека, царство ему небесное.

— Какое ему царство небесное, когда он еще не умер.

— Ну, тогда слава богу.

— Ладно, Карпов, я к тебе с этим делом не зря пришел. Сегодня в четыре часа будет на комбинате митинг по данному случаю. Будем протест выражать против покушения. Так вот, есть решение — от нашего цеха тебе и выступить. Сейчас по всей стране митинги протеста идут. И во всем мире тоже. Вот и наш цех не должен оказаться в стороне.

— Так как же? Что говорить-то. Я же про этого Тольятти ничего не знаю.

— Не знаешь, так узнаешь. Вот тебе бумага. Здесь вся твоя речь на митинге уже отпечатана. Прочтешь и все. Не велика работа. Прочесть-то сумеешь?

— Сумею. Если, конечно, заучу. Прочту если бумагу раз десять.

— Вот и хорошо. Освобождаю тебя сегодня от работы. Найди где-нибудь тихое место, сядь и выучи свою речь наизусть, чтобы глаже было читать.

— А может, другой кто скажет, кто пограмотней?

— Нечего, нечего прибедняться, Карпов. Прочтешь речь не хуже других. Но, конечно, постарайся: души в нее подбавь, иначе говоря, злость.

Ослушаться самого начальника цеха Василий Карпов, как он нам сказал, «не имел никакого права». Он поставил, где полагалось, свою метлу и сел зубрить речь. Читать он к этому времени научился неплохо.

Карпов просидел над текстом несколько часов, не прерываясь даже на обед.

Наконец, настало время митинга. На огромном дворе собрались едва ли не все двадцать тысяч работавших на комбинате. Возле кирпичной стены нового цеха была сооружена трибуна. Гремел духовой оркестр. На ветру трепетали кумачовые полотнища лозунгов. На трибуну поднялось все начальство во главе с самим директором комбината, которого Карпов до этого ни разу и не видел. Наконец оркестр смолк. Начались речи. Митинг был радиофицирован, и слова ораторов громогласно неслись над головами двадцатитысячной толпы. После каждого выступления весь митинг взрывался аплодисментами в адрес оратора и многоголосым ревом возмущения в адрес фашизма и мирового империализма. Один за другим раздавались могучие

призывы: «Да здравствует коммунистическая партия! Да здравствует великий Сталин!»

Карпов с удивлением услышал, что все ораторы повторяют почти то же самое, что написано и в его бумаге. Но он понял, что так надо.

Он знал, что его имя должны объявить, ждал этого объявления. Но когда вдруг на всю огромную площадь разнеслось: «Слово имеет рабочий разнорабочего цеха Василий Карпов», и многотысячный митинг взорвался аплодисментами, он обмер от страха. Стоявший рядом начальник цеха подтолкнул его в бок и сказал: «Пошел, Вася! Бегом! С богом!»

Карпов, не чуя под собой ног, поднялся на трибуну, подошел к микрофону, кашлянул и начал говорить. Сначала он говорил медленно и неуверенно. Но когда почувствовал, что слова у него выговариваются те самые, что надо, те самые, что стоят в бумажке и которые он, к тому же, наизусть выучил, робость его прошла. Его вдруг охватил какой-то могучий порыв. Показалось, что возвернулась к нему его молодость, что повторялось то самое яркое и волнующее, что было в его жизни. Митинг, тысячи голосов, оркестр, кумачовые плакаты. Тут же рядом командиры — всякие начальники. Все кричат «Да здравствует!» и «Долой!». Сейчас и он закричит, и ему захлопает вся двадцатитысячная толпа. Да, прошлое вдруг ударило ему в голову. Он пришел в небывалое возбуждение. Под конец своей речи он уже не говорил, а кричал. Отдельно выкрикивал каждую фразу. Размахивал кулаком правой руки и даже левой рукой, в которой была зажата бумажка.

Митинг еще молчал, но Карпов чувствовал, что его слушают, и знал, что когда он кончит, тишина взорвется бурными криками одобрения. Он успел почувствовать, что ждет этого одобрения, хочет его.

Он закончил свою речь пламенными призывами. Теми самыми, что всплыли в его разгоряченном мозгу из тех давних митинговых лет.

— Да здравствует товарищ Ленин! — прокричал он. — Да здравствует товарищ Троцкий!..

Митинг омертвел. Остолбенели от ужаса стоявшие на трибуне начальники. И все растерялись.

— Да здравствует товарищ Зиновьев! — неслось над площадью. — Да здравствует товарищ Ворошилов!..

Этого последнего имени, однако, никто уже не слышал — радист уже выдернул из микрофона шнур.

На Карпова набросились какие-то люди. Он продолжал что-то кричать. Его связали, засунули ему в рот кусок кумача,

оторванный от лозунга, свисавшего с трибуны.

В тот же вечер его доставили в Ленинград. Несколько месяцев держали в тюремной больнице — обследовали на вменяемость. Врачи признали его здоровым. Вот тогда и появился он в нашей камере.

Перед нами стоял пожилой человек в поношенном полупальто, в валенках. В его широко раскрытых глазах застыли испуг и удивление. Он довольно долго — минуту, и то и две — молча стоял возле захлопнувшейся за его спиной двери. Потом он низко поклонился, опустив правую руку почти к самому полу, и тихо произнес:

— Привет, миряне.

Обвинение Василию Карпову предъявили тяжкое. Что-то вроде такого: провокационная политическая акция, проведенная по заданию троцкистского подполья и иностранных разведок (не помню, каких именно стран).

Карпов пробыл в нашей камере недолго. Вскоре его от нас увели. По слухам, отправили в Москву в следственный отдел по особо важным делам. Больше я о нем никогда ни от кого не слышал. Неужели его расстреляли? Не хочется даже сейчас, спустя столько лет, так думать. Особенно когда вспомнишь его наивные добрые глаза и те первые слова, которые он произнес, войдя в нашу камеру: «Привет, миряне».

«Академия перепихнизма»

Позднее, уже в лагере, встретил я нескольких ленинградцев, сидевших в одно или примерно в одно время со мной во внутренней тюрьме. Был среди них и такой «государственный преступник» как Яша (если угодно, Яков Матвеевич) Маркус.

Это был во многих отношениях уникальный человек. Во-первых, он был уникальным сапожником-модельером, дамским мастером высочайшего класса. Во-вторых, этот сравнительно молодой — лет тридцати, ленинградец, умудрился остаться совершенно безграмотным.

«Скорее бы на слободу», — повторял он в лагере. Это «на слободу» было предметом насмешек со стороны даже самых темных блатных. И, наконец, у него был уникальный срок — всего пять лет ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей). И обвинение у него и у его подельников было весьма уникальное.

Группа, в основном молодых лоботрясов, стала в шутку называть себя «Академией перепихнизма». Члены этой «Академии», в том числе толстый Яша Маркус, выходили по вечерам на «Бродвей», сиречь Невский, с целью подцепить каких-нибудь податливых девиц. Надо сказать, что название «Академия» — оказалось весьма точным, поскольку ее деятельность носила, в основном, чисто академический характер. Разговоров на вожделенную тему было у «академиков» много, а девиц мало. Да и сами «академики» были, видимо, героями больше на словах.

В кругах артистов эстрады, среди которых есть специальный жанр — «разговорник», то есть конферансье, чтец, автор-исполнитель скетчей, видимо, и родился шуточный термин «бабник-разговорник». Вот и подельники Яши Маркуса были типичными «бабниками-разговорниками». На то, чтобы организовать постоянную «крышу», заманивать туда девиц, пытаться их опаивать или, не дай бог, изнасиловать, — ни на что подобное у них, слава богу, и пороха не было.

Так и захирела бы эта дурацкая «Академия», если бы не попала в сферу ее внимания одна весьма пикантная особа.

Толстая, с плохой фигурой и малопривлекательным лицом, она была наделена неукротимой сексуальной энергией. К тому же любила выпить наряду с парнями. Взахлеб курила, что в те времена было весьма редким явлением среди женщин и девушек. А главное — она обладала авторитарным характером. Очень скоро вся «Академия» перебывала на ней, но вместе с тем, и сама оказалась «под» ней. Она стала заводилой и организатором всяких веселых встреч. И деньги у нее всегда были.

Жизнь «Академии» стала более яркой. Встречи стали интереснее, проходили весело и, если можно так выразиться, вполне удовлетворительно. И вдруг над «Академией» разразилась гроза. Пришла она с неожиданной стороны. Сочлены столь приятной во всех отношениях дамы как-то не обратили внимания на ее фамилию. А между тем, фамилия у нее была знаменитая на весь мир. Ее родным дедом был, как оказалось, один из самых великих русских ученых, автор знаменитой таблицы. Тут я вынужден оборвать фразу, так как продолжить ее — означало бы назвать имя великого человека, что в данном контексте представляется нежелательным.

Лихая толстуха, связавшаяся с «Академией перепихнизма», воспитывалась у своей старой тетки — родной дочери великого ученого. У сестры отца нашей героини.

Каким-то образом тетка дозналась об «Академии». Во имя спасения своей племянницы она написала в Обком партии заявление, в котором просила оградить внучку великого русского ученого от развратной банды растлителей.

В МГБ, куда заявление было передано «для принятия мер», хорошо знали, что представляет из себя эта «теткина внучка». На несчастную жертву растления она никак не походила. Но указание Обкома гласило: решительно оградить внучку великого русского ученого от дальнейших покушений на ее честь со стороны группы разложившихся элементов. Тем более, что среди них находились явные «космополиты», вроде того же Маркуса. Ну, а это в тот момент само по себе было серьезным криминалом. Оперативно-следственная машина МГБ заработала на полный ход. «Академия перепихнизма» подверглась разгрому как антисоветская организация. Ее члены получили разные сроки наказания по статье 58–10. С какой стороны их развлечения подпадали под понятие «антисоветская пропаганда и агитация» — сказать трудно. Яша Маркус, видимо, по причине своего пролетарского происхождения — потомственный сапожник — и абсолютной политической, равно как и всякой другой, — безграмотности, получил «детский срок» — пять лет лагерей. А что с него можно было взять, если на вопрос следователя: «с какой целью вы в своей преступной деятельности прикрывались названием «Академия»»? Яша Маркус, знавший, что на всякий случай полезно все отрицать, решительно заявил: «Я в своей преступной деятельности никогда ничем не прикрывался, даже одеялом. Ей-богу не прикрывался». Заметив, что следователь хохочет и, сообразив, что сморозил что-то не то, Яша решил поправить дело: «Да и прикрывать-то было нечего». Следователь едва не упал со стула: «Это тебе-то с таким задом нечего было

прикрывать?!»

Следователь, ведший дело «Академии», вероятно, для того, чтобы развлечь свое начальство, записал эти показания Яши Маркуса в протокол дословно. А нам, своим товарищам по лагерю, об этом допросе неоднократно рассказывал сам Яша. Он каждый раз искренне недоумевал — чему мы смеемся. Сам он считал, что проявил мудрость и твердость, когда заставил следователя записать в протокол, что он «ничем не прикрывался», считал, что тем самым он «отмотал» от «катушки» грозившего ему срока, по меньшей мере половину. Думаю, что в этом последнем утверждении он был прав. Скорее всего, именно эти «материалы дела» поспособствовали тому, что Яша получил такой малый, ничтожно малый по тем временам срок — всего пять лет. Да еще, будучи участником антисоветской (?!) организации!

Не могу не сказать здесь следующего: я отнюдь не хотел выставлять покойного Яшу Маркуса (он умер лет через десять после освобождения) на посмешище. Я просто не мог не написать здесь о том, каковы были «дела», за которые людей сажали в тюрьму как государственных преступников. Что же касается самого Яши Маркуса, скажу без преувеличения — он был очень душевным, очень добрым человеком. Думаю, что это подтвердят все знавшие его по нашему Каргопольлагу строгого режима и те, кто вместе с ним работал в мастерских ленинградского театрально-постановочного комбината. А что касается счастливых женщин, в том числе многих известных актрис, которых он осчастливил, сшив им модельные туфли, — те, безусловно, вспоминают его самым добрым словом. Ведь лучших туфель, чем те, что им сделал Яша Маркус, они никогда не носили.

Следствие. Следователи. Свидетели

Вернусь к своим делам.

Разбуженные моим приходом, обитатели камеры, Берстенев и Ефимов, прежде всего поинтересовались — откуда я прибыл: с воли или из другой камеры. Когда они узнали, что я являюсь «свеженьким», сегодняшним, сон от них отлетел. Они накинулись на меня словно на свежий номер газеты. К сожалению, ничего интересного для них я рассказать не мог. К тому же, дежурный по этажу, появившийся, чтобы бросить на свободную койку матрас, подушку, наволочку, простыню, тоненькое одеяло с выцветшими полосками на одном конце и вафельное полотенце, — цыкнул на нас:

— Разговоры прекратить! Не нарушать отбой!

Когда он вышел, мои новые знакомые, ворча и позевывая, отвернулись от света к стене. Я стал быстро стелить простыню, надевать наволочку. Вспомнилась привычная процедура подобного рода в вагонах поездов.

Я очень торопился побыстрее справиться с бельем, так как решил, что яркую лампочку, торчавшую под потолком, которая мешает моим соседям спать, надзиратель не гасит, чтобы я успел постелить постель, раздеться и лечь. «Святая простота»! Лампочки в тюремных камерах гаснут только днем, да и то редко, когда в неширокий зазор, оставляемый козырьком, навешанным за окном, попадает яркий свет солнца. В течение всего остального времени суток лампочка ярко светит с потолка камеры, чтобы дежурный надзиратель мог, сдвинув в сторону закрышку «глазка», в любое время видеть, что происходит в камере. Я этого еще не знал и долго лежал с открытыми глазами в ожидании — когда же наконец погасят свет.

Мысли — одна мрачнее другой — сменялись в голове. «Что будет с моей семьей? Неужели в случае моего осуждения жену с крошкой-сыном и немощной старушкой-тещей выселят из Ленинграда? Куда им ехать? На что и как жить? Что будет со мной? Неужели осудят? На сколько? За что?..»

Я попытался вспомнить хотя бы один случай освобождения арестованного МГБ до суда или оправдания на суде. О таких случаях я не слыхал. Но ведь могли, тем не менее, иметь место такие факты?

Проснулся я от громкого, продолжительного звонка, гремевшего снаружи на всю тюрьму. Вслед за этим надзиратель, проходивший вдоль галереи, открыл «кормушку» — прямоугольный вырез в дверях камеры — и громко прокричал:

«Подъем! Кончай ночевать!» Мы с моими соседями поднялись, застелили койки, умылись. Начался мой первый тюремный день.

Опишу кратко нашу, естественно, вполне стандартную камеру. Это был каменный «мешок» — стены и потолок которого были выкрашены в шаровый цвет, в какой окрашивают военные корабли. От двери до противоположной стены было шагов десять, в ширину — пять. В верхней части стены, напротив двери, находилось небольшое — меньше, чем метр на метр — окошко, забранное снаружи «намордником». Так в тюрьмах называют специальный козырек, позволяющий видеть только полоску неба, да и то в «шашечку», поскольку за стеклом в проем окна была вделана толстая решетка.

В каждой камере была, как теперь говорят, «встроена» мебель на одного человека: железная койка — прямоугольник из цельной согнутой железной трубы с продольными и поперечными железными полосами. Днем койка, укрепленная у стены на петлях, наподобие лежачей двери, поднималась и прижималась массивным, вделанным в стену плоским крюком. У противоположной стены был укреплен небольшой металлический стол, рядом с которым находилось также приделанное на железных петлях к стене сиденье. Отворотом металлического кронштейна в сторону сиденье можно было опустить. Возле параши находилась металлическая раковина умывальника, над которой торчал медный кран. Пол в камере тоже каменный, с гладким, вроде бы даже асфальтовым покрытием.

По предположениям царских проектировщиков тюрьмы в таких следственных камерах должно было находиться по одному арестанту. В мое время в них сидели обычно по три, по четыре человека. В дополнение к железной койке в камеру втискивали еще два-три топчана — один под окном напротив двери, один между столом и парашей, третий по той же стене, что и койка.

Как я слышал еще в детские годы, во времена так называемой «золотой лихорадки», в тюрьмах нарочно создавали невыносимую обстановку, запихивая в такую камеру по десять, а то и по двадцать человек. Никаких топчанов, само собой, не было и железные койки поднимались к стене. Бывшие нэпманы и другие лица, у которых, как полагали власти, имелись золото и драгоценности, набивались в такие камеры так, что можно было только стоять, как в набитом до отказа трамвае. Ни сесть, ни лечь не было никакой возможности. Батареи парового отопления (под окном) нагревались до предела. Говорили тогда об этих арестах — «посадили в парилку». В «парилках» пожилых в основном людей держали до тех пор, пока они не соглашались сдавать свои ценности.

В такой парилке побывал и мой дядя Гриша, в прошлом коммивояжер, давным-давно расставшийся со своей профессией и ставший высококвалифицированным автослесарем. Его держали дольше обычных трех-четырех дней потому, что ему нечего было сдавать. Золотом и ценностями он не обладал. Вспоминая теперь (в 1949 году) его, да и не только его, рассказы об ужасах многодневного стояния на ногах в толпе, втиснутой в небольшую камеру, я понимал, что по сравнению с условиями «парилки» нахожусь прямо-таки в раю.

Помногу людей набивали в камеры и в тридцать седьмом году. И находиться в этих камерах было тогда еще страшнее, чем в «доброе старое» время «парилок» — в конце 20-х, в начале 30-х годов. В те прошлые годы пытка заключалась в самом пребывании в камере.

В тридцать седьмом камера становилась местом короткой передышки между допросами, во время которых арестованных зверски били и мучили, выбивая признания в неслыханных преступлениях. Избитых и окровавленных, порой потерявших сознание «врагов народа» и «шпионов иностранных разведок» приволакивали в камеру, где они, хотя бы на полу могли отлежаться и немного прийти в себя перед следующим сеансом избиений и пыток.

Рассказов об этом периоде «нарушений социалистической законности» я тоже наслушался достаточно много. Хотелось верить, что теперь, в сорок девятом, — «другое время», что бить и пытать не будут. Разве что будут лишать сна с помощью длительных ночных допросов. Днем, как известно, в тюрьмах спать не дают.

Одним из первых моих вопросов к старожилам камеры и был такой — бьют ли на допросах. Оба сказали, что их пока не били и что вообще, вроде бы, не бьют. А если кого и ударят, то по-божески — влепит следователь раз — другой по морде. А так все больше на крик стараются брать и на запугивание. Непризнающимся угрожают большим сроком, вплоть до двадцати пяти лет лагерей.

Я подумал, что угрозы такого рода отнюдь не пустые слова. В городе было широко известно о том, что многие из ранее арестованных получили именно по двадцать пять лет.

Один из моих соседей — старик Ефимов свой первый срок получил еще совсем молодым человеком, в 1920 году, за участие в Антоновском мятеже на Тамбовщине. Участие его выразилось в какой-то мелочи. Если не изменяет память, однажды он показал дорогу отряду антоновского войска. Наказание он тогда получил, по нашим временам, пустяковое — два года высылки на Кавказ.

Теперь, само собой, ему следовало добавить.

С Ефимовым и Берстеневым мне пришлось просидеть вместе недолго — несколько недель. Следствие по их делам было закончено, и их одного за другим перевели в другие камеры.

Из разговоров с Берстеневым и Ефимовым запомнился нескончаемый спор. Начали они его еще до моего появления и поэтому я оказался для них третейским судьей. Спорили они, как теперь говорят, — «до посинения» на тему: кому тяжелее оказаться в тюрьме — молодому или старому.

Берстенев утверждал — молодому тяжелее. Старый свою жизнь уже прожил, все радости ее испытал, многих уже и так лишился с возрастом, а доживать оставшиеся годы можно и в заключении. Тем более, что старого на тяжелые работы не пошлют. А вот молодому арест и тюрьма жизнь ломают в самое лучшее ее время и всю дальнейшую жизнь испортят.

Ефимов утверждал свое. Во-первых, молодому легче переносить тяготы тюрьмы и лагеря, он выносливее, здоровее, не обременен болезнями, которые в тюрьме вдвое труднее переносить, чем дома. Во-вторых, насчет жизни. У молодого все впереди — отсидит и будет жить нормально. А для старика, говорил он, тюрьма — «предбанник смерти». И, значит, жизнь уже как бы кончилась, ждать от нее уже больше нечего.

Я, по молодости лет, склонялся к мнению Берстенева. Хорошо бы пожить на свободе еще лет десять — двадцать. Попользоваться прелестями жизни вовсю. Ну, а потом, ладно уж, все равно быть стариком плохо. Но зато, после прожитой на свободе жизни, будет, сидя в заключении, что вспомнить. Теперь, когда я пишу эти строки, я думаю иначе. Прежде всего, сегодня я бы, наверное, просто не вынес того, что сумел перенести тогда в возрасте 30–35-ти лет. Кроме того, чем дольше продолжалась бы свободная и счастливая жизнь, тем тяжелее было бы с ней расставаться, тяжелее было бы вспоминать то, что было. В молодости жизнь — это состояние обычное, само собой разумеющееся и кажущееся вечным. А в почтенном возрасте каждый год жизни ощущается как подарок судьбы. Вопрос — «сколько еще осталось» — не сходит «с повестки дня». Жажда жизни на этой почве обостряется, а силы жизни ослабевают. Прежней, пусть подсознательной уверенности — «все переживу, все выдюжу» — нет и быть не может. По всем этим причинам, как я теперь полагаю, прав был Ефимов. Да и вообще, быть молодым везде лучше, чем быть старым. В том числе и в заключении. Моя память, воплотившаяся в эти записки, как мне кажется, подтвердит именно эту мысль еще не раз. Тюрьма и лагерь, как и война, — это для человека, пока он жив — жизнь. Какая ни на

есть — жизнь. А тяготы жизни и радости жизни легче и лучше переживать в молодом возрасте.

Моих первых сокамерников — Ефимова и Берстенева — я больше никогда не встречал. Правда, Берстенев не забыл мой адрес, выученный в камере в 1949 году. В пятьдесят четвертом году ко мне домой заходил человек, освободившийся, как и многие в то время, из лагерей. Это был Берстенев. Я еще продолжал тогда находиться в заключении. Берстенёв оставил для меня письмецо с адресом, по которому он собирался жить где-то, если не ошибаюсь, в Ленинградской области. По возвращении из лагеря, в самом начале пятьдесят пятого года, я написал по этому адресу письмо. Ответа не было. Возможно, явившись домой, Берстенёв убедился, что его там не ждали, и уехал куда-то в другое место.

После ухода из 66-й камеры Ефимова и Берстенева, привели в нее сразу трех новых постояльцев — бывших деревенских старост на оккупированной территории, из-под Любани. Говорить с ними мне было не о чем. В их разговорах между собой преобладало что-то такое грязное и тупое, что при всей тюремной скуке слушать было противно. Меня не оставляло убеждение, что были они при немцах вовсе не старостами, а полицаями-карателями.

Однажды, не вспомню по какому поводу, я начал им объяснять строение Вселенной, о котором у них не было элементарных школьных представлений. Какие-то свои, тем не менее, были. Когда я сказал, что Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце — вокруг Земли, они единодушно и весьма злобно заявили, что это антирелигиозная пропаганда и что слушать они про это не желают. Больше я с ними старался не разговаривать.

Про себя я тогда подумал о печальной судьбе некоторых научных теорий. Вот так: теория Птолемея о том, что Земля центр Вселенной, вокруг которой вращаются все прочие планеты и само Солнце, веками господствовавшая над лучшими умами человечества, нашла своих последних адептов в лице бывших фашистских пособников, полуграмотных и тупых.

Принудительное сожительство с этими тремя соседями превратилось для меня в самую настоящую пытку. Однажды я под каким-то предлогом отказался выйти на прогулку. К этому, кстати сказать, принуждали только в случае систематического отказа. Когда мои соседи ушли, я попросил дежурного надзирателя вызвать корпусного.

Корпусный оказался рядом и быстро пришел. Я попросил дать мне бумагу и чернила для написания заявления о переводе в одиночную камеру. В одиночную камеру сажали особо опасных преступников, например, бывших больших начальников,

руководителей обкома партии, сидевших по так называемому «Ленинградскому делу». В одиночку сажали простых «врагов народа», вроде меня, в порядке наказания. Мой следователь неоднократно угрожал мне, что переведет в одиночку. А теперь я сам решил попроситься в одиночку, лишь бы не находиться рядом с такими соседями.

Корпусной — коренастый, невысокого роста, по званию старшина, несомненно, был опытным тюремщиком. И думаю, он был вполне искренним, когда дал мне совет — не писать такого заявления.

— Лучше с кем угодно находиться, чем в одиночке, — сказал он. — Звереют там люди от тоски. А кроме того, я вижу, вы человек книжный, читательный.

— Конечно, читательный, — подтвердил я.

— Так вот и рассудите: через день-два книги будут менять, а вас в камере четверо. Получите по книге на нос на десять дней. Итого, значит, четыре. А в одиночке у вас будет один единственный нос, а значит, и одна книга на десять дней. Вот и рассудите.

Корпусной меня уговорил, и я не стал писать заявления о переводе в одиночку. И слава богу! Через пару дней нам — фактически мне — выдали четыре книги, и я углубился в чтение.

Через пару недель полицаев перевели в общую камеру — ждать суда, а у меня один за другим появились новые соседи. Один из них, правда, оказался едва ли не еще более невыносимым, чем любой из моих бывших соседей. Это был инженер по фамилии Степанов.

Он прибыл на «пересуд», на новое рассмотрение своего дела. Его, как оказалось, не в первый раз переводили из камеры в камеру. И он повсюду таскал за собой, наряду с узелком каких-то своих вещей, довольно большой белый мешок, кажется, наволочку, набитый сухими кусками хлеба. Этот высокий человек в сером измятом костюме, с землистым мрачным лицом, с голым черепом думал и говорил только об одном — как бы у него не отняли (начальство) и не разворовали (сокамерники) его хлеб. В тюрьме в наше время кормили далеко не сытно. Но голода не было. Тем более, что работать не заставляли, и двигаться приходилось мало.

Быть может, самое время сказать здесь несколько слов о тюремном меню. Кормили нас три раза в день. Утром, после подъема и оправки, два кухонных рабочих, в сопровождении надзирателей, везли по галерее, останавливаясь возле дверной ниши каждой камеры, тележку с бачками и чайниками. Надзиратель открывал дверную форточку, и мы протягивали

через нее свои алюминиевые миски и кружки. В миску по утрам накладывали порцию каши — гречневой размазни, пшенки, перловки, овсянки. Порции были маленькие, дно миски обычно не покрывали. В кружку наливали чай, как мы говорили — «из вейника». Давали также дневную пайку хлеба — серого или черного. Помнится, четыреста граммов. Кусочек масла или сала с полспичечного коробка и небольшую кучку сахарного песка на клочке бумажки.

В обед обвозили сначала супом. Суп обычно был из рыбьих костей, иногда из гороха, иногда это были довольно постные щи, в которых, бывало, оказывалось несколько волокон отварного мяса. Потом камеры обвозили вторым и чаем. Выдать второе заодно с супом нельзя было, так как у каждого из заключенных была всего одна миска.

Второе блюдо состояло опять же из небольшой порции каши или картофельного пюре. Рядом с кашей на дне миски лежал кусочек солонины граммов 15–20. Из большого медного чайника, похоже, сохранившегося в тюрьме еще с царских времен, наливали чай.

На ужин снова привозили чай и, кажется, больше ничего. Кто хотел, оставлял на ужин кусочек хлеба и щепотку сахара. Аппетит отчасти отбивал табак. Папиросы надзиратель приносил из тюремного ларька. Деньги шли со счета заключенного, на котором числились деньги, отобранные при поступлении в тюрьму, либо переданные родственниками. Сумму, которую разрешали передавать, сейчас припомнить не могу. Рублей десять в месяц, не больше. Передач для подследственных не принимали. Из ларька, кроме папирос и спичек, не приносили ничего.

Мне лично, приученному к скудному пайку блокадными нормами, еды хватало. Правда, я с первого дня дал себе обет — съедать все без разбору. Моей первой тюремной едой была полная миска — слили из бачка остатки — рыбного супа. В основном в миске оказались лежавшие на дне бачка рыбные кости. Я знал, что они содержат фосфор и решительно разжевал и съел все, до последней косточки. Съедал я в тюрьме и куски свеклы, и тыквенную кашу, которые на воле не ел. Словом, со вкусом не считался.

Степанову, вероятно, еды не очень-то хватало. Человек он был высокий, в прошлом, на воле, привык, видимо, хорошо питаться. Тем не менее, он редко принимался грызть свои сухари. Он их берег. Ночью клал свой мешок рядом с подушкой. Днем, сидя на койке, держал на нем руку. Он не столько голодал, сколько боялся голода. Боялся, что перестанут кормить в тюрьме. Боялся, что отправят в какой-нибудь еще более голодный лагерь,

чем тот, из которого его привезли. Да, он хранил свой хлеб на черный день, на еще более черный день. Он был явно болен. Тяжело болен психически.

Мы, трое его товарищей по камере, договорились, что каждый из нас, попав на прием в амбулаторию, скажет об этом врачу. И мы сказали ему об этом. Говорили с корпусным, когда Степанова увели на допрос. Обещали, что разберутся. Шли недели и месяцы, а Степанова в больницу не брали. Так и отправился он на свой «пересуд», а потом обратно в лагерь. Нежелание тюремных врачей признать психически больным действительно больного человека было характерно для того времени. Тут само собой просится добавление: в отличие от другого, более позднего времени.

Да, отношение к вопросу: не признать ли политзаключенного психически больным — в то, сталинское время и в более позднее — брежневское, было абсолютно различным. В сталинское время НКВД — МГБ ни за что не хотело отдавать свою «добычу» — человека, арестованного по политической статье. Ни на свободу, поэтому не освобождали даже при полном провале плохо состряпанного дела (как, например, моего дела), ни медицине, даже если подследственный был явно болен (как, например, Степанов). И это понятно. Количество разоблаченных врагов — было главным показателем для положительной оценки работы «органов». Случаев «брака» — необоснованных арестов или «разоблачения» в качестве политического врага больного человека — не должно было быть. Обмишуриться таким образом ни один уполномоченный, ни один следователь не хотел! Поэтому психиатрическая экспертиза в тюремной больнице, на которую иногда следователи вынуждены были направлять своих подопечных, например, по постановлению суда, как правило, одинаково «успешно» разоблачала и симулянтов и действительно больных.

В брежневские времена, под влиянием мирового общественного мнения и в результате подписания Советским Союзом Хельсинских и прочих соглашений о правах человека, наличие у нас в стране политических заключенных стали вообще отрицать или в лучшем случае сводить к минимуму. Ситуация тотчас переменилась. Если раньше какой-то процент обвиняемых симулировал сумасшествие в надежде избежать осуждения, то теперь само государство начало симулировать сумасшествие своих граждан, которых оно хотело изолировать без того, чтобы увеличивать число политзаключенных. С этой целью, как известно, психиатрическая экспертиза начала признавать психически больными совершенно здоровых людей.

После моего заключения в 66-ю камеру прошло два или три

дня томительного ожидания. За это время побывали на допросах Берстенев и Ефимов. Каждый раз, когда гремел ключ, я вздрагивал, устремляя взгляд на надзирателя, появлявшегося в дверях.

Было странное ощущение. Мне хотелось, чтобы меня скорее вызвали на допрос, хотелось, чтобы скорее кончилась неопределенность, чтобы что-то прояснилось. Но когда открывалась дверь, невольно охватывало недоброе волнение, попросту говоря, страх. А когда выяснялось, что пришли не за мной, становилось легче.

После отбоя я подолгу не мог заснуть. Да и не очень к этому стремился. Днем в камере трудно думать. Разговоры редко прерывались. Разве что для чтения. Но читать помногу нельзя, хочется растянуть скудную книжную «пайку» наподобие хлебной или сахарной.

После отбоя, лежа на койке, я мог спокойно поразмышлять. Я заставлял себя думать о предстоящих допросах, готовился к ним. Без конца, как теперь говорят, проигрывал свою борьбу с воображаемым пока следователем, который будет стараться изобличать меня в разговорах, которых я не вел, в преступлениях, которых я не совершал.

Почти весь прошедший год, с марта сорок девятого, после сообщений, полученных мною от абсолютно откровенного Ваганова и явно мутившего воду К., я готовился к обороне против ложных обвинений на следствии. Так, например, Ваганов сказал мне, что его допрашивали о написанной мною «антисоветской» поэме о Гуковском. Профессор истфака Матвей Александрович Гуковский — брат знаменитого литературоведа профессора Григория Гуковского — и сам был известным ученым-медиевистом. Этот исключительно знающий и интересный человек имел весьма смешной вид. Он был очень маленького роста, с большой шишкой на лысине. До войны он потряс весь наш факультет женитьбой на юной красавице, студентке второго курса Скворцовой. В послевоенном университете профессор М. А. Гуковский был проректором по аспирантуре при знаменитом ректоре — Вознесенском, которого студенты называли «папа», «папаша».

Гуковский, прекрасно знавший меня по довоенному истфаку, по научному кружку, по моим публикациям студенческих лет, тем не менее, вынужден был (я подчеркиваю эти слова) отказать мне в приеме в университетскую аспирантуру, хотя прекрасно знал, что составить мне конкуренцию по уровню подготовленности к дальнейшей научной работе в тот момент никто не мог.

Основываясь на этом сюжете, я написал абсолютно шуточную

«Поэму о Гуковском». Она начиналась словами:

Не имея сыновей,
Жил да был один Матвей.

Дальше (сейчас некоторые строки уже забылись) говорилось, что «Матвей» решил жениться, чтобы обрести потомство:

С этой целью образцовой
Он женился на Скворцовой,
Срезал шишку (с головы),
Принял меры… но увы,
Несмотря на все объятья
Не послал им бог зачатья.

В поэме в юмористическом плане был изображен ректор университета Вознесенский — всесильный владыка — «Папаша», декан нашего факультета профессор Мавродин и профессор Корнатовский.

Из слов Ваганова я понял, что «Поэму о Гуковском» собираются мне инкриминировать как антисоветскую. Понимая, что это легче всего сделать, если рассуждать на уровне оценок и ярлыков, при отсутствии самого текста, я решил помешать подобному истолкованию в общем-то невинной, с точки зрения политической, шутки. Перепечатав «Поэму» в нескольких экземплярах, положил один из них в ящик своего стола на работе, в Отделе рукописей, другой — у себя на письменном столе дома, а третий держал постоянно во внутреннем кармане пиджака. Мой расчет оправдался. Читая свое дело после окончания следствия, я увидел три протокола обыска, составленных — один на моем рабочем месте в мое отсутствие, один у меня в комнате майором Яшоком также в мое отсутствие, и третий — при моем поступлении в тюрьму. Во всех трех значилась «Поэма о Гуковском». И поскольку текст ее оснований для обвинения в антисоветской агитации не давал, «Поэма» на допросах во время следствия не фигурировала. Спасибо Олегу Ваганову и за это!

Все месяцы, в течение которых я ожидал ареста, я тщательно изучал Уголовно-процессуальный кодекс и комментарии к нему. Я хотел досконально знать свои права, что я имею право требовать от следствия по закону. Как читатель увидит в дальнейшем, я доставил немало хлопот своим следователям, требуя, со ссылкой на УПК, выполнения ими целого ряда моих требований. Я составил для себя целый список авторитетных лиц,

которых намеревался вызвать в качестве свидетелей, способных подтвердить мою абсолютную лояльность. Словом, я активно готовился себя защищать. Теперь, лежа на тюремном топчане, зажмуривая глаза от яркого света голой, без всякого колпачка лампочки под потолком, я снова и снова вспоминал все, что уже обдумывал раньше. Я старался настроить себя на предельную неподатливость и твердость, приготовиться к нелегкому и опасному бою. Как говорили в Древней Руси — укрепиться духом, «исполчиться».

Мысли о предстоящих допросах мешались с другими. Я тяжело страдал от разлуки с женой и сыном, очень тревожился за их судьбу. Меня не оставляла тяжелая, неизбывная обида на свою судьбу, на постигшее меня несчастье. Тяжело было думать и о разлуке с любимой работой, так успешно начавшейся. Вспоминались война, фронт, мечты о прекрасной жизни после войны. Вспоминались друзья. Я пытался представить себе — кто, что говорит о моем аресте. Я не сомневался в том, что целый ряд сотрудников Публичной библиотеки злорадствуют по этому поводу. Но знал и то, что многим искренне жаль меня. Тяжело было думать о том, что совсем рядом за стенами тюрьмы продолжается обычная жизнь — ходят трамваи, спешат прохожие, работают театры, крутится кино. Как обычно идет жизнь в Отделе рукописей.

Но вот на третий день моего пребывания в камере, перед тем, как нам прикатили ужин, в дверном замке заворочался ключ.

— Фамилия?! — спросил надзиратель.

Я назвал свою фамилию. Надзиратели, приходившие за кем-то из заключенных, сами никогда не называли фамилию того, кто им был нужен. Делалось это во избежание нежелательных казусов. Вдруг, назовешь нужную фамилию, а на нее откликнется, выйдет из камеры и окажется в кабинете не своего, а другого следователя, или не дай бог на очной ставе с каким-то другим подследственным или свидетелем не тот, кого сюда вызывали, а совсем другой человек. Или вдруг того, за кем пришли, успели перевести в другую камеру, а в этой сидят какие-то уже новые люди. Тогда, назвав фамилию того, кто ему нужен, надзиратель, быть может, сообщит факт пребывания в тюрьме данного лица именно тем, кто этого не должен знать. Да мало ли еще какая «поруха» государственной безопасности может произойти, если назвать человека по фамилии! А при системе, когда надзиратель только спрашивает фамилию, а заключенный ее называет — ошибка вроде бы исключена. Итак, я назвал свою фамилию.

— На выход! — с этими словами надзиратель снова прикрыл дверь.

— Идите к параше, — подсказал мне Берстенёв. — Минута дается на оправку.

Перед выходом на допрос захотелось почему-то взглянуть на себя в зеркало. Но зеркала в камере, разумеется, не было. Я надел пиджак, укрепил завязкой брюки. Примерно через минуту дверь отворилась.

— Пошли. Руки назад.

Надзиратель-конвоир, идущий за мной, руководил моим движением с помощью коротких команд: «вниз», «налево», «прямо». Он велел мне войти в какую-то дверь и я оказался в довольно длинной деревянной галерее с зарешеченными окнами. В здании тюрьмы было жарко, а галерея не отапливалась. На дворе было градусов тридцать мороза. Я инстинктивно ускорил шаг.

— Короче шаг, — приказал надзиратель. Пришлось идти медленно. У меня застучали зубы. Но вот снова дверь и снова теплое помещение. Я понял, что прошел по галерее, соединяющей тюрьму с «Большим домом». Мы оказались в довольно широком коридоре, по обеим сторонам которого я увидел одностворчатые деревянные двери, выкрашенные в темный цвет. На каждой стоял номер, набранный большими накладными цифрами. Коридор упирался в деревянную перегородку, в которой тоже была дверь. Возле нее стоял не то вахтер, не то часовой в синей фуражке.

Из-за некоторых дверей доносились приглушенные крики. По характеру этих криков — по их требовательной, приказной интонации я понял, что это следователи кричат на допрашиваемых.

Я с тревогой вслушивался — не донесутся ли крики тех, кого допрашивают, крик человека, которого бьют, мучают. Таких криков слышно не было. Я успел подумать: «А как я поведу себя, если будут бить? Выдержу ли? Не залепечу ли: «Подпишу все, что вы хотите, только не бейте, не мучайте!»?» Я не мог дать себе твердого ответа на этот вопрос. Точнее говоря, я боялся, что пыток или тяжких избиений не выдержу и что не пригодится тогда все мое многомесячное накачивание мускулов духа. «Только бы не расслабиться, только бы «не запищать»!» — мысленно повторил я себе знаменитый макаренковский девиз.

Конвоир приказал мне войти в дверь под номером тринадцать. Я потянул дверь на себя, ожидая тотчас увидеть какую-то комнату и своего следователя. Но за первой дверью, на расстоянии чуть более метра, оказалась вторая. Надзиратель, оттолкнув меня в сторону, постучал в нее.

— Введите! — услышал я негромкий, спокойный голос.

«Введите!» сколько раз я слышал потом это слово! Сколько

миллионов людей слышали его перед тем, как войти в кабинет следователя. «Введите!» Это словечко десять лет спустя я вложил в уста одного из героев сатирической комедии «Опаснее врага» — начальника Отдела кадров Института Кефира Малькова. «Ой, войдите!» — тут же поправлялся он и зал взрывался хохотом, тотчас узнавая по одному этому словечку — кто он и откуда «пришел в науку». Но горький этот смех зазвучал потом. А тут было не смешно. Было страшно — что-то ждет меня здесь?!

Надзиратель толкнул дверь. Теперь я оказался в небольшом кабинете. Впереди, перед окном, стоял канцелярский стол, изрядно залитый чернилами. За столом, склоняясь над бумагами, на которые падал свет от настольной лампы с зеленым абажуром (какая мирная картинка), сидел немолодой, лысоватый человек с погонами капитана на плечах.

— Заключенного доставил, товарищ капитан! — доложил мой конвоир.

— Спасибо, — подняв глаза от бумаг, сказал капитан. — Можете идти. — Конвоир вышел.

— Садитесь, — следователь указал мне на стул, стоявший посреди кабинета.

Я сел.

— Моя фамилия капитан Трофимов, — сказал капитан.

— Странная фамилия, — заметил я.

— Что? — искренне удивился следователь. — Чего же в ней странного?!

— Фамилии — «Капитан Трофимов» я раньше никогда не слышал. Скорее, на название парохода похоже, чем на фамилию. Потому и сказал — «странная».

— Все ясно, — сказал Трофимов. — Правильно меня насчет вас ориентировали.

— Не уверен, что правильно, если я здесь нахожусь.

— Вот и я было сомневался. Подумал, может быть, наговаривают на хорошего человека, может быть, он вовсе и не враг, а наш человек.

Но теперь вижу — зря сомневался. Правильно мне вас оперативники охарактеризовали — опасный и хитрый враг!

— Что же я такого вражеского сказал? Что фамилию «капитан Трофимов» не слыхал? Легко, выходит, у вас во враги попасть.

— Нет, не в словах дело. А в поведении. Ты ведь сюда не в гости пришел.

Я отметил про себя, что Трофимов перешел на «ты».

— Ты пришел к следователю. Тебя обвиняют в серьезных государственных преступлениях. А ты позволяешь себе шутки шутить. Начинаешь издеваться над следователем с первой

минуты. А это уже почерк. Вражеский почерк. Советский человек так бы себя не повел.

— А как бы он себя повел?

— Нормально. Без всяких наглых шуточек. Начал бы, например, с того: «гражданин следователь, прошу вас объективно разобраться в моем деле». Ну и в таком духе.

— Наверно, многие так именно себя и ведут.

— Конечно. Таких наглых, как ты, я еще не видел.

— Значит, эти «многие», которые ведут себя правильно, — это советские люди. А вы объявляете этих советских людей врагами и отправляете их в лагеря?

— Ну, что ж, — сказал Трофимов, едва ли не с торжеством в голосе, — так и запишем в протокол: «На первом же допросе заявил, что органы государственной безопасности арестовывают и держат в лагерях невинных людей».

— Записать вы, конечно, можете. Но я этого не подпишу в такой форме.

— Ах, он не подпишет. Скажите, пожалуйста. А в какой же форме прикажешь твою клевету записывать?

— Строго дословно. То, что я говорил, буду подписывать. Я растолковал вам смысл ваших же слов. Вот и запишите, что вы сами сказали и что я по этому поводу вас спросил.

— Да, штучка. Не зря, не зря меня предупреждали, — сказал Трофимов как бы самому себе. — Ну, ничего. Твое дело ведь тоже не какому-нибудь рядовому следователю дали вести, а как-никак заместителю начальника следственного отделения.

«Слава богу», — подумал я. Начальник — какой он ни на есть — лицо более ответственное, чем рядовой следователь. И нарушать законы ему труднее. Да и вообще, Трофимов, если и не понравился мне, то показался наименьшим злом. Или лучше сказать — меньшим злом, чем то, с каким я ожидал встретиться. Лицо у него было не злое. Обычное лицо полуинтеллигентного служащего. С таким лицом мог он быть управдомом или ленинградским вагоновожатым довоенного образца, старшим бухгалтером или даже продавцом в книжном магазине. А вот для инженера или учителя его лицо было бы уже не совсем подходящим. Говоря так, я имею в виду нормальное соответствие человека своей должности и функции. В нашей номенклатурно-кадровой системе можно было уже в те годы сплошь и рядом увидеть профессора с лицом полотера, педагога с лицом вышибалы. Ну, а сегодня разрыв между «уровнем» лица и «уровнем» функций, порученных обществом данному лицу, значительно увеличился. Вся надежда на то, что «перестройка» произведет и необходимую «перелицовку»[8].

Вид у Трофимова, несмотря на то, что он был одет в форму, вполне гражданский. Чувствовалось, что он педант, что будет цепляться за все, что можно и за что нельзя. Но трудно было представить себе, что он вскочит со стула, схватит меня за грудки, двинет несколько раз головой об стену, ударит по лицу. Это впечатление оказалось верным. Подобных эксцессов за долгие шесть месяцев, что продолжалось мое следствие, действительно не было.

Ругань, удары кулаком по столу, карцер, запугивания, крючкотворство, ночные допросы, лишавшие сна, всякого рода «психические атаки», вроде прямых угроз и намеков на расправу с семьей — это все было. Ну, так ведь без этого, как говорится, никак невозможно.

Ни я, ни тем более Трофимов, не могли предположить, как закончится наша первая встреча. Вроде бы ничего не предвещало «бури».

После вступительной беседы, которую я описал, Трофимов приступил к формальной процедуре — заполнению пунктов первого листа протокола допроса. Бланки протоколов были отпечатаны типографским способом и первый лист протокола — лицевая и оборотная сторона — представлял собой довольно подробную анкету. Заполнение ее для советского человека было делом привычным.

Затем Трофимов записал в протоколе и попросил меня подписать такой текст: «Об ответственности за отказ от показаний и за дачу ложных показаний предупрежден». Начитавшись УПК, я понимал, что такое предупреждение в отношении подследственного — довольно бессмысленно. По закону обвиняемый — тот, кому уже предъявлено официальное обвинение, ответственности за ложные показания не несет. Таким образом, как только я превращусь в обвиняемого, моя ответственность за ложные показания, если я стал бы такие давать, отпадет. Такое предупреждение объявлено мне исключительно с целью оказать психологическое давление: «не вздумай, мол, запираться или говорить неправду — придется отвечать!»

Своей подкованности в этих процессуальных деталях я перед Трофимовым обнаруживать не стал и подписал, как он просил, предупреждение.

После этого следователь записал в протокол и прочитал мне вопрос: «Расскажите о ваших связях?»

— На такой вопрос, — заявил я, — отвечать не буду.

— Как это не будешь?! Ты же только что был предупрежден, что за отказ от дачи показаний.

— Я не отказываюсь давать показания. Я отказываюсь отвечать на вопрос, сформулированный таким образом.

— Каким таким образом? Что еще за фокусы?!

— Под словом «связи» обычно понимают либо связи с женщинами, либо связи с какими-либо шпионскими и тому подобными организациями. О связях с женщинами я говорить не стал бы. Это к делу не относится. А каких-либо неблаговидных политических связей у меня нет. Да вы меня в этом и не обвиняете. В ордере на арест написано, что я арестован по статье 58–10 часть 1-я.

Нет смысла вспоминать и пересказывать весь набор брани и оскорблений, обрушенных на меня Трофимовым. Прозвучала угроза тотчас отправить меня в карцер. Но я решил твердо выполнять данное самому себе обещание — отстаивать каждую позицию, начиная с самой малой. Кроме того, данный вопрос был для меня совсем не таким простым. Убедившись, что меня с моей позиции не собьешь, Трофимов спросил:

— Ну, хорошо, а как прикажешь сформулировать этот вопрос?

— По-человечески, — отвечал я: — «Расскажите о ваших родственниках и знакомых» или что-либо в этом роде.

Трофимов взял новый бланк, заново заполнил первый лист, заново предложил мне подписать предупреждение насчет отказа от показаний и дачи ложных показаний. Затем он записал и задал мне вопрос: «Расскажите о ваших родственниках и знакомых. Притом — в каких отношениях вы с ними находились?»

— С удовольствием отвечу на ваш вопрос, — сказал я. — В виде собственноручных показаний. Дайте мне бумагу и чернила, и я перечислю всех своих знакомых и родственников.

— Ты что, совсем охренел? — снова вскинулся на меня Трофимов. — Тебе официально задан вопрос. Ответ будет записан на официальном бланке. Ты прочтешь то, что я напишу. Сможешь добавить или исправить написанное. Что еще надо?

— На этот вопрос я буду отвечать только письменно и собственноручно.

Я пытался объяснить Трофимову, что в моих отношениях с некоторыми из моих друзей есть моменты весьма деликатные и я хочу изложить их в своей редакции, чтобы я мог отвечать за каждое слово.

Моя настойчивость в этом вопросе имела серьезные основания. В интересах своей самообороны мне важно было указать на факты допроса о моей «антисоветской деятельности» Ваганова и К. Вместе с тем, я не хотел как-либо, по неосторожности, повредить тому и другому. Ведь я не знал, что

именно говорил обо мне К., хотя и предполагал, какие провокационные вопросы ему обо мне задавались. Зато я хорошо знал об угрозах Ваганову, о его благородном и решительном отпоре таким же провокационным вопросам. Какое-либо неосторожное сообщение здесь, на следствии, о том, что Ваганов предупреждал меня о грозящем мне аресте могло принести ему неприятности. Ведь к моменту моего ареста Ваганов еще работал доцентом университета и научным сотрудником Института истории Академии наук, был членом партии. Короче говоря, каждое слово этого сюжета должно было быть обдумано и взвешено.

— У нас не положено давать собственноручные показания, — настаивал Трофимов, все более и более выходивший из себя.

— В Уголовно-процессуальном кодексе прямо сказано, что подследственный имеет право давать показания собственноручно.

— Мало ли что там сказано! Будешь отвечать на мои вопросы и все!!

— Буду, но собственноручно.

— Ну, так, — сказал наконец Трофимов. — Я вижу, что по-хорошему с тобой нельзя. Пойдешь в карцер. Для начала на двадцать часов. Не одумаешься за это время — пойдешь еще на двадцать часов. И так, с небольшими перерывчиками — пока не прекратишь издеваться над следствием.

Он снял трубку телефона и попросил, чтобы за мной прислали конвоира. На мое удивление меня отвели в мою 66-ю камеру.

В тюрьме уже прозвучал отбой, но Берстенев и Ефимов не спали. Не поднимаясь с коек, чтобы не вызвать окрика «в глазок смотрящего», они стали расспрашивать меня о допросе. Я рассказал, что следователь обещал отправить меня в карцер.

— Наверно, просто пригрозил, — добавил я.

— Нет, не пригрозил, — покачав головой, сказал Ефимов. — Карцер оформить надо у начальства.

— Точно, точно. Жди. Сейчас за тобой придут, — подтвердил Берстенев.

И, действительно, не успел я доесть оставленный мне ужин, снова залязгал замок, меня вызвали и повели куда-то вниз.

В помещении, похожем на предбанник, вдоль стены стояли узкие шкафчики, я был передан какому-то другому надзирателю, ведавшему данной службой тюрьмы. Я уже уразумел, что Трофимов выполнил свою угрозу и что меня привели в карцер. Местный надзиратель прочел мне постановление, примерно такого содержания: «Я, заместитель начальника следственного отделения Управления госбезопасности по ЛО капитан Трофимов

постановил направить подследственного имярек, допустившего во время допроса недопустимое поведение — отказ от дачи показаний, сопровождавшийся издевательскими выходками в адрес следствия, а также органов безопасности, — в камеру специального режима на двадцать часов. Постановление утверждаю — начальник следственного отдела Управления по ЛО полковник Козырев».

Не ручаюсь за дословную точность этого текста, хотя запомнил его хорошо. Прежде всего, потому, что не раз пересказывал его и в те же дни в камере и товарищам по лагерной жизни, да и после освобождения. Но за точность смысла ручаюсь. Что касается неуклюжего оборота — «допустившего недопустимое поведение» — его я запомнил абсолютно точно и позднее вложил и эти слова в уста одного из героев сатирической комедии «Опаснее врага». Каждый раз, когда зрительный зал разражался веселым хохотом при этих словах, я невольно вспоминал те обстоятельства и тот контекст, которые мне их подарили.

— Вам понятно постановление следователя? — спросил карцерный надзиратель.

— Вполне понятно, гражданин карцерман.

— Ты что обзываешься, гад! — возмутился надзиратель. — Какой я тебе Кацман?! Здесь никаких «кацманов» и прочих таких давно нет. Ни одного! Так что не рассчитывай. Скидавай пиджак, верхнюю рубаху и ботинки. Живо! И складай все в шкафчик. Я тебе покажу — «гражданин Кацман»!

Я стал раздеваться, заметив при этом:

— Извините. Я назвал вас не «Кацман», а «карцерман». «Карцер» слово немецкое. «Ман» — тоже. Означает — человек при данном деле. Например, штурман, боцман. Вот я и обратился к вам с полным уважением — «гражданин карцерман».

— Немца, значит, захотел из меня сделать, обозвать фашистом, гестаповцем?! Придется рапорт начальнику тюрьмы написать, чтобы еще часиков десять карцера тебе добавить.

Пока он произносил свою угрозу, я успел раздеться и стоял в носках, в брюках и в казенной нижней рубахе.

— Пошел! — сказал «карцерман».

Он распахнул не закрытую на ключ, то есть уже приготовленную к моему приему, дверь, и я шагнул в карцер. Дверь за мной закрылась, и ключ несколько раз лязгнул в замке. Я оказался в обычной по размеру камере. Такое же окошко с решеткой за окном, такая же яркая лампочка под потолком, такая же «параша» — металлический стульчак в правом углу под окном, такой же умывальник, такая же батарея парового отопления под

окном. Даже такой же железный столик и такая же откидная железная скамеечка возле него. И дверь такая же, с глазком и «кормушкой». Были, однако, и существенные отличия от обычной камеры, из которой меня сюда привели. Их я немедленно и разглядел и почувствовал.

Вместо койки вплотную к стене был сделан бетонный рундук. На нем не было тюфяка. Лежала только подушка. Поверхность этого бетонного ложа искрилась тысячами разноцветных огоньков — она была покрыта сплошным слоем инея. На каменном полу инея не было, однако ногами я тут же ощутил сильный холод. Все объяснялось очень просто. Стекло в окне было выбито, а батарея была совершенно холодной. Я стал стучать кулаком в дверь. Довольно скоро подошел «карцерман».

— Чего надо?

— Батарея не работает, — сказал я. — Скажите, чтобы починили. И окно разбито.

— Сейчас, — с издевкой сказал «карцерман». — Побегу за мастерами. А пока здесь будут ремонт делать, тебя в баньку отведу и стаканчик водки тебе поднесу для сугреву. Только придется немного подождать.

— Скажите, сколько градусов мороза на улице? — спросил я.

— Тридцать четыре градуса с утра было.

Я видел только часть лица этого типа. Перед моими глазами находился его пакостный рот, искривившийся в наглой ухмылке.

— Я жалобу напишу! Дайте мне бумагу и перо.

— Вернешься в камеру — там дадут. В карцере бумага и чернила не положены. Да и замерзнут они здесь, чернила-то.

Мне неудержимо захотелось плюнуть через «кормушку» в этот мерзко искривленный рот. На всякий случай я сам отошел от двери. Я понял, что разговор со мной доставляет этому садисту развлечение. Мелькнула мысль: «Может быть, еще поговорить с ним — ведь через «кормушку» идет тепло?». «Кормушка» захлопнулась. Все стало ясным. Пытка холодом устроена здесь совершенно сознательно. И ничего не поделаешь. Надо терпеть и как-то приспосабливаться. Для начала я начал бегать по камере, растирая при этом бока согнутыми руками. Потом стал подпрыгивать, хлопая в ладоши то спереди, то сзади. Теплее почти не становилось. Да и долго ли можно прыгать. От бега и прыжков участилось дыхание. Холодный воздух обжигал горло. Тогда я стал просто ходить из угла в угол.

«Негодяи! Оставили бы хоть ботинки на ногах — все бы легче было». Я попробовал полежать на заиндевелой постели. Лег животом вниз. Под живот подстелил подушку. Голову положил на руки. Ступни выставил за пределы рундука. Не знаю, сколько я

сумел пролежать в такой позе — минуту, две или целых три. Первыми заледенели колени, потом руки. Я вскочил. Снова побегал и попрыгал. Лучшим положением оказалось такое: сесть на железную скамеечку, подложив под себя подушку, подтянуть к животу и обнять руками колени, опустить на них голову. Потом, когда устанешь так сидеть, колени можно опустить, но так, чтобы ступни не касались пола. Руками в это время можно растирать грудь, живот, уши, нос, щеки. Усерднее всего я растирал пальцы рук, обмороженные еще в сорок первом году. Они и сейчас, когда я пишу эти строки, моментально холодеют и белеют даже в осеннем холоде. Сколько раз читал я в различных книгах о сладкой белой смерти во льдах Арктики, или в сугробах русских степей. Закоченевший засыпает и видит чудесные сны. Ему чудится, что он в теплом цветущем саду, в горячих объятиях жгучей красавицы. А эти горячие объятия — в действительности, леденящие прикосновения смерти. Неужели и мне суждено пережить в этом промерзшем каменном мешке такие «приятные» минуты. Теперь я начал бояться того, что, закоченев, засну и, значит, умру. Самое страшное состояло в том, что ко сну и в самом деле стало клонить. Я снова бегал и прыгал. В какой-то момент я потерял над собой контроль, отключился. Помню, что очнулся я лежа на ледяном рундуке и в страхе вскочил на ноги. Я не имел ни малейшего представления о том, сколько я пролежал на своем морозном ложе. Знаю только, что достаточное время для того, чтобы «схватить» миозит (тогда я не знал ни такой болезни, ни такого слова) — воспаление спинной мышцы. Правда, меня эта болезнь схватила не сразу. Постепенно усиливающиеся легкие боли возникли у меня уже в «своей», следственной камере. И я стал привязывать к спине с помощью рукавов свитер, присланный в вещевой передаче из дому. Сильнейший приступ начался у меня уже в общей камере, летом. Но об этом потом. А сейчас замечу, что миозит, в пересменку с радикулитом, периодически мучает меня до сих пор.

Когда в щели окна забрезжил утренний свет, я стал с волнением ждать, дадут или не дадут чай? «Неужели дадут кружку холодной воды?» По логике поведения мучителей должно было быть именно так. «Если дадут холодную воду, — решил я, — плесну ее назад, в кормушку. Попаду кому-нибудь в рожу — тем лучше. Холодная вода мне не нужна — ее сколько хочешь течет из крана».

Кстати сказать — ни кружки, ни миски, ни ложки в камере не было. Я подумал: «Может быть, и вообще ничего мне здесь «не положено»?» В этих сомнениях я и дожил до момента, когда, наконец, за дверью послышались приглушенный грохот кухонной

тележки и голоса.

Я встал возле двери и держал руки вытянутыми вперед. Руки плохо гнулись. Я боялся, что не сумею как следует взять и удержать то, что дадут.

Но вот оконце отскочило назад. Мне протянули пайку хлеба. Я быстро зажал ее между коленями и снова протянул руки. Мне протянули кружку горячего кипятка.

В другом случае я немедленно поставил бы ее на пол или на стол — так она была горяча. Но тогда я не сразу почувствовал жар, спокойно поставил кружку на столик. Я начал прикладывать к ней ладони. Я прикасался к ней сначала осторожно, потом все более уверенно.

Не знаю, можно ли более нежно и нетерпеливо ласкать женщину. Я обнимал кружку ладонями, гладил ею себя по лбу, прикладывал ее к сердцу, к животу, ставил ее по очереди то на одно, то на другое колено, медленно проводил кружкой по бедрам, по икрам. Потом я начал прихлебывать из нее мелкими-мелкими глоточками, чтобы продлить радость проникновения внутрь горячей воды. Я обогревал паром нос. Из глаз у меня потекли слезы. Не знаю — то ли от того, что я распарил какие-то глазные протоки, то ли от нахлынувшего ощущения счастья возвращающейся ко мне жизни.

Я сидел на мягкой — не такой уж холодной подушке, прихлебывал горячую воду, пощипывал пайку мягкого хлеба. Было так хорошо, так радостно. «Чего еще надо человеку, — подумал я. — Чего еще надо?! Подольше бы так. Постоянно бы держать в руках эту горячую, полную кипятка алюминиевую кружку». Но кружка с каждой минутой охладевала. Теплой воды в ней становилось все меньше. Вдруг снова залязгал ключ в замке «кормушки».

«Пришел отнимать кружку», — решил я и залпом допил оставшуюся воду.

В «кормушку» заглянул тот самый карцерный надзиратель, которого я не раз за прошедшую ночь вспоминал с ненавистью.

— Еще кипяточку налить? — зазвучал его уже знакомый мне, чуть гнусавый голос.

— Да, да, пожалуйста, — быстро заговорил я и протянул ему кружку. — Пожалуйста, — продолжал я, торопливо произнося слова. — Если можно, то, пожалуйста, налейте еще кружечку.

Когда надзиратель вернул мне кружку, наполненную не такой горячей, как в прошлый раз, но все же достаточно горячей водой, я почувствовал прилив благодарности к нему за совершенный им добрый поступок. Я ведь знал, что он не обязан был наливать мне эту вторую кружку. Мне казалось тогда, что он не такой уж

дурной и злой человек.

— Спасибо. Большое спасибо, — заговорил я.

— Чего там, — ответил он. — Пей.

«Кормушка» закрылась.

Допускаю, что есть люди, никогда не ощущавшие себя рабом, холопом. То ли судьба уберегла их от положений, в которых такое ощущение может возникнуть. То ли особо высоким духом они обладают. Во мне такое чувство несколько раз в жизни возникало. Слава богу, редко, но бывали такие моменты. Могу, однако, сказать совершенно уверенно и себе (все, что я здесь пишу, я ведь говорю в первую очередь себе) и читателю этих строк: никогда в жизни, ни до, ни после этого случая с добавочной кружкой кипятка мне не доводилось так четко, так фиксированно, что ли, ощутить в себе чувство рабской, холопской благодарности «хозяину» за брошенную мне «кость». Поэтому и считаю я великим своим счастьем, фактором, оказавшим, быть может, влияние на всю мою дальнейшую жизнь, то, что я сразу же по достоинству оценил свое поведение. Тогда же, там, в карцере.

«Почему это я так залебезил перед ним из-за этой добавки кипятка?! — подумал я, усевшись на подушку возле столика. — «Спасибо», «пожалуйста», «большое вам спасибо». Не хватало еще добавить: «дай вам бог здоровьица», подобно нищему на паперти. За что я его должен благодарить? За то, что расщедрился на кружку казенного кипятку? Да если бы он был человеком, — постарался бы хоть как-нибудь облегчить мое положение. Ну, хоть вторую подушку кинул бы сюда. Можно было бы хоть как-то лечь. А голос его? А рожа? А издевательские слова, которые он вчера произносил? И почему он вообще тут служит полупалачом? За чуть более сытный паек, чем у других? Ради того, чтобы не стоять у станка, или не ходить за плугом? Он мерзавец и негодяй, мучитель-садист, наслаждающийся своей властью над теми, кто вчера был выше его, а сегодня отдан в его рук. Отдан для того, чтобы он — этот негодяй — хорошо, то есть «как положено», мучил здесь их, ни в чем не повинных людей! А я тут перед ним рассыпался в благодарности! Что же мне ожидать от себя завтра? Завтра следователь Трофимов раньше отпустит меня с допроса — «иди, поспи, а то не выспишься» — и я начну его благодарить. Послезавтра следователь разрешит мне передачу, и я начну кланяться ему до полу, как японец? Нет, нет, так не пойдет! Хорошо бы «зачеркнуть» то, что произошло, будто этого со мной и не было. Но как это сделать? Из песни слова не выкинешь. Но и так оставлять случившееся со мной нельзя». Я понял, что надо сделать. Пусть это глупо. Но так надо. Как хорошо, что я еще так немного успел отпить из кружки.

Я подошел к двери и решительно постучал. «Кормушка» открылась.

— Ну чего? — спросил надзиратель. — Еще кипяточку захотелось?

— Нет, — сказал я. — Хочу вам и этот вернуть. Я подумал, что положена всего одна кружка.

— Положена от государства, конечное дело, одна. А вторая — это от меня лично. Пей, согревайся. И поимей в виду — русский человек зла не помнит.

— Забирайте, — сказал я. — Что положено — то давайте. А от вас лично мне ничего не надо.

— У, волк проклятый! — прошипел он, сразу озлобясь. — Ты у меня и что положено не получишь!

— Украсть по мелочи собираетесь?!

— Лучше украсть, чем тебе отдать. Жаль, смена моя кончилась. Но ты-то уж точно ко мне еще не раз попадешься! — Он с шумом захлопнул «кормушку».

Я отсидел (отбегал, отпрыгал) в карцере ровно двадцать часов. Все и дальше шло так же, как я уже описывал. Холод отнимал все мысли, всякие другие чувства. И все же какие-то обрывки мыслей вдруг врывались в мое сознание. Вспомнилось предупреждение майора Яшока — «Не острите, не поймут. А если поймут — то не в вашу пользу».

Я было начал корить себя за свое поведение в отношении следователя Трофимова. Зачем надо было мне подшучивать над его нелепым — «Моя фамилия капитан Трофимов»? Разве нельзя было воздержаться от обыгрывания этой фразы и не вооружать его против себя?.. Выходит, я сам себя посадил в карцер. А ведь мог, если бы вел себя иначе, сидеть сейчас в своей теплой камере, не мучиться так невыносимо.

Хорошо, что у меня было достаточно времени, чтобы на смену этим рассуждениям пришли другие. Я пришел к выводу, что вел себя правильно по очень простому счету: я оставался перед лицом следователя самим собой. Хорош я или плох, но я — это я. Это он, Трофимов, хочет добиться, чтобы я перестал быть самим собой, превратился в другого человека. А еще лучше, в кусок воска, из которого он будет лепить все, что ему угодно. Этого допускать нельзя. Оставаться самим собой во всех перипетиях, которые меня ожидают. На большее я не способен. Но и на меньшее нельзя согласиться.

«Интересно, а как же здесь летом? — подумал я в какой-то момент. — Карцер ведь теряет тогда главное «исправительное» воздействие — холод».

Поскольку времени у меня было достаточно, и я сотни раз

переводил взгляд на окно и на батарею, ответ на вопрос — «А как же летом?» — вдруг пришел сам собой. Летом окно плотно застеклено, а батарея накалена. В летнем карцере кружка холодной воды имеет столь же важное значение, как зимой кружка горячей. Нет, летом все-таки лучше. Холодная вода течет из-под крана. А вдруг ее летом отключают, чтобы наказанный не поливал себя холодной водой? К счастью, летнего карцера я не испытал, и как у них это делалось летом, так и не знаю.

Объективность требует отметить, что на обед, кроме кипятка, мне дали полмиски полутеплой баланды. Вечером, ровно в восемь часов, какой-то другой «карцерман» выпустил меня из карцера. Я с трудом надел верхнюю рубашку и пиджак. Долго мучился с ботинками. Местный надзиратель меня не торопил, видимо, понимал, что руки у меня совсем окостенели и еле слушаются. Подошел еще один надзиратель и повел меня «домой» в 66-ю камеру.

Ефимов и Берестенев встретили меня трогательной заботой. Они принялись растирать меня своими шерстяными носками и рукавицами, украдкой нагретыми на батарее. Они высчитали, что мои двадцать часов отсидки в карцере окончатся вскоре после ужина, и не только потребовали выдать на меня ужин, но не притронулись и к своим порциям. Они заставили меня съесть три ужина и выпить три кружки еще чуть теплого чая. Особенно тронуло меня то, что они с утра сохранили для меня нетронутыми свои порции сахара. Добрые, хорошие люди. От всей души говорю им спасибо и сегодня, много лет спустя.

Сейчас я, пожалуй, еще острее ощущаю их душевную заботу обо мне — о своем случайном и совсем не давнем знакомом, попавшем в беду. Тогда их поведение казалось обычным и нормальным. Все мы тогда принадлежали к поколению, совсем недавно пережившему войну и блокаду, к поколению, привыкшему к норме жизни — помогай людям, и люди тебе помогут. Вытащить раненого из боя, отвлечь огонь на себя, доставить в роту еду, как бы это ни было опасно для твоей жизни, разделить по-братски последний сухарь, последние патроны — разве не было все это и обязательной и естественной, как само дыхание, нормой тогдашней жизни? Да, было. Постоянная взаимная выручка и взаимная помощь были бытом. Сегодня, если не возобладал, то, по крайней мере, прочно утвердился другой тип отношений — «я — тебе, только если ты — мне».

Теплота и забота обо мне моих первых тюремных товарищей, повторяю, ощущается мною сегодня сильнее, чем тогда.

Я съел и выпил все, что мне было предложено. Я грел руки и сидел возле батареи, вделанной в специальную нишу под окном.

Ничего не помогало — я продолжал дрожать и клацать зубами.

Когда прозвенел отбой, я быстро улегся под одеяло. Стало тепло. Дрожь понемногу стала утихать. Я лежал и с ужасом вспоминал свою прошлую ночь. И чувствовал себя счастливым оттого, что я снова «дома», в своей камере, в тепле и в уюте, рядом с такими хорошими и верными друзьями. С этими мыслями я и заснул.

Я проснулся от толчков в бок. Возле моего топчана, в одном белье стоял Берстенёв. Ефимов сидел на своей койке. В полуоткрытых дверях стоял надзиратель.

— Фамилия, — спросил он меня тихо.

Я назвался.

— На допрос. — Дверь закрылась.

Я понял, что дана минута на оправку и на то, чтобы одеться и быстро вскочил на пол.

Меня снова повели по холодной галерее в Большой дом. Интересно, что во сне меня уже перестала бить дрожь. Теперь, стоило мне окунуться в морозную стужу деревянной галереи, я снова задрожал. На этот раз меня провели мимо следственных кабинетов, и я оказался, как я понял, в широком коридоре на одном из этажей Большого дома. В коридоре горел неяркий свет. Справа и слева я видел двери с номерами, словно в гостинице. В конце коридора было большое, во всю стену окно. Приближаясь к нему, я узнал верх и покрытую снегом крышу дома напротив — артиллерийского училища на углу Литейного и улицы Воинова. Конвоир остановил меня возле крайней в этом коридоре двери и приказал войти в нее. Я оказался в просторной приемной. За письменным столом сидел, уткнувшись в бумаги, какой-то лейтенант или капитан. Оторвав глаза от бумаг, он кивнул конвоиру — «Садитесь».

— А вы, — обратился он ко мне — заходите в кабинет.

Меня все еще продолжало знобить. Я нажал дрожащей рукой на ручку двери и вошел в кабинет. В нем никого не было. На большом письменном столе слева от двери горела большая настольная лампа под большим, светло-зеленым шелковым абажуром. Напротив двери стоял большой, едва ли не во всю стену, книжный шкаф. На его полках, за стеклом стояли книги. Но большая часть каждой полки была пуста.

Я шагнул вперед и подошел поближе к шкафу. На одной из полок стояло собрание сочинений Ленина. На другой — несколько томиков сочинений Сталина. Другие названия я рассмотреть не успел.

— Дрожите? — раздался за моей спиной громкий голос. — Ну, ну, дрожите! Это хорошо.

Я оглянулся. Между стеной и оставшейся открытой створкой двери стоял толстый, грузный человек в форме полковника.

Я должен извиниться перед читателем за то, что в этих моих воспоминаниях второй раз упоминается имя Геринга. В отличие от обвиненного в шпионаже Микиты, на огород которого якобы садился самолет Геринга (см. выше), я мог бы, в случае надобности, достаточно широко разнообразить имена руководящих деятелей фашистского рейха. Но я вынужден снова назвать именно это имя. Человек, которого я увидел, обернувшись на его окрик, был похож на Геринга, как две капли воды. Не только толстыми ногами в сапогах, не только животом, обернутым офицерским ремнем, но и своим широким лицом и зачесанными назад волосами.

Человек этот, видимо, стоял в кабинете возле двери, когда я входил. Я не заметил его потому, что сам же и прикрыл его створкой двери. Скорее всего — хозяин кабинета именно этого и хотел, для создания эффекта неожиданности своего появления.

— Дрожу, — сказал я. — Меня продержали в карцере с разбитым окном и без отопления.

— Безобразие, — сказал «Геринг». — Я приму меры. Моя фамилия — полковник Козырев.

Я невольно улыбнулся, вспомнив, как представлялся мне следователь Трофимов, но промолчал.

— Я являюсь начальником следственного отдела.

Козырев закрыл дверь, предварительно приказав секретарю: «Трофимова ко мне».

— Значит, спасибо вам, гражданин полковник, — сказал я.

— За что спасибо?

— За незаконный арест и за карцер.

— Это вы себя благодарите и за арест, и за карцер. Не занимались бы антисоветской деятельностью — вас бы никто не арестовывал. Не вели бы себя безобразно на следствии — не посадили бы вас в карцер. Что заработали, то и получили.

— Понятно, — сказал я. — Признаюсь в том, чего не говорил и не делал — заработаю добавку баланды.

— Не только добавку баланды, но и убавку срока. А будете так себя вести на следствии, как сейчас, получите убавку баланды и добавку срока. Вам понятно?

— Понятно.

— Садитесь.

Я двинулся к одному из глубоких кожаных кресел, стоявших перед столом.

— Не сюда, — сказал Козырев. — Вот сюда, на банкетку. — Он указал на банкетку, покрытую черной кожей, стоявшую у

стены.

Я сел.

— Закуривайте, — Козырев протянул мне пачку «Беломора».

— Спасибо. У меня есть. — Я вынул из кармана пиджака свою пачку «Казбека», в которой оставалось еще несколько папирос.

— Вот видите, как вы тут у нас живете — «Казбек» курите. А еще недовольны следствием.

Козырев чиркнул зажигалкой, закурил свой «Беломор» и дал прикурить мне. Затем он обошел свой большой письменный стол и уселся в кресло.

— Ну, так что же вы, Даниил Натанович, — начал он, как я понял, ту «душеспасительную беседу», ради которой меня вызвали. — Вы же не глупый человек, должны понимать, что есть определенный порядок, по которому мы действуем. А вы не желаете его соблюдать.

— Если под тем порядком, который вы должны соблюдать, вы понимаете закон — вот и соблюдайте его. Только об этом и прошу.

— А мы и соблюдаем. Вы арестованы по закону с санкции прокурора. А он зря санкций не дает. Значит, ему был представлен убедительный материал о вашей преступной деятельности. Это раз. Второе. Следователь по закону обязан был задать вам вопрос о ваших знакомых и родственниках, мы называем это коротко — о ваших связях. А вы отказались отвечать.

— Не отказывался. Готов дать собственноручные показания.

— У нас не полагается, чтобы обвиняемый.

— Я не обвиняемый, — перебил я его. — Пока мне не предъявлено официальное обвинение — я еще не обвиняемый, а подследственный.

Козырев встал, подошел к окну и отодвинул тяжелую штору.

— Подойдите сюда, — махнул он в мою сторону толстой рукой, в которой была зажата дымящаяся папироса.

Я подошел.

— Взгляните в окно.

Я посмотрел в окно и увидел хорошо знакомый мне перекресток Литейного и улицы Воинова. На мостовой и на панели лежал снег. Несмотря на позднее время, по Литейному, да и по Воинова шли люди.

— Вы видите этих людей на улице? — спросил Козырев.

— Вижу.

— Вот они все — подследственные. А вы уже обвиняемый. — Он отпустил штору, и она закрыла окно.

— Вы поняли?

— Я давно это понял. Сам разгуливал там в звании подследственного.

— Ну вот, значит, поняли. Чего же вы тогда ерепенитесь? Идите на место. Садитесь.

Я сел на банкетку.

— В Уголовно-процессуальном кодексе сказано, что и подследственный, и обвиняемый тоже, имеют право давать показания собственноручно.

— Ишь, какой грамотей, — сердито сказал Козырев. — Это касается уголовных преступников, разных там бытовиков — взяточников, растратчиков и тому подобных. А вы арестованы за государственные преступления. И к таким преступникам подход особый.

— Странно, — заметил я. — Насколько я знаю, Уголовно-процессуальный кодекс у нас один и касается всех подследственных и подсудимых. Но если я ошибаюсь — покажите мне этот другой кодекс. Или хотя бы какое-нибудь постановление об исключениях из общего кодекса.

— Здесь не библиотека, — оборвал меня Козырев. — И ничего я вам показывать не буду. Если я, начальник следственного отдела, вам говорю, вы обязаны мне верить.

— Я вам готов поверить. Мне будет вполне достаточно, если назовете устно то постановление или инструкцию, где сказано, что.

— Прекратите вы свою шарманку или нет?! — буркнул Козырев. — Что вы заладили — УПК, УПК.

— Мне больше нечем защищать себя, кроме как законом.

В это время дверь приотворилась.

— Разрешите, товарищ полковник? — спросил заглянувший в кабинет следователь Трофимов.

— Заходи, заходи. Садись. Вот беседую с твоим подопечным. Похоже — карцер на него не подействовал, не размягчился он там.

— Попробую с ним опять по-хорошему поработать. А нет — придется его снова в карцер сажать. Может быть, на второй или на третий раз и размягчится.

— Не научная гипотеза, гражданин следователь, — сказал я. — В холоде, как известно, тела не размягчаются, а затвердевают.

Мне очень не хотелось снова оказаться в карцере, и произносил я эти слова не для того, чтобы уязвить следователей или бравировать своей стойкостью, а для того, чтобы убедить их в такой форме в том, что меня не надо больше сажать в ледяную яму. И хорошо, что эта тема нашего разговора прервалась

механически.

В кабинет Козырева вошел без стука сотрудник и подал полковнику какую-то бумагу. Тот стал ее просматривать. Я посмотрел на Трофимова. Поймав мой взгляд, он укоризненно покачал головой — «Как, мол, нехорошо, как стыдно так себя вести». Козырев вдруг оторвал глаза от бумаги и вопросительно взглянул на стоявшего возле стола сотрудника.

— По заданию Форейн офиса? А что это за организация такая? Наведи завтра же справку.

— Если позволите, я могу объяснить. Форейн офис — это английское министерство иностранных дел, — сказал я.

— Без вас знаем! — буркнул Козырев. — А уточнить надо. Хорошо, оставь у меня, — сказал он сотруднику.

Тот вышел.

— Ну, так как будем жить дальше? — обратился ко мне Козырев. — Показания будете давать?

— Буду. Но по этому вопросу только собственноручные.

— Вот видите, товарищ полковник. — Трофимов подошел к столу своего начальника. — Я же вам докладывал: враг, озлобленный до предела. И притом изощренный в демагогии.

— Вижу, — согласился Козырев. — Так вот, уважаемый знаток законов, заявляю вам: ваши фокусы здесь не пройдут. Не таких обламывали. А конкретно так, товарищ капитан: вызывайте его на допрос, не будет отвечать — приглашайте понятых и составляйте акт. Приложишь акт к делу. Затем вызывай свидетелей — дай очные ставки. Не будет отвечать на очных ставках — опять составьте акт. И предъявляйте обвинение в присутствии прокурора. Ну, и в су. Вы слышали, что я приказал следователю? — повернулся он ко мне.

— Слышал.

— А вы понимаете, что это хуже для вас, чем давать свои показания по делу, опровергать, если не согласны, показания свидетелей? Короче говоря, вы сами лишаете себя слова.

— Я выскажусь на суде.

Тут я заметил, что Козырев и Трофимов быстро переглянулись. На лице каждого мелькнуло выражение явного взаимопонимания по какому-то неведомому мне вопросу. Смысл этого обмена взглядами стал мне понятен только много месяцев спустя.

Не скрою — программа, которую изложил Козырев, меня изрядно смутила и напугала. Может быть, я и в самом деле своим упрямством только облегчаю им задачу накидывания мне на шею петли. Но зачем же тогда было сажать меня в карцер? Зачем тогда возиться со мной здесь? Мысли закружились в моей голове. Мне

захотелось сказать еще что-то, предложить какой-то компромисс. Но говорить, вроде, было уже нечего.

— Ну, все, — сказал Козырев. — Завтра вас вызовут на допрос. Одумаетесь — хорошо. Не одумаетесь — составим акт об отказе от дачи показаний.

— Этот акт будет актом сплошной фальсификации, что я и напишу перед своей подписью, — заметил я.

— А нам ваша подпись на нем не нужна, — ехидно улыбнулся Трофимов. — Понятые подпишут.

— Ваши же сотрудники?

— Зачем наши. Можем, например, журналиста, товарища Половникова пригласить из «Литературной газеты». Знаете такого? — спросил Козырев.

— Знаю.

— И мы знаем, что вы его знаете, — продолжал он со значением.

Действительно, с собственным корреспондентом «Литгазеты» в Ленинграде Половниковым я пару раз беседовал в Публичной библиотеке. Он давал какую-то информацию об обнаруженных мною неизвестных исторических памятниках. Да и вообще этот высокий человек с трубкой в зубах постоянно мелькал в ленинградских учреждениях культуры. Однажды, проходя по Литейному возле своего дома, я увидел его сидящим в открытой машине «Бьюик» — тогда такие бегали по Ленинграду, оживленно беседующим с группой людей в синих фуражках.

— Пригласим и кого-нибудь из ваших сотрудников по Публичной библиотеке, — продолжал Козырев. — Пусть полюбуются на вас и расскажут другим, какой вы фрукт.

— Что ж, эти понятые смогут услышать и рассказать только одно: что я не отказываюсь давать показания, а только прошу разрешить мне дать их собственноручно по одному единственному вопросу.

— По одному единственному? — тотчас, как бы ловя меня на слове, переспросил Козырев.

— По одному единственному.

— И тогда больше подобных фокусов не будет?

— Не будет.

— Сделаем так. — В голосе Козырева мне почудились нотки облегчения. — Собственноручных показаний мы вам не разрешим: нет оснований делать для вас исключение из наших правил. Следователь пригласит на допрос стенографистку. Вы способны сформулировать под стенограмму то, что хотели сформулировать письменно?

— Способен.

— Хорошо. Идите в камеру. Вопрос, который будет задан, вам известен. Готовьтесь к подробному ответу под стенограмму. Дадим вам на подготовку пару суток.

— Спасибо, — сказал я, вставая.

— Ну, видишь, — сказал Козырев Трофимову, — одумался твой подопечный. Я же ему сказал — и не таких обламывали.

Он явно хотел подчеркнуть свое профессиональное мастерство, которого Трофимову-де не хватило.

Я же, шагая с конвоиром обратно в камеру, испытывал чувство торжества, как бы теперь сказали — находился в состоянии эйфории. (Тогда я этого термина не знал). А как же! Я все-таки одержал победу. «Если так пойдет дальше.» — думал я.

В таком же состоянии оставался я и лежа без сна на своей койке. Тогда я сочинил весьма бодрое стихотворение, посвященное жене.

Мой друг, не беспокойся ты,
Надета на меня
Завидного спокойствия
Надежная броня.

И сколько ни старается
Мой следователь — черт,
Чуть не на стол взбирается —
Спокоен я и тверд.

А если он скапотится,
Начнет кричать во сне —
Не нам о нем заботиться,
А ей — его жене.

Мысль о свободе гордая
Живет в стенах тюрьмы,
И знаю очень твердо я,
Что вместе будем мы[9].

Перечитывая теперь эти строки, не могу не подумать о том, как все-таки недалеки друг от друга оптимизм (скажем мягче — избыточный оптимизм) и глупость. И «броня» моя оказалась не такой уж «надежной». И следователь мой не «скапотился», и, вероятно, не кричал во сне. По крайней мере, из-за меня. Вместе с семьей я оказался только через пять долгих лет. Да и то лишь потому так быстро, что умер Сталин.

Нет, воистину, в знаменитом споре — кому лучше сидеть в

тюрьме — старому или молодому — прав был Старик Ефимов. Молодому оказаться в таком положении все же лучше, чем старому. Только благодаря молодости (молодому и глупому оптимизму) можно было в сталинской тюрьме испытать чувство какой-то победы над следствием и проникнуться на основании этой малой победы надеждой на победу большую — на то, что сумеешь доказать свою невиновность и выйти на свободу. Факт, однако, остается фактом — я был в то время избыточным оптимистом. И это, кстати сказать, несмотря на то, что всего года за два до своего ареста, прочитал в оригинале, в порядке сдачи кандидатского минимума по французскому языку, сатирический роман Вольтера — «Кандид». Его герой — неисправимый оптимист Панглос — в любых ситуациях восклицал: «Все к лучшему!» Последний раз он провопил эти слова в момент казни, когда его подвергли кастрации.

Не буду подробно описывать ход дальнейшего следствия. После состоявшегося допроса под стенограмму, к которому я старательно подготовился, интересных моментов вспоминаю всего три или четыре. О них сейчас и расскажу.

Как я узнал потом, при ознакомлении со своим делом по окончании следствия, сильные страсти разыгрывались за кулисами моих допросов. А в своей «надводной части» следствие шло довольно вяло.

Следователи обязаны были — за этим наблюдал прокурор по надзору за тюрьмой — вызывать обвиняемого на допрос не реже одного раза в две или в три недели. Трофимов не раз вызывал меня ради проформы. Бывало, я по нескольку часов просиживал перед ним на стуле, а он занимался своим делом. Мне он рекомендовал изучать карту Советского Союза, висевшую на стене кабинета примерно напротив моего стула.

— Выбирай место на севере — куда тебя направить, — советовал он мне.

Разумеется, я должен был «изучать» карту на расстоянии, сидя на своем месте. Под конец такого «сидения» Трофимов заполнял протокол допроса, задав, опять-таки для порядка, один-два малозначительных вопроса. Я отвечал, подписывал протокол и шагал в камеру. Формальность была соблюдена. Сам Трофимов, как оказалось, был секретарем парторганизации следственного отдела и занимался во время таких пустых допросов своей общественной работой. Один за другим заходили к нему какие-то сотрудники Управления, видимо, следователи, а может быть, и другие, состоящие у него на учете, чтобы заплатить членские взносы. При каждом таком появлении происходил маленький «типовой» спектакль. Поговорив о том о сем, например, о

футболе, об отметках сына или дочери посетителя, о том, как тот отдохнул в отпуске. Трофимов обязательно, словно соблюдая ритуал, переходил к одной и той же теме. Причем говорил каждый раз почти одними и теми же словами:

— Вот, полюбуйтесь. Сколько лет работаю, но такого матерого врага, такого бессовестного лжеца — еще никогда не встречал.

Посетители с деланным любопытством оглядывали меня, словно диковинного зверя. Некоторые из них, подыгрывая Трофимову, что-то изрекали, вроде: «По роже видно — враг!»

Однажды между таким посетителем и мною произошло столкновение, доставившее мне много переживаний.

Как-то раз, во время допроса в кабинет Трофимова зашел пожилой майор. Начался обычный спектакль.

— Здравствуй, товарищ Горшков. Вот обрати внимание на этого человека. — Трофимов кивнул в мою сторону, доставая при этом из стола ведомость для приема партийных взносов. — Такого матерого врага мне еще не приходилось допрашивать. Ей-богу.

— Да, видать, матерый враг, закоренелый, — сказал майор, даже не взглянув в мою сторону. Он в тот момент вынимал из портмоне какие-то рубли и внимательно их отсчитывал.

— Нет, ты взгляни на него, взгляни, — продолжал Трофимов, беря из рук майора деньги. Он был явно недоволен безразличным отношением майора к его словам обо мне. Тот повернулся в мою сторону.

— Да нет, я вижу. Я с первого взгляда определил, что это матерый враг.

— Нет, майор, это случай особый. Ты даже представить себе не можешь, на какую провокацию, на какую враждебную вылазку пошел этот завзятый антисоветчик. Он в своей диссертации… на историческую тему! И в своих статьях, которые ему удалось протащить в печать, ни разу! Пойми — ни разу!! — не упомянул имя товарища Сталина. Иначе говоря, «ликвидировал» товарища Сталина как ученого, как вождя всей нашей науки.

— Не может быть! — убежденно заявил майор. — Не может такого быть.

— Не веришь мне — спроси его, — посоветовал Трофимов. — Он и сам этого не отрицает. Да и как отрицать. Все это напечатано. Так что зря ты не веришь.

— Нет, я верю в то, что этот негодяй мог такое написать. Но как это могли пропустить в науку?! Как такую провокацию могли напечатать?! Выходит, у него там, в печати, свои сидят, соучастники. Арестовали их?

— Да нет, пока, — грустно произнес Трофимов. — Надо еще подработать этот вопрос.

— Ну и времена! — покачал головой майор. — Развели тут, понимаешь, законность. В тридцать седьмом всех бы этих ученых диверсантов и их подручных в издательствах разом бы порешили. Не чикались бы с такой нечистью.

До этого момента я сидел спокойно и не реагировал на происходящее. Все это было вполне привычным, не раз происходившим спектаклем. Но последние слова майора вывели меня из спокойного состояния.

— Гражданин следователь, пока вы и ваш посетитель издевались лично надо мной, я терпеливо молчал. Но поскольку этот гражданин позволяет себе поносить известных советских ученых.

— Ах, он у тебя еще и пасть на допросах раскрывает! — взвился майор. — Дай ему в морду, чтобы заткнулся.

— Гражданин следователь, — продолжал я. — Имейте в виду, я напишу жалобу прокурору об издевательстве на допросе.

— Издевательство?! Это называется издевательство?! — завопил майор. — Да тебя еще пока никто пальцем не тронул! Какое же это издевательство?! Попался бы ты мне в тридцать седьмом.

— Очень жаль. — начал было я.

— Да, и я говорю, очень жаль, что ты мне не попался.

— Очень жаль, — повторил я, — что вас не выгнали в тридцать девятом году из органов, не исключили из партии и не расстреляли вместе с Ежовым и прочими палачами! — Последние слова выплеснувшейся из меня тирады я произнес уже стоя.

Как сейчас вижу всю картину того момента. Едва я начал говорить, старый палач, сжав кулаки, ринулся было на меня. Трофимов вскочил и повис на его левой руке, бормоча какие-то успокаивающие слова. Я успел приподнять для защиты стул.

— Не подходить! Пришибу как собаку! — закричал я не своим голосом.

Майор еще больше разъярился. Свободной рукой он схватил со стола Трофимова деревянное пресс-папье и с силой швырнул его в меня. Я уклонился, и пресс-папье ударилось в стену за моей спиной.

Трофимов продолжал держать майора и уговаривать. А я оставался стоять с приподнятым от пола стулом в руках.

В этот момент дверь распахнулась и в кабинет вбежали два надзирателя. Трофимов, надо полагать, нажал какую-то кнопку на своем столе. Надзиратели набросились на меня, вырвали из моих рук стул, завернули мне руки назад.

— Не того держите! — крикнул я. — Вы лучше следователю помогите!

— В камеру его! — приказал Трофимов.

Надзиратели поволокли меня к двери, держа с двух сторон под руки.

— Стойте! Не уводите его!! — закричал майор. — Надо составить протокол, — повернулся он к Трофимову. — И оформить ему статью: попытка нападения на сотрудника органов госбезопасности. Покушение на теракт, 58–8.

— И то дело, — сказал Трофимов, отпуская руку майора, — дело говоришь. Давайте его обратно. Он пусть постоит. А стул майору. — Трофимов уселся на свое место. Сел и майор.

— Значит, запишем, — запел своим несколько гнусавым голосом Трофимов, кладя перед собой чистый лист бумаги. — Мы, нижеподписавшиеся. Как ваши фамилии, товарищи?

Надзиратели назвали себя.

— Так и запишем, — продолжал Трофимов, — .мы составили настоящий акт в том, что обвиняемый — значит, ты, — кивнул он на меня, — оскорбил майора Горшкова, вошедшего в следственный кабинет во время допроса, заявив, что его, то есть майора, следовало выгнать из органов, исключить из партии и расстрелять вместе с Ежовым и другими его подручными палачами. Я правильно записал ваше высказывание?

— Да, я так сказал, надо было его еще тогда выгнать, исключить и расстрелять.

— Слыхали, товарищи? — вскинулся майор. — Нет, вы слышали, что говорит этот разоблаченный враг в отношении старого сотрудника органов?! Все так и запиши, товарищ Трофимов.

— Я все так и записал. После этого, — продолжал произносить записанное Трофимов, — обвиняемый схватил стул с целью пришибить майора, как собаку. Однако был обезврежен вбежавшими сотрудниками тюрьмы. Все правильно?

— Добавь, добавь — майор стал тыкать пальцем в протокол — пришибить майора, как собаку, то есть убить.

— Вы записали не точно, — сказал я. — Во-первых, вы не указали, что майор, который не знает ни меня, ни моего дела, и, значит, совершенно необоснованно, меня оскорбил. Назвал меня негодяем и врагом.

— А кто же ты, как не враг, если ты арестован?! — стукнул по столу майор. — Так и запиши, товарищ Трофимов, что я назвал его врагом. Не отрекаюсь.

— Прошу указать также, что я поднял стул в целях обороны, так как майор пытался накинуться на меня, но был вами удержан

за руку. Тем не менее, он швырнул в меня пресс-папье. Вот оно, до сих пор у стенки лежит.

— Ну что ж, что было — то было, — сказал Трофимов. — Я разглядел промелькнувшую на его лице хитроватую улыбку. — Значит, так: обвиняемый утверждает, что поднял стул с целью обороны, увидев, что майор хотел его ударить, но был остановлен следователем капитаном Трофимовым. Так, майор? Правильно записано? — Так, — сказал тот, помрачнев. — Только напиши, что я хотел его ударить за оскорбление.

— Можно. — Трофимов добавил несколько слов к прежнему тексту. Затем все четверо подписали акт.

— Иди и ты подпиши, — обратился ко мне Трофимов. — Напиши, что акт составлен в твоем присутствии и тобою прочитан.

Я подписал бумагу.

— Ну, теперь все. Уводите его.

Двое надзирателей повели меня в камеру.

Как и следовало ожидать, мой рассказ взволновал товарищей по камере. В то время в ней находились со мной старик Фейгин, Лоншаков и Карпов.

Судили и рядили насчет того, «пришьют» ли мне вторую статью — попытку совершить террористический акт против сотрудника госбезопасности или нет. Все дружно, особенно Василий Карпов, осуждали меня за несдержанность, за длинный язык. Старик Фейгин назвал мое поведение глупым донкихотством.

Конечно, теперь, когда я пишу эти записки, можно было бы, поддавшись искушению, умолчать о своих тогдашних ощущениях, и оказаться в глазах читателя таким же смелым и решительным Дон Кихотом, каким я, вероятно, казался своим сокамерникам. Я убеждал их, что иначе поступить не мог — не тот характер. Я убеждал их, а заодно и себя, что совершил подвиг, проучил закоренелого негодяя, что сожалею лишь о том, что не пришиб его стулом.

После отбоя я улегся на свой топчан, отвернулся от света и долго не мог заснуть. Снова и снова я представлял себе происшедшее на допросе, снова и снова корил себя за то, что не сумел себя сдержать, забыл о том, где я, кто я, брякнул себе на беду то, что думал об этом матером эмгебешном волке.

Теперь, когда уже ничего нельзя было исправить, мне стало страшно. Мысль о возможности получить еще одну статью, да еще такую — пугала не на шутку. Я понимал всю нелепость такого поворота дела: ну какой тут террор, или даже намерение совершить убийство эмгебешника?! Но, с другой стороны, я ведь в

самом деле пригрозил пришибить его, как собаку.

Обвинение, сфабрикованное на этой, реально прозвучавшей угрозе, будет ничуть не более нелепым, чем те обвинения, которые мне уже предъявляют, и на основании которых меня арестовали. Я поймал себя на мысли — «Хорошо бы меня отправили в карцер и этим бы ограничились».

Надо сказать, что такое свойство своего характера — пугаться задним числом — я заметил задолго до того случая. Впрочем, возможно, это свойство присуще если не всем, то многим. Во-первых, уровень смелости куда выше на людях, чем когда ты остаешься с опасностью один на один. Во-вторых, в момент опасности иногда просто не успеваешь испугаться. Импульсивный порыв срабатывает до того, как успеваешь оценить (рассудить) опасность и ее последствия. В этом смысле — «безрассудство» — очень точное слово. Такое не раз случалось со мной на фронте. Именно такое произошло в тот день. Ах, если бы у меня в тот момент, в кабинете у Трофимова, было время на размышления. Скорее всего, я не выпалил бы того, что выпалил.

Вспомнились мне и хитрые улыбочки моего следователя. Что они значили? О чем свидетельствовали? Скорее всего о том, что Трофимов про себя был доволен тем, что я обложил этого майора. Не хочет ли он использовать этот случай для сведения каких-то счетов с этим старым волком, принадлежащим явно к другому поколению эмгебешников, которое, вероятно, кичилось своими заслугами перед поколением Трофимова. Возможно, и так. Но мне от этого не обязательно будет легче.

Потом я стал себя убеждать, что все правильно, что я держал себя в русле той самой линии поведения на следствии, которую для себя избрал. Ну и пусть дадут вторую статью — намерение (попытка) убить представителя государственной власти! Расстрела — все равно не будет, смертная казнь отменена. Правда, говорят, что это одни слова — могут загнать на такие рудники, где больше четырех месяцев никто не живет.

Затем я стал воображать себе, что произошло бы, если бы Трофимов не удержал майора за руку и тот, подлетев ко мне, замахнулся бы на меня или даже успел бы ударить?.. Вот он подскакивает, замахивается, бьет. Я поднимаю стул, ударяю его с размаху по голове и действительно пришибаю его, как собаку. Надо сказать, что в то время я обладал большой силой рук. Конечно, я был ослаблен за время пребывания в тюрьме. Но все-таки!..

«Нет, — продолжал я свои размышления, — так бы не было. Такого я не могу себе представить. Тем более, что я никогда в жизни не ударил ни одну собаку — ни паршивую, ни аккуратно

вымытую и расчесанную. Выходит, моя угроза была всего лишь пустым выкриком, штампованной фразой».

Скорее всего — вот это я вижу, это я себе представить могу — все было бы иначе. Я заслонился бы поднятым стулом, самое большее — оттеснил бы этим стулом нападающего.

На следующее утро, после завтрака, я попросил у караульного, обходившего камеры, бумагу и чернила для заявления прокурору. Заявление, в котором я с возмущением описал вчерашнюю сцену на допросе, очень понравилось моим сокамерникам. А меня начало терзать сомнение — подавать его или не подавать. В конечном счете — я решил не подавать свое заявление, изорвал его и бросил в парашу. Соображений, заставивших выбрать такое решение, было немало.

Даже в своем заявлении я не смог точно охарактеризовать действия своего следователя Трофимова. С одной стороны, именно он своими словами обо мне — «невиданный враг» — спровоцировал майора Горшкова на его устные и физические «выступления». С другой — он решительно удержал его от нападения на меня с кулаками. Кроме того, я уловил, что Трофимов явно недолюбливает Горшкова и свой акт составил с явным обвинительным уклоном против него. Захочет ли и сумеет ли Трофимов на основании случившегося «пришить» мне террористические намерения? Все-таки это мало вероятно. Разумно ли мне, учитывая все это, сплачивать против себя своим заявлением Трофимова и Горшкова? «А что, если, — подумал я, — Трофимов хочет, воспользовавшись данным эпизодом, как-то ущучить Горшкова — то ли по партийной линии, то ли помочь выпроваживанию его на пенсию? Не помешает ли в этом случае мое заявление столь полезному делу?»

Я вдруг поймал себя на том, что, вероятно, и было не сразу осознанным, но главным в моих рассуждениях. Вполне возможным результатом моего заявления могло быть то, что Трофимова (возможно, при его собственной просьбе) заменят на другого следователя. И вот этого я не хотел. Да, совершенно четко: этого я не хотел.

Странно, очень странно устроен человек. С одной стороны, все зло, причиненное мне бесчеловечной машиной репрессий, — МГБ — было сконцентрировано для меня в тот момент в лице Трофимова. Его усилиями, его головой и его руками стряпалось в данный момент фальсифицированное дело о моих «преступлениях», за которые, именно с его помощью, меня на долгие годы «закатают» в лагеря. Соответственно, именно на борьбу с ним, на этот неравный бой, где он — сильный и чуть ли не всемогущий, — будет всячески терзать меня — связанного и

беззащитного, — я каждый раз выхожу на очередной допрос. Именно его профессионально отточенное, изворотливое коварство направлено на то, чтобы изобразить меня опасным преступником, да еще и вынудить в этом признаться. Для борьбы именно с ним я готовлюсь бессонными ночными часами. Именно о нем как о своем враге говорю днем с сокамерниками. Это он, Трофимов, отправил меня в ледяной карцер с первого же допроса. Это он выливает на меня черпаки помоев, когда кто-нибудь входит в кабинет во время допроса. И, тем не менее, я не хочу, чтобы его заменили. Я хочу, чтобы он остался моим следователем. Как же так? Почему? Ясно, почему. Каков он будет — тот, другой, который его заменит? Неизвестность всегда пугает. Кажется, что новый следователь будет обязательно хуже. Этого я уже как-то знаю, изучил его повадки и приемы. Конечно, что тот, что этот — результат будет, в принципе, один и тот же. И все же я борюсь, и мне кажется, что эта борьба имеет свой смысл, что я могу, обязан добиваться, если не освобождения, то, по крайней мере, смягчения своей участи, насколько это возможно. К Трофимову как к противнику я уже привык, «притерся». А что, если бы на его месте оказался такой Горшков, или ему подобный тип? Было бы хуже, намного хуже. Да, я не хотел, чтобы мне дали другого следователя. Наименьшее зло! Разве разумно менять его на какое-то большее зло?

Когда «кормушку» открыл корпусный, я отдал ему ручку и чернила, объявив, что заявление писать раздумал.

Трофимов вызвал меня на допрос дня через три. Перекладывая на своем столе какие-то бумаги, он, как бы между прочим, бросил:

— Хорошо, что не стал подавать заявление. Так оно будет лучше.

— Я подумал, что вы и без меня найдете способ наказать этого вашего коммуниста, — сказал я.

— Вот именно, — проговорил Трофимов. Потом, словно спохватившись, что сказал что-то не так, добавил уже в другом тоне: — Еще не хватало, чтобы подследственный антисоветчик давал мне указания, как вести воспитательную работу с коммунистами!.. Как-нибудь уж сам разберусь.

Я промолчал. Мне стало ясно, что Горшков получит тот или иной нагоняй и что второй статьи мне пришивать не станут.

Следствие по моему делу, как я уже, кажется, упоминал, тянулось шесть месяцев. По обычным, «типовым» нормам это было очень даже долго. Многие мои товарищи по несчастью уходили из следственных камер в общие, где дожидались суда за два, три, самое большое за четыре месяца. Так, например, как я

узнал от него позднее, арестованный со мной в один день Е. О. Войнилович, оказался в лагере намного раньше меня. Мое дело проходило для следствия с непредвиденными для него сложностями. По сути дела, те материалы, по которым я был арестован, полностью провалились. Что-то, как я уже упоминал, происходило за кулисами следствия и стало мне известно лишь по его окончании. А некоторые провалы этих «материалов» происходили на моих глазах и при моем участии.

Расскажу о двух главных моментах моего обвинения и о том, как они потерпели крах. Однажды, придя на допрос к Трофимову, я увидел в кабинете высокого и худощавого подполковника с узенькими прокурорскими погонами. Когда я уселся на свой стул, этот подполковник назвал себя военным прокурором (фамилию я не запомнил) и объявил, что сегодняшний допрос будет происходить в его присутствии.

Я уже знал из рассказов сокамерников, что хотя бы на одном из допросов в течение следствия обязательно присутствует прокурор по надзору за следствием. Это был обязательный в ту пору элемент игры в законность. Разумеется, никаких результатов в сторону прекращения даже явно сфальсифицированных дел прокурорские визиты не имели.

Я понял, что настал и мой черед узреть на допросе представителя нашего гуманнейшего и справедливейшего закона. В самом факте его появления не было ничего удивительного. Но почему здесь оказался военный прокурор? Это обстоятельство меня встревожило. Уж не собираются ли направить мое дело в военный трибунал? А с какой, собственно, стати?

Все объяснилось позднее, опять-таки лишь по окончании следствия. Дело, как оказалось, было не во мне. Но пока что я оставался на этот счет в полном неведении. Так или иначе, спектакль начался по заведенному, надо полагать, порядку.

Прокурор обратился к Трофимову:

— Товарищ следователь, прежде чем задать вопрос, вы должны сформулировать и записать его на бланке протокола допроса. Ответ подследственного вы должны записать дословно. При любом сокращении его ответа смысл сказанного подследственным не должен быть искажен ни в малейшей степени. Вы меня поняли?

— Так точно, товарищ прокурор.

Трофимов стал заполнять бланк протокола допроса, а мы с прокурором изучали внешность друг друга. Ничего примечательного в его лице я не заметил. При худощавости фигуры лицо у этого подполковника юстиции имело округлые черты. Довольно длинный нос оканчивался закруглением. Волосы

были темные курчавые, с проседью. Лоб переходил в глубокие залысины. «Сухой и педантичный человек», — подумал я, глядя на него.

Наконец Трофимов зачитал свой вопрос: «По вашему делу, в качестве свидетеля допрошен Урицкий (я не могу сейчас вспомнить его имя). Знаете ли вы его? А если знаете — расскажите, откуда и как вы с ним были знакомы?»

Я ответил, что Урицкого знаю еще с довоенных времен. Он учился на историческом факультете на два курса младше меня.

Затем последовал стереотипный в таких случаях вопрос: «Какие между вами были отношения, и не было ли между вами личных счетов?»

Я ответил, что отношения были хорошие и что личных счетов между нами не было.

Тут встрял прокурор.

— Значит, нет оснований предполагать, что свидетель Урицкий мог вас оговорить?

Трофимов записал этот вопрос в протокол, после чего предложил мне дать на него ответ.

— Поскольку вопрос поставлен так: есть ли основания предполагать, что свидетель Урицкий меня в чем-то оговорил, — отвечаю: основания предполагать такое есть.

Прокурор и Трофимов переглянулись. Я продолжал:

— Находясь на свободе, я знал, что Урицкий арестован по статье 58–10 часть 2-я и осужден вместе с группой своих товарищей на двадцать пять лет лагерей. Если его показания получены не до его ареста, а в тюрьме, тем более после оглашения или под угрозой получения такого срока, есть основания предполагать, что в этих условиях он мог меня оговорить.

— Запишите ответ, — злобно буркнул прокурор. — В конце еще раз повторите, что личных счетов у него с Урицким нет. — Трофимов снова погрузился в записывание ответа. Я же стал мучительно вспоминать, когда и о чем я разговаривал с Урицким.

Надо сказать, что до войны мое знакомство с Урицким было чисто шапочное. На курсе, на котором я учился, было триста студентов. Кроме своих, у меня было много друзей среди старшекурсников.

На сколько-нибудь близкие общения с младшими не оставалось времени. Но вот кончилась Отечественная война. В Ленинград, на истфак, в залы Публички вернулись оставшиеся в живых истфаковцы. Большинство студентов истфака, ушедших на фронт, погибло. Поэтому каждое знакомое лицо из того, «из раньшего», из довоенного времени казалось родным и близким.

Однажды в Публичке, возле полок справочной библиотеки, я встретил Урицкого. Мы бросились друг к другу, как старые, близкие друзья. Долгое рукопожатие, вопросы: «Где ты воевал? А где ты?..» Мы пошли в курилку, наперебой рассказывали друг другу о своих фронтовых годах, о планах на будущее.

Потом мы встречались с Урицким в Публичной библиотеке еще не раз. Разговаривали, как правило, в курилке. Сегодняшнему посетителю Публичной библиотеки будет очень трудно представить себе, что курилки в виде отдельного помещения тогда в библиотеке не было. Курили, сидя на длинных и узких кожаных диванах, оставшихся еще с царских времен и стоявших в открытом фойе. Оно находится между входом в столовую и большой лестницей, ведущей в гуманитарные читальные залы. Такое было возможно потому, что курильщиков тогда было куда меньше, чем сейчас. Курящих женщин — были вообще единицы. Мы — бывшие фронтовики — курили все. Но, повторяю, нас, студентов сорок первого года, ушедших в ополчение, осталось немного.

Сидя теперь на допросе, я мучительно вспоминал — о чем я говорил с Урицким во время нескольких наших мимолетных встреч, что могло послужить к обвинению меня в антисоветской агитации. Ничего *такого,* я, как ни напрягал свою память, припомнить не мог.

Трофимов, между тем, закончил формулировку следующего вопроса и зачитал его мне:

«Свидетель Урицкий показал, что вы в 1948 году систематически вели с ним антисоветские разговоры, возвращаясь с совместных занятий в аспирантуре университета. Вы подтверждаете это?»

Задавая этот вопрос, ни Трофимов, ни прокурор не могли и подозревать, какой поток мыслей пронесся в моей голове, когда я этот вопрос услышал. Я понял, что Урицкий, глубоко душевно травмированный и подавленный диким сроком, который он получил, не смог противостоять давлению и дал, был вынужден дать, против меня какие-то показания. Но при этом он оставлял мне полную возможность доказать, как дважды два четыре, что эти его показания совершенно не соответствуют действительности. Допрашивавший его следователь или оперативник, спешивший смастерить дело на меня, не удосужился проверить правдивость обстоятельств, сообщенных Урицким, и радуясь, надо полагать, своему успеху, быстренько записал его показания.

— Записывайте ответ, — сказал я Трофимову. — Показания Урицкого не подтверждаю. Антисоветских разговоров с Урицким,

возвращаясь с ним с совместных занятий в аспирантуре Университета я не вел.

— Советую вам говорить правду, — прервал меня прокурор.

— Записывайте, — повторил я. — Не вел, хотя бы потому, что никогда с совместных занятий в университетской аспирантуре, тем более в 48-м году, с Урицким не возвращался. И не мог возвращаться. Я в аспирантуре университета вообще никогда не учился. Окончил аспирантуру Публичной библиотеки. Притом в 1947 году уже защитил кандидатскую диссертацию. Прошу эти обстоятельства проверить и приложить к делу соответствующие документы.

— Писать? — спросил Трофимов прокурора.

— А как же, — разочарованно бросил прокурор. — Запишите и проверьте данные обстоятельства. Ну, хорошо, — обратился он ко мне и к Трофимову, — свидетель Урицкий мог ошибиться в обстоятельствах. Обратимся к существу его показаний.

Трофимов вновь погрузился в запись очередного вопроса, а прокурор уставился в текст протокола допроса Урицкого, из которого следователь что-то старательно выписывал.

Следующий вопрос «по существу» звучал так:

«Свидетель Урицкий показал, что, рассказывая ему, что, находясь в составе частей Красной Армии, освобождавших в 1944 году Эстонию, вы заявили, что в Эстонии богатые крестьяне, то есть кулаки, жили хорошо, с приходом советской власти они были разорены. Вы подтверждаете эти показания свидетеля Урицкого?»

— Чему вы улыбаетесь? — спросил прокурор. — Что тут смешного?

Я действительно улыбался. Не мог сдержать улыбку. А прокурор, видимо, понял, что сейчас обнаружится новая накладка, допущенная тем, кто допрашивал Урицкого. Конечно, он, как и тот, кто записывал, не мог ухватить существо того подвоха для следствия, который Урицкий заложил в свои показания. Он знал, что я, как историк, разгляжу конец брошенной мне веревки, ухвачусь за него и выплыву из омута, в котором меня будут топить.

Позволю себе здесь небольшое отступление. Студентам исторического факультета моего поколения выпало исключительное счастье учиться у целого ряда великих мужей гуманитарных наук. Достаточно назвать имена наших учителей — академики Е. В. Тарле, В. В. Струве, И. И. Толстой, Б. Д. Греков, С. А. Жебелев, профессора — Гр. и М. Гуковские, М. Д. Приселков, А. В. Предтеченский, С. Н. Валк, Б. А. Романов, С. И. Ковалев. Им помогала плеяда блестящих доцентов — Н. Ф. Лавров, Д. С. Лихачев, В. В. Мавродин, С. Б. Окунь, Л. Л. Раков и многие другие. Каждый из них по знанию своего предмета, по знанию источников, древних и современных иностранных языков далеко превосходил многих сегодняшних академиков. При этом, однако, нельзя забывать, что вместе с этим именно нашему поколению студентов-историков ударили по головам «Кратким курсом» истории ВКП(б), фальсифицировавшим и унифицировавшим всю мировую, а особенно советскую историю. В условиях репрессий 1937–1938 годов планка догматизма и начетничества была поднята до предела. Запоминание наизусть сталинских оценок и толкований исторических событий стало совершенно обязательным. «Краткий курс» мы обычно целым коллективом заучивали по принципу — «вопрос — цитата». Например, вопрос: «Что сделали Зиновьев и Каменев на 233 странице?» Ответ: «Не успев высунуться, ушли в кусты». «Кто является «уродами типа?»» — «Шацкин и Ломинадзе».

Наряду с настоящими учеными, которых я назвал, на истфаке действовала и другая плеяда — активных и агрессивных фальсификаторов советского периода истории во главе с профессором Н. А. Корнатовским[10]. Все, что касалось Октябрьской революции, гражданской войны, индустриализации и коллективизации, они излагали в примитивизированном и извращенном виде, в духе откровенной сталинской фальсификации. Таким образом, истфаковцы нашего поколения были хорошо «натасканы» в области всякого рода ярлыков и формулировок.

Конечно, в «марксистских кружках», которыми были охвачены поголовно все граждане, в том числе и допрашивавший Урицкого

следователь, и те, кто допрашивал меня — Трофимов и прокурор, тоже изучали все эти начетнические формулы. Но, как известно, эффект от этого «просвещения» был предельно низок, посещение кружков отбывали как повинность. Ну, а нам с Урицким приходилось выучивать все это всерьез. Короче говоря, я сразу понял, какой мой ответ на его показания предвидел Урицкий.

Я сказал следователю, что прошу писать мой ответ в протокол прямо с моих слов, так как сумею его сформулировать кратко и достаточно четко.

— Кратко и четко заявите, что ничего такого не говорили? — спросил прокурор.

— Нет, отчего же. Я готов признаться в том, что говорил подобные вещи и не раз. Притом говорил об этом вместе с очень большой группой моих единомышленников по данному вопросу.

— Так, так, так, — прервал меня Трофимов. В его голосе звучало нетерпение. Он, видимо, решил, что постигшая его в начале допроса неудача будет сейчас восполнена сторицей. «С помощью следственных действий» (Трофимов очень любил это словосочетание), он сейчас выйдет на целую организацию антисоветчиков. — Так, так. Записываю дословно.

Трофимов макнул ручку в чернильницу и застыл в позе ожидания с приподнятым пером в руке.

— Пишите. Я не подтверждаю только обстоятельств этого разговора, так как никогда не возвращался с Урицким с совместных занятий. Что же касается сути его показаний — заявляю, что мог говорить и неоднократно повторять многим лицам приводимые Урицким слова, а именно, что в Эстонии богатые крестьяне (кулаки) жили хорошо, а советская власть их разорила.

Я говорил медленно и Трофимов старательно записывал мои слова.

— Должен добавить к показаниям Урицкого, что не раз говорил об этом же в более широком плане: что не только в Эстонии, но и во всем Советском Союзе богатых крестьян-кулаков не только разоряли, но и высылали в отдаленные районы, короче говоря, ликвидировали кулака как класс. Эти слова мне не раз приходилось повторять на экзаменах и на различных семинарах.

Я продолжал говорить, хотя Трофимов, перестал писать и растерянно смотрел на прокурора.

— Пишите, — сказал я, — что в своих высказываниях по этому вопросу я опирался на учение товарища Сталина о ликвидации кулачества как класса.

— Незачем это записывать, — сказал прокурор. Было заметно, что следователь и прокурор изрядно смущены тем, что в

протоколе допроса Урицкого под видом моих антисоветских заявлений записан самый что ни на есть банальный постулат сталинской политики коллективизации.

— Как это незачем записывать? — спросил я. — Раньше меня же обвиняли в том, что я не цитировал товарища Сталина в своей диссертации, посвященной XVI веку. А когда выясняется, что я цитировал товарища Сталина по поводу одного из главных дел его жизни — ликвидации кулачества как класса — вы не хотите это записать? Если не запишете эти мои показания — я не подпишу протокол.

— Не подпишите? — как-то очень уж быстро переспросил прокурор. И, не дождавшись ответа, сказал: — Ну и не надо. Вот и хорошо. Отправьте его в камеру, — обернулся он к Трофимову.

Пока за мной не пришел выводной, прокурор и Трофимов сидели молча. Меня увели. Протокол остался неподписанным. Забегая вперед, скажу, что в моем следственном деле, которое мне дали прочитать по окончании следствия, протокола допроса Урицкого не оказалось. Он просто «выбыл» из числа материалов моего обвинения.

С Урицким мне больше встречаться не приходилось. Слыхал, что после освобождения он поселился в Москве.

Предвижу, что его фамилия может вызвать вопрос — не родственник ли он первого председателя Петроградской ЧК Урицкого? Насколько я помню, он называл себя его родным племянником.

Многие современные мыслители любят злорадствовать по поводу таких фактов: «Вот-де, за что боролись, на то и напоролись!» Для меня же арест племянника известного деятеля революции Урицкого уже в то время совершенно отчетливо свидетельствовал о том, что и без того было совершенно ясно: как бы не относиться к Октябрьской революции — факт остается фактом: Сталин и те, на кого он опирался, совершили контрреволюционный переворот.

Царские жандармы, белогвардейцы и немецкие фашисты — все вместе взятые — не уничтожили такого количества деятелей революции, сколько их уничтожил Сталин. И нет никакого сомнения в том, что Урицкий — не будь он убит пулей террориста Каннегиссера в 1918 году, — был бы «своевременно» убит Сталиным. В этом случае его племянник был бы уничтожен где-то уже в тридцатых годах, а не удостоился бы звания солдата Великой Отечественной в 19 411 945 годах и звания врага народа в 1949 году.

Мне в связи с этой историей хочется вспомнить еще и о другом. В сентябре 1944 года я, как тогда говорили, освобождал

Эстонию, или, как говорят теперь некоторые эстонцы, был оккупантом.

Перед тем, как войска Ленинградского фронта вступили на территорию Эстонии, командному составу через политотделы было дано указание: на вопросы местных жителей — «Будут ли снова вводить колхозы?» — отвечать, что колхозов не будет. Это был, как потом оказалось, сознательный обман эстонского населения. И в Раквере, и в Таллине, где мне пришлось побывать, было много тяжелых эпизодов. Так, в частности, в Таллине, в парке Кадриорг, ночью эстонцы повесили семерых советских моряков. В первые дни нашего пребывания в Таллине эстонские женщины демонстративно отворачивали голову от идущего навстречу советского офицера. Видел я, как из трамвая на ходу вытолкнули гражданского человека за то, что заговорил по-русски. В лесах бродили группы эстонских националистов организации «Омакайтсе». Они нередко нападали на наших военнослужащих, на одиночные военные машины на дорогах. В машину, в которой я ехал из Раквере в Таллин, была брошена граната, небольшой осколок попал мне в щеку. Хорошо, что не в глаз. Но все равно пришлось пережить весьма мучительную операцию по его извлечению в ленинградском госпитале костно-челюстной хирургии (кажется, так он назывался), которым руководил известный стоматолог профессор Львов. И, тем не менее, я горжусь тем, что в материалах, послуживших моему аресту, оказались следы моего искреннего возмущения разорением великолепного хуторского сельского хозяйства Эстонии и другими бедами, которые мы принесли маленькому трудолюбивому эстонскому народу. Эти мои высказывания были доведены до всеслышащих ушей органов каким-то неведомым мне осведомителем. Но попытка их задокументировать с помощью свидетельских показаний Урицкого, как мы видели, провалилась.

В Каргопольлаге МВД СССР, на 2-м лагпункте — поселок Ерцево на Архангельской железной дороге — было много эстонцев. Центром их «землячества» была сушилка. Там они, едва ли не все, собирались в свободное время. Заведующим сушилкой был уже немолодой эстонец по фамилии Луйк. Об обстоятельствах нашей доброй дружбы с ним и его земляками я, возможно, расскажу в другой, «лагерной» части моих воспоминаний. Здесь же скажу только — хорошими людьми оставались эстонцы и в тяжких условиях лагерной жизни — честными и добрыми. Работать плохо они не умели даже там, где работа была отнюдь не в радость. А главное — они были хорошими, очень надежными товарищами.

Самое время, мне кажется, сказать современному читателю о том, по какой принципиальной линии проходил «фронт» борьбы между обвиняемыми моего «призыва» (да, вероятно, и в прежние периоды сталинского террора) и следствием.

Само собой разумеется, что каждое следственное дело обладало своими конкретными особенностями. Довольно разнообразен был репертуар обвинений. Вспомним хотя бы приведенные выше примеры обвинений, предъявленных рабочему Лоншакову, Старику Фейгину, Василию Карпову и другим моим сокамерникам. Различны и неповторимы были черты каждого данного обвиняемого. Но была во всех случаях — мне лично исключения не известны — одна всеобщая черта. Все обвиняемые, независимо от пола, возраста и социального положения, — рабочие, служащие, партработники, военные и прочие, и прочие, — каждый в меру своих сил и возможностей старался доказать, что он самый что ни на есть советский человек. Доказательства этого тезиса были самые разные. В одних случаях обвиняемый просто отрицал обвинения, объявляя их либо клеветническими (какими они, как правило, и были), либо, утверждая — «я этого не говорил». В других он доказывал, что в его словах или поступках нет ровно ничего антисоветского. Например, в так называемых «пораженческих разговорах» времен войны, когда человек просто высказывал свои наблюдения над очевидными фактами, вроде таких: истребитель «мессершмидт» летает быстрее нашего «ястребка» или «ишака»; у немцев все солдаты на передовой с автоматами, а у нас и винтовок не всегда хватает. Наблюдений такого рода, само собой понятно, было много и в послевоенной мирной жизни.

У некоторых обвиняемых доставало смелости объявить не советским человеком следователя, поскольку тот фальсификатор, нарушает законность и коммунистическую мораль. Давая подобные оценки следствию на допросах или письменно в своих жалобах прокурору или в высокие инстанции, сам этот подследственный выступал с позиций абсолютно правоверного советского человека, а то и стойкого партийца.

Совсем не мало было таких, которые, ненавидя Сталина и сталинский режим, искренне считали себя при этом правоверными (более, чем Сталин, правоверными) ленинцами, истинными коммунистами. Естественно, что на следствии антисталинские взгляды никто не высказывал. Мне не известны исключения.

Итак, главная линия защиты «политических» того времени была совершенно определенной. Она заключалась в отрицании какого-либо своего антисоветизма и в утверждении своего

абсолютно советского образа мыслей и поведения. В подавляющем большинстве случаев эта позиция была совершенно искренней.

Интересно вспомнить в этой связи, что многие «политические» другой, более поздней эпохи, так называемые «диссиденты», в большинстве своем вели себя иначе. Они, как правило, не отрицали факты своих выступлений (устных, письменных, печатных) против существующего государственного строя или его конкретных уродств, напротив, утверждали правоту этих своих выступлений. С этой точки зрения следователи были для них такими же политическими противниками, какими они были для своих следователей. Они, «диссиденты» 60-х — начала 80-х годов, были репрессированы за те выступления и поступки, которые действительно имели место, даже если карательные органы упрятывали их в тюрьму под иным, «уголовным» соусом, или загоняли в «психушки».

Более ранняя история также свидетельствует о том, что в разные исторические периоды отношения между репрессированными и карателями складывались по-разному. Не трудно разглядеть, что отношения между теми и другими во время следствия и суда по сути своей соответствуют нормам их взаимоотношений на воле.

Для участников крестьянских восстаний, например, движений Разина и Пугачева, после поражения и заключения в остроги, характерно массовое искреннее и истовое раскаяние. Во время следствия и суда восстанавливаются прежние взаимоотношения: рабы, посмевшие подняться на господ, и господа, приведшие их к прежней покорности.

Не приходится удивляться тому, что декабристы, многие из которых были героями Отечественной войны 1812 года, презиравшими опасность и саму смерть, на следствии просили о прощении, каялись, обличали друг друга. Я помню страшное потрясение, которое испытал, читая еще студентом книгу известного историка Н. П. Павлова-Сильванского — «Декабрист Пестель перед Верховным уголовным судом». В ней опубликованы показания Пестеля, Рылеева и других главных героев движения декабристов. В этих протоколах — сплошное самобичевание, раскаяние, разоблачение друг друга. Позднее я понял, в чем причина такого поведения. Дело в том, что и вожди декабризма, и их судьи были людьми не только одного социального слоя, но и одного довольно тесного круга. Еще вчера они вместе танцевали на столичных балах, женились на дочерях и сестрах людей своего круга. Они все служили либо вместе, либо на общей для них царской службе, гордились одними и теми же наградами. И

главное — они во многом исповедовали общий для них кодекс чести. Главным пунктом этого кодекса было верное служение царю, государю-императору. Декабристы на время расстались было с этим пунктом кодекса чести, в духе которого были воспитаны. Расстались настолько, что даже обсуждали возможность убийства тирана и его семьи. Но, во-первых, об этом говорили лишь наиболее крайние из их соратников. А во-вторых, вернуться, потерпев поражение, к идеалам и нормам, внушенным с детства, многим из них оказалось легче, чем сохранять верность новым, революционным убеждениям.

Другое дело — поведение на следствии народовольцев, а позднее и социал-демократов. Для них царские жандармы и судьи были заклятыми врагами. Всякая игра с ними в поддавки, даже под угрозой виселицы или каторги, исключалась. В нее «играли» только предатели, покрытые за это позором в среде своих бывших товарищей.

Таким же было противостояние сторон в условиях допросов и казней во время революции и гражданской войны. Хотя в те времена многие понятия и смещались в круговерти судеб на волнах моря крови.

Человек нашего поколения «политических арестантов» до ареста был по одну сторону «баррикады» со своим следователем, был воспитан в духе одной идеологии, в одних и тех же понятиях революционной чести и морали. Не будем здесь вдаваться в оценку этих понятий. Любой кодекс чести и морали имеет свои сильные и слабые стороны. Мне, например, как историку периода становления самодержавия, хорошо известно, что в основе дворянской чести лежит холопская верность царю. И предки тех же декабристов не один век подписывали свои прошения или донесения царям униженным — «холопишко твой Алешка Трубецкой» (или Ивашка Муравьев, или Петунька Волконский и т. п.). За холопскую свою службу получали дворяне свой «земельный оклад», свой «корм» и свое «величание», стараясь вырвать один у другого кусок побольше. Такова же была высшая царская служба и во времена декабристов. Вспомним — «Вы, жадною толпой стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи».

Разумеется, лучшие из дворян, — те же Пушкин и Лермонтов, те же декабристы, тяготились этой стороной кодекса дворянской чести, старались включить в него понятия служения отчизне — общей и для них и для народа, становились народными заступниками, шли за народную свободу в бой. И все-таки «угомонить» «крови спесь» было трудно даже для Пушкина. И даже он считал возможным и полезным находить общий язык с царями. И декабристы нашли этот общий язык, оказавшись в

крепости. Слишком сильна была дворянская закваска.

Кодекс чести, в котором было воспитано наше поколение, содержал свой главный параграф — верность идеалам революции и своей советской стране в непрекращающейся борьбе с врагами, с буржуазией и ее прихвостнями. «И как один умрем за дело это», — пели отцы или деды моих сверстников, сидевших в сталинских тюрьмах. За первое в мире государство рабочих и крестьян, за социализм (построенный или еще строящийся) шли в бой и погибали миллионы их сверстников. И не только на смерть «за дело это» шли поколения советских людей — верноподданных революции. Шли на жизнь, полную лишений и тягот, терпели эти лишения и тяготы ради светлого будущего, верили в него. Многие успели разочароваться в Сталине, другие, кто постарше, всегда знали его как злобного властолюбца. Многие резко осуждали (иногда даже вслух) сталинский террор, рассматривая его как контрреволюционный переворот — многие осуждали коллективизацию. Многие с иронией и возмущением относились к «Краткому курсу» истории партии как к сплошной фальсификации. Многие сочувствовали «врагам народа» — бывшим соратникам Ленина и героям Гражданской войны. Но все дурное и мрачное рассматривалось как отступления от великого дела, как его извращения, которые связаны с теми или иными конкретными обстоятельствами и которые со временем будут изжиты. Уродства и ужасы сталинского режима — такова диалектика той эпохи — только укрепляли веру «истинного и честного» строителя светлого будущего в свои идеалы, потому что давали ему простое и убедительное объяснение всех неудач, провалов и кровавых методов управления страной. «Сталин виноват, виновата его политика, а вот если бы не это.» Сегодня ужасы и безобразия сталинского режима окрестили — «деформациями социализма». В сталинское время этого термина, естественно, не существовало, но смысл объяснения характера развития страны после Ленина был примерно такой же.

Впрочем, враждебно к Сталину относились в основном те, кто был репрессирован, да и то не все. Большинство же населения в городах считало, что он ведет народ хотя и трудной, но единственно правильной дорогой к светлым далям свободы и благополучия.

Итак, обвиняемый сталинских времен видел в следователе карьериста — либо отступника от общего великого дела, либо человека, введенного в заблуждение лживыми материалами, состряпанными карьеристами-оперативниками, с помощью стукачей и запуганных свидетелей. Со своей стороны, следователь — служитель системы — видел «славу» своего труда

в том, чтобы разоблачить, заставить признаться во враждебной деятельности обвиняемого. К этой «славе» — то есть к поощрениям, повышениям в должности, к одобрению начальства, к правительственным наградам — стремились все следователи. Большинство из них, несомненно, понимало, что обвинения, которые они предъявляют своим подследственным, либо вообще ложны, либо гроша ломаного не стоят с точки зрения хоть какой-либо опасности для государства. Конечно, многие из этих следователей ощущали каким-то своим нутром, что сидящий перед ним обвиняемый для него личность чуждая и враждебная. Прежде всего, потому что интеллигент, излишне образован. Для некоторых «криминалом» было уже то, что данный человек по происхождению явно «городской».

Что касается моего следователя — Трофимова, — не сомневаюсь в том, что он отлично понимал лживость и фальшивость возведенных на меня обвинений. Но, будучи верным своему начальству служакой, тем не менее делал все, чтобы спасти эту «липу», состряпанную оперативниками, от полного провала. У меня не было при этом ощущения, что он испытывает ко мне еще и личную неприязнь. Скорее — так, по крайней мере, мне казалось, — он испытывал ко мне какой-то интерес. Это сказывалось в том, что он нередко заводил со мной разговоры на отвлеченные от существа моего дела, главным образом, исторические темы — о Петре, о Екатерине. (Я нарочно не называю в этом ряду Ивана Грозного, поскольку эта тема не была отвлечением от моего дела). Так или не так, но свою служебную задачу — упрятать меня в лагерь в качестве «врага народа» — Трофимов выполнял старательно.

На нескольких допросах и на очной ставке, на которой меня старался изобличать в каких-то нелепых разговорах один из знакомых мне сотрудников Публичной библиотеки, к тому времени осужденный по другому делу, присутствовал заместитель начальника следственного отдела подполковник Соколов. Эта личность заслуживает нескольких строк описания. Это был высокий, красивый мужчина лет тридцати пяти, с вьющейся светлой шевелюрой, в роговых очках на вполне интеллигентном лице. Он никогда не повышал голос. Он даже одергивал следователя, когда тот в его присутствии обращался ко мне на «ты». Он «убеждал» подследственных в том, что они отъявленные враги с помощью изысканных силлогизмов. В его речи то и дело мелькали обороты вроде таких: «Ну, вы же умный человек…», «Вы же не можете не понимать…», «Согласитесь — доказать недоказуемое — невозможно…» Словом, его амплуа было — мягко стелить. Несмотря на это, все встреченные мною

заключенные, прошедшие следствие при участии Соколова, вспоминали о нем с ненавистью и содроганием. Не трудно было заметить, что именно он, а не тюфяк Козырев, управляет той фабрикой фальсификации, которую представлял собой тогда следственный отдел Ленинградского управления МГБ.

На допросы к Трофимову, когда тот вызывал меня, Соколов являлся довольно часто. Как я потом понял — это не было случайностью. Все до единого материалы, послужившие моему аресту, провалились. В том числе и на очной ставке с упомянутым выше бывшим сотрудником Публичной библиотеки. Я не стану называть здесь имя этого человека, причинившего много зла и своим «подельникам», и мне. Я не злопамятен, и, кроме как в форме сатирической пьесы «Опаснее врага», не сводил счеты ни с той страшной эпохой, и ни с одним человеком, причастным к фабрикации моего обвинения, или мучившим меня в лагерях. Этому П. я тоже прощаю и данные им показания, по которым (в числе двух других) я был арестован, и старательные «изобличения» меня на очной ставке. Нельзя по обычным нормам судить людей, вынужденных к тем или иным неблаговидным поступкам тогдашними страшными обстоятельствами. Я не прощаю ему другое.

Как полностью признавший на следствии предъявленные ему обвинения, он не был реабилитирован, но получил амнистию. Он вышел из лагерей на несколько месяцев раньше меня. Полагая, видимо, что меня из лагерей до срока не выпустят (тогда еще никто не знал, будут ли освобождены политзаключенные), и не каждый признавался своим близким и знакомым в том, что именно он, по своей трусости, повинен и в аресте своих «подельников», и в собственной судьбе, он свалил свои «грехи» на меня. Умалчивая о том, что я был арестован по его показаниям, он изображал нашим общим знакомым дело так, будто и его подельники, и он были арестованы по моему доносу. Вся эта выдумка не выдерживает критики. С его подельниками — мужем и женой — я вообще не был знаком и разговаривал с ними один раз в жизни, в ресторане, куда П. пригласил меня на ужин. При всей склонности тогдашнего МГБ к арестам невинных людей, о чем я здесь уже не раз говорил, допускать, что для фабрикации группового дела против П. и его подельников, по которому они получили по двадцать пять лет лагерей, достаточно было одного разговора с ними в ресторане, — все-таки наивно. Более того, если бы такой донос с моей стороны существовал, я никак не мог бы на очной ставке с П. полностью отрицать какие бы то ни было его «антисоветские разговоры» в моем присутствии и при моем участии. А именно это я отрицал категорически.

К моему счастью, едва ли не все, кого этот гражданин «обслужил» своей клеветой в отношении меня, довольно скоро расставались с какими бы то ни было сомнениями на этот счет. Одни прямо обращались ко мне с вопросами о том, как было дело. Мне не стоило труда объяснить им истинное положение вещей. Другие — мне известно о многих таких случаях — и без моих разъяснений приходили к выводу, что П. сваливал с больной головы на здоровую. Для этого достаточно было знать меня и его.

Не удержусь в этой связи от утверждения, хотя и злорадного, но вполне объективного: его интриганская сущность была весьма явственно написана на его лице. Черты его — лоб, нос, подбородок — очень напоминали изображения древних сатиров (только рожек не было). При этом выражение его лица было не столько ироничным, сколько угодливо-предательским. Кстати сказать, именно такое — весьма неблагоприятное впечатление он произвел на меня с первого же знакомства в Публичной библиотеке. Откровенничать с ним я бы никогда не стал.

Но вот, оказавшись в тюрьме, и уже будучи приговорен судом к двадцати пяти годам лагерей, этот П. был допрошен о моей антисоветской деятельности. Скорее всего, его решили использовать в этом качестве для необходимого «количества» свидетелей, после отказа О. Л. Ваганова дать против меня показания. П. такие показания дал. На одном из допросов Трофимов зачитывал мне эти показания. П. заявил, что он (именно он сам) неоднократно заводил со мной антисоветские разговоры, а я-де их поддерживал. Я не знаю, почему он избрал именно такой вариант показаний против меня. Вероятно, для большего правдоподобия, для создания впечатления объективности — он-де сам нечто дурное говорил, а я-де ему поддакивал. Надо сказать, что один разговор, о котором он показал, происходил действительно, но не по этой схеме. Он как-то по дороге домой из Публичной библиотеки развивал такую мысль: реалист Маркс оказался большим утопистом, чем поэт Гейне. В спорах, которые они вели, Гейне утверждал, что коммунизм — это утопия, а Маркс настаивал, что это вполне реальный путь развития человечества.

Должен заметить, что сейчас, когда я пишу эти строки, я убежден, что Маркс никогда не рисовал никаких утопических картинок будущего социалистического рая. Более того, я считал и считаю нелепым заблуждением полагать, будто Маркс («и в том числе Энгельс» — как говорил один наш истфаковский доцент — «основщик»), хотя бы каким-то боком отвечает за попытку строить социализм в нашей стране и за все так называемые «деформации»

на этом пути. Идея построения социализма *вместо* капитализма была Марксу глубоко чужда. Тем более в то время я не стал бы поддерживать идею об утопизме Маркса и о большей социальной прозорливости Генриха Гейне.

Оставаясь верным своему решению — отрицать все предъявляемые мне обвинения, поскольку все они в принципе являются преднамеренной фальсификацией, — я сказал тогда на допросе, что такого разговора не помню. При этом, несмотря на все крики и угрозы Трофимова, я вынудил его записать, что я лично никогда, ни этому П., ни кому-либо другому критических замечаний в адрес Маркса не высказывал.

И вот настал день, когда Соколов и Трофимов устроили мне с этим П. очную ставку. Очная ставка происходила так.

Когда меня, как обычно, подвели к следственному кабинету и поставили между первой и второй дверью, я услышал, что в кабинете происходит оживленный разговор. Войдя, я увидел Трофимова, Соколова и сидящего перед их столом П. Видимо, на моем лице отразилось некоторое удивление, потому что Соколов тотчас его отметил, обратившись ко мне.

— Что, небось, не ожидал такой встречи?

— Не ожидал.

— Ну, поздоровайтесь, поприветствуйте друг друга.

П., точно дожидаясь такого разрешения, встал со стула, подошел ко мне и протянул руку. Я, поколебавшись, подал ему свою. Странно устроен человек. Я знал, что он дал против меня ложные показания, послужившие моему аресту. Вместе с тем, я знал, что он получил — страшно подумать — двадцать пять лет лагерей. А я — вот тут-то и есть самая психологическая нелепость — еще вообще не имею никакого срока. И вдруг, авось, вообще буду выпущен?! Значит, я по сравнению с ним в завидном положении, а он уже обреченный. Что уж его добивать. И я подал ему руку. Позднее я в этом раскаялся, но тогда было так.

— Вот видите, — начал П. елейным голосом и со скорбной улыбкой. — Вот при каких обстоятельствах довелось встретиться.

— Вижу. — Я, естественно, уже догадался, зачем его сюда привели. Иных свиданий, кроме очных ставок, подследственному не дают. Так что ничего приятного он в моем взгляде усмотреть не мог.

Трофимов предложил нам сесть по своим местам и объявил, что между нами будет проведена очная ставка. Пока он заполнял начальный лист протокола и записывал наши ответы о том, что между нами не было личных счетов и ссор, разговор вел Соколов.

— Вот, Даниил Натанович, решили мы вам помочь, облегчить вашу душу, поскольку вы сами себе помочь не хотите.

— Я это понял.

В этот момент — по собственной ли воле, по предварительному ли сговору со следователями, П. попросил у них разрешения обратиться ко мне. Соколов закивал головой в знак согласия и П., глядя на меня, произнес примерно такую тираду:

— Даниил Натанович, я знаю, что у вас плохой характер, я знаю, что вы не ребенок и у вас на плечах своя голова. Тем не менее, я хочу дать вам добрый совет: не упрямьтесь. Я ведь тоже с этого начал — все отрицал, ничего не признавал.

— Да, было, было такое, — подтвердил Соколов.

— Но потом я понял, — продолжал П., — что запирательство бесполезно, что все равно меня будут судить, и все равно осудят. И я решил говорить правду. Поверьте, стало сразу легче на душе. Да и жизнь тюремная стала легче. Словом, я призываю вас — не отпирайтесь. Все равно вас будут судить, и все равно вы получите срок. Стоит ли портить нервы себе и людям? — С этими словами П. сделал жест в сторону следователей.

П. замолчал.

— Ну вот, Даниил Натанович, вы слышали, что вам советует ваш товарищ? — спросил Соколов. — Что вы на это скажете? Разве он не прав?

— Вы объявили мне, что между нами проводится очная ставка, — ответил я. — Если так, прошу записать слова свидетеля в протокол. А затем записать мой ответ на его показания.

— Но это еще не показания, — сказал Трофимов. — Зачем это записывать?!

— Если это не показания — значит, это не имеет отношения к очной ставке. И тогда мне незачем на эту тираду отвечать.

— Запишите, запишите слова свидетеля, — сказал Соколов следователю. — Вполне хорошие и разумные слова. Пусть будут в протоколе.

П. снова, медленно разделяя слова, стал диктовать свою проповедь для протокола. Весь пафос произнесенной им речи в момент диктовки с паузами и повторами из нее вышел, словно воздух из воздушного шарика. Те же слова зазвучали теперь чуть ли не юмористически. Он и сам это, несомненно, понимал. Думаю, что понимал это и Соколов.

Надо сказать, что я не зря добивался, чтобы его обращение ко мне было записано. Ведь только в этом случае в протокол запишут мой ответ на его слова. А вот это, как мне казалось, было для меня весьма желательно. Наконец Трофимов закончил писать показания П. и вопросительно посмотрел на Соколова — как, мол, сформулировать вопрос для моего ответа. Соколов

продиктовал ему нужную формулировку.

— Запишите: «Согласны ли вы с предложением свидетеля П. рассказать правду о ваших с ним разговорах и начать давать правдивые показания на следствии».

— Пишите, — сказал я Трофимову. — Я подтверждаю показания свидетеля о том, что я не ребенок, что у меня, в отличие от него, плохой характер и что у меня на плечах есть своя голова.

— Неужели это писать? — спросил Трофимов у Соколова.

— Подождите. Послушаем, что подследственный скажет дальше, — буркнул Соколов. — Нельзя ли поближе к сути дела, Даниил Натанович?!

— Когда П. все это произносил, вы его не прерывали. Из этого я понял, что все это относится к сути дела.

— Продолжайте по сути, — еле сдерживая раздражение, произнес Соколов.

— Хорошо. Я и по сути согласен с тем, что говорил П. Из его слов вытекает, что он сначала отрицал на допросах подлинные факты. А потом решил подтвердить те справедливые обвинения, которые ему предъявили. Однако у свидетеля не сошлись концы с концами.

— Что вы имеете в виду? — насторожился Соколов.

— Если я правильно понял, — свидетель сказал, что он сначала говорил на следствии неправду, а потом стал говорить правду.

— Да, свидетель сказал именно так, — подтвердил Соколов. П. при этом закивал головой и развел руками: «Что, мол, поделаешь, правду не скроешь».

— Ну и что же здесь не сходится? — спросил Соколов.

— Как что? Сам свидетель, сначала говоривший неправду, а потом ставший говорить правду, советует мне поступить наоборот: сменить правду, которую я до сих пор говорил, на неправду и начать обманывать следствие.

— Демагогия! — подскочил на стуле Трофимов. — Никто не призывал вас говорить неправду!!

— Вот видите, — обратился Соколов к П., — ваш приятель клевещет не только на следствие, но и на вас. Разве вы призывали его говорить неправду?

Теперь П. разводил руками уже без своей обычной улыбочки. На лице его было написано: «Говорил же я вам, что у него дурной характер».

— Прошу все-таки записать мой ответ: призывая меня подтвердить его показания и признать инкриминируемые мне следствием обвинения, свидетель П. тем самым призывает меня

говорить неправду.

Трофимов, разумеется, записал мои слова иначе, по смыслу так: подтвердить показания П. о моем участии в антисоветских разговорах с ним отказываюсь.

Как только Соколов понял, что давление на меня с помощью «агитации» П. не дает результатов, он стал откровенно сворачивать очную ставку. Вернее, ту подслащенную с помощью свидетеля следственную «педагогику», рассчитанную на размягчение воли обвиняемого и получение от него признания, то есть самооговора, «мирным» путем, путем убеждающего «хорошего» примера. Разговор пошел прямой и скорый.

Свидетель повторил содержащиеся в протоколе его прежнего допроса показания о том, будто я похвалялся ему, что предпринял исследование о редактировании Иваном Грозным истории своего царствования с целью провести параллель между этим фактом и участием Сталина в написании и редактировании «Краткого курса истории ВКП(б)». П. подчеркнул, что смысл проведения такой параллели вполне очевиден. Во-первых, Грозный — жестокий тиран, страдавший манией преследования и истребивший множество невинных и достойнейших граждан отечества. Во-вторых, Грозный фальсифицировал историю своего царствования, записав на страницах летописи собственную версию политической борьбы того времени, оправдывая свою террористическую политику и всячески очерняя бывших соратников, ставших, якобы, его врагами.

Это был удар «под яблочко». Параллель, о которой шла речь, в моем исследовании о Грозном, опубликованном в «Исторических записках» АН СССР и публично защищенном в качестве кандидатской диссертации, была достаточно очевидна. Правда, я никогда не ставил себе в заслугу сознательного проведения каких-то параллелей — «Грозный — Сталин». Не приписываю ее себе и сегодня, когда иметь такую заслугу было бы весьма престижно. Я занимался исследованием приписок Ивана Грозного к летописи по рекомендации моего учителя профессора М. Д. Приселкова, который дал мне эту тему еще до войны, в 1940 году. Никаких мыслей о проведении на этом материале параллелей в отношении современности у него не было и быть не могло. Что касается меня, я вел свое исследование абсолютно объективно, вдохновляясь исключительно целью выяснения истины об обстоятельствах редактирования официального царского летописца в XVI веке. Сходство поступков Грозного и Сталина, как по отношению к своим политическим противникам, так и по отношению к историческим фактам, я, естественно, видел. Видели его и читатели моих работ. Бывало,

что я обсуждал это сходство с некоторыми из них. Возможно, был разговор на эту теме и с П. Ему, таким образом, для того чтобы превратить такой разговор в криминал, оставалось сделать лишь небольшой «доворот», сказать, будто я похвалялся тем, что сам сознательно это сходство подчеркнул и выпятил. По сути дела, искусственно его создал с целью бросить тень на Сталина.

По этому поводу я заявил на очной ставке, что свидетель говорит неправду. Что ни в самом моем исследовании, ни в моих разговорах по этому поводу нет никаких моментов, выводящих эту мою работу за пределы ее темы, то есть событий XVI века. Что в оценке моей работы свидетель выступает как тот прапорщик, который один «идет в ногу», в то время как вся «рота» — ее издатели и официальные оппоненты, во главе с академиком Грековым, — идут «не в ногу» — и ничего такого в нем не видят.

Все это Трофимов нехотя записал.

Снова прозвучали и были записаны в протокол показания П. о том, что именно он начал разговор о том, будто Генрих Гейне реальнее предвидел будущее, чем Карл Маркс, а я будто бы с этим соглашался. Я же настаивал на том, что никогда бы не мог согласиться с подобной идеей. Объявить, что Генрих Гейне лучше разбирался в анализе общественного развития, чем Карл Маркс, это все равно, что объявить Карла Маркса лучшим поэтом, чем Генрих Гейне.

Трофимов закончил записывать мои ответы, зачитал нам протокол очной ставки и велел нам его подписать. Первым к его столу подошел П. Возвращаясь на свое место, он, сердито взглянув на меня, бросил:

— Все равно вас будут судить.

Он был явно раздосадован тем, что я не «признался», подобно ему в инкриминируемых мне «преступлениях». Это можно понять: ему, уже осужденному (приговор, как я писал выше, был зверский, дикий — двадцать пять лет за разговоры), хотелось, чтобы и меня постигла та же участь.

— Меня судить не будут! — заявил я в ответ.

До сих пор не могу понять — какой черт дернул меня в ту минуту это сказать. Я тогда как раз был уверен, что меня будут судить. Невиновного, непризнавшегося, но судить будут. Слабая надежда на то, что удастся вырваться из лап следствия ввиду полной несостоятельности обвинений, конечно, во мне теплилась. Но, рассуждая трезво, а для этого в камере было достаточно времени, я отдавал себе отчет в том, что судьба моя решена самим фактом ареста. Так было в миллионах случаев — почему же мой случай должен стать исключением?

Таким образом, мое решительное заявление, что меня судить

не будут, было совершенно беспочвенной бравадой.

Позднее выяснилось, что формально я был прав. Меня не судили. Свою «десятку» я получил от Особого совещания. Но в тот момент, да и позже, после окончания следствия, такой вариант не приходил мне в голову.

Я просмотрел и подписал протокол. На этом очная ставка закончилась, и меня увели в камеру.

Прошло лет шесть — семь после той очной ставки. Я уже несколько раз сталкивался с П. в Ленинграде после возвращения из заключения. Мы здоровались при встречах. Он при этом улыбался. Я молча проходил мимо. Я знал о клевете, которую он обо мне распространял среди наших общих знакомых и разговаривать с ним не имел никакой охоты.

Однажды, точно год назвать не могу, меня позвали к служебному телефону в Отделе рукописей. Звонил П. Он сказал, что у него ко мне очень важное дело и что он просит меня спуститься к служебному входу в библиотеку, где он меня ждет. «Дело» оказалось весьма оригинальным. П. сказал, что подал заявление о реабилитации, что оно прислано для пересмотра в Ленинград и находится в управлении КГБ.

На мой вопрос — зачем он мне это докладывает — П. ответил, что, как ему объяснили, будут вызывать всех свидетелей по его делу, а значит, могут вызвать и меня.

— Если вас вызовут, — заключил он, — подтвердите, пожалуйста, что я в вашем присутствии никаких антисоветских разговоров не вел.

— Позвольте, — спросил я, буквально опешив от такой наглости. — Вы-то сами, в отличие от тех, кого вы на сей счет обманываете, отлично знаете, что никаких моих показаний о вас в вашем деле нет. С какой же стати меня будут вызывать при пересмотре вашего дела?

— Да, это, конечно, так, но в моем деле есть протокол моего допроса о вас. И в нем я показал, что вел при вас антисоветские разговоры. Теперь я пишу в своем заявлении о реабилитации, что это был самооговор…

— Не только самооговор.

— Да, конечно, но вы-то уже давно реабилитированы. Для вас все это прошлое. Тем более что вы беспартийный. А мне надо восстанавливаться в партии. Кроме того, надо устраиваться на хорошую работу. Ведь у меня жена, ребенок. Не ради себя, ради них — прошу: если вас вызовут — подтвердите, что я при вас никаких антисоветских разговоров не вел.

— Повторяю — меня никто не станет вызывать. Но если вызовут — я буду говорить ту самую правду, от которой вы меня

пытались отклонить.

— Вот и хорошо, — сказал он. — Вы сняли камень с моей души. А я опасался, что вы можете из мести.

— Извините, — сказал я. — Меня ждут читатели. До свидания.

Разумеется, меня никуда по делу П. не вызывали. Он и его «подельники» были реабилитированы.

Через несколько лет П. умер. Жена, пережившая его лет на пятнадцать, так и не разговаривала со мной до самой смерти. У ее благоверного не хватило мужества (или совести) рассказать ей, как на самом деле было дело.

Вскоре после очной ставки с П. мне было предъявлено обвинение. В присутствии того же самого военного прокурора Трофимов с некоторой торжественностью заявил мне:

— Вам предъявляется обвинение в преступлениях, предусмотренных статьей 58–10 УК РСФСР.

Как ни слаба была теплившаяся во мне надежда на то, что я сумею разбить клеветнические наветы, по которым я был арестован, и что в результате этого буду освобожден из-под следствия, предъявление обвинения больно отозвалось в сердце. Небольшой белый листок, легший теперь передо мной на стол следователя, был «похоронкой» всем этим надеждам. В этом типографском бланке указывалось, что следователь имярек такого-то числа предъявил подследственному имярек обвинение в проведении антисоветской агитации. Точных формулировок этой стряпни я, разумеется, не помню. Были они вполне стандартны и состояли из общих слов вроде: «систематически», «среди своих знакомых и сослуживцев», «проводил» и т. п.

Вслед за вписанным от руки текстом было напечатано примерно следующее: «Обвинительное заключение мне предъявлено и разъяснено». Далее находились пустые строки, которые должен заполнить обвиняемый, указав, признает он себя виновным (полностью или частично) или не признает.

Прокурор и Трофимов предложили мне хорошенько подумать, прежде чем отвечать на вопрос — признаю ли я себя виновным. Они отлично знали, что именно я отвечу, однако, «порядок» требовал от них и в этот момент «провести среди меня» соответствующую разъяснительную работу. Выслушав их проповеди, я обмакнул ручку в школьную чернильницу-непроливайку, стоявшую на столе Трофимова, и написал: «Виновным в предъявленных мне обвинениях себя не признаю ни в одном пункте».

— Ну, что ж, — сказал Трофимов, прочитав написанное мною, — если враг не сдается — его уничтожают.

Эти слова Максима Горького постоянно цитировали своим подопечным все следователи. Не в первый раз слышал их и я от Трофимова.

Я обратился к прокурору с просьбой разъяснить мне — на чем основано мое обвинение и за что следователь угрожает мне уничтоженьем? Ведь показания двух свидетелей — Урицкого и П., которые мне были предъявлены, оказались несостоятельными. Если есть еще какие-то свидетели или материалы — то почему мне их не предъявили? Если же их нет — значит, мне надо предъявлять не обвинение, а постановление об освобождении. Ответ прокурора был весьма прост: следствие еще не закончено. Вам будут предъявлены и другие материалы.

— А насчет уничтожения, — решил поправить себя Трофимов, — это в переносном смысле. Мы вас уничтожим в переносном смысле как врага. И если будете честно трудиться в лагерях — сможете вернуться в ряды честных граждан.

На этом процедура предъявления обвинения закончилась, и меня отправили в камеру.

Я сделал вывод, что на меня еще будет обрушено немало всяческих свидетельских показаний и каких-либо других обвинительных материалов. В ожидании какого-либо сюрприза я и шел каждый раз на допрос. Так, в частности, я все ждал — когда же прозвучат показания К.? Я уже начал было думать, что ошибался и напрасно его заподозрил в том, что он дал против меня показания. Все чаще приходила в голову мысль, что он сказал мне правду, когда утверждал, что в Большом доме его допрашивали о каких-то наших общих знакомых, но обо мне речи не было.

Шло время, но показаний К. мне не предъявляли.

Как-то раз я попросил разрешения придвинуться к висевшей на стене карте поближе. Трофимов разрешил. По его совету я стал внимательно рассматривать северные края страны, «подбирать» место своего будущего заключения. Я отыскал на карте Воркуту и Колыму. Других названий крупных лагерей я не знал. Я внимательно прошелся взглядом по течению Енисея. Нашел севернее Енисейска, в Туруханском крае крупную пристань (районный центр?) Ярцево. Туда в 1930 году был сослан мой отец. А в 1932 году я, тринадцатилетним подростком, сбежал летом из дому и добрался до Ярцева, чтобы узнать у отца, в чем именно он виноват перед нашей советской властью? «Ни в чем я не виноват», — ответил мне тогда отец. Но я ему тогда не поверил.

Долго, часа полтора, скользил я взглядом по карте. И ничто — никакой внутренний голос, никакое наитие — не подтолкнули меня к тому, чтобы остановить взгляд на названии, таком

похожем на «Ярцево», на станцию Ерцево между Вологдой и Архангельском. Там, в Ерцеве, в столице Каргопольлага МВД СССР мне предстояло провести долгих четыре с лишним года. Там, в Ерцеве, в комнате свиданий на вахте нашего лагпункта, предстояло мне в последний раз в жизни увидеть своего отца. На этот раз, в 1953 году, он, освободившийся из ссылки ещё за год до войны, приехал на свидание ко мне.

— Ну, в чем ты виноват, сынок? — спросил он меня, после того как мы с ним молча обнялись.

— Да ни в чем я не виноват.

— Теперь ты понял?

— Теперь я понял.

Ничего этого я, само собой, не предвидел и не предчувствовал, сидя в кабинете Трофимова возле карты. Надо сказать, что эти мои «сидения» в кабинете допроса были взаимополезны и Трофимову, и мне. С его стороны это была форма «приписок». Тюремная служба отмечала, что подследственный был на допросе столько-то раз в течение стольких-то часов. Соответственно, Трофимов, фактически ничего не делая, мог отчитаться в упорной многочасовой работе. Для меня же эти сидения были хоть какой-то переменой удручающе однообразной камерной обстановки. Да и приятнее было находиться в сухом и светлом помещении кабинета допроса, чем в мрачном каменном мешке камеры. Главное же, чем мне нравились эти «посиделки», было в другом. Из того факта, что Трофимов не «работает» со мной, а лишь формально заполняет каждый раз очередной бланк протокола допроса, я мог с определенностью заключить, что никаких новых обвинительных материалов на меня нет. Я допускал, что МГБ срочно «копает» на меня какие-то новые материалы, поскольку прежние провалились. И каждый новый вызов убеждал в том, что и на этот раз ничего нового в руках следователя нет.

Но вот наконец месяцев через шесть после начала следствия меня привели из камеры не в кабинет Трофимова, а в какое-то соседнее с ним помещение, в котором стояли два стола. За одним из них восседал Трофимов, другой предназначался для меня. На этом столе лежало мое следственное дело. Все листы его были пронумерованы и подшиты.

— Следствие по вашему делу закончено, — сказал Трофимов, — и будет передано в суд. В порядке статьи 206 Уголовно-процессуального кодекса оно предъявляется вам для ознакомления. Читайте. — С этими словами Трофимов погрузился в свои бумаги, а я стал читать свое дело.

Поначалу все было мне знакомо. Постановление на арест,

ордер на арест и обыск. На оборотной стороне ордера красовалась моя запись огромными буквами: «Читал» и подпись. Затем шли три протокола обыска. Один был составлен на службе в Отделе рукописей. Я с интересом разглядел подписи моих сослуживцев — понятых. Второй был составлен у меня дома майором Яшоком. На нем, рядом с подписями понятых, стояла подпись моей жены. Третий был составлен тем же майором Яшоком, обыскавшим меня в тюрьме в момент ареста. Под этим протоколом стояла моя подпись.

«Боже, как давно все это было!» — подумал я. И в самом деле, события того декабрьского дня 1949 года казались мне отделенными от данного момента чуть ли не целой эпохой, хотя с тех пор прошло всего шесть месяцев. Всего шесть! Но каких. Сколько за это время узнал я новых людей и судеб. Сколько сам успел пережить. Как изменился внутренне. Как-никак успел привыкнуть к своей новой судьбе, привыкнуть к тому, что я — это хотя и я, но все-таки уже и не я, а человек, выбывший из той, прежней жизни и уже живший другой жизнью, в другом качестве, в другом измерении.

Перейдя к чтению протоколов допроса, я расстался с воспоминаниями и философскими рассуждениями. Теперь моя мысль сосредоточилась на другом — какими глазами их будет читать суд, что может он в них найти для того, чтобы меня осудить. Могут ли эти материалы «потянуть» на обвинительный приговор? А не «тянут» ли они на оправдательный приговор? Чтение дела меня все больше и больше успокаивало. Ничего нового. А то, что есть — полное барахло, с точки зрения элементарного здравого, непредвзятого смысла. Показаний Урицкого в деле нет. Протокола моего допроса в присутствии прокурора, по поводу показаний Урицкого, тоже нет.

Читая протокол за протоколом — все знакомые мне, однажды уже читанные и подписанные мною листы, — я не подозревал, какие две «бомбы» одна за другой разорвутся перед моими глазами.

Но вот и первая «бомба» — протокол допроса свидетеля К. в марте 1949 года. Да, это тот самый его вызов в Большой дом, о котором он мне рассказал после моего возвращения из Москвы. Он говорил тогда, что его допрашивали не обо мне. Да, я правильно понял тогда, что это была ложь. Именно обо мне, и только обо мне допрашивал тогда К. оперуполномоченный Отдела науки и культуры Ленинградского Управления МГБ. Первый вопрос, поставленный перед К., звучал так: «В каких отношениях вы находитесь с таким-то?» (то есть со мной). Второй — так: «Расскажите об антисоветской деятельности такого-то?»

(то есть о моей).

Дальше на нескольких страницах со слов свидетеля подробно излагались будто бы имевшие место мои антисоветские высказывания самого крайнего характера.

В первую очередь я, разумеется, всесторонне оклеветал «одного из руководителей партии и правительства» (то есть Сталина). Я будто бы доказывал К., что этот «один из руководителей» совершил контрреволюционный переворот и истребил всю ленинскую партию, что он тиран, рядом с которым Иван Грозный является тихим ангелом, что он бездарный руководитель, что он виноват в поражениях первых лет войны, что из-за него мы победили с невероятными потерями, что его теоретические работы примитивны и несамостоятельны, и так далее, и тому подобное.

По «странному» совпадению все это я действительно думал об этом «одном из», но никогда не высказывал К. ничего подобного. Он, в свою очередь, хотя, видимо, и сам так думал, поскольку так ярко все это изложил без моей подсказки, никогда не стал бы слушать такого «поношения великого и мудрого вождя», если бы я и решился нечто подобное ему начать излагать.

Вслед за сталинской темой в протоколе допроса К. фигурировало немало и других сюжетов. Я, по его словам, «систематически» восхвалял образ жизни в западных странах, где, кстати сказать, в те времена не бывал и не мог бывать. Соответственно я всячески «хулил» нашу жизнь. Клеветал на нашу страну, заявляя, что у нас нет демократии, что сталинская конституция — это фикция. Само собой, я клеветал на состояние нашего сельского хозяйства, говорил, что во всем виновата коллективизация. Словом, в показаниях свидетеля К. фигурировал весь набор тогдашних обвинений в антисоветской агитации.

Имея такие показания, оформить мой арест по тем временам было легче легкого. Какой прокурор посмел бы отказать в санкции на арест такого заклятого врага «одного из руководителей» и всей советской системы?!

«Но почему же мне не предъявили показания К. на следствии? Почему не попытались получить от меня признание правдивости его показаний? Почему не провели очную ставку между мной и им?» Я был в полном недоумении.

— Читайте дальше. Читайте, — со значением сказал мне Трофимов, заметив, что я сижу с недоуменным видом.

— Почему же вы мне не предъявили эти показания? — спросил я.

— Да вы читайте. И все поймете, — повторил Трофимов.

Я перевернул последнюю страницу пространного протокола показаний К. и, к своему удивлению, увидел второй протокол его допроса. Протокол совершенно особенный, отличный от всех других, находившихся в деле. Прежде всего, в отличие от прочих, написанных от руки, этот протокол был напечатан на машинке. Кроме того, он представлял собой оформленную в качестве протокола расшифровку стенограммы допроса, что было специально указано сверху. Примечательной была и преамбула протокола. В ней говорилось, что заместитель начальника Отделения следственного отдела ЛО Управления МГБ Трофимов такого-то числа (не то в декабре 1949, не то в январе уже 1950 года) допросил в качестве свидетеля К. в присутствии. И вот это «присутствие» было совершенно удивительным. Перечень открывало имя генерала — заместителя начальника Управления. За ним следовала фамилия начальника следственного отдела Козырева, затем какого-то крупного прокурорского начальника. Где-то в конце, на восьмом или на девятом месте, красовалась фамилия Соколова. Присутствие стольких «звезд» ленинградских карательных органов свидетельствовало о том, что происходило что-то чрезвычайное. Я стал читать текст протокола. Многое, хотя далеко не все, стало ясным с первых же строк.

Допрашиваемому К. был задан вопрос такого содержания: «На допросе … марта 1949 года вы дали развернутые показания об антисоветской деятельности имярек. Будучи вызванным сегодня на очную ставку с арестованным имярек, вы заявили, что данные вами тогда показания являются ложными и что вы от них полностью отказываетесь. Когда вы говорили правду — на первом допросе или сегодня?» К. ответил: «Правдивые показания я даю сегодня. Тогда, в марте, я дал ложные показания об антисоветской деятельности такого-то. В действительности он в моем присутствии никаких антисоветских разговоров не вел. Я всегда считал и считаю его вполне советским человеком — патриотом, защитником родины от фашистов, честным советским ученым…» Вслед за этим — вероятно, так полагалось, — К., опровергая пункт за пунктом свои прежние показания, подробно перечислил, чего именно я ему никогда не говорил.

Все это выглядело весьма смешно. «Он» — то есть я — не говорил о том, что один из руководителей партии и правительства совершил контрреволюционный переворот. «Он» не говорил, что этот «один из» — бездарный руководитель, тиран и т. д.

Вслед за длинным перечнем всего, о чем я не говорил, стоял очередной вопрос: «Объясните, почему вы тогда, в марте 1949 года, дали ложные показания?» Дальше следовало то самое, что

разом и разъяснило — по какой причине на допрос К. собралось столько крупных чинов.

К. рассказал, что тогда, в начале допроса, он решительно отказался давать показания о моей антисоветской деятельности и заявил, что о такой моей деятельности ему ничего не известно. После этого допрашивавший его оперуполномоченный отдела культуры и науки начал его всячески стращать. Заявив К., что меня все равно арестуют, он пригрозил, что его — К. — после этого выгонят с идеологической работы за связь с врагом народа и за отказ помочь органам в его разоблачении. Когда это не помогло, допрашивавший К. эмгебешник вывел его из кабинета и повел вниз по лестнице в подвал Большого дома. Там, в пустынном месте, поставив К. возле какой-то толстой трубы, эмгебешник заявил ему, что сейчас здесь же его расстреляет. Вынув из кармана пистолет, он стал целиться в К. Тот, как написано в его показаниях, изрядно перетрусил.

Современному читателю может показаться странным, что К. всерьез испугался того, что его могут так запросто расстрелять в подвале без всякого суда и следствия только за отказ от дачи клеветнических показаний против своего знакомого. Но тот, кто жил в то время, кто помнил и 34-й и 37-й годы, кто знал обстановку массовых арестов 48-го и 49-го годов, кто привык верить во всесилие и всеправие МГБ, — вполне мог представить реальность угрозы быть расстрелянным в подвале Большого дома. То, что смертная казнь была в то время официально отменена, значило не больше, чем официальное провозглашение в конституции свободы слова, печати, собраний.

Так или иначе, К. дрогнул и стал просить уполномоченного вернуться с ним обратно в кабинет. Тот, «так и быть», согласился.

Вернувшись из подвала в кабинет оперуполномоченного, К. все еще «финтил», все еще пытался обставить требуемые от него клеветнические показания какими-то оговорками. Тогда допрашивавший его уполномоченный изобразил крайнюю степень возмущения. «Ах так, — сказал он, — выписываю ордер на ваш арест и на арест вашей жены!» С этими словами он положил перед собой бланки ордеров на арест и стал спрашивать у К. имя и отчество его супруги. «У нее грудной ребенок!» — взмолился вконец растерявшийся К. «Возьмет с собой в тюрьму, — парировал это «соображение» фальсификатор. — Вот вам бы о своем ребенке и позаботиться».

Тут, как сообщил К. допрашивавшей его комиссии, он и был окончательно сломлен и дал на меня клеветнические показания. Вслед за этим К. рассказал, что после того как он подписал свою клевету, допрашивавший его уполномоченный составил и дал ему

подписать другой отдельный протокол. В нем говорилось, что К. известно: в случае разглашения обстоятельств допроса такого-то марта 1949 года он будет арестован органами МГБ и сурово наказан.

Перевернув страницу машинописного протокола, в котором все это было изложено, я увидел подшитый к делу официальный акт об изъятии из рабочего стола уполномоченного того самого дополнительного запугивающего протокола. Следующим документом дела был сам этот протокол. И, наконец!.. О, радость! О, подступившие к глазам слезы от переполнившего меня чувства торжества справедливости! Нет, я не верю своим глазам. Я вновь и вновь перечитываю краткий машинописный текст. Все сказано четко, ясно, недвусмысленно. Понять как-то иначе невозможно! Я читаю: «Постановление особоуполномоченного МГБ по Управлению МГБ ЛО». Имя — не помню. Постановление гласит о привлечении оперуполномоченного Отдела науки и культуры к партийной и служебной (а, возможно, но точно не помню, и к уголовной) ответственности за фальсификацию материалов на мой арест.

Ура! Мое «дело» полностью провалилось! Я буду освобожден! Теперь я понял и то, почему в моем деле участвовал военный прокурор. «Погорел» оперработник МВД, и «впутывать» в такую историю гражданского прокурора не хотели.

За те мгновения, которые прошли до того момента, когда я перевернул этот лист дела, я успел мысленно пережить свое неожиданное появление дома. Никто меня не ждет, а я вхожу. Так, как на картине Репина — «Не ждали».

Кстати сказать, я вспомнил о той счастливой минуте, увидев, находясь в лагере, репродукцию с этой картины в «Огоньке». Я вырезал ее и повесил над своей койкой. Сохранилась она у меня и до сих пор среди других лагерных документов и писем.

Но вот перевернута еще одна страница, и передо мной — обвинительное заключение. Оно составлено следователем Трофимовым, утверждено полковником Козыревым и санкционировано прокурором. Именно их подписи стояли и под протоколом допроса К., в котором разоблачались методы фабрикации моего дела. В тексте обвинительного заключения повторялась та же ерунда, что была в постановлении о предъявлении обвинения: «систематически», «среди своего окружения», «проводил» и так далее. В конце был вывод о том, что материалы дела являются достаточными для предания меня суду по статье 58–10 часть 1-я.

— Как же так? — обратился я к Трофимову, когда вышел из состояния шока и обрел дар речи. — Как же так? За что меня

судить, если материалы, по которым я был арестован, — сознательно сфальсифицированы и полностью провалились?

Трофимов молча смотрел на меня каким-то странным взглядом, слегка покачивая головой. «Чудак ты, чудак. Глупый, наивный чудак», — читалось в этом взгляде.

— Я требую разговора с вашим руководством и прокурором.

— Майор Соколов сейчас подойдет, — сказал Трофимов. — Он и сам хотел присутствовать на предъявлении вам дела. Подождите.

Я понял, что присутствие начальства было предусмотрено заранее и что Трофимов не хочет втягиваться в разговор со мной до прихода Соколова. Некоторое время мы с Трофимовым сидели молча, в привычной мизансцене. Он просматривал свои бумаги. Я погрузился в размышления о предстоящем разговоре с Соколовым. Пару раз я снова раскрывал свое дело и перечитывал постановление, зафиксировавшее фальсификацию материалов моего дела.

Вошел Соколов.

— Ну вот, Даниил Натанович, — начал он с порога. — Вот мы и закончили ваше дело. Вы его прочитали. У вас есть вопросы?

— Конечно, есть. Мне непонятно: как же так — все материалы, по которым я был арестован, провалились, других в деле нет, по ходу расследования выяснилось, что материалы, послужившие моему обвинению, были фальсифицированы, а меня направляют в суд.

— Я знал, что вы поставите эти вопросы, — заговорил Соколов, как всегда в мягкой, рассчитанной на спокойное убеждение манере. — Но, во-первых, не все материалы дела провалились, как вы выражаетесь. Вы отрицаете показания П., но ведь он от них на очной ставке не отказался. Вот пускай суд и разберет — кому из вас следует верить. Тем более, что его показания насчет пародии на «Краткий курс» находят объективное подтверждение в ваших научных публикациях. Вот суд все и взвесит. Во-вторых. Согласитесь — все эти ваши «шутки», вроде «Поэмы о Гуковском» и «Письма к Лысенко», имеют определенный душок. Мы их к вашему делу приложим. В отдельном конверте, но приложим. И, наконец, третье. Это уж так, entre nous. Вы понимаете по-французски?

— Пока да.

— Так вот, entre nous, между нами говоря. Вы ведь не можете не понимать, что у нас есть на вас не только официальные материалы. Поэтому, если суд вас освободит по материалам, находящимся в деле, — ну, что же, гуляйте на свободе. А мы, зная больше, чем есть в деле, не можем взять на себя смелость вас

освободить. Так что извините.

— Но позвольте! — воскликнул я. — Эти неофициальные материалы, попросту доносы, собирал тот же уполномоченный, который фальсифицировал показания свидетелей. Эти неофициальные, как вы выражаетесь, материалы ему было еще проще сфальсифицировать!

— Напрасно вы так думаете, Даниил Натанович. Мы перепроверили следственные материалы. Вы сами в этом убедились. Перепроверяем и другие данные. Так что вы напрасно, напрасно, Даниил Натанович, так предвзято к нам относитесь. А ведь сейчас не тридцать седьмой год.

— Очень вам сочувствую. В тридцать седьмом вам было бы легче. Формальностей таких не было — чик и готово.

— Вы опять неправы. Были формальности и в тридцать седьмом. Да еще какие! Любой ценой надо было добывать признание арестованного.

— Разве? И не признававших дикие обвинения расстреливали?

— Бывало. Но непризнание обвиняемого считалось браком в нашей работе… Впрочем, я тогда в органах не работал. Но мы с вами отвлеклись. Вернемся к вашему делу.

— Я могу написать жалобу на то, что следствие проведено необъективно?

— Конечно, можете. И министру Госбезопасности товарищу Берии, и в прокуратуру. Только имейте в виду — всякий легко убедится в исключительной объективности ведения вашего дела. Вас на следствии били?

— Нет.

— Пытали?

— Нет.

— Ваши показания записаны правильно?

— В основном правильно.

— Вот видите. И при том еще выявлены и изъяты из состава обвинения ложные показания на вас. Поверьте, ваше дело — образец объективного следствия.

— Оно, может быть, и стало бы таким, если бы вы меня освободили. А так — оно образец абсолютной необъективности: обвинительные материалы провалились, а человека все равно под суд.

— Об этом мы уже говорили.

— Об этом я и хочу написать. Министру и прокурору.

— Вам дадут бумагу и чернила.

— Смогу ли я через моих родственников нанять адвоката?

— Само собой. Само собой. Ну, что ж, будем прощаться,

будем прощаться.

Соколов встал и вышел. Больше я его не видел.

«Интересно, — подумал я, возвратившись из лагерей в Ленинград, — вспоминал ли он о своих словах — «теперь не тридцать седьмой год» — когда обстановка в стране изменилась?» Думаю, что вспоминал. Ведь он наверняка повторял их многим своим «подопечным». И уж кто-то, а он-то знал, что жил — делал свою карьеру, получал свои деньги и свои награды, ломая судьбы невинных людей. Своим интеллигентным видом и сдержанной манерой ведения допроса он удачно символизировал то, что сталинская фабрика репрессий стала в конце сороковых годов несколько иной, хотя и действовала, в принципе, в том же направлении. Теперь она готова была обходиться без признания обвиняемого в приписываемых ему преступлениях. «Не признаешься? — ну и не надо!» Но при этом у нее появился новый, невиданный размах. В лагеря, под любыми предлогами, в том числе за катушку ниток, за горсть семян, собранных на колхозном поле, пошли миллионы. В большинстве своем это вчерашние победители — солдаты и офицеры Великой Отечественной войны. ГУЛАГ стал важным слагаемым экономики. Руда, лес, нефть, уголь, золото и другие полезные ископаемые добывались в основном заключенными. Дома и заводы строили заключенные. Они же строили дороги, рыли каналы. Для инженерной организации работы этой огромной массы людей, для их медицинского и культурного обслуживания, для всяких учетно-бухгалтерских работ нужны были интеллигенты. А для того чтобы они там в большом числе оказались, нужен был такой Соколов. В лагерях, в принципе, было немало людей, действительно виновных в государственных преступлениях, предусмотренных 58-й статьей. Для того чтобы всех этих невинных людей превратить в преступников, и нужны были такие Соколовы. «Мой» Соколов это хорошо знал, понимал. Он не заблуждался. И все же делал свое дело.

Вскоре меня перевели из следственной камеры в общую. Помню и ее номер — 28. Была она большая и светлая. Два больших окна — едва ли не во всю стену — выходили в тюремный двор. Козырьки за окнами были невысокие. Если встать на скамейку — можно видеть двор, прогулочный загон и гуляющих в нем заключенных из других таких же общих камер.

Собрали нас в этой 28-й камере человек двадцать, уже прошедших через следствие. Когда мы познакомились и рассказали друг другу о своих «делах», то пришли к единодушному выводу — здесь собрали тех, кто подлежит освобождению. Обвинения, предъявлявшиеся каждому из моих

новых сокамерников, были достаточно нелепыми в своей основе. Но и они так или иначе провалились. Каждый прочитал в своем деле об отказах свидетелей от ранее данных показаний. Каждый так или иначе сумел выявить те или иные факты фальсификации материалов своего ареста. А были и вовсе скандальные, с точки зрения качества обвинительных материалов, случаи. Расскажу о двух наиболее интересных.

Среди нас оказался известный театральный критик Симон Дрейден. В его деле не было свидетельских показаний. Не было вообще ничего, кроме его печатных выступлений — в основном статей и рецензий о советском и (о, ужас!) о зарубежном театре. К этим статьям было приложено заключение экспертов — каких-то театроведов и литературоведов, отмечавших, что в статьях Дрейдена двадцатых, тридцатых и сороковых годов имеют место восхваления Мейерхольда и Таирова, а также ряда зарубежных режиссеров, театров и отдельных спектаклей. Этого было достаточно, чтобы Дрейдена арестовать и обвинить за то, что он в своих печатных работах проповедовал космополитизм и занимался низкопоклонством перед Западом. Обвинение это считалось столь серьезным, что деятелям тогдашнего МГБ не понадобилось добавлять к нему обвинение в каких-либо «антисоветских» разговорах, допрашивать каких-то свидетелей. Дрейден был объявлен «критиком-космополитом номер один» по городу Ленинграду.

Сам Симон Дрейден очень переживал свое особое положение: у всех какие-то свидетели, очные ставки, можно что-то оспаривать, опровергать. А у него одни только собственные статьи. Мы, его новые товарищи по камере, убеждали его в том, что это хорошо, потому-де он и оказался среди нас, собранных на освобождение, что у него в деле нет никаких материалов об «антисоветской агитации и пропаганде».

Оказался среди нас и другой литературовед — Деркач, доцент филфака Университета. Высокий, чернявый человек, чертами лица и фигурой похожий на Маяковского. Этот литературовед, как он сам рассказывал нам, был активнейшим борцом с космополитизмом в Университете, лично и со знанием дела громил профессоров — Г. Гуковского, И. Еремина и прочих живых и покойных Эйхенбаумов. Его удивлению по поводу того, что он — член парткома Университета, правофланговый погрома космополитов и низкопоклонцев — оказался в тюрьме, да еще в таком символическом соседстве с «космополитом номер один» Симоном Дрейденом, не было конца. Все мы охотно допускали, что арест Деркача был явной ошибкой, в духе «артиллерия бьет по своим», и что его присутствие в нашей камере лишний признак

того, что все мы тут кандидаты на освобождение.

Мой рассказ о постановлении по привлечению к ответственности фальсификатора моего дела, содержащемся в моем деле, быть может, произвел бы на моих новых сокамерников впечатление наиболее сильного аргумента в пользу гипотезы о том, что нас тут собрали перед освобождением, если бы не еще более яркий и уж вообще не подлежащий иному истолкованию случай.

Среди нас оказался инженер, сотрудник Политехнического института Кацман. Ленинградский городской суд приговорил его за антисоветскую агитацию к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. Он подал кассационную жалобу в Верховный суд (не помню РСФСР или СССР). Верховный суд оправдал его, за недоказанностью обвинений. В тюрьме Кацману выдали копию решения Верховного суда, точность которой была заверена подписью начальника тюрьмы и круглой печатью. Эту бумагу Кацман держал в кармане пиджака. Каждый из нас перечитал ее по многу раз. Находившийся с нами опытнейший ленинградский юрист — Михаил Николаевич Лупанов — истолковал этот документ однозначно — «Пойдете на свободу!» Шутка сказать — человек оправдан Верховным судом!!!

Жизнь наша в новой камере после следственных казематов казалась просто замечательной. Камера просторная, светлая. Воздух свежий. Окна, отворявшиеся внутрь, открыты целыми днями настежь. На дворе теплый и солнечный июль. В камере много книг. Сидя в следственных камерах, мы и не знали, что книги Маркса и Ленина (ну и тем более, если бы кто захотел, — Сталина), а также книги на иностранных языках, выдаются без ограничений.

В этой камере разрешали играть не только в казенные комплекты шахмат и шашек, которые в следственные камеры выдавали редко и ненадолго — на всех желающих не хватало. Здесь разрешалось держать шахматы и шашки, слепленные из хлеба. Если к этому добавить, что с нами сидел чемпион РСФСР по шахматам Кронид Харламов, — станет ясно, с какой интенсивностью и интересом шла игра. Нередко Харламов ложился на свою койку спиной к нам, и мы играли против него на тринадцати досках (хорошо помню эту цифру). Разумеется, он почти никогда не проигрывал.

По вечерам в камере читали лекции: Дрейден о театре, Лупанов по юриспруденции, я об Иване Грозном. Инженер лесопромышленник Иван Иванович Грудинин — о лесном хозяйстве страны. Пятерым из нас, в том числе Грудинину, суждено было попасть в лесоповальный и лесопромышленный

лагерь. Тогда, в камере, никто из нас такого не предполагал. Но все равно слушали его с интересом.

Были среди нас и два близнеца (если не ошибаюсь) братья Лавреневы, рабочие одного из ленинградских заводов. С интересными рассказами выступали и они.

Все более странным для нас становилось то, что проходили дни, а нас все не освобождали. Счет нашего пребывания в 28-й камере пошел уже на недели.

Кстати сказать, мы имели прямую связь с соседней, 29-й камерой. В стене, возле пола, под плинтусом, была дыра, которую мы постепенно немного расширили. Улегшись на полу, под топчаном, скрывавшим эту дыру, можно было переговариваться с соседями. От них мы узнали, что и они уверены в том, что их собрали для освобождения. Они тоже недоумевали — почему держат? Почему не выпускают?..

Прошел месяц, пошел второй. Наши иллюзии постепенно испарялись. Каких только предположений о нашей дальнейшей судьбе мы не строили. Большинство из нас, в конце концов, склонилось к тому, что нас ожидает суд. Ведь каждому было сказано — «Ждите суда». Вот мы и ждем.

Однажды обычное течение жизни в нашей камере было буквально «взорвано» появлением у нас нового обитателя.

Как-то вечером перед отбоем мы — так было заведено — совершали «прогулку». Встав по двое, как детсадовцы, делали несколько кругов вокруг стола. Я уже говорил, что камера была просторная. Все понимали — эти «прогулки» мало что прибавляют нашему здоровью и спокойному сну. Но всем нравилось — во-первых, участвовать в каком-то общем, лучше сказать, объединяющем деле, а во-вторых, эти прогулки помогали не опускаться, оставаться и в тюрьме человеком, в котором не убиты человеческие привычки, и который верит, что арест это еще не конец, что впереди жизнь и, значит, нужно сберечь здоровье.

Вдруг растворилась дверь. В камеру из коридора втолкнули какого-то человека. За ним в камеру полетели матрац, подушка, простыня. На пол с грохотом были брошены деревянные козлы и топчан. Дверь тотчас затворилась, защелкал замок, а вновь прибывший, не обратив на нас никакого внимания, стал барабанить кулаками в дверь. При этом он кричал — «Прокурора! Требую прокурора!»

Шедший со мной в первой паре юрист Михаил Николаевич Лупанов шепнул мне:

— Передай всем — провокатор.

Я обернулся и шепнул это слово следовавшей за мной паре. Все наши повторяли его и понимающе кивали головами.

— Не вступать с ним ни в какие политические разговоры, — снова передал Лупанов. И все снова закивали головами.

Через некоторое время все успокоилось. Вновь прибывший устроил свою постель на свободном пространстве у стены. Кто-то из нас при этом сдвигал поплотнее топчаны. Новенький что-то говорил. Рассказывал, что его перевели сюда из Крестов. Называл свое имя и фамилию. Но ему не только не отвечали, его даже и слушать не хотелось. В каждом из нас жила уверенность — все, что он о себе говорит — вранье, легенда. Чего еще, кроме лжи, ждать от провокатора. Да еще так топорно внедренного в нашу камеру.

Наутро, в то время как мы все занимались уборкой камеры, новичок присел на корточки на скамейку и стал листать взятый со стола томик Ленина в красной обложке.

— Ленин-то вот что говорил, — произносил он гнусавым голосом («Какой же еще голос может быть у провокатора», — подумал я) и зачитывал какой-то случайно попавшийся ему на глаза текст. — А у нас, что делается?! Все наоборот.

Никто из нас не реагировал на эти его высказывания. Одни молча делали свое дело — подметали, прибирали на столе, заправляли койки, другие разговаривали между собой. На «провокатора» старались даже не глядеть.

Слово «провокатор» не случайно написалось у меня здесь в кавычках. Очень скоро выяснилось, что никаким провокатором Женька Михайлов не был. Рука не поднимается записать его имя — «Евгений». Нет у меня в памяти такого обозначения для него, как нет, естественно, и его отчества. Иначе как Женька Михайлов — никто не называл его в камере и в лагере, где мы пробыли четыре года на одном лагпункте. Только так называли мы его и в наших разговорах — воспоминаниях после освобождения. Я думаю, что если бы его именем, по капризу судьбы, захотели бы назвать, скажем, теплоход, — на его борту надо было бы так и написать: «Женька Михайлов». Иначе — это было бы просто не его имя.

Так вот Женька Михайлов попал к нам в «политическую» тюрьму из Крестов, то есть из тюрьмы, где содержатся под следствием бытовики, уголовники и прочие, словом, все, кроме «пятьдесятвосьмушников». Сидел он там за мошенничество. Сидел уже шестой раз. Его «специальностью» было подделывать счетно-бухгалтерские документы с целью получения незаконных денег. Прошлые пять судимостей не могли остановить его кипучую натуру. И вот он снова сидел в Крестах в ожидании суда за очередные махинации. Там, в общей камере, он расписывал своим сокамерникам прелести парижских публичных домов. В

Париже он никогда, конечно, не был, но был на данную тему хорошо наслышан. Пафос его рассказов, видимо, и в самом деле был таков: «Во, как хорошо живут в Париже! А вот у нас ничего такого же хорошего нет!»

Само собой понятно, оперуполномоченный из Крестов стал получать сводки об этих красочных выступлениях Михайлова. На него было заведено дело об антисоветской агитации, выразившейся в восхвалении западного образа жизни и принижении советской действительности. Ну, а раз дело такое, значит, надо его передавать в МГБ.

Так Женька Михайлов попал в Большой дом. Следствие по фактам его антисоветской агитации провели буквально за день-два, а затем его перевели в нашу камеру. Тоже, как ему разъяснили, для ожидания суда.

С появлением Женьки Михайлова жизнь в нашей камере стала значительно интересней. Старый, опытный «тюремщик» — он знал всевозможные способы разнообразить нудный камерный быт различными давно наработанными в тюрьме приемами. Так, например, он заводил «споры». Спор в тюрьме имеет одну особенность: нет возможности проверить правоту той или иной стороны. Никуда не выйдешь, не достанешь нужной книги. Оказывается, что в этих условиях, то есть в условиях отсутствия подтверждений для любого утверждения или отрицания, с помощью спора по любому, даже самому очевидному поводу, можно довести человека до исступления, до истерии, до желания убить противника. Зная это, Женька Михайлов постоянно затевал нарочито глупейшие споры. Так, например, он подошел к профессору артиллерийской академии с таким вопросом:

— Сергей Николаевич, скажите, как по-вашему вращается снаряд, вылетев из пушки?

— То есть как это — как? — удивился наивному вопросу профессор. — Очень просто: снаряд вращается вокруг своей оси. Слева вперед, направо. В соответствии с направлением вращения, заданным ему нарезкой канала ствола — слева вверх направо.

— Ну, Сергей Николаевич, — разочарованно гнусавил Женька Михайлов. — Выходит, и вы не в курсе последних изысканий?

— Каких изысканий?

— Ученые сумели заснять снаряд в полете на кинопленку.

— Не говорите чепуху, Женя.

— Я сам видел, ей-богу! Мне показывали эту пленку.

— Ерунда какая-то. Ну, и что же вы увидели?

— А то, что снаряд вращается не вокруг своей продольной оси, а вокруг поперечной.

— Как это? Что вы несете?

— А вот так: кувыркается. — Женька взял со стола вилку и показал, как снаряд в полете кувыркается.

Профессор-артиллерист весело расхохотался. Потом он начал что-то объяснять. Но Женька Михайлов был непоколебим. Дурацкий этот спор кончился тем, что профессор сначала вошел в полосу справедливого гнева, затем в полосу злобной перебранки с «наглым невеждой», который «позволяет себе не уважать законы физики».

— Эйнштейна тоже так же обзывали, — парировал Женька Михайлов. — И ничего, в Америке живет и плюет на всех. А вы такой умный, а в тюрьме сидите.

Кончилось тем, что профессор схватился за сердце. Мы развели спорщиков, уложили профессора на его койку, но он еще долго не мог успокоиться.

Меня Женька тоже допек.

Однажды, делая утреннюю зарядку, я по обыкновению стал приседать, выжимая при этом довольно тяжелую скамейку. Вдруг дикая, нестерпимая боль пронзила мою поясницу, я вскрикнул и упал на спину. Скамейка грохнулась мне на лицо. Из носа потекла кровь. Я лежал и не мог пошевелиться. Товарищи стали стучать в дверь, чтобы вызвать врача. Врач пришла, велела положить меня на койку и поставила диагноз: миозит — воспаление спинной мышцы. Сказался тот зимний карцер. Я пролежал несколько дней. Как-то раз ко мне, как говорится, лежачему больному, подсел Женька Михайлов. У него была явно добрая цель: отвлечь меня от боли, подбодрить. Разговор он начал с сочувственных вопросов. Давал какие-то советы — как поворачиваться, как подыматься с койки. Потом он вдруг спросил:

— Даниил Натанович, вы по Ивану Грозному специалист. Скажите, в каком году он родился?

— Грозный родился в 1530-м.

— Ну вот! — с неподдельной грустью в голосе сказал Женька Михайлов. — Вы-то зачем повторяете этот бред?

— Что значит бред?

— Ну что же, и на старуху бывает проруха, — продолжал он сокрушаться.

— Так в чем же «проруха»?

— Не хочется вам, больному человеку, бередить нервы.

— Уверяю вас — нечем их тут бередить. Когда родился Иван Грозный — всем известно. Посмотрите любую книгу, любой учебник. Там все написано.

— Там и не такое написано! Только старо это все. Открыты новые сведения. И оказывается, что Иван Грозный родился в 1534

году, а не в 1530-м.

— Странно, — отвечал я, стараясь удержаться от иронии. — Отец Ивана Грозного — Василий III — умер в 1533 году, а его сын родился через год после его смерти?!

— Не через год, а в следующем году. Девять месяцев еще не прошло после папашиной смерти. Разве так не бывает?

— Так бывает. Но в данном случае было не так. Иван родился при живом отце. А после него у Василия родился еще один сын — Юрий. Так что не получается.

— Это у вас не получается. Потому что вы живете старыми материалами и не знаете новых открытий. А я сидел в Крестах с одним ученым историком. Так вот, он сделал много открытий на счет Ивана Грозного. Он целый сундук с его архивом обнаружил.

Тут я должен заметить, что за несколько дней до этого разговора Михайлов прослушал в камере мою лекцию об опричнине.

— Так вот, — продолжал Михайлов, — опричнины, оказывается, вообще не было.

— То есть, как не было?

— Не было. Ее иностранцы придумали. Поляки и папы римские. Чтобы Ивана Грозного на польский престол не избрали, они и приписали ему опричнину.

Я понял, что Михайлов оперирует сведениями, почерпнутыми из моей лекции, но, извращает их до неузнаваемости, до полного абсурда. В конечном счете он довел меня до того, что я, превозмогая боль, вскочил с топчана, схватил его за грудки и начал что было сил трясти. Нас разняли, меня уложили на постель.

Однажды Женька Михайлов выкинул совершенно невероятный номер, ради описания которого я и пишу здесь о нем.

— Братцы, хотите я вас классно развлеку?

Большинство из нас выразило желание развлечься.

— Записывайтесь завтра с утра со мной к врачу. Там я начну. А здесь будет продолжение.

Наутро Михайлов и еще трое, в том числе и я, записались у корпусного к врачу. На прием к доктору в каждый данный день могли записаться не более четырех человек из камеры.

После обеда нас четверых повели в амбулаторию. Тюремная амбулатория Шпалерки занимала одно довольно просторное, но темное помещение. В нем пахло карболкой. Вдоль стен белели ширмы, за которыми находились покрытые простынями кушетки. Возле некоторых блестели различные аппараты, вроде кварцевых ламп. На полках стеклянных шкафчиков стояли различные

пузырьки и коробочки с медикаментами, лежали инструменты.

Прием вела врач — красивая блондинка с неулыбчивым лицом. По слухам она была женой недавно назначенного начальника тюрьмы. Ей помогала медицинская сестра, молча выполнявшая назначения врача. Лицо у нее было еще более непроницаемым, чем у врачихи. Итак, мы четверо предстали перед строгой докторшей.

— Что у вас? — спросила она у меня.

— Голова болит.

— Таблетку.

Сестра протянула мне таблетку и фаянсовую стопочку с водой.

— У вас?

— Живот болит.

— Порошок.

— У вас?

— Ухо болит.

— Закапайте камфорное масло.

Михайлова докторша уже знала.

— Что у вас, Михайлов?

Михайлов выступил вперед из-за наших спин, держа на ладони член.

— Что случилось?

— Да вот, доктор, посмотрите: у меня на кончике члена, вот видите — сверху, образовалось покраснение. Пятно в форме Южной Америки.

Все мы, разумеется, скосили глаза вниз и убедились, что Михайлов не врет. На головке члена у него явственно красовалось покраснение, очень похожее на очертания Южной Америки.

Докторша взглянула на указанное место, брезгливо потрогала его кончиками пальцев и сказала:

— Надо, Михайлов, меньше заниматься онанизмом — тогда не будете открывать у себя на члене Америк.

— Что вы, доктор! — обиженно воскликнул Михайлов. — Я тридцать лет занимаюсь онанизмом, но ничего такого не было!

— Ладно, Михайлов, идите, идите в камеру.

Нас повели обратно в камеру. Мы давились от смеха. Не мог удержаться от смеха и конвоир, видевший всю сцену.

В камере наш рассказ вызвал повальный хохот. Между тем Михайлов, вошедший в роль, стал барабанить кулаками в дверь, требуя корпусного.

Вошедший в камеру корпусной с порога задал обычный вопрос:

— Зачем вызывали?

— А вот зачем, — сказал Михайлов, выступая вперед с членом на ладони.

— Ах, так! — закричал корпусной, воспринявший выступление Михайлова как выпад против него лично. — За издевательство пойдешь в карцер!

Общими усилиями мы с трудом разъяснили ему, что никакого издевательства тут нет. Рассмотрев «Южную Америку», корпусной приподнял свою синюю фуражку, вытер пот на лысине и сказал:

— Может, и вправду дело серьезное? Может, это у тебя сифилис?

— Какой еще сифилис? — возмутился Михайлов. — Врачиха сказал, что это от онанизма. А от этого сифилиса не бывает. Короче — давайте бумагу и чернила.

Корпусной принес бумагу, чернила и ручку.

Михайлов — единственный из всех нас не скрученный хохотом, а напротив, сохранявший серьезность, написал на имя прокурора по надзору за тюрьмой заявление: «Такого-то числа, утром, я обнаружил у себя на головке члена покраснение в форме Южной Америки и показал этот факт тюремному врачу. Последняя отказалась оказать мне медицинскую помощь, обозвав меня онанистом. Все это происходило в присутствии свидетелей. Прошу вашего вмешательства для оказания мне медицинской помощи».

Корпусной забрал заявление и ушел. Мы еще долго не могли успокоиться.

Прошло недели две. Все мы, и в том числе сам Михайлов, были убеждены, что его заявлению не дадут ходу, ограничившись разъяснением, которое даст начальству — своему мужу — тюремный врач. Но вот, однажды утром, вскоре после завтрака, в нашу камеру влетел взволнованный корпусной.

— Скорее, скорее, — закричал он, — все убрать. Койки заправить, на столе порядочек навести. Пол подмести получше. Начальство, все начальство сейчас к вам прибудет.

Корпусной убежал, а мы быстренько навели дополнительный порядок.

Вскоре дверь отворилась, и к нам вошло сразу несколько человек — прокурор, начальник тюрьмы и еще трое в синих фуражках. Вместе с ними пришел старичок с седой козлиной бородкой, в очках, в белом халате и в белой шапочке. Старичок вполне сошел бы за доктора Айболита на сцене детского театра, если бы из-под белого халата не были видны синие брюки с ярко-красными лампасами. Старый доктор, окруженный тюремными чинами в синих фуражках, пугливо озирался. В его руках дрожал

скомканный носовой платок, который он то и дело прикладывал к носу. Его волнение и страх были вполне понятны. Доставленный в тюрьму МГБ, да еще по такому дикому поводу, как покраснение в форме Южной Америки на члене политзаключенного, он, естественно, мог подумать, что его самого забрали под первым попавшимся предлогом. Если бы подобное случилось с ним три года спустя, на фоне «дела врачей» — у него вообще не возникало бы никаких сомнений насчет того, зачем его сюда привезли.

Но в тот момент, в пятидесятом году, он, вероятно, еще надеялся на то, что все обойдется.

— Михайлов! — крикнул начальник тюрьмы — высокий, полноватый мужчина. — Заявление прокурору писали?

— Так точно, гражданин начальник, писал.

— Ну, вот, по вашему заявлению приняты меры. Мы пригласили профессора из Военно-медицинской академии. Он вас осмотрит. Предъявите свою болезнь.

Михайлов подошел к столу и положил «свою болезнь» на газету, услужливо подстеленную кем-то из наших. Профессор вынул из кармана увеличительное стекло и навел его на небывалую географическую карту. Начальники старательно заглядывали через его плечо. Мы, обитатели камеры, тоже толпились вокруг стола. Как мы признавались потом друг другу, никто из нас никогда не испытывал такой пытки смехом. Каждый понимал — если мы рассмеемся, то нас могут выдворить в коридор. Но лишаться такого неповторимого спектакля, разумеется, не хотелось.

Профессор, наконец, распрямился и убрал свою лупу.

— Скажите, Михайлов, — обратился он к пациенту, — вы раньше никогда не замечали у себя этого покраснения?

— Нет, доктор, не замечал.

— А ведь это у вас родимое пятно, от рождения. Вы должны были его заметить.

— Михайлов! — закричал начальник тюрьмы. — Сукин ты сын, этакий. Что ж ты морочишь голову нам. И еще профессора из-за тебя побеспокоили! Как же ты мог не видеть у себя этого родимого пятна?! Симулянт несчастный?!

— Не видел, гражданин начальник. Ей-богу, не видел.

— Как это можно было не видеть?! — чуть не хором закричали все прочие начальники.

— А очень даже просто, — заявил Михайлов. — Раньше я был уголовник. Сидел в уголовной тюрьме и не знал политическую карту мира. А теперь я стал политическим и здесь в политической тюрьме я прозрел, вырос сам над собой.

— В карцер его, сукиного сына! — воскликнул начальник

тюрьмы. — На трое суток! И штаны и кальсоны с него снять! Пусть там еще больше прозреет. Пойдемте, доктор.

Начальство вышло из камеры. Как только за ним закрылась дверь, из коридора донесся хохот, слышались громкие оживленные голоса. Начальство явно развеселилось. О чем именно там за дверью шла речь, мы не слышали. Возможно, прокурор или кто-нибудь другой посоветовали начальнику тюрьмы смягчить свое решение. Факт тот, что Михайлова в карцер не отправили. Впрочем, для этого могла быть и другая причина. Через несколько дней начался новый период в жизни нашей камеры.

Двадцать третьего августа, после завтрака, дверь камеры приоткрылась и корпусной сказал:

— Всем приготовиться на выход с вещами.

Мы стали собирать вещи в узелки. Все понимали, что мы расстаемся. Никто теперь не верил в освобождение. Многие, в том числе и я, верили в предстоящий суд. Так или иначе, мы понимали, что началось какое-то движение в сторону приговоров, расставания с этой тюрьмой и заключения в лагеря.

Мы начали прощаться. Многие обнимались. У многих на глазах были слезы. Я с особенным волнением попрощался с Михаилом Николаевичем Лупановым. Мы успели подружиться. Разговаривать с ним мне было очень интересно. Расставаться было грустно. Да и все мы успели привыкнуть друг к другу. Жалко было расставаться и с веселым Женькой Михайловым, мудрым и добрым Симоном Дрейденом, с симпатичными братьями — рабочими Лавреневыми, с российским чемпионом по шахматам Кронидом Харламовым, с конструктором авиамоторов Климовым.

О том, что нас всех уводят с вещами, мы сообщили через переговорную дыру в соседнюю камеру. К ним команды готовиться на выход с вещами еще не поступало. Соседи пожелали нам счастья.

Но вот снова раскрылась дверь.

— Климов с вещами.

Климов вышел.

Минут через пять дверь снова открылась.

— Лупанов с вещами.

Конвейер заработал в довольно быстром темпе.

Дошла очередь и до меня. Махнув на прощание рукой товарищам, остававшимся на своем печальном старте, я пошел, направляемый надзирателем куда-то вниз по лестнице.

Сердце билось учащенно. Я понимал, что иду навстречу своей новой судьбе, не сулившей ничего, кроме новых мучений и тягот.

Старался себя подбадривать. Хорошо-де, что настанет какая-то определенность: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

Меня привели на второй этаж, к двери кабинета начальника тюрьмы. Дверь была открыта.

— Входите, — сказал надзиратель.

Я вошел. В кабинете стояла массивная мебель, обтянутая черной кожей — диван с высокой спинкой, кресла. Напротив двери стоял большой письменный стол, за которым сидел молодой майор МГБ. Я обратил внимание на университетский значок у него на груди.

— Садитесь, пожалуйста. — Майор указал мне на кресло перед столом. Я сел. Свой узелок — какие-то вещи, завязанные в свитер, я положил на пол.

— Ваша фамилия?

Я назвался.

— Ознакомьтесь, пожалуйста. — Майор протянул мне бланк, размером меньше, чем в половину обычного бумажного листа. В его верхней части типографским способом было напечатано: «Особое совещание при министре государственной безопасности СССР». Ниже было впечатано на машинке: «Выписка из протокола от … июля 1950 года. Ниже, по сторонам, разделенным вертикальной чертой, было впечатано на машинке:

Пункт протокола 136.

Слушали:

Дело по обвинению такого-то в пр. пр.[11] ст. 58–10, ч. I.

Постановили:

Направить такого-то в ИТЛ сроком на 10 лет.

Под этим текстом стояло несколько подписей. Под ними — типографски напечатанное слово — «Читал». Вслед за местом для подписи была впечатана линеечка для указания даты и месяца.

Я подписался в указанном месте и вернул бумагу майору.

— У вас есть ко мне вопросы? — осведомился он.

— Есть.

— Пожалуйста.

— При аресте у меня был изъят университетский значок. Это не мой на вас надет?

— Нет, не ваш. Еще вопросы есть?

— Больше нет.

— Пожалуйста, идите.

Я встал и вышел в коридор.

Такова была процедура «суда», которого я ждал, к которому готовился, на справедливость которого имел наивность рассчитывать.

Фактически само МГБ приговорило меня своим Особым

совещанием. Притом без всякого разбирательства, буквально в списочном порядке. Мое дело, как видно по выписке из протокола, рассматривалось на данном заседании сто тридцать шестым! Была ли эта цифра одной из последних, или вслед за моим «делом» в тот день было рассмотрено еще столько же, а то и больше дел?

Позднее я убедился, что через ОСО, то есть без суда, в эти годы были направлены в лагеря примерно восемьдесят процентов так называемых «политзаключенных».

Надзиратель повел меня по той же лестнице, по которой мы несколько минут назад спускались. Мы миновали этаж, на котором была наша двадцать восьмая камера и поднялись на следующий. Меня подвели к двери новой общей камеры. Дежурный по этажу надзиратель открыл дверь, я вошел и. Боже мой! В камере были все наши, кто был вызван «с вещами» раньше, чем я.

Товарищи тотчас меня окружили. Посыпались вопросы:

— Ну что, Даниил Натанович!

— Что вам дали?

— Сколько?

Я сказал: «Десять лет лагерей».

В ответ раздались веселые возгласы:

— Ха-ха-ха! И у меня десять!

— А у меня пятнадцать!

— А мне двадцать пять влепили!

— Ха-ха-ха!

Все это говорилось со смехом. Царило какое-то веселое оживление.

Один за другим входили остальные наши товарищи. Каждый раз повторялось все то же:

— Сколько дали?

— Пятнадцать.

— Ха-ха-ха! А мне десять!

— А мне двадцать пять!

Последним вошел инженер из политехнического.

— Ну, что? Сколько дали?

Вместо ответа он вынул из внутреннего кармана пиджака копию оправдательного приговора Верховного суда, порвал ее на мелкие кусочки, бросил их в парашу и спустил воду.

Особое совещание дало ему десять лет лагерей, продемонстрировав тем самым свое презрение к Верховному суду.

«Нездоровое оживление» момента первых встреч (воистину гениальное словосочетание, найденное Ильфом и Петровым)

быстро улетучилось. Вызвано оно было, видимо, тем огромным зазором, огромным несоответствием между жестоким приговором и тем самоощущением, которым обладал приговоренный — то есть полным и абсолютным неприятием (невосприятием?) себя, хоть в какой-то степени, преступником: «Вот, дураки! Я совершенно ни в чем не виновен, а они мне такой срок влепили!» — такова, видимо, в примитивной схеме психологическая подоснова того странного и неуместного смеха, который охватил нас тогда, в столь трагическую минуту нашей жизни.

Всякое благодушие и даже внешнее бодрячество у всех нас исчезло окончательно после представленного нам свидания с родственниками.

Нас приводили в помещение для свиданий человек по десять и выстраивали вдоль деревянного барьера, высотой доходившего человеку до пояса. Над барьером, почти до потолка, находилась редкая металлическая сетка. Метрах в полутора от этого барьера находился другой такой же барьер, над которым сетки не было.

В проходе между барьерами туда и сюда расхаживал пожилой надзиратель в синей фуражке и в очках.

В помещение, по ту сторону отдаленного от нас проходом барьера, впустили родственников. Пришли жены с детьми всяких возрастов, матери.

В первые минуты стоял немыслимый гвалт. Пришедшие на свидание сначала толкались возле барьера, становились напротив своего. Дети постарше кричали — «Папа! Папа!..» Малыши плакали. Поначалу какая-то старушка громко запричитала. На нее зашикали. Успокоили детей. Начались разговоры. Слышно друг друга было плохо, так как каждый старался перекричать своих соседей.

Моя жена держала на руках сына. Я оставил его полуторамесячным. Теперь ему было около года. Смешной круглый пупс. Так хотелось протянуть к нему руки, взять его на руки. Руки невольно поднялись и, встретив сетку, крепко в нее вцепились. Так, с поднятыми вдоль сетки руками, словно повиснув на ней, я и простоял те полчаса, которые длилось свидание. Боль в пальцах была очень кстати. Она помогала удержаться внешне спокойным. Хотел быть спокойным, уверенным, хотел подбодрить жену, внушить ей, что не все еще в прошлом, что будущее обязательно наступит, что есть смысл жить ради этого будущего, ради сына.

Как я узнал потом в камере, некоторые из тех, кто получил двадцать пять лет лагерей, вели себя на свидании иначе: старались уговорить своих жен забыть их, поскорее оформить развод и строить свою жизнь самостоятельно, без этой страшной

«гири» на ногах, какой является муж — «враг народа», осужденный к двадцати пяти годам. Тем более что дождаться его при таком сроке практически невозможно. (Кто из нас тогда думал, что Сталин через три года умрет и все мы после этого, кто раньше, кто позже, но до окончания срока, окажемся на свободе).

Я потом не раз задумывался над вопросом: какая позиция была честнее, благороднее — внушать своим близким ни на чем не основанный оптимизм, или благословить их на избавление от статуса прокаженного — «члена семьи врага народа». Такие раздумья пришли позже. В момент свидания мне просто не приходило в голову, что я могу сказать что-то другое, чем то, что я говорил.

Во время свидания мой сын учинил ЧП. Прохаживавшийся в проходе между барьерами пожилой надзиратель, каждый раз проходя мимо малыша, начинал с ним играть — «бодал» его двумя пальцами. В один из таких моментов сын заинтересовался очками этого «дяди» больше, чем его «рогатой козой». Он протянул ручонку и сдернул очки с носа старого тюремщика. Естественно, малыш их не удержал. Очки упали на каменный пол и разбились. Доигравшийся тюремщик, охая и вздыхая, присел, поднимая опустевшую оправу. В другой обстановке этот эпизод привлек бы всеобщее внимание. Здесь он прошел незамеченным. Мы с женой, конечно, перепугались. Думали, что наше свидание будет досрочно прервано. Но все обошлось.

Но вот свидание окончено. Нас уводят под крики и плач. Кричат дети. Кричат взрослые. Мы идем с головами, повернутыми назад, впившись глазами в родные лица. У каждого из нас на уме одно — не в последний ли раз вижу их. То же, верно, думали и наши родственники.

После свиданий, на которых мы по очереди побывали, настроение в нашей камере резко изменилось. Только теперь трагизм и непоправимость случившегося обнажились для каждого в полной мере. Тяжело и больно было и раньше. Тюрьма, допросы, угрозы, ощущение своего бессилия, предвидение тяжелой и страшной судьбы и даже гибели, разлука с близкими, беспокойство за их судьбу, обида за совершенную в отношении тебя несправедливость — все это было и до этого дня. Было все это. И мучило, и страшило, и оскорбляло. Но рядом жило и другое, не оставляли иллюзии, надежды. Пусть нелепые, неразумные. Но они были и держались устойчиво.

Так уж устроен человек. На фронте каждый думал, верил — не мог представить это себе иначе: пуля пролетит мимо него. Пусть рядом, пусть просвистит у самого уха, но мимо. А если не мимо, то ранит — попадет в ногу, в руку, но не в голову и не в

сердце. В голову или в сердце она может попасть кому-то другому, тому, кто бежит в атаку рядом со мной, но не мне. А осколки снаряда пролетят, скорее всего, над головой, или просвистят мимо, или, если пойдут низом, — ранят в ноги. Без такого неистребимого убеждения каждого солдата война была бы невозможна. Мало кто смог бы подняться в атаку, перебегать через пристрелянные «поляны смерти» и вообще освоиться с жизнью на войне как с повседневным бытом.

Странно, что такого рода неразумный оптимизм насчет своей судьбы уживается со страхом, то есть с чувством (представлением) противоположного свойства: «страшно идти на передовую, страшно идти в разведку. — могут убить». Однако уживаются в человеке и страх смерти и уверенность в том, что тебя она минует. В этом сказывается неразрывная связь сознания с инстинктивными чувствами. В данном случае с инстинктом самосохранения от гибели — страхом — с одной стороны, и с инстинктом жизнеспособности, поддержания жизненной активности, спасения ее от паралича на почве того же страха. Последнее определяло и состояние заключенного в следственной тюрьме. Да, иллюзии, вера в исключительный поворот своей судьбы — все это было. А кроме того, была борьба за свою судьбу, борьба со следствием. Разум понимал, что ее исход предрешен. А инстинкт заставлял продолжать борьбу, поддерживал веру в благополучный исход.

Постоянно занимали ум тревожные думы о семье. Тем не менее, они раньше, до свидания, никогда не обретали такой остроты, не причиняли такой боли. Ее как-то смягчала мысль о том, что «главный страдалец» среди членов семьи — сам арестованный: «Это я в тюрьме, я лишен свободы, а значит, нормальной жизни, а они все-таки на свободе». Сколько бы раз подследственный не вызывал в памяти образы своих близких, они вставали в его воображении в обстановке его семейного жилища, на фоне своих вещей, своих стен, короче, в антураже того, далекого и такого, как теперь оказалось, милого прошлого.

Свидание все переменило. До него случившееся было как бы закрытым переломом. Теперь словно обнажилась кровавая рана, с рваными краями, с торчащей из нее сломанной костью. Теперь уже нет надежд и иллюзий. Теперь уже известно — десять, пятнадцать, а то и двадцать пять лет лишений, мучений и разлуки. Разлуки, быть может, навсегда. Теперь твои близкие останутся в памяти не только в окружении родных стен, но и в тюремном помещении, за барьером, за железной сеткой, такими же, или еще более несчастными и обездоленными, как ты сам. Плачущие, слабые, бессильные помочь тебе и себе, через силу

выкрикивающие ободряющие слова. Самые важные из этих слов, в которые теперь только и остается верить, — «Буду ждать! Будем тебя ждать!» Но как звучат они для тех, кто получил срок — двадцать пять лет? А, впрочем, и для тех, кто получил десять?.. И все-таки они звучат в ушах. Теперь больше надеяться не на что.

Свидание взорвало уже сложившееся течение жизни нашего дружного камерного коллектива. Все мы были еще вместе. Но каждый значительно глубже, чем раньше, ушел в свое личное горе, в свою судьбу, в воспоминание о лицах, о глазах, о слезах, о голосах своих близких. Теперь никому не пришло бы в голову предложить прослушать какую-либо его лекцию. Притих даже Женька Михайлов. Самому, видно, было не сладко: десять лет «за политику» — не то, что два или три года за очередное мошенничество. Да и понимал он, что его штучки сейчас никому не будут по сердцу. Никого в эти часы и дни не отвлечь от грустных дум, не развлечь.

В начале века Генрих Манн написал целую книгу, заполненную описанием переживаний жертвы, угрызений совести доносчика, драмы родственников, жестокости властей и тюремщиков. С героем этого романа («Верноподданный») произошла ужасная драма. Прямо-таки крушение всей жизни произошло. Его арестовали и продержали в тюрьме шесть месяцев. Миллионы читателей во многих странах, в том числе и у нас, ужасались несправедливости рока и жестокости людей. Какой, однако, чепухой является повод для всех этих страстей — шестимесячное заключение — по сравнению с нашими судьбами. Меняются времена, меняются нравы!

Всем нам еще до предоставления свидания предложили написать для своих родственников список вещей, которые мы хотели бы получить в дорогу. Теперь нам их передали. Чемоданчики, кошелки, теплые носки, белье.

Дня через три нас стали вызывать с вещами по несколько человек. Мы понимали — на этап. Каждая группа ехала в тот или иной лагерь. В какой — не известно, но факт тот, что вместе. Отъезжающие прощались с остающимися ожидать своего вызова.

Со многими, вернее, с большинством моих сокамерников из бывшей 28-й, я простился навсегда. Из тех, кто не поехал на этап в нашей группе, встречался потом только с Симоном Дрейденом. Поддерживаю с ним добрые отношения и до сих пор, когда я пишу эти строки.

Со мной вместе отправились юрист Михаил Николаевич Лупанов, лесной инженер Иван Иванович Грудинин и Женька Михайлов. Все мы оказались на одном отдельном лагпункте (ОЛП) Каргопольлага МВД СССР строгого режима. Там и пробыли

вместе четыре года, то есть до освобождения, пришедшего к нам после смерти Сталина и расстрела Берии.

Во дворе тюрьмы нас погрузили в «воронок», на кузове которого с двух сторон было написано — «Хлеб». Машина тронулась. Начался этап в смысле транспортировки. Начался и новый этап жизни. Но это — новая глава. Она и больше и интереснее этой: о четырех годах, проведенных не в четырех стенах камеры, а среди множества людей. И каких людей! Чего только не пришлось испытать и увидеть!

Итак, — в ГУЛАГ!

Часть II

«Этапы большого пути»

«Воронок», в который нас посадили во дворе «Шпалерки», был уже изрядно загружен уголовниками и «бытовиками», которых везли из Крестов.

По движению машины я понял, что мы свернули с улицы Воинова на Литейный. Заметив небольшое зарешеченное окошечко под крышей кузова, я попросил моих спутников подпустить меня к нему на минутку. Очень захотелось увидеть хоть кусочек, хоть крышу родного дома, мимо которого предстояло проехать. Я встал на скамейку, шедшую в кузове вдоль борта, и увидел стены знакомых домов. Вот и мой дом. Я мог увидеть его последний, четвертый этаж, его характерные остроконечные башенки над крышей. А вот и угол дома. Всего одну-две секунды вижу я окна четвертого этажа, выходившие на улицу Пестеля. Успеваю вцепиться взглядом в свое окно возле водосточной трубы. Я спускаюсь со скамейки, благодарю потеснившихся попутчиков.

Мимолетная встреча с родным домом вызвала волну воспоминаний. Самое страшное из них — сентябрь сорок первого. Тогда тоже с тоской и страхом оглядывался я на этот самый свой дом. И тогда тоже вопрошал я судьбу: доведется ли вернуться сюда, снова открыть знакомую дверь. Тогда в этом доме оставалась моя мать. Блокада убила ее. Теперь там, за окошком, которое я успел разглядеть, мой годовалый сын. Увижу ли его когда-нибудь? И когда? Неужели уже десятилетним школьником? Охваченный этими мыслями, я не заметил, как доехали до Московского вокзала. Не остался в моей памяти и момент погрузки в «столыпинский» вагон, прицепленный в голове пассажирского поезда.

«Столыпин»

В купе обычного типа, отгороженное от коридора дверью-решеткой, запихали ровно двадцать шесть человек. На вторых и третьих полках улеглись по двое наиболее авторитетных у воров личностей. Остальные восемнадцать размещались на двух нижних полках и на полу. Здесь, в момент рассаживания и устройства, я впервые в жизни услышал обращенные ко мне слова — «папаша» и «старик». Исполнился мне к тому времени тридцать один год, и обращение это было мною воспринято с удивлением и даже с внутренним протестом. Но что поделаешь! Ехавшие со мной блатные были в основном лет на десять моложе меня. К тому же, это обращение прозвучало в контексте, вроде бы, сверхлюбезном.

— Садись, папаша, — обратился ко мне, вставая с крайнего места у самой двери, какой-то юный уголовник. Я стал было отнекиваться — ну зачем, мол, я могу и постоять. Но паренек меня уговорил. Его любезность на поверку оказалась весьма относительной. Как только я сел, он тотчас уселся ко мне на колени. Тут только я увидел, что на нижних полках все сидят «в два этажа». Сидеть у меня на коленях этому пареньку было, несомненно, удобнее, чем держать на коленях меня.

Не буду описывать подробности нашего путешествия в «Столыпине». Подобные обстоятельства уже достаточно ярко описаны. Отмечу только некоторые детали, связанные именно с данным конкретным случаем.

Никто, разумеется, не знал, куда нас везут и как долго нам придется вместе ехать. Может быть, поэтому блатные не поторопились распотрошить мои вещички.

Поездка, естественно, была крайне мучительной. Сидеть было тесно. Пассажир на моих коленях поначалу казался мне совсем не тяжелым. Я даже пошутил на эту тему — хорошо, мол, что он такой легковесный, могло быть хуже, окажись на его месте какой-нибудь «дядя Пуд». Но постепенно начинало казаться, что он прибавляет в весе. В конце концов я взмолился — попросил хоть ненадолго поменяться. Просьба моя была уважена.

Ехали мы вечер и ночь, и еще день до вечера. Спать почти не удавалось. Болезненно сжатое тело, шум, гам, дым, непрерывная жажда, долгая и мучительная процедура вывода на оправку. Но вот на какой-то большой станции весь наш вагон высаживают.

Как назло, хлещет холодный сентябрьский дождь. Колонну заключенных, человек двести — как только вместил нас всех один вагон?! — ставят на путях вдоль нашего поезда, который ждет отправления. К освещенным окнам вагонов прилипли пассажиры.

Они смотрят на нас — жалких и мокрых. В нашем «строю» есть, оказывается, несколько женщин с грудными детьми на руках. Вокруг нас конвой в плащ-палатках, с автоматами и овчарками. Я гляжу на пассажиров, стоящих у окон. «Счастливые!» — думаю я. И вспоминаю, как сам не раз смотрел через окно вагона на такие же группы заключенных, стоящих или бредущих под конвоем. Разные чувства охватывали меня при виде этих несчастных. Сочувствие и жалость — это само собой. Но при этом обычно набегала мысль — как хорошо, что я смотрю на них со стороны, а не нахожусь с ними, под конвоем.

Каждый раз при виде «столыпинских» вагонов или арестантов, идущих под конвоем, всплывала в памяти одна и та же картина.

…Московский (тогда Октябрьский) вокзал в Ленинграде. Ранняя весна. Уже тепло. Светлое, предзакатное время. На открытом месте возле железнодорожных путей, кто прямо на земле, кто на своих чемоданах, — сидят люди. Вокруг них солдаты в синих фуражках, с винтовками. Две овчарки лежат у ног своих хозяев. Чем-то распоряжаются — то появляясь, то куда-то исчезая, — командиры в шинелях и тоже в синих фуражках, с наганами на боку. Среди людей, сидящих на чемоданах, я вижу моего отца. Папа, как всегда, в шляпе, на носу пенсне. Он улыбается, машет нам рукой. Мы — моя шестилетняя сестренка, мама и я — тоже машем ему руками. Мама плачет. Рядом с папой сидит человек в зеленой фуражке инженера. Я его знаю. Он как-то раз был у нас дома. Это — «дядя Пантюхов», как мне говорили — знаменитый инженер. Самый главный инженер на том заводе, где папа служил юрисконсультом. Вокруг нас — целая толпа других мам и ребят, пришедших проводить мужей и отцов. Все что-то громко говорят, перекрикиваются со своими. Конвойные то и дело приказывают арестантам не разговаривать. Несколько женщин, и наша мама тоже, окружают подошедшего к нам командира, просят разрешить передать мужьям теплую одежду и свертки с едой.

Командир подзывает солдата и приказывает взять свертки. Солдат куда-то убегает и возвращается с большим мешком, укладывает в них свертки и уходит. Командир обещает, что вещи будут переданы арестантам в дороге после проверки их содержимого. Доброе еще тогда было время!

Потом арестантам приказали встать. Я видел, как их повели к вагону. Посадка длилась довольно долго. Папа несколько раз оглядывался. Толпа провожающих дождалась отправки поезда. В окнах вагона — одни синие фуражки. «Своего» никто не видит, но все машут руками, платками. Малышей поднимают на руки в

надежде, что арестанты их видят. Много заплаканных лиц.

Я держу в двух руках мамину холодную руку, стараюсь ее согреть. Так странно и непривычно чувствовать, что у мамы холодная рука. Такого раньше вроде бы никогда не было, и это меня пугает. «А вдруг мама умрет». И я все повторяю — «Не плачь, мама, папа скоро вернется». — «Нет, нет, — говорит мама. — Он не вернется. Я видела его лицо. Это лицо обреченного…»

К счастью, прав оказался я. Отец вернулся из ссылки через десять лет, в 1940-м году. В Ленинграде его не прописали, и он поселился в Луге. Мама умерла в результате блокадного истощения в 1942 году. Отец пережил ее на десять лет. Тогда, в 1950-м, когда я был отправлен в лагерь, он был еще жив.

Многие из моих спутников по прежним поездкам смотрели на заключенных недружелюбно, со злобой. Для большинства из них все арестанты были преступниками. Либо ворами и бандитами, либо врагами народа. Не раз приходилось слышать злобные высказывания в адрес заключенных, вроде таких: «Ничего, пусть посидят. Так им и надо. Зря никого не посадят».

Вот так, наверно, многие глазеющие из окон вагонов думали и о нас, и обо мне. Некоторым из этих благополучных на тот день пассажиров предстояло раньше или позже и самим оказаться под конвоем. Такой уж была неумолимая логика нашей действительности.

Наконец поезд тронулся. Вагоны с железным стуком покатили мимо нас. В нескольких окнах осторожно, едва приметно поднялись и закачались руки. Нам посылали прощальный привет. В основном на это решились женщины. Спасибо им — тем незнакомым хорошим людям! До сих пор стоят у меня перед глазами эти еле приметные знаки сочувствия и добрых пожеланий.

К моменту отхода поезда мы знали, что находимся в Вологде. Уже побывавшие здесь блатные сообщили, что пересылка в этом городе хорошая — кормят сносно, нары сплошные в два этажа, большая баня. Захотелось побыстрее там оказаться — согреться, вымыться, лечь на нары.

Когда поезд отошел, нашу колонну повели на пустынную привокзальную улицу. Перед началом движения начальник конвоя, принявшего нас из «Столыпина», громко прокричал:

— А ну, тихо! Слушай объявление!

Тут я впервые и услышал фразу, которая, как оказалось, была в этих краях исключительно популярной и без конца повторялась и охранниками, и заключенными. Первыми всерьез, вторыми — с насмешкой.

— Вологодский конвой шуток не понимает. Шаг вправо, шаг влево — считается побег. Открываю огонь без предупреждения! — сурово произнес начальник.

Десять лет спустя я вставил эти слова, чуть видоизменив их, в комедию «Опаснее врага». Пьяница кочегар, «арестовавший» в котельной Института Кефира двух оказавшихся там научных сотрудников, предупреждает их: «Шаг вправо, шаг влево — считается побег. Бью по кумполу без предупреждения!» Тут он замахивался лопатой. Зал весело хохотал, на что я и рассчитывал. Хотелось осмеять страшные обстоятельства народного «быта» сталинских времен, которые, как в тот момент «оттепели» казалось, безвозвратно ушли в прошлое. Тогда, в Вологде, смеяться не хотелось. В голосе начальника конвоя звучала вполне реальная угроза. И никто, в первую очередь достаточно опытные в этапных делах воры, не сомневались, что угроза будет выполнена без всяких колебаний. Разумеется, и я не собирался делать хоть один шаг вправо или влево. Тем не менее, сам того не желая, я вскоре крепко прогневил начальника конвоя, за что тут же и поплатился.

Мы долго стояли под дождем. Кругом было тихо. Улицу слабо освещал фонарь. Люди в колонне почти не разговаривали. Иногда слышался плач какого-нибудь младенца на руках у стоявшей в колонне матери. Иногда взлаивала какая-либо из конвойных собак. Но вот подъехало несколько «воронков», и нас, начиная с головы колонны, стали в них загружать. В одну из первых партий отправляемых должен был попасть и я. Но тут черт меня дернул подать начальнику конвоя «рацпредложение».

— Гражданин начальник, — обратился я к нему, — надо отправить сначала женщин с детьми, а мы можем подождать.

Тут же я получил удар кулаком по шляпе от стоявшего со мной рядом заключенного.

— Молчи, гад, пока в глаз не схлопотал! — зашипел он. — Ишь, какой добряк отыскался!

Реакция начальника конвоя на мои слова была еще более суровой. Он подошел к колонне, протянул руку — я стоял вторым от него, — схватил за грудки и буквально выдернул из рядов.

— Ты что, гад, — обратился он ко мне точно так же, как стоявший рядом со мной уголовник, — командовать здесь надумал?! В армии служил?..

— Служил.

— Офицер?

— Так точно.

— Какое имел звание?

— Старший лейтенант.

— Небось, бывший фронтовичок?

Никогда раньше не предполагал, что понятие «фронтовик» можно наполнить таким презрением.

— Да, всю войну был на Ленинградском фронте, — сказал я, все еще не взяв в толк, что этим, оказывается, гордиться больше не приходится.

— Так вот, запомни, — зло проговорил начальник конвоя — его погон под плащ-палаткой не было видно, — здесь ты командовать не будешь. Ты понял это?

— Я и не хотел командовать, гражданин начальник. Я просто хотел уступить свое место женщинам с детьми, — пытался я оправдываться.

— Вот и уступишь. Ефрейтор Белов! (Я, естественно, не запомнил прозвучавшую тогда фамилию и называю здесь первую попавшуюся, чисто условно).

— Я!

К начальнику конвоя подбежал низкорослый солдатик с автоматом на шее.

— Отведи этого хмыря в конец колонны.

— Есть отвести хмыря в конец колонны! Шагай, контра! — крикнул солдатик.

Я было повернулся, чтобы идти, но начальник конвоя скомандовал:

— Отставить! Бери его за шиворот, Белов, и волоки.

Теперь я понял, почему начальник вызвал для отволакивания меня в тыл самого низкорослого из своих подчиненных. Ему нужно было устроить театр, повеселить «публику».

Солдатик подошел ко мне сзади, дотянулся до воротника моего пальто и с силой толкнул меня в шею. Мы зашагали вдоль колонны. Я не мог видеть ни себя, ни своего конвоира со стороны. Вероятно, мы представляли собой очень смешную пару. Хохотал начальник конвоя. Хохотали солдаты. Смеялись и заключенные. Да, да, смеялись и эти голодные, измученные тяжкой дорогой, насквозь промокшие люди, которых везли на лагерную каторгу. Из рядов заключенных и конвоиров раздавались веселые реплики.

— Эй ты, питерский, — кричали мои спутники по вагону, — шагай на полусогнутых! Не то этому гулькину пальцу до тебя не достать.

— Не тушуйся, Белов, верхом на него вскакивай! — кричали боевые соратники коротышки.

С каждым таким выкриком вологодский солдатик все более и более озлоблялся. Он все сильней и сильней пихал меня в шею кулаком. Наконец мы добрались до самого конца колонны. Конвоир поставил меня в последний ряд и, бурча что-то себе под

нос, отошел.

Текли часы. «Воронки» подъезжали и уезжали, отвозя очередную партию заключенных на пересылку. Я промок и в самом деле до последних ниток.

Я уже говорил и, возможно, еще не раз скажу по ходу этого своего повествования: странно устроен человек. И в самом деле — о чем я думал, выстаивая под дождем в очереди на отъезд в «воронке»? Мечталось об одном — скорее бы отвезли в тюрьму! Все же — стены, крыша. Прилечь можно будет. Хотя бы на полу. Скорее бы! Но вот наконец настала моя очередь ехать.

Пересылка

Вологодская пересылка была расположена в здании, построенном еще при Иване Грозном, в 60-х годах XVI века. Было время, когда царь хотел перенести свою столицу в Вологду, с тем, чтобы затвориться там за вновь отстроенными крепостными стенами от «изменных бояр», угнездившихся в Москве и вокруг нее. Замысел этот не был осуществлен, однако кое-какие постройки успели тогда возвести. Понятно, что лучшего здания для пересыльной тюрьмы, чем окруженная толстенными стенами с башнями бывшая опричная крепость, сталинским тюремщикам искать не приходилось. Меня и моих спутников ввели в широкий и длинный зал первого этажа. Несмотря на то, что из-под мощных сводов свисали на длинных витых шнурах яркие лампы, зал оставался мрачным, казался темным. На полу возле стен и в центре зала сидели, лежали, стояли заключенные — весь наш этап. Ждали нас — последнюю партию.

Не успели мы войти и поставить на пол свои пожитки, как в центре зала появился крепко сложенный, среднего роста лейтенант в синей фуражке.

— Становись в строй! — заорал он зычным голосом. — Вдоль серединки, по три в затылок! Живо, живо!

Люди стали подниматься с пола. Лейтенант не уставал покрикивать. Его помощники — старшина и несколько ефрейторов — все в синих фуражках, с синими погонами — энергично расталкивали толпу заключенных. Лейтенант прошелся туда и обратно вдоль строя, внимательно вглядываясь в лица. Остановившись в центре, он скомандовал:

— Малосрочники, два шага вперед. — Никто не шевельнулся.

Лейтенант повторил команду. Все остались на своих местах.

«С малыми сроками в нашем этапе никого нет», — успел я подумать. Но лейтенант думал иначе. Подойдя к правофланговому и ткнув его пальцем в грудь, он спросил:

— Срок?

— Пятнадцать лет.

— Ну, правильно стоишь. Стой. А у тебя? — ткнул он пальцем в следующего.

— Двадцать пять.

— Так. Стой. А у тебя?

— Десять лет.

— Так чего же ты стоишь?! Оглох, что ли? Я же сказал — малосрочники, два шага вперед!

По колонне прошел шумок. Бывалые блатные посмеивались

над простаками-«фашистами» — так они называли нас, политических. Мы, новички, недоумевали: десять лет заключения, какой же это малый срок?!.. А с другой стороны, все познается в сравнении. С точки зрения «двадцатипятилетника» — «десятку» справедливо было считать малым сроком. Ведь когда у «десятилетника» кончится срок, у «двадцатипятилетника» — страшно подумать — останется еще пятнадцать лет отсидки!

Лейтенант повторил команду. «Малосрочники», в том числе и я, шагнули вперед. Теперь лейтенант пошел вдоль нашей шеренги, внимательно вглядываясь в лицо каждого заключенного.

— Фамилия? — спросил он, остановившись вдруг перед четвертым или пятым в нашем ряду.

— Серегин.

— Вторая фамилия?

— Караулов, — нехотя и после паузы ответил спрошенный.

— Третья?

— Третьей нету.

— А которая настоящая фамилия?

— Караулов.

— Сколько раз судили?

— Два раза.

— Ладно, если не врешь, — сказал лейтенант и пошел дальше.

— Фамилия? — спросил он снова у одного из стоявших в нашей шеренге.

— Сидоркин.

— Вторая фамилия?

— Водолазов.

— Третья?

— Шундиков.

— Четвертая?

— Больше нету.

— Которая будет подлинная?

— Сидоркин.

— Ладно, если не врешь.

— Какая судимость?

— Четвертая, кажется.

— Я тебе дам «кажется». Говори точно!

— Ну, пятая.

— Вот так и дыши!!

Таким образом лейтенант побеседовал с большинством «малосрочников», безошибочно определяя блатных наметанным глазом.

Затем последовала новая и вовсе удивительная для меня

процедура.

— Всем сукам отойти направо, в тот конец помещения! — скомандовал лейтенант.

Я подумал, что речь о женщинах, к которым так по-хамски обращается тюремщик. И действительно, некоторые из женщин, в том числе одна с ребенком на руках, потянулись в правую сторону помещения. Вместе с ними туда же побрели и человек двадцать уголовников-мужчин.

Вдогонку им из шеренг оставшихся на месте — «малосрочников» и «большесрочников» — раздались крики:

— Не спасетесь, суки! Все равно вас достанем!

— Под землей сыщем!

— Лучше сами себя кончайте — легче помрете.

Из рядов сук огрызались:

— Посмотрим еще, кто кого кончит!

— Кто с ваших на наши лагпункты попадет — на куски порежем!

— Глаза выжгу! Пасти поразрываю, падлы поганые!! — истерически завизжала одна из отходящих в сторону в числе прочих «сук» девчонка, затопав при этом ногами.

— И у тебя есть, что порвать! — понеслось в ответ.

Лейтенант молча улыбался. Такая сцена была для него приятным и привычным развлечением. Вдоволь наслушавшись, он рявкнул:

— А ну, обе масти — закрывай пасти! Ишь, разорались! Вот возьму крикунов от тех и от этих да в общий карцер. Вот там и грызите друг другу глотки!!

О войне между «ворами в законе» и «суками» есть что рассказать. Я вернусь к этой теме в ходе описания лагерной жизни.

После отделения «воров» от «сук» сортировка нашего этапа пошла быстро. Женщин развели по одним камерам, мужчин по другим. Меня с группой воров человек в тридцать, поместили в огромной камере, почти все пространство которой занимали два этажа деревянных нар. До нашего прихода камера была пустой. В ней стоял резкий запах дезинфекции. При свете тусклых лампочек мы стали располагаться на нарах. Свободных мест было намного больше, чем нас, вновь прибывших, и поэтому можно было даже выбирать себе этаж — нижний или верхний. Я полез на второй. Рядом со мной расположилась шумная компания молодых парней — воров. Моим непосредственным соседом оказался на вид скромный паренек по кличке «Рука». Странность этой клички была в том, что ее обладатель — Рука — не имел правой руки. Казалось бы, прозвище «Безрукий» ему подошло бы

больше. Возможно, кличка родилась в знак уважения к оставшейся у парня руке, которая действовала на удивление ловко и разнообразно. Я обратил на это внимание еще тогда, когда Рука одним махом взлетел на верхние нары, подтянувшись своей единственной рукой ловчее, чем мы остальные двумя. Я видел, как молниеносно расстегивал он пуговицы на своем пальтишке и проделывал все прочие необходимые операции. Наиболее ярко умение моего соседа обходиться одной рукой проявилось, когда он начал играть со своими дружками в карты.

Игра происходила вблизи от меня на верхних нарах. Игроки уселись в кружок по-турецки на голых досках. Ни белья, ни одеял нам не выдавали. Такая роскошь в пересылке не полагалась.

Я с интересом наблюдал, как Рука, держа веер своих карт, ловко их перетасовывал пальцами и, с какой-то и вовсе непостижимой ловкостью, в нужный момент незаметным движением вытягивал одну из них, и как эффектно шлепал ею по кучке карт, лежавших «на кону».

Вся компания — игроки и заглядывавшие в карты из-за их плеч болельщики — шумно пререкалась и ссорилась. То и дело возникали взаимные обвинения то в передергивании, то в порче игры своему партнеру. Злобные угрозы то и дело смешивались с такими же злобными заклятиями, среди которых «гад буду» было самым нежным. Совершенно такие же крики неслись с другого конца верхних нар и с нижнего этажа, где тоже резались в «очко». То тут, то там вот-вот должны были, как мне казалось, закипеть драки и побоища. Этого, однако, не происходило, и все сводилось к угрозам расправы в будущем — «Вот погоди, ты у меня дождешься!», «Прирежу, гад буду, прирежу!», «Я тебе, падла, кишки выпущу!», «Глаза выдавлю!» — и в таком роде.

В компании, игравшей возле меня, особенно часто и злобно бил себя в грудь и кричал низкорослый курносый паренек в серой кепке. Он по каждому поводу громкими выкриками напоминал о себе — «Я вор!», «Я в законе!» Это должно было означать: «Поскольку я вор — я абсолютно честен, и подозревать меня в жульничестве нельзя». Товарищи называли этого гордеца — «Мыша».

Положив под голову свой чемоданчик, я лежал, глядя в потолок и думая. Думал о том, что судьба закинула меня в совершенно для меня новый, неведомый языковой мир. Неведомый, разумеется, не потому, что я раньше не слышал мата и грубой брани. Я учился в достаточно прочно «проматеренной» школе (я имею в виду мальчишескую среду). Безматовой зоной не был и университет. Ну, а про фронтовые будни — что говорить! Весьма колоритным в матовом смысле было следствие. Тем не

менее, все это было как бы иного качества.

Даже в самой грубой речи мат обычно выполнял ту или иную дополнительную функцию. Чаще всего функцию брани, оскорбления, унижения собеседника. Пусть даже не обидного и «дружелюбного» унижения на взаимной основе: «Я тебя покрыл матом, а ты меня. Я имею право тебя обругать, потому что ты тоже имеешь такое право». В иных случаях мат выполнял функцию сближения, засвидетельствования единения данной, прежде всего мужской, общности, примерно на такой подсознательной основе: «Вообще-то, я, конечно, так не выражаюсь, скажем, дома или в присутствии женщин, а здесь могу, ибо здесь только свои, мужчины. И значит, уснащая свою речь матом, мы тем самым это наше мужское братство и утверждаем». Во времена более поздние, чем те, о которых я пишу, некоторые интеллигенты обоего пола стали бравировать в своих компаниях матерной речью, полагая, что таким способом они демонстрируют свою внутреннюю свободу, раскрепощенность, выражают презрение к нелепым условностям устаревших физически и морально «предков». Понятно, что прослыть интеллигентом, да еще и борцом за свободу, с помощью такой раскованности легче, чем каким-либо иным способом.

Итак, мат в обычной, не блатной речи присутствует как некая добавка, как гарнир или приправа. И присутствует этот «гарнир» далеко не всегда. В то время, о котором я вспоминаю, на воле доминировала безматовая речь. Воровская речь, которую я вдруг услышал, помимо специфических блатных слов и выражений, характерна тем, что мат в ней не был добавкой, гарниром, приправой. Он — сама основа речи. Сравнительно небольшое количество матерных слов и ругательств бесконечно увеличено в ней образованием из них множества междометий, прилагательных, существительных, глаголов самого разнообразного значения.

Все российские поэты — бывшие и будущие — не в состоянии создать такого количества рифм, которыми располагает блатной язык. Их производство доступно любому, самому безграмотному воришке. Для создания рифмы нужно, как известно, два слова, которые не так просто отобрать в огромном языковом море. Блатные нашли способ рифмовать любое слово с самим собой. В результате этого количество рифм возрастает в тысячи раз, а главное, их не надо искать — они все и всегда в распоряжении каждого. Поясню. Поскольку речь воров, в большей своей части, выражает негативное отношение к сказанному (рассказанному) собеседником — недоверие, отрицание, отказ, бранный ответ, обиду, — она то и дело нуждается в ироническом, насмешливом,

издевательском передразнивающем ответе. Для этого и служит ироническое повторение «в рифму» последнего слова произнесенной собеседником фразы — с подстановкой вместо начала этого слова соответствующего образования из знаменитых трех букв. Например: еда — …еда, теплоход — …еход, ручка — …ючка. И так без конца и края.

Весьма основательно расширяет возможности матерной брани неутомимое употребление слова «рот» в смысле еще одного полового органа. Чаще всего это происходило либо в форме обращения — «Эй, ты, … в рот!» Или в виде самозаклятия — «В рот меня …!», либо, наконец, в виде восклицания, призванного усилить впечатление от сообщаемого, по типу: «Гляжу: …в рот! Целых десять надзирателей идут!!».

Современному читателю этих строк легче представить себе блатную речь, о которой я говорю, чем тогдашнему человеку, попавшему с воли в блатную обстановку. К нынешнему времени она широко разлилась за пределы тюрем, лагерей и воровских малин, стала распространенной, бытовой речью большей части подростков, молодежи и великовозрастной пьяни. Для этого немало причин. Важнейшая из них — десятилетия активной диффузии, широкого взаимопроникновения друг в друга «тюрьмы» и «воли». Четкая граница между вольным и преступным миром давно размыта. На каждой улице, в каждом дворе вместе «играют», вместе убивают время, вместе пьют, вместе «тусуются» ребята разных возрастов, многие из которых уже побывали в колониях, тюрьмах и лагерях. Именно они становятся лидерами подростковых групп. Бывших «тюремщиков» хватает и среди взрослых. Тогда, в пятидесятом году, граница между «тюрьмой» и «волей» была обозначена еще гораздо четче.

Рассказать о словарном составе блатного языка — значило бы рассказать о нем очень мало. Дело в том, что от обычной человеческой речи блатной язык отличается еще и своим особым звучанием. Передать характер этого звучания людям, не бывавшим в зонах или на воровских малинах, тогда, в 40–50-е годы, было очень трудно, если не невозможно. Зато сегодняшнему читателю представить себе «музыку» блатной речи будет опять же значительно легче, поскольку сегодня можно указать такой материал для сравнения, которого тогда в обычной жизни не было.

Блатная речь отличается постоянным присутствием в ней истерического надрыва. На воровских толковищах или даже собираясь небольшими группами, воры почти никогда не говорят спокойно или тихо. Они, как правило, кричат, словно находятся не рядом, а на значительном расстоянии друг от друга. Кричат

нервными, злыми, надрывными голосами. Чего только нет в звуках этих криков, словно выдираемых из нутра, откуда-то чуть ли не из-под желудка, из самого «глыбака». Тут и самоутверждение — мне, мол, все нипочем, я на все, на всех плевал, меня не запугаешь, мне и жизнь копейка. Тут и скрытый страх. Тут встающее с самого дна души нечто хищно-животное, нечто инстинктивное. В этих звуках выявляется подсознательное стремление к тому, чтобы расчеловечиться, превратиться из члена человеческого общества, ограничивающего поведение и поступки индивида своими правилами и законами, в отдельную особь, способную для своего самосохранения на все, без какой-либо оглядки, без какого-либо предела, стать как можно более похожим на злую зверюгу. Отпугнуть другую особь, от которой исходит опасность, хищное животное старается прежде всего именно рычанием и оскалом пасти, из которой это рычание исходит. Отсюда же, от вечного, непреходящего страха за свою жизнь, от постоянного пребывания в жестокой борьбе за свою долю, за свой кусок, от постоянного и непреходящего пребывания в стае других хищников, агрессивных и злых, нетерпеливо жаждущих улучить момент твоей слабости, чтобы тебя растерзать, — отсюда же и постоянный наигрыш в поведении каждого данного блатного. Наигрыш той же удали и деланного геройства, и еще много чего другого, что в данный момент полезно наигрывать.

Находясь в своей среде, вор всегда как бы на сцене. Он не просто живет среди своих товарищей, а все время играет самого себя, поддерживает свой образ или, как бы теперь сказали, свой имидж. И, подобно плохому актеру, блатной всегда «пережимает», всегда переигрывает.

Современный читатель, в отличие от человека 50-х годов, имеет, повторяю, возможность совершенно отчетливо представить себе «музыку» блатной речи — ее тональность и окраску. Для этого ему достаточно представить себе или еще раз послушать певцов современных музыкальных групп. Я далек от мысли обижать этих певцов или судить их пение с позиций своего вкуса. Я просто констатирую факт, не давая ему никакой оценки. Но факт — есть факт: в голосах современных рок-певцов постоянно звучат надрыв и истерика, столь характерные для блатной речи. Им присуща, как правило, предельно вульгарная интонация, один к одному совпадающая с «музыкой» перебранки на тюремных нарах или в подворотне. Можно только удивляться тому, что такие, например, слова, «Приди, приди, моя звезда, ты у меня одна, одна, и я страдаю без тебя», или что-то подобное, звучат в устах многих современных певцов абсолютно в той же

тональности, что и какое-то блатное обращение: «Только попробуй не приди, сука поганая, на нож посажу!» Такое подобие звучаний можно объяснить наличием каких-то общих знаменателей, какими-то подобиями с блатной жизнью в жизни современной молодежи. Кстати сказать, отнюдь не только нашей, но едва ли не во всем мире. Вероятно, это связано с целым рядом процессов, разрушительных для общественного единства, со всякого рода индивидуализацией и «атомизацией» общества, с явным отграничением молодежи в целом, особенно подростков, от «предков», от их мировоззрения и сложившихся норм, с возросшими трудностями выживания, вынуждающими подростков сбиваться в стаи «своих». А в стаях необходимо утверждаются и законы стаи, и соответствующий климат. Возникает у членов стаи и особая психология, которая вполне сродни психологии блатной кодлы. Кроме того, как уже было сказано, в нашей стране, а возможно, и не только в нашей, идет процесс диффузии между «тюрьмой» и «волей».

Справедливость требует сказать, что блатные — в то время, когда я их знал, — пели обычно не так, как говорили. Песни свои — в большинстве своем грустные, связанные с разлукой, на которую их обрекло заключение, либо с тяжестью тюремной и лагерной жизни, — они пели, как правило, хором. Некоторые из воровских песен окрашены и лиризмом, и подлинностью человеческих переживаний. Вот, например, одна из них, услышанная мною на вологодской пересылке. К сожалению, я не могу здесь передать ее задушевную мелодию.

Холодный зимний ветерочек, Зачем ты дуешь холодно. Гуляй, моя детка, на свободе, А мне за решетку суждено. Ах, глазки, глазки голубые, Ах, слезки — чистая вода. Зачем же вы вора полюбили, О чем же вы думали тогда.

Или вот смиренное обращение к жене из тюрьмы:

Сходи к соседу к нашему Егорке. Он по свободе мне должен шесть рублей. На два рубля купи ты мне махорки, А на четыре — черных сухарей.

Такого рода песни исполнялись негромко, в обстановке стихшего шума, и слушатели затихали, думая каждый о своем.

Справедливость требует также заметить, что истерия, крикливость и все прочие названные выше характерные оттенки воровской речи присутствуют в ней тогда, когда вор находится в своей блатной или приблатненной среде. С той же интонацией и на том же жаргоне он будет говорить и в милиции, и со следователем. Словом, там, где он находится в образе, в своей роли. Оказавшись вне блатного общества, например, в спокойном разговоре «за жизнь» с каким-либо «фрайером» вроде меня, он,

как правило, заговорит нормальным человеческим языком. Не всем из блатных и не всегда удается в таких случаях обходиться без своих профессиональных терминов, включая матерные словообразования. Но исчезает надрыв, деланная истерия, злобный оскал рта, не фонтанирует поток угроз и проклятий. Здесь, опять-таки, приходит в голову сравнение с современным рок-певцом. Вот мы видим его на экране телевизора дающим интервью. Нормальный человек, спокойно и просто говорит нормальным голосом. Но вот тот же человек вышел на сцену, вошел в образ. И началось кривлянье, дерганье, полились истерические крики. Звуки этого пения окрашены тональностью, характерной именно для блатной речи. В них и пошлость, и грубость, и примитив — не только, а порой не столько содержания выпеваемого текста, сколько примитив самого звукоиздавателя. Тут и надрыв, столь типичный для перебранки блатных на тюремных нарах или приблатненных «крутых ребят» в подворотнях.

Когда я ранним утром проснулся, мои сокамерники спали. Перевернувшись на другой бок, я увидел, что Рука — не спит. Он сидел на нарах в позе роденовского «Мыслителя», оперев подбородок на свою единственную руку и вперив взгляд вдаль, в данном случае в противоположную стену камеры. Сходство со знаменитой скульптурой придавала не только поза моего соседа, но и то, что он, подобно скульптурному герою, был совершенно голым. В отличие от своего каменного прототипа, Рука дрожал мелкой, не отпускающей дрожью.

— Что это с вами, Рука? — спросил я, хотя и сам хорошо понимал, что произошло.

— Проигрался, — спокойно ответил «Мыслитель». — Бывает.

— Вы же совсем закоченели. Заболеете.

— Ништяк! Не впервой, — так же спокойно произнес Рука.

Я раскрыл чемоданчик и протянул своему странному соседу пару теплого белья, которое получил в передаче перед отправкой на этап, а также пару носков.

— Спасибо, мужичок, — сказал Рука, ловко натягивая единственной рукой кальсоны, фуфайку и носки. — Гад буду — не забуду. А барахлишко твое я тебе верну. Вот только отыграюсь и сразу верну. Понял?

— ПонЯл, — ответил я, невольно повторяя непривычное для меня ударение на привычном слове. — Только я вам не советую больше играть. Опять проиграетесь.

— Не проиграюсь! — уверенно заявил Рука. — Я бы и вчера не проигрался. Это Мишка фиксатый мои карты Мыше открыл. Я видел, как он, сука, Мыше знаки делал. Но ничего, я этому

фиксатому, если еще хоть раз подморгнет, мойкой всю его поганую фотку располосую.

После этапа я уже знал много воровских слов и выражений. Знал, что кличку «фиксатый» в воровском мире дают тем, у кого на зубах стальные или золотые коронки — «фиксы». Знал, что «мойка» — это грозное оружие — лезвие безопасной бритвы, которым вор запросто может полоснуть по «фотке», то есть по «фотографии», в смысле по лицу.

— А ты, папаша, — спросил меня Рука, — наверно, фронтовичок?

— Да, на ленинградском фронте всю войну пробыл, — похвалился я.

— Я так и понял, сразу видать. А здесь ты за что? Фашист?

— То есть как «фашист»?! — возмутился я. — Я не за фашистов, а против них воевал. Я фашистам смертельный враг. Так же, как и они мне.

— Но ты же не вор и не сука. И не по указу за хищения сидишь? Так?

— Ну, так.

— Ты же по пятьдесят восьмой сидишь. Так?

— Ну, конечно.

— Значит, ты политический. А это и значит — фашист. А кто же еще? Понял?

С этими словами Рука, уже переставший дрожать, лег на нары и придвинулся ко мне. Я накрыл его своим пальто. Вскоре, под мои подробные доказательства о том, что я никакой не фашист, он заснул.

А я задумался над тем, что нежданно-негаданно оказался вдруг и «папашей» — это в тридцать-то лет! — и «мужиком», и «фашистом». Почему я оказался «папашей» — это понятно. Для окружавшего меня юного ворья — всем им было лет по 17–20 — я был человек другого поколения. Почему «фашист», Рука мне объяснил. А вот почему меня и всех вообще заключенных, не принадлежавших к воровскому миру, воры называют «мужиками»? Не помню — той ли ночью в вологодской пересылке пришел мне в голову ответ на этот вопрос или где-то позднее. Но, думается, ответ правильный. Кличка «мужик» для обозначения заключенного из не воровского мира родилась, надо полагать, в тридцатых годах, когда масса лагерников все разбухающего ГУЛАГа делилась и впрямь на две основные категории — блатные и крестьяне. «Раскулаченные» — так называемые «спецпереселенцы» — составляли главную массу гонимых по этапам, главную массу жителей спецпоселков и лагерей. В этой массе терялся небольшой, сравнительно с ней, процент

«бытовиков» — людей, посаженных за хозяйственные и бытовые преступления. Могут спросить — а где же были политические? Ведь острие террора было направлено против них, против бывших партийцев, а также против разного рода интеллигентов — вредителей, вроде моего отца. Да, это, конечно, так. Тем не менее, масштабы чисто политического террора как такового были в конце 20-х и в 30-е годы значительно меньше, чем масштабы раскулачивания. Кроме того, многие политические начала 30-х годов жили не в лагерях, а в ссылке, на так называемом вольном поселении. Во второй половине 30-х годов значительная часть политических до лагерей не доходила. Их расстреливали. Кого прямо в тюрьмах, кого в различного рода потаенных местах под Левашево, в Куропатах. Словом, центральной фигурой в ГУЛАГе 30-х годов был «кулак», крестьянин. Поэтому «мужик» и стало для блатного мира нарицательным для обозначения всех не своих, всех тех, кто к этому миру не принадлежал.

Разумеется, наряду с этим воры давали неблатным и другие, более частные клички. Всякого рода бывших начальников, привыкших богато жить, пытающихся и в лагерях сохранить свой бывший благополучный облик, называли «фан-фанычами».

Кличка «фашист» для политических появилась во время войны. После ее окончания эта кличка особенно сильно распространилась и закрепилась. Это было связано с появлением в лагерях миллионов советских солдат и офицеров, побывавших в фашистском плену и осужденных по статье 58–1б — «за измену Родине». Заодно эта кличка распространилась и на всех «врагов», сидевших по 58-й статье, хотя и по другим ее пунктам.

Несколько дней, проведенных в камере вологодской пересылки, прошли довольно однообразно. К числу «однообразных», то есть повторяющихся фактов следует отнести и то, что, проснувшись однажды утром, я вновь увидел Руку в позе Мыслителя. Он был снова совершенно гол и так же дробно и звонко, как в прошлый раз, клацал зубами. Надо сказать, что за прошедшие часы он уже успел отыграться. После этого он не только вернул мне мое белье, но еще и пытался подарить мне выигранную у курносого и крикливого Мыша майку. И вот он опять раздет, если можно так выразиться, — донагла. И опять я даю ему ту же пару белья. И он снова говорит те же самые слова: «Ништяк! Не впервой…!» Словно второй раз прокручивается та же кинолента. Но зато разговор принял новый оттенок.

— Вообще-то, — сообщает мне Рука, — я из принципа голый сижу. По закону исподнее у проигравшего не забирают. «Живи, мол, в исподнем, пока не отыграешься». А я на принцип иду: раз я проиграл — бери, гад. Бери и все!

— Но так же можно и на кожу свою сыграть, — пытаюсь я пошутить. — Проиграешь и потребуешь, чтобы с тебя с живого кожу сдирали.

— Не-а. На свою кожу никто не играет. Только на чужую играют. — Сказав это, Рука загадочно улыбается.

— Как это на чужую?

— Очень даже просто. Только обычно не на кожу одну только, а и на душу на чужую играют.

Я уже был наслышан о том, что в воровском мире принято «проигрывать» чью-то жизнь. То ли с целевой установкой — исполнить приговор воровского суда — «толковища». То ли все равно кого «пришить» ради куражу. Тем не менее, мне захотелось еще раз послушать об этом от «авторитетного» знатока этой жуткой системы погашения карточного долга. Я сделал вид, что не понимаю, о чем речь.

— Как это можно играть на чужую душу? Что вы имеете в виду?

— Ты что — совсем темный, мужичок? — Рука смерил меня снисходительным взглядом. — «Что вы имеете в виду…», — передразнил он меня. — Например, тебя могут иметь в виду. Понял?

— Как это?

— Вот я, к примеру, проигрался — больше играть не на что. Уже на все сыграл. Пайку сахара на месяц вперед проиграл. Ну, это пустяки. Короче, все я проиграл. ПонЯл? А отыграться мне смерть как охота. Мне и говорят: играй на своего соседа. Проиграешь — приберешь его. Вот я бы, например, тебя, папаша, и проиграл. А тогда — хочешь не хочешь, а душу твою отдай и не греши. Не то на меня самого сыграют — кому меня порешить — за неотдачу долга. Сам знаешь: долг есть долг.

— Значит, мог я сегодня и не проснуться? — спросил я. — Вы бы, всё проиграв, могли бы и на меня поставить?

— Нет, мужичок, — успокоил меня Рука. — На тебя бы я не поставил. Во-первых, ты человек. А главное — не всякий может на душу играть. Вот у меня, например, срок на этот раз четыре года. А если бы я тебя замочил — мне бы еще добавили. До восьми, или до десяти лет. Вот и подумаешь: что ты при таком раскладе выиграешь, а что проиграешь. Понял? Другое дело, если бы, скажем, тебе на суде намотали срок двадцать пять лет, а ты из них отсидел всего месяца три. Тогда ты можешь свободно кого хочешь, меня, например, кончать. Понял? Хотя бы и здесь, в камере. Хотя бы и на глазах у всего начальства.

— Так ведь опять под суд.

— Конечно. А что тебе суд, если у тебя срок и так двадцать

пять? У нас ведь не Америка. У нас гуманизьм: больше двадцати пяти добавлять — такого закона нет. Значит, что? Дадут тебе заново твои же двадцать пять, и потеряешь ты на всем на этом всего-навсего три уже отсиженных месяца. Понял?

— Нет, не понЯл! — я был несказанно поражен, хотя слова Руки не могли вызывать сомнений. И в самом деле. Смертная казнь отменена, срок свыше двадцати пяти лет не прибавляют, а он у героев подобных случаев и так имеется.

Как я узнал позднее, уже в лагере, воровское толковище, приговорив кого-либо к смерти, поручает исполнение приговора кому-нибудь из своих «двадцатипятилетников», только что начавших отбывать наказание. Можно ли было удивляться тому, что убийства в лагерях стали в те годы бытом и жизнь человеческая, по существу, не ставилась ни в грош.

Книг в пересылке не полагалось, так же как и постельного белья. Время поэтому тянулось здесь еще медленнее, чем в следственной тюрьме. Впрочем, если бы и была у меня в руках книга, читать бы я, скорее всего, все равно не смог. Помимо крика, хохота и злобной перебранки, не утихавших во всех концах камеры, происходило и еще нечто, уж совсем не совместимое с каким-либо чтением.

Дело в том, что одним из самых популярных занятий, которым блатные любят заполнять в тюрьме «свободное время», является обучение танцу. Точнее говоря — чечетке, в самом примитивном ее варианте. Каждый уважающий себя вор с тюремным стажем должен смолоду уметь «бацать». Настоящий вор ведь и начинает свой профессиональный путь обычно с юных лет.

В первое же утро нашего пребывания в камере вологодской пересыльной тюрьмы, сразу же после завтрака, начался «урок танцев». Сначала обучался один из наших сокамерников. Потом к нему присоединился низкорослый Мыша. А потом и еще один вор. «Урок» происходил под руководством «педагога», который, кстати сказать, вероятнее всего, «бацать» не умел. Впрочем, этого и не требовалось. «Педагог» сидел, свесив ноги с нар нижнего этажа. Танцоры стояли в узком проходе между нарами и стеной камеры. Урок проходил до ужаса однообразно. «Учитель» произносил первую строчку стиха:

Кошка бросила котят.

Танцор должен был «сбацать», то есть отбарабанить ногами размер и ритм второй бессловесной строчки стиха:

Там-тара-бам-тара-бам-тара-бам.

Учитель возглашал третью строчку:

Пусть скребутся[12], как хотят.

Там-тара-бам-тара-бам-тара-бам, —
гремело в ответ.

Никакие другие слова, никакие другие ритмы в данном «учебном процессе» не употреблялись. Пока учитель произносил слова, обучающиеся стояли неподвижно, и только как бы в ответ что есть силы били подошвами по каменному полу.

Продолжалось это «обучение» часа по три кряду. Я посчитал, что для произнесения слов и отбития ответов «четверостишия» требовалось шесть секунд. За час, таким образом, эта комбинация выкриков и ударов повторялась шестьсот раз. За три часа, следовательно, тысяча восемьсот раз. «Какое счастье, — подумал я, — что мне здесь нечего читать». С книгой в руках я испытывал бы, вероятно, танталовы муки. К концу третьего часа неумолчного грохота голова моя буквально разламывалась.

К бацающим присоединился и Рука. Ему, надо полагать, более других хотелось достичь совершенства в искусстве этой примитивной чечетки для того, чтобы при случае, тем более в присутствии каких-нибудь воровских дам, показать, ежели доведется, высокий класс и этим как-то компенсировать свой физический недостаток в их глазах. Интересно, что на другой и на третий день пребывания в этой камере мне, как ни странно, удавалось под громовое бацанье засыпать. Скорее всего, однообразное повторение ритма, подобно стуку колес вагона, способствовало засыпанию. Хотя стук колес не идет, оказывается, ни в какое сравнение с железным грохотом со всей силы бацающих ног.

«Эта аудитория — тоже ведь история»

Вечером четвертого дня нашего пребывания в пересылке, сразу же после завтрака, человек шесть из нашей камеры, в том числе Мыша, Руку, еще трех блатных с нижних нар и меня, вызвали с вещами. Нам выдали сухой паек, отвезли в «воронке» на вокзал и посадили в столыпинский вагон поезда, идущего на север. В купе, в которое нас шестерых затолкали, уже находилось несколько заключенных, этапируемых откуда-то издалека. На наше появление они не реагировали. Человека по два сидело на нижних полках. Я опять оказался с краю на нижней полке. На этот раз никто не сидел у меня на коленях.

Мы не знали, куда нас везут — в Воркуту, в Инту или в Каргопольлаг. Некоторые из моих старых и новых попутчиков уже бывали — кто в одном, кто в другом, а кто и во всех трех из этих лагерей. Все они утверждали, что Каргопольлаг — лучшее из этих мест. Хотя бы по климату — север, но все же не за полярным кругом.

В разговорах моих соседей о разных северных лагерях замелькало название столицы Каргопольлага — железнодорожной станции Ерцево. Я услышал это название впервые. Сразу же подумалось — авось, судьба приведет меня именно туда, в Каргопольлаг, в это самое Ерцево. К соображениям на тему, что лесоповал лучше, чем шахта, у меня прибавлялось еще одно. Мой отец, сосланный в 30-м году в Туруханский край, провел десять лет на берегу Енисея в поселке Ярцево. Тринадцати лет отроду я сумел, проделав самостоятельно непростой путь из Ленинграда в Туруханский край, навестить отца. С той поры до нынешнего моего путешествия прошло без малого двадцать лет, и тогдашнее поселение — Ярцево — вспоминалось мне теперь как место, где жить было можно. В Енисее было полно стерляди и всякой другой рыбы. Словом, мне казалось, что будет очень даже здорово, если я окажусь именно в Ерцеве. Игра судьбы получится: отец сидел в Ярцеве, а я в Ерцеве. Может быть, и проживу так же благополучно свои десять лет в Ерцеве, как он свои десять в Ярцеве. И выйду затем на свободу, как вышел отец. Конечно, лагерь не ссылка. Но ведь я моложе и закаленнее отца. Когда он попал в ссылку, ему было уже сорок семь лет, а мне сейчас только тридцать. К тому же отец мой не воевал, а я прошел фронт. К тому же самый трудный и голодный фронт — Ленинградский.

Во время прохода по коридору вагона на оправку удавалось взглянуть в окно. Решетки на окнах «Столыпина» были редкими, и придорожный лес был хорошо виден. Осенний северный лес

всегда сказочно красив. А на меня — человека, почти десять месяцев отсидевшего в каменных мешках тюрьмы, не видевшего ни одного зеленого листка, ни единой травинки, — даже недолгий взгляд на него из окна быстро несущегося поезда производил небывало сильное впечатление. «Да, да, — думал я, — хорошо бы остаться именно здесь, в этих краях, в этом красивом лесу. Ведь здесь, как бы ни было тяжко, всегда можно будет поднять глаза и увидеть сквозь зелень вершин вольное небо. Здесь всегда будет слышен вольный шум вечнозеленых сосен и елей, а весной, летом и осенью зеленый шум березовой листвы. Здесь всегда можно вдыхать бодрящий, густой аромат смолы и хвои. Разве можно сравнивать работу в лесу с кротовой работой в угольной шахте, продалбливаемой в тверди вечной мерзлоты…»

Я уже был наслышан о «прелестях» лесоповала. Однако в тот момент, еще не испытав их на своей шкуре, не мог себе и представить, какой она окажется — эта работа на вольном воздухе, под открытым небом, среди бодрящих лесных ароматов. Болотная хлябь под ногами, мириады кровавого гнуса весной и летом, сорокаградусная стужа под открытым небом, с краткими обогревами рук возле костра зимой, аромат древесной прели, смешанный с запахом бензина, заглушающий все запахи леса, постоянная боль во всех костях и суставах, не отпускающая даже ночью во сне, — все это было еще впереди. Тогда, в пути, я еще не знал, что вольное небо над головой скоро покажется мне с овчинку и лишний раз взглянуть на него не очень-то и захочется. Ведь для этого надо будет хотя бы разогнуться. А это, особенно в первое время, будет так тяжело, так больно.

Ехали мы почти сутки. Никаких особенных происшествий не было. Дорожный конвой внушал блатным некоторое уважение. Дежурные конвоиры непрестанно расхаживали навстречу один другому мимо купе-камер. Двери у этих купе заменены в столыпинских вагонах решетками, через которые видно все, что творится внутри. Если, однако, не было приключений, то переживания у меня были.

Когда нас втолкнули ночью в «купе» столыпинского вагона в Вологде, я увидел, что на нижних полках сидят всего по трое каких-то молодых уголовников. При нашем появлении они дали нам знак — не шуметь. Двое из них прикусили кончики своих указательных пальцев. Этот знак заменяет слова — «Тихо! Молчок!» При этом они выразительно показывали глазами наверх. На вторых и третьих полках похрапывали какие-то люди в телогрейках и хромовых сапогах. Их сон и оберегали ехавшие внизу. Я по наивности подумал было, что на верхних полках

отдыхают какие-то начальники из охраны. Но потом сообразил, что такого не может быть и что мелкие воры — «шобла» — охраняют покой каких-то важных паханов.

Спали мы на нижних полках сидя. Ночью, сквозь дремоту, услышал я тихий разговор моих соседей. Речь шла обо мне. Вернее, о моих вещах. Злобный коротышка Мыша предлагал своим дружкам разделить мое имущество. В разговоре участвовал и сидевший со мной вплотную Рука.

— А чего любоваться на угол (чемодан) этого фрайера?! — шипел Мыша.

— И пальтуха у него в натуре, — поддержал другой вор.

— Пальтуха эта у него из шинелки перешитая и в черный цвет покрашенная. Он мне сам говорил, — сказал Рука, желая, видимо, снизить интерес к моей «пальтухе».

— Да и лепень (костюм) у него не бросовый. Правда, шкары (брюки) поношенные. Но толкнуть за табак можно, — продолжал Мыша.

— Ты что — сука, что ли? — зашипел на него Рука. — Закона не знаешь — у заключенных не воровать.

— Я сука?! Я вор! Я законы не хуже тебя, гада, знаю. Воровать у него никто и не собирается. Предложим ему с нами в картишки перекинуться.

— И все по закону, — хихикнул один из собеседников, — проиграется до исподнего.

— А можно и исподнее с него снять — ему Рука свое отдаст.

— Не будет он с вами играть. Да он и не умеет. Я ж ему там, на пересылке, предлагал, — упорствовал Рука.

— Не умеет играть — научим, — оскалился Мыша. — Начнет упираться — рога обломаем.

— Да и вообще играть не обязательно, — возразил один из сочувствующих Мыше. — Скажем ему: давай, мол, махнемся — твое будет мое, а мое будет твое. Ему же лучше — быстрее привыкнет к лагерной одежке.

— Ну, сколько можно базарить! — буркнул Мыша. — Буди его, Рука, и начнем по-хорошему.

— Нет, братцы-кролики, я в этом деле не участвую. И вам не дам его потрошить. Он человек!

— Ах ты, падла позорная! — злобно и громко заговорил Мыша. — Фашиста-фрайера от своих защищаешь?! Ты не вор! Ты ссучился, гад. Ты не вор!

— Тихо, тихо, Мыша, вертухая накличешь, — пытался успокоить Мышу один из его дружков.

— Сам ты сука! Гад ты мельчайший — вот ты кто! — отвечал Рука уже и вовсе громко, на крике. Я подумал, что он нарочно

кричит именно для того, чтобы привлечь конвойного. — Говорят тебе — он человек! А попробуешь его тронуть — получишь по шарам. Гад буду — получишь! А заодно и носяру твою поганую переломлю!

Я почувствовал, как Рука весь напружинился. Притворяться спящим и дальше было бессмысленно. Что делать, что говорить — я не знал. Я надеялся, что здесь, в вагоне, на глазах у шагающего по коридору конвойного драка, скорее всего, не возникнет. Расчет Мыша с Рукой, если не погасить их спор, произойдет либо на очередной пересылке, либо уже в лагере. Да и я в лице Мыша и его компании наживу себе врагов. Впрочем, обмен опасными ударами, например, двумя пальцами в глаза, а то и мгновенный росчерк страшной «мойкой» по лицу, был вполне возможен и здесь. Чтобы разрядить обстановку, надо было на что-то решиться. Совершить я мог только одно: пойти навстречу вожделениям окружавшего меня ворья. Конечно, мне было очень жаль расставаться с моими вещами. И не потому только, что они были мне нужны, а, прежде всего потому, что в них, в этих моих вещах, — прошу извинить тавтологию — была овеществленная память о прошлой, доарестной жизни, память о доме, забота обо мне моих близких. Короче говоря, очень мне было жаль расставаться с моими вещами. Но.

— Вот что, братцы, — сказал я, повернувшись к спорящим. — Разговор ваш я слышал. Правильно тут было сказано — пора мне привыкать к лагерной одежке. Так что — готов махнуться на костюм и на пальто. Ну и шляпу, конечно, меняю на какую-нибудь кепочку. А чемодан с тем, что там есть, я вам за так отдаю. Берите на память.

С этими словами я поднял свой чемодан, стоявший под вагонной полкой, и положил себе на колени. В ту же секунду Мыша, с ловкостью обезьяны, выхватил чемодан у меня из рук и прижал его к себе, словно любимое дитя.

— Играю на весь угол, не раскрывая, — зашипел он. В его шипении звучали торжествующие нотки.

Чья-то рука сорвала с меня шляпу. Тотчас же на мою голову была нахлобучена какая-то шапка. Я почувствовал, что кто-то шустро развязывает шнурки моих ботинок.

— Эх вы, мелочь поганая, — с искренним укором в голосе произнес Рука в адрес своих собратьев. — Сказал же я вам — это человек! Давить вас надо, вошки недоделанные.

— Ну, человек, — сказал кто-то из воров. — Он и сам сказал, что хочет махнуться.

— А угол он мне подарил! — прошипел Мыша. — И ты, Рука, не лезь, не то схлопочешь. А хочешь ему угол вернуть — отыграй.

Ставлю на кон.

— Ну и отыграю!

— Не надо ничего отыгрывать, Рука. Я же сам отдал чемодан.

— Ну и дурень же ты, питерский. Что, у вас там много таких? — Рука был явно возмущен моим поведением. Я хотел что-то ответить, но в этот момент против нашей решетки остановился конвоир. В купе все стихло. Конвоир, постояв с минуту, пошел дальше, и тут с верхней полки раздался голос:

— Это кто тут питерский, ты, что ли?

Я почувствовал, как в мою голову уперлись чьи-то крепкие пять пальцев.

— Да, я из Ленинграда.

— Где там жил?

— На Пестеля. На углу Литейного.

— Знаю.

Пальцы оставили мою голову. Та же протянутая сверху рука сбила кепку с головы Мыша, схватила его за волосы и потянула кверху.

— Больно! Кто там? Оставь! Больно! А-а-а-а, — заныл Мыша. Он невольно встал, выпустил из рук мой чемодан и потянулся вверх на цыпочках.

— Больно?! Сейчас голову срежу, и сразу полегчает. — Сказано это было с уверенным спокойствием, и я было всерьез подумал, что сейчас этот ужас и в самом деле произойдет.

— Пожалуйста, оставьте его. Я ни к кому претензий не имею, — пробормотал я.

— Ты не имеешь, а я имею. А ну, вся шобла с нижних нар — брысь под нары! И чтоб никто оттуда не возникал без разрешения.

Мои спутники беспрекословно повиновались. Одним из первых оказался под полкой Мыша. Рука тоже нехотя поднялся с места.

— И мне, что ли, туда лезть? — спросил он.

Сиди здесь. А ты, мужик, — обратился ко мне лежавший наверху «авторитет»[13], — ложись, отдыхай.

— Да нет, зачем же. — начал было я.

— Ложись. Все по справедливости. — С этими словами говоривший слез с верхней полки. Я увидел высокого широкоплечего человека лет двадцати пяти. На нем был хороший костюм. Брюки были заправлены в голенища хромовых сапог. Красивое лицо его показалось мне даже интеллигентным. Бросался в глаза сильно раздвоенный подбородок.

Незнакомец протянул мне свою большую и сильную ладонь.

— Олег, — представился он. — Из Тайшета перегоняют после

суда. Прикончил там одного такого же, — Олег показал под нары. — Тоже за настоящего себя выдавал. А оказался самой настоящей сукой.

Олег вынул из бокового кармана пиджака пачку «Казбека».

— Кури. Ну, чего смотришь? «Казбека» давно не видал?

— Да. Ровно десять месяцев не видал.

— Вот и закуривай. Это мне дружки в дорогу дали. Пачек десять собрали. Эта последняя.

К решетке нашего купе снова подошел конвоир.

— А, Олег! — сказал он с явной почтительностью в голосе. — Отдохнул. А где же вся эта новая кодла, которая в Вологде села? Неужели все под полками сидят?

— А где же еще этой кодле сидеть, как не под полками?! Ей там самое место — удобно, темно, а главное, привычно.

— Это правильно, — сказал конвоир и отошел.

— Я сам не питерский, — продолжил разговор мой новый знакомый. — Я из Донбасса. Но в Питере бывал и питерских уважаю. Сколько их ни встречал по лагерям — все в большинстве люди.

— Разные там у нас есть. Есть хорошие, а есть и очень даже паршивые.

— Это тоже верно. Меня один раз в Питере судили. Адвокат был человек! Ну, человек в натуре. А прокурор — сука. Самый натуральный гад. Так что ты правильно говоришь. А ты сам-то кто?

— Он человек. — подал голос Рука, до того молча «поедавший» Олега глазами.

— Не про то я, — отмахнулся от него Олег. — Я спрашиваю — ты кем был до ареста?

Я в двух словах рассказал про себя.

— Историю я не уважаю, — сказал Олег. — Она еще хуже химии.

— Олег, а Олег! — раздался из-под полки чей-то заискивающий голос. — Тебя как кличут-то?

— «Смирный». Слыхал?

Внизу заерзали, разом зашептали:

— «Смирный»! Это «Смирный». Знаю. Я так сразу и подумал.

— Не бреши!

— Гад буду — сразу так и подумал.

Стало ясно, что кличка «Смирный» широко известна в воровском мире.

— Интересно — почему вам дали такое прозвище? — спросил я.

— По фамилии, — улыбнулся Олег. — Смирнов моя

фамилия. Вот и окрестили.

— Совсем как в школе, — заметил я. — Там тоже прозвища часто из фамилий производят.

— Бывает. Меня и в школе так называли. Ну, вот что, — продолжил Олег, — ты ложись. Подушку сюда! — приказал он сидящим под полкой. — Через несколько секунд из-под полки подали чей-то бушлат.

— Ложись, отдыхай.

— Нет, я посижу. Скажите, Олег, нельзя ли наших спутников выпустить из-под полок, нехорошо их там держать?

— А зачем выпускать? Они же не просятся, чтобы я их оттуда выпустил. Значит, им там хорошо. Эй вы, шобла, хорошо вам там, под полкой?

— Хорошо! Нормально! Жить можно, — послышалось снизу.

— Слыхал? — усмехнулся Олег. — Так что ложись спокойно.

— Нет, нет, спасибо. Я посижу.

— Ну, дело твое, — Олег полез на свою полку.

Я взял бушлат, предназначенный мне в качестве подушки, и опустил его под полку. Кто-то молча принял его. Рука, тоже молча, выразил свое отношение ко мне, покрутив пальцем у виска. Я пожал плечами. Рука во весь свой небольшой рост растянулся на нашей полке. Второе нижнее место так и осталось пустым.

Утром, после оправки и завтрака, Олег разрешил всем сосланным ночью под полки оставаться наверху. Впрочем, дальнейшее наше совместное путешествие продолжалось уже недолго.

Начальник конвоя прошел по коридору, останавливаясь возле каждого купе и называя фамилии тех, кому следовало подготовиться на выход.

«Ерцево, Ерцево, Каргопольлаг», — понеслись возгласы из разных концов вагона.

Меня охватило странное волнение. Странное тем, что я никак не мог осознать, чего же я хочу — чтобы меня выгрузили здесь или чтобы повезли дальше. Стало как-то жутко: неужели вот-вот, сейчас меня приведут в лагерь, и прямо сейчас начнутся те самые девять лет, которые я должен в нем провести. Инстинктивно хотелось хоть ненамного отодвинуть этот момент, момент встречи с новым, неведомым поворотом судьбы. Но, с другой стороны, мне хотелось, чтобы меня выгрузили именно здесь, в Ерцеве, и я боялся, что повезут дальше, куда-нибудь в Инту, в Ухту, в Воркуту.

Начальник конвоя подошел к нашему купе, переложил несколько тощих папок, бывших у него в пуках, и назвал двоих,

которым надо было приготовиться на выход с вещами. Первым был назван Олег Смирнов. Вторым — я.

Начальник конвоя отошел к следующему купе. Олег и я стали прощаться с нашими попутчиками.

Олег назвал на память с десяток своих «огоньков» — то есть друзей, находившихся, как ему было известно, в северных лагерях, и наказал всем ворам, которые попадут в тот или иной лагерь, передать от него приветы. А я просто пожелал всем попасть в хорошие условия и как можно скорее выйти на свободу.

Мне было по-настоящему грустно расставаться с Рукой. Я вынул из своего «угла» носки и теплое белье, которое он уже надевал в вологодской пересылке, и протянул их ему.

— Не надо, мужик, — сказал он, отводя мою руку. — Не надо. Не беру — все одно проиграю. — Он дружески похлопал меня по плечу. — Живи. Не забывай. Может, еще и свидимся.

Свидеться нам больше не пришлось. А жаль. В первое время я нередко спрашивал прибывавших к нам из других лагерей, не встречали ли они Руку. Потом, в бурном потоке новых лагерных впечатлений, я о нем постепенно забыл. Но, спустя годы, вспоминая свою тюремно-лагерную эпопею, вспомнил и о нем. Интересно было бы узнать — как сложилась его судьба. То ли погиб он от «пера» какого-нибудь «Мыша», то ли помер в лагерном бараке, не дотянув очередной срок. То ли победила добрая человеческая душа, которая, несомненно, в нем жила. И тогда, быть может, вернулся он к человеческой жизни и как бывалый добрый дедушка воспитывает внуков, изо всех сил стараясь отвадить их от соблазна воровской судьбы.

С Олегом «Смирным» мы, правда, не сразу, но оказались на одном лагпункте.

Позднее, находясь в лагере, я написал короткое стихотворение, посвященное моему путешествию по этапу:

Шпалерами зелеными вниз, под уклон
Едет с заключенными целый эшелон.
Ширмачи, домушники, пятьдесятвосьмушники[14]
По одной дороге едут под уклон.

Одному профессору срезали рюкзак.
Говорит профессор — Как же это так?!
Что тут за история? Что за аудитория?
Вот фантасмагория! Не пойму никак!

— Дорогой профессор, ладно, не скучай,
На, вот, тебе кружку, пей водичку-чай.

Эта аудитория —
Тоже ведь история,
И лаборатория —
Только изучай!

Нетрудно заметить, сколь сильно отличается эта поэтически обобщенная картинка от «презренной», но зато реальной прозы жизни. Ну все, буквально все, было на самом деле совсем не так, как написано в стихотворении. Оно и не про меня. Не был я в то время старым чудаковатым профессором. Не было у меня рюкзака. Никто из соседей не предлагал мне кружку чая. Все было иначе. Но вместе с тем, что-то такое, что отразилось в этом стихотворении, все же было. Да, все мы — «ширмачи, домушники, пятьдесятвосьмушники» — ехали вместе, «по одной дороге». Ехали, само собой, «под уклон». Одному профессору — московскому историку-иранисту Штейнбергу — было это, правда, не в нашем эшелоне — действительно срезали рюкзак, пока он спал, сидя на нижней полке в купе «Столыпина». Он сам мне об этом рассказывал по прибытии к нам в лагерь. И рассказ его был пронизан наивным удивлением — «Как же это так?!» Главное же, что верно отразилось в этом стихотворении и что тогда, в дороге, мне в голову еще не приходило, — заложено в этих строках:

Эта аудитория —
Тоже ведь история,
И лаборатория —
Только изучай.

Вот мы и «дома» — в Каргопольлаге МВД СССР строгого режима

Пятнадцатого сентября 1950 года на станции Ерцево из нашего «Столыпина» высадили человек двенадцать. Среди них оказались трое из нашей 28-й камеры «Шпалерки»: адвокат Михаил Николаевич Лупанов, знаменитый Женька Михайлов, постоянно забавлявший нашу камеру своими невероятными выходками, и тихий, застенчивый инженер-лесопромышленник Иван Иванович Грудинин. Из тюрьмы они ехали в других «воронках», а в «Столыпине» находились в других купе.

Увидев старых друзей, я, само собой, обрадовался и двинулся было в их сторону.

— Стоять! Ни с места! — раздался окрик начальника принявшего нас конвоя. Овчарка, лежавшая у ног одного из конвоиров, вскочила и рванулась в мою сторону, натянув поводок.

— Предупреждаю, — продолжал начальник конвоя, — шевелиться только по моей команде. Во время движения из строя не выходить! Вологодский конвой шуток не понимает! — произнес он известную поговорку. — Шаг вправо, шаг влево — считается побег. Стреляем без предупреждения!

Ерцевский вокзал — деревянное строение с башенкой по середине — стоял на краю большого поселка Ерцево, по главной улице которого нас повели в лагерь.

Первое, что меня крайне поразило во время нашего движения по поселку Ерцево, — была сама «мостовая», по которой мы шли. Это был плотный, вероятно, не менее метра в глубину, слой утрамбованных опилок. Этим материалом, как потом выяснилось, были вымощены все улицы и переулки поселка. Ерцевский лесозавод, на котором мне вскоре придется работать, выдавал в день тонны опилок. Покрывать ими улицы столицы Каргопольлага было в то время единственным способом применения опилок. Прессованные строительные брикеты из них стали делать лишь через несколько лет.

Поселок Ерцево состоял в основном из одноэтажных деревянных домов. Двухэтажных было всего несколько. Из них на главной улице находились только два здания, стоявшие рядом — клуб-столовая и местный «Большой дом» — Управление Каргопольлага МВД СССР строгого режима.

Вокруг поселка — куда ни поверни голову — синел лес. Навстречу нам, в сторону железной дороги, проезжали грузовики

с прицепами, груженные досками. Не доезжая до нас метров тридцать, грузовики останавливались, чтобы пропустить нашу колонну. Таков, видимо, был здесь порядок.

Я обратил внимание на то, что в некоторых кабинках грузовиков рядом с водителем сидел солдат, державший стоймя, перед своим носом винтовку, а в других водитель сидел один. Объяснение этому различию я узнал потом: в одних случаях за рулем машины сидел заключенный — бесконвойник, то есть имевший пропуск на выход из зоны без конвоя, а в других — за рулем сидел нерасконвоированный водитель.

Попадались нам навстречу и обгоняли нас и телеги. Тянущие их лошади шли по опилкам бесшумно. Зато возчики — как можно было понять, тоже заключенные безконвойники — отпускали в наш адрес шутливые реплики.

— Надолго ли в гости приехали, мужики?

— А вот и бабёнок новых нам понавезли!

— Гляньте-ка, три Фан Фаныча в шляпах к нам на курорт прибыли!

Вдруг я увидел, что навстречу нам бредет серый ослик, запряженный в небольшую двуколку. Ослика вела под уздцы миловидная девушка в сером ватнике и в кепке. Девушка приветливо помахала нам рукой. Добрая улыбка этой незнакомой девушки как-то приободрила меня и навела на размышления. «Почему она здесь? — подумал я. — Наверное, студентка. Ведь сентябрь на дворе — ей пора быть на занятиях в своем Вузе». Тогда я не мог знать, что ослик слепой, что развозит он почту в два лагпункта — в наш и в соседний, женский, расположенный по другую сторону железной дороги, что девушку зовут Фрида, что до возвращения в Минский университет ей положено отбыть в лагере еще лет семь из тех десяти, к которым ее приговорило Особое совещание за антисоветскую агитацию, то есть за разговоры в своей студенческой среде, что она бесконвойница и поэтому ходит по поселку со своим осликом без конвоира. Тем более не мог я тогда знать, что она — как и большинство из нас, «пятьдесятвосьмушников» — после смерти Сталина освободится раньше предназначенного срока, что станет она женой моего лагерного друга, композитора Бориса Магалифа, который после освобождения поедет вслед за ней в Минск и с которым я буду встречаться и переписываться.

Главная улица поселка Ерцево упиралась в довольно широкую площадь. На той стороне, с которой мы подходили к площади, ее окаймляли полукругом одноэтажные деревянные домики. А на другой стороне площадь была перегорожена высоким забором из вертикально поставленных серых от дождей

и времени досок, плотно пригнанных одна к другой. Над забором были натянуты ряды колючей проволоки. Посреди забора, как раз напротив улицы, были видны широкие двустворчатые ворота. На венчавшем их деревянном полукруге, окрашенном в голубой цвет, большими красными буквами был выведен лозунг: «ЧЕСТНЫЙ ТРУД — ДОРОГА К СВОБОДЕ». Позднее я понял, что этот лозунг было бы разумнее поместить на обратной стороне этих ворот. Через них ежедневно по утрам выводили на работу бригады заключенных. Кого на лесоповал, кого на лесозавод. Когда же к вечеру их приводили обратно к этим воротам, то получалось, что именно после честного и тяжкого труда их загоняли обратно за колючую проволоку.

Часовых в будках, возвышавшихся на углах забора, огораживавшего лагпункты, как я потом узнал, называли в лагерях то «вертухаями», то «попками». Благородное военное слово «часовой» по отношению к ним применялось редко. Разве только новичками лагерной жизни.

В карантине

По прибытии в лагерь всех новичков, оставленных на данном ОЛПе (отдельный лагпункт), помещали в карантин. Каждому полагалось пробыть в нем, не выходя в зону, двадцать два дня. Карантин на нашем 2-м лагпункте помещался в одном из углов зоны, несколько на отшибе, в беломазанном одноэтажном бараке, обнесенном забором.

В проходной сидел, а лучше сказать — жил, «вахтер» — вор в законе Мишка Лобанов. А «начальником» карантина был в тот момент, как выяснилось, знаменитый вор Санька Шовкопляс. Широкий в кости, среднего роста бандит выглядел весьма картинно. Одет он был в зимнее пальто с каракулевым воротником и в каракулевую папаху — кубанку, несмотря на то, что дело было в середине сентября. Его широкая, тумбообразная шея была обернута яркой шелковой шалью. Под расстегнутым черным пальто был виден добротный серый костюм. В соответствии с принятым воровским шиком Санькины брюки были заправлены в голенища хромовых сапог, а рубашка, не заправленная в штаны, свисала из-под расстегнутого пиджака едва ли не до колен. На меня он сразу же произвел впечатление опереточного героя, изображавшего одного из бесчисленных «батек» времен гражданской войны. Притом только что удачно пограбившего какое-то местечко. Рыжая прядь, выбивавшаяся из-под кубанки, и крепкий запашок водки изо рта дополняли это впечатление.

Не успели мы прибыть в карантин и разместиться по койкам, расположенным «вагонкой», в два этажа, как Шовкопляс, руководивший размещением, позвал воров в законе собраться в передней части барака возле дверей. Человек двадцать, в основном молодежь, сгрудились вокруг него на нарах тесной кучкой. Разговор шел вполголоса. Со стороны это сборище напоминало закрытое заседание партгруппы. Все остальные новички разлеглись на это время по своим местам и тихо — чтобы не мешать воровскому собранию — беседовали. Закончив совещание и распустив своих по местам, Шовкопляс обратился с речью к нам — к «мужикам», «фашистам», «фрайерам», «Фан-Фанычам» и прочим неполноценным людям, то есть — не ворам. Речь его, до предела уснащенная матом, сводилась к следующему. Всем вам очень подфартило, сказал Шовкопляс, так как лагпункт «держат» воры в законе. А закон гласит — у заключенных не воровать. И значит, никто у нас ничего насильно отбирать не будет — ни из вещей, ни из продуктовых посылок. Будете менять,

или угощать — продолжил он — это, мол, ваше дело. «Ссученные» закон не признают и отнимают у вашего брата — «мужика», «фрайера», «фашиста» — все. И шмотки, и жратву. Шовкопляс посоветовал нам слушаться Мишку Лобанова и вообще не гневить воровских паханов.

Первыми мероприятиями были баня и переодевание. После бани мне пришлось расстаться с пальто, костюмом и шляпой, в которых мне удалось благополучно доехать до лагеря. Все это я, как и все вновь прибывшие, отнес на хранение в каптерку. Нам выдали лагерную «форму» второго срока, то есть уже послужившую кому-то свой первый срок и побывавшую в дезинфекции и в ремонте. Отличительной чертой лагерной одежки второго срока была не только ее изрядная поношенность, но и странная на взгляд новичка разноцветность. Стеганые ватные брюки и телогреи — когда-то черные — превратились после дезинфекции в светло-серые с желтизной. На этом фоне красовались большие красные, зеленые, синие заплаты на коленях, на рукавах, на спинах. Даже Пушкин, написавший знаменитую строчку «Что слава? Яркая заплата на ветхом рубище певца», вряд ли мог себе представить такую степень яркости, которой обладали эти лагерные заплаты. Разукрашивали лагерную одежду таким диким способом отнюдь не зря. Делалось это для того, чтобы дополнительно затруднить побег. Появиться в такой одежке где-нибудь в людном месте — скажем, на железнодорожной станции или на базаре, даже просто на улице какого-либо поселка или города — означало бы для пустившегося в бега заключенного быть немедленно задержанным. Эта начальственная предосторожность была довольно бессмысленна. Хотя бы потому, что все лагерники, кроме новичков и каких-нибудь вовсе опустившихся стариков, одежду второго срока не носили. Не говоря уже от том, что при подготовке к побегу поменять одежду было едва ли не самым простым делом. Побеги из лагерей, иногда поразительно хитроумно организованные, иногда бессмысленные, с нелепыми и трагическими исходами, заслуживают отдельного рассказа, и разговор о них впереди.

Главным занятием пребывающих в карантине было едва ли не круглосуточное лежание на нарах. Бывалые лагерники, которых среди оказавшихся с нами уголовников и так называемых «бытовиков» было немало, говорили: «Успеете еще наломать горб. Пока на работу не гонят — лежите, набирайтесь силенок». Вот мы и лежали. Правда, сами воры часами сидели вокруг длинного стола, стоявшего посреди барака, в проходе между нарами, резались в карты и в домино. Курить в карантине было запрещено, однако табачный дым плотным серым облаком стоял

вокруг лампочки, висевшей высоко над столом. Мне досталось место на нижних нарах, довольно далеко от входа в барак, с правой стороны. Моими соседями оказались два человека, показавшиеся мне симпатичными.

Надо ли объяснять, что главной темой всех разговоров между вновь прибывшими в лагерь этапами из разных мест были рассказы о том, «кто за что сюда попал», как поется в знаменитой каторжной песне об Александровском централе. Песню эту я распевал лет с трех, поскольку ее напевал мой отец, знала и пела моя няня. Теперь я и сам оказался в обстановке, где знаменитый этот «каторжный» вопрос буквально висел в воздухе, наподобие табачного дыма. Ответы на эти вопросы были здесь куда разнообразнее, чем в камере политической тюрьмы. Там речь обычно шла о таких обвинениях, которые в нормальном обществе вообще невозможны: что, о ком, о чем человек говорил. Большая часть этих обвинений была к тому же сплошной выдумкой. Если человека обвиняли в каких-либо действительно преступных деяниях — в шпионаже, в террористических намерениях, диверсиях и тому подобных страшных вещах — это уже и вовсе в девятистах девяноста девяти случаях из тысячи было «липой» и фальсификацией.

Здесь, в карантине, рассказы о своих делах, об обвинениях нашего брата политического — таких, как я, «пятьдесятвосьмушников» — поблекли, да и вообще не звучали. Здесь рассказывали о настоящих преступлениях. Речь шла об убийства, кражах, взломах, ограблениях, растратах, взятках, то есть реальных преступных деяниях. Конечно, и здесь каждый рассказчик либо оправдывал свое, даже самое тяжкое, преступление теми или иными обстоятельствами, либо жаловался на несправедливость суда — слишком много дали, либо обвинял своих «подельников» в том, что они его подвели под слишком суровый приговор, а себе облегчили участь. Тот или иной вор то и дело сетовал на собственную оплошность — зря, мол, на пустяке погорел.

Вскоре выяснилось, что на нарах я лежу между двумя убийцами. «Убийца». Это слово с самого детства внушало мне отвращение. Война, на которой видел я столько смертей, столько трупов, никак не переменила моего отношения к понятиям «убийство», «убийца». Они остались для меня такими же ужасающими и отвратительными. Но вот я целыми сутками валяюсь на нарах рядом с убийцами, вместе с ними покуриваю, вместе с ними ем. Я играю с убийцами в шахматы. Я мирно беседую с ними. Мы дружно смеемся над анекдотами. Я спокойно засыпаю между соседями — убийцами. Но самое удивительное и

самое чудовищное — я сочувствую убийце, когда он рассказывает о своем преступлении. Да, да, именно на этом я ловил себя во время их рассказов.

Один из моих соседей — Сергей, бывший водитель автобуса, мужчина лет тридцати с небольшим — поведал мне, как зарубил топором свою тещу. Он так убежденно и с такими подробностями обрисовал, как теща его «доводила», как выживала из дома, как ссорила со своей дочерью — его женой, что я поневоле проникался пониманием его справедливого негодования. При этом он каялся, признавал, что не надо было убивать. Но не потому, что жалел убитую. Нет, «ей туда и дорога», а потому, что загубил свою жизнь и жизнь своей жены. И все это рассказывалось и пересказывалось по многу раз. К тому же и намерения убивать у него вовсе не было. Ну, не сдержался. «Любой бы не вытерпел». Словом, я проникался сочувствием и соболезнованием к человеку, который вот осужден, страдает и еще долго будет страдать за свой — ну как не поверить — вынужденный поступок.

Убитую тещу я и в глаза не видел. Представить ее себе мог только как ведьму, ибо кроме рассказа Сергея ничего о ней не знал. А он вот тут, рядом. И вроде бы совсем он и не плохой человек. И вроде бы даже добрый. Как-то ночью я почувствовал, как он поправляет на мне сползшее одеяло. Я уже начал думать, что слово «убийца» как-то не подходит к Сергею, хотя он и убил.

«Вот так же, — думаю я теперь, когда пишу эти строки, — расслабляются и судьи, и люди, присутствующие на судах над убийцами. Убитого нет, и кто его знает — какой он был человек. Воскресить его невозможно. А убийца — вот он, живой, несчастный, раскаивающийся. А вот и его мать сидит и горько-горько плачет. Ну как тут не посочувствовать, не проявить гуманизм…»

Когда мой сосед по нарам Сергей, попыхивая папиросой, рассказывал, как он, подойдя сзади, ударил тещу топором по голове, я — в момент рассказа единственный судья его поступка — всячески старался своими репликами, вопросами и кивками головы помочь ему изобразить дело наилучшим для убийцы — нет, для бывшего убийцы, а теперь рассказчика, человека, уже наказанного за свое преступление, — образом. Мне очень хотелось убедиться, что теща действительно спровоцировала своего зятя на его ужасный поступок, что он, схватив топор, вовсе и не собирался ее ударить, а ударяя топором по голове, хотел просто сделать ей больно, «поучить», что ли, но не рассчитал силу удара. И вот, себе на беду, убил. Как говорится, сам того не желая. Так я помогал себе услышать эту историю не в том виде, в каком она происходила, а в смягченном, сглаженном.

Я не раз потом возвращался мысленно к этой моей роли в разговоре с убийцей, стараясь оценить психологию своего поведения. Мысль моя по этому поводу постоянно двигалась в двух направлениях. Одно из них неизменно связывалось с воспоминаниями детства. Мой отец был в свое время принят в столичную коллегию адвокатов великим русским защитником Карабчевским. (Постановление о приеме отца в коллегию, с подписью Карабчевского, у меня сохранилось.) В доме у нас царил культ Карабчевского, и книгу его судебных речей я прочитал, когда мне было лет десять-одиннадцать.

Перед каждой речью адвоката давалась краткая справка по данному делу. Например, мастеровой такой-то в меблированных комнатах в доме на Садовой улице нанес четырнадцать ударов ножом своей сожительнице мещанке такой-то, которая от полученных ран скончалась.

Прочитав такую справку, я, естественно, проникался нетерпеливым желанием узнать, что суд сурово наказал безжалостного убийцу. Однако затем, по мере чтения речи Карабчевского, мое настроение менялось. Ненависть к убийце чудодейственным образом уступала место сочувствию ему. Нарастало возмущение его жертвой — мещанкой такой-то. В конце концов, становилось вполне очевидным, что мастеровой не виноват, он просто не мог поступить иначе. Постепенно мною овладевала тревога за судьбу невольного убийцы — «Неужели его засудят?!» И с огромным облегчением прочитывал я помещенное после речи Карабчевского сообщение о том, что присяжные признали мастерового такого-то невиновным и он был судом оправдан. Адвокат Карабчевский воспринимался мною тогда как добрый сказочный волшебник, совершающий чудеса.

Так как был я в те годы читателем совсем юным, еще не вышедшим из мира игр и сказок, я не раз играл в «суд», выступал за судью, за обвиняемого, за обвинителя и за адвоката. Естественно, «адвокат» всегда совершал чудо всеобщего переубеждения и спасения обвиняемого.

Адвокатом я не стал, как не стал шофером, моряком, полководцем, врачом или кем-либо еще, в кого увлеченно играл в детстве. Не играл я, пожалуй, только в историка, каковым в реальной своей судьбе оказался.

Так вот, думал я после рассказа убийцы Сергея, а потом и после рассказов других убийц, — не возникает ли тут каждый раз для меня «эффект Карабчевского» или, вернее, знаменитая формула суда присяжных — «виновен, но заслуживает снисхождения»? И не является ли в таких случаях убийца-рассказчик сам для себя если не Карабчевским, то все же

хорошим адвокатом, умело подбирающим и квалифицирующим все привходящие обстоятельства, создающим картину, так или иначе его оправдывающую. Но тогда почему же, спрашивал я себя, преступник так мало, как правило, помогает себе на суде? Почему он так нуждается в адвокате? И почему даже хороший адвокат (в том числе иногда и сам великий Карабчевский) не в состоянии его оправдать или хотя бы значительно смягчить ему приговор? Ответ один. В собственном рассказе преступника представлена лишь одна сторона, сторона защиты. Он может здесь излагать одни факты и опускать другие, может изображать факты, как хочет, субъективно, и слушатель лишен возможности сопоставлять разные обстоятельства, видеть полную, а не одномерную картину. На суде все не так. И обвинитель, и само дело, и экспертиза, и свидетели оставляют обвиняемому мало простора для «свободного», удобного ему изображения событий. Здесь ему для создания оправдывающей его хоть в какой-то степени картины без Карабчевских не обойтись. Это понятно. Менее понятно другое — почему, отдавая себе в этом отчет, я, да и прочие выслушиватели явно субъективных «самоотчетов» преступников об их деяниях, обязательно развешивали уши и принимали их рассказы за правду?

На основании своего опыта я пришел к такому объяснению: человек в принципе изначально доверчив, изначально склонен воспринимать предлагаемую ему информацию как объективную и охотно ее принимает, если нет потока иной, опровергающей или корректирующей информации из других источников. Массовое предрасположение людей к восприятию в качестве истины всевозможных, порой самых невероятных слухов, легенд и мифов имеет, надо полагать, ту же природу — изначального доверия к информации. Человек предрасположен верить тому, что обладает положительным, добрым знаком. Срабатывает инстинкт самосохранения, оберегания своего сознания от тяжелых эмоций, отталкивания от себя дурных известий. К сожалению, во все времена эта предрасположенность человека верить в хорошее («все будет хорошо, все будет по наилучшему варианту») постоянно наскакивала на безжалостные рифы реальности, о которые порой с треском и грохотом разбивались и светлые надежды, и благостные верования, и — всего чаще — личное доверие. Но, пожалуй, нигде человека так сильно не подводит доверчивость, как в лагере. Обман, эксплуатация доверчивости являются здесь постоянным способом выживания одних за счет других. В полном объеме я с этим столкнулся позже. А пока, в карантине, я с полной доверчивостью воспринимал многие рассказы и советы. Правда, в данном случае Сергею,

рассказывающему мне о том, как он прикончил тещу, от меня ничего не было нужно, кроме доверия к его рассказу. Выходит, доверие, сочувствие со стороны вовсе незнакомого и уж ничем не полезного для рассказчика человека, сами по себе являются человеческими ценностями, без которых самая заскорузлая душа обходиться не может и которые она старается заполучить ценой хоть и не тяжелого, но все же труда — труда довольно долгого, обстоятельного, доказательного рассказывания.

Слева от меня лежал другой убийца, по кличке Костя-морячок. Этот здоровый молодой парень лет двадцати двух — двадцати трех и впрямь был в прошлом военным моряком. На нем были черные матросские брюки с откидным клапаном спереди, тельняшка и мичманская морская фуражка. Поверх тельняшки на нем был надет не морской, а лагерный бушлат, свидетельствовавший, что прибыл Костя не с флота, а из другого лагеря. Оно так и было. «Морячок» прибыл в Каргопольлаг из какого-то другого лагеря после суда, получив новый срок за убийство заключенного, то ли случайно в драке, то ли умышленно. Его рассказ об этом я не особенно запомнил. Помню лишь, что Костя-морячок изображал себя не убийцей, а борцом за справедливость, убившим некоего «гада», который только того и заслуживал, чтобы быть убитым.

О Косте-морячке я еще расскажу, но не о том, кого и как он убил в том лагере, откуда прибыл, а о том, как убили его на моих глазах средь бела дня, примерно через год после нашего с ним пребывания в карантине.

Обряд моего «крещения» в «ЗК»

Прибывшего в карантин заключенного охватывает странное, можно сказать, обманчивое чувство свободы. Оно объясняется прежде всего тем, что человек оказался в иной обстановке после того, как отсидел много месяцев в каменном мешке тюрьмы, в четырех стенах между каменным полом и низким потолком камеры, вместе всего лишь с двумя-тремя людьми, за железной дверью с «глазком», через который за ним день и ночь наблюдал коридорный надзиратель, где в течение всего дня он не мог не только прилечь, но и присесть на свою койку, поднятую и прикрепленную к стене, где он не имел права сомкнуть глаза и подремать, даже сидя на привинченной к стене возле железного столика, тоже привинченного к стене, квадратной железной скамеечке, где небо видно только через решетку верхней части небольшого окна, нижняя часть которого забрана ящиком-козырьком.

В карантине вокруг тебя много людей — человек тридцать. Из карантинного барака можно выйти во дворик, из которого видна не только остальная зона, но виден и обступивший высокий лагерный забор вековой лес. Можно слышать его «зеленый шум», можно слышать гудки паровозов и шум проходящих поездов, можно видеть и слышать птиц. Никогда раньше я не думал, что вид прохаживающейся вблизи от тебя обычной вороны или суетящейся вокруг кусочка брошенного хлеба стайки воробьев может так взволновать ощущением — будто ты находишься на свободе, так же, как эти воробьи и эта ворона. Да и сам вид открытого пространства — того же леса и неба — тоже способствует появлению этого ощущения.

Разумеется, столкновение с реальными «прелестями» лагерной жизни — с тяжелым, порой изнурительным каторжным трудом, с продолжающейся изоляцией от семьи, от любимых занятий, от нормальной жизни, и принудительным сосуществованием вместе с уголовниками и другими чуждыми, а то и враждебными тебе людьми, с режимом содержания тебя с помощью заборов, «колючки», собак, конвоиров с автоматами. — все это, разумеется, быстро похоронит обманное ощущение некоторого выхода на свободу, появляющееся временами в карантине.

Наши лагерные аборигены из числа «политических», то есть «пятьдесятвосьмушников», придумали своеобразный обряд «крещения» новичков, разом, еще в карантинный период, отрезвляющий их от каких-либо иллюзий насчет той «свободы», в

которой они обречены пребывать долгие, долгие годы.

В карантин к вновь прибывшим сразу же приходили знакомиться лагерные старожилы. К ворам — воры, к политическим — политические.

Вот и ко мне в один из первых дней моего пребывания в карантине пришли гости: заведующий баней нашего лагпункта — полковник-артиллерист, преподаватель ленинградской Артиллерийской академии Лазарь Львович Окунь — милейший человек, в будущем мой большой друг, и два студента из Москвы. Один из них — Юра Макаров — слушатель военной Авиационной академии и другой — студент Московского университета Слава Стороженко — ныне профессор, академик, если не ошибаюсь, Экологической академии. Когда мы познакомились и поговорили, новые знакомые предложили мне сходить куда-то, недалеко от карантина, на очень интересное мероприятие.

Договорившись с помощью какой-то мзды с дежурившим в карантинной проходной вором Мишкой Лобановым, они вывели меня из карантина и предложили подойти к ближайшей охранной вышке, на которой стоял часовой в синей фуражке и с винтовкой. Подходить к охранным вышкам, стоявшим на четырех углах квадрата территории, занятой нашим лагпунктом, на расстоянии километра одна от другой, можно было довольно близко, до самой «запретки» — полосы свежераспаханной земли, шедшей вдоль всех четырех сторон высокого, увенчанного колючей проволокой забора. Часовой должен был стрелять на поражение и без всякого предупреждения в любого, кто попытается вступить на «запретку», отделенную от территории лагеря рядами «колючки», висящей на деревянных кольях. Ничто из того, что происходит в самом лагере внутри «запретки» — какие-либо передвижения, драки, пожар или еще что-либо, — часового на вышке не касается.

Зачем меня сюда привели мои новые друзья, я не понимал. Ничего не происходило. Стоявший на вышке часовой, как мне показалось, какой-то монгол, не обратил на нас ни малейшего внимания.

— Зачем вы меня сюда привели, — спросил я у своих новых знакомых.

— Сейчас узнаете. — Полковник Окунь взглянул на свои наручные часы. — Без двух минут восемь, — продолжил он. — Сейчас узнаете.

Ровно в восемь раздались тяжелые шаги по ступеням не видной нам деревянной лестницы, ведшей на вышку с той стороны забора. На вышку поднялся разводящий — какой-то сержант или старшина с синими с белым погончиками и в синей

фуражке. Вслед за ним вступил на вышку новый часовой.

Старшина скомандовал: «Смирно!» Оба солдата вытянулись, глядя друг на друга.

— Пост по охране врагов народа сдал! — рявкнул монгол, поднеся руку к фуражке.

— Пост по охране врагов народа принял! — ответил новый часовой.

На этом вся процедура окончилась, и разводящий увел сменившегося часового.

Мои новые знакомые молча и, как мне показалось, с усмешкой смотрели на меня. Они на собственном опыте знали, какое впечатление должно была произвести на новичка это обычное, ежедневное, рутинное действо.

А я был подавлен происшедшим. Еще вчера, в тюрьме, во время следствия, можно было на что-то надеяться. Еще шла, вроде бы, какая-то борьба. Я что-то доказывал следователю, спорил. Оставалась хоть какая-то надежда на справедливый суд, на то, что кто-то разберется в жалобе, которую я написал на имя председателя Особого совещания, заочно осудившего меня на десять лет исправительно-трудовых лагерей. А тут, сейчас, когда два простых, темных, по крайней мере в отношении моих проблем, человека произносят как само собой разумеющееся «Пост по охране врагов народа сдал! Пост по охране врагов народа принял!», — тут понимаешь: «Все!» Им и всем прочим, кто тебя охраняет, ты ничего не докажешь! Ты — враг народа, и все тут. Услышанные слова легли на душу, словно тяжелая могильная плита.

Ну, а потом. Потом, бывало, сам водил новичков к вышке, к моменту смены караула, и наблюдал то ошеломление, которое производила на них описанная выше процедура. Сам я на нее уже не реагировал: «Привычное дело!» Так уж устроен человек — ко всему привыкает. И хорошо! Иначе задавила бы тоска, а может быть, и угробила бы. Таких, правда, было немного. И это тоже хорошо!

Однажды, находясь в лагере, прочел я в газете выступление большой группы писателей, разоблачавших иностранных клеветников, которые утверждали, что в нашей стране много политических заключенных.

Писатели доказывали, что политических заключенных у нас в стране нет.

Я написал тогда по этому поводу небольшое стихотворение:

Скольких надо нанять,
Чтобы нас охранять?

Это мало — свирепых карателей,
Палачей, стукачей, надзирателей.
Чтобы нас охранять
Надо многих нанять,
И, прежде всего, — писателей.

Ноябрь 1952 г.

Член-марионетка

Да не подумает тот, кому доведется читать эти строки, что речь пойдет о каком-нибудь взятом для «галочки» в высший государственный или партийный орган простом работяге, или о безгласном члене худсовета театра при режиссере-диктаторе. Члены подобного рода являются марионетками в переносном смысле. Здесь же пойдет речь о мужском члене, сыгравшем в самом прямом смысле роль марионетки.

Дневальным по карантинному бараку был мелкий воришка — Васька. Именно так, а не Вася и уж, конечно же, не Василий, именовали его жители карантина.

Был Васька, безусловно, глуп, невежествен и неопрятен. Это был полноватый парень лет семнадцати или около того, одетый в широченные штаны и черную косоворотку, которую он, похоже, никогда не менял. Пострижен он был под машинку, что придавало его толстощекому лицу вид шара с глазами.

Васька, хотя и не был еще вором в законе, но, несомненно, причислял себя к этой категории и мечтал сделать карьеру настоящего, то есть признанного вора. Было ясно, что он вполне причащен к «святым дарам» воровской профессии. Глаза его неспокойно бегали по сторонам, говорил он на воровском жаргоне — «ботал по фене». Выражение его лица было откровенно вороватым. Этим последним он как раз и отличался от настоящих «больших» воров, умеющих очень часто натягивать на себя маску вполне честного человека. Не думаю, чтобы этот Васька сумел когда-нибудь выбиться у воров «в люди». Выше «шестерки» — холопа на побегушках — даже в воровской среде потянуть не должен был. Тем не менее, в карантине Ваську побаивались, так как он обо всем доносил Мишке Лобанову и самому Шовкоплясу. При этом старшие воры, находившиеся в карантине, да и «бытовики», осужденные за большие или малые преступления, всячески Васькой помыкали, заставляли его по мелочам прислуживать себе, гоняли его к своим дружкам в общей зоне за папиросами, а то и за водкой.

В официальные Васькины обязанности входило подметать, а иногда и мыть пол, сметать пыль, приносить воду для умывальников и для питьевого бачка, находившихся в сенях, при входе в карантинный барак.

Так как все места на верхних и нижних нарах в карантине были заняты, Васька после отбоя укладывался спать на длинном столе, стоявшем посреди барака между нарами, на котором днем резались в карты и забивали козла. Спал Васька, не раздеваясь,

постелив на стол какой-то тюфячок и подложив под голову замусоленную подушку без наволочки. Замечу, что новичкам, поступающим в карантин, простыню и наволочку выдавали.

Была у Васьки одна особенность, сыгравшая главную роль в той истории, о которой я рассказываю. Он спал таким крепким сном, что разбудить его окриком, любым шумом или даже растолкать было почти невозможно. Не раз ради шутки его подымали, плеснув на лицо холодную воду из ковша. Васька вскакивал, одурело оглядывался, вызывая радостный хохот шутников.

Однажды вечером «шутники» из блатных удумали учинить над Васькой, спящим на столе, очередную шутку. Один из них расстегнул Васькины штаны, выпростал из них его член, на который двое других надели нитяную петлю. Черные нити от нее протянули вправо и влево от стола к верхним нарам. Два лежавших на них зека по очереди аккуратно потягивали за концы нитей. При этом член Васьки, спавшего лежа на спине, превращался в маятник, мерно и ритмично раскачивающийся из стороны в сторону.

Ни это раскачивание, ни громовой хохот всего барака, ни галдеж радостных, одобрительных выкриков зрителей на обоих этажах нар — ничто не могло потревожить мирный сон Васьки.

Между тем, приближалось время обхода бараков надзирателями — девять вечера. Приходили они обычно либо по одному, либо по двое. Должны были вот-вот появиться и сегодня. Шутники, однако, и не думали прекращать свою забаву, ибо именно к приходу надзирателей они ее и приурочили. Хотели посмотреть на их удивление и реакцию.

Возле двери, ведшей из сеней в жилое помещение, была довольно широкая площадка, возвышавшаяся над полом барака на две — во всю ее ширину — ступени. На этой площадке надзиратели обычно и останавливались. Окинув взглядом помещение, они, если все было спокойно и не требовалось никакого их вмешательства, уходили. Шутникам было любопытно — как же они поступят на этот раз. Произошло, однако, то, чего никто в бараке не ожидал.

Когда в сенях послышались шаги, в карантине все стихло. Его обитатели мгновенно откинулись на свои подушки, делая вид, что спят. Дергавшие за нитки для большей маскировки своего занятия повернулись спинами к двери, но ритмично потягивать за нитки продолжали. Они и не увидели, что на возвышение перед дверью вошли не два, а пять человек в синих фуражках. Двое в телогрейках — это были знакомые уже мне лагерные надзиратели — и трое в черных кожаных пальто. Один из них — крепыш

небольшого роста — начальник нашего лагпункта старший лейтенант Кошелев. С ним пришел генерал, явно приезжий инспектор. Третьим был порученец при генерале. Он держал в руках блокнот для записи генеральских указаний.

Увидев спящего на столе человека с торчащим из штанов членом, который медленно, как бы прочерчивая небольшую дугу, переваливался со стороны на сторону, вошедшие на несколько секунд онемели от удивления.

Первым очнулся Кошелев.

— Прекрати сейчас же хулиганить! — крикнул он, обращаясь, надо полагать, к спящему Ваське.

— Погоди, погоди, Кошелев, — сказал генерал. — Это что-то небывалое. Сколько лагерей по всему Союзу объехал, а такого фокуса никогда еще не видал. — Генерал усмехнулся.

— А скажи честно, Кошелев, — продолжил он, — может быть, ты со своими архаровцами нарочно такой спектакль подстроил, чтобы продемонстрировать инспектору, что именно вы собираетесь ему в своем хозяйстве показывать? А?

Генерал был явно в шутливом настроении, что, возможно, объяснялось тем, что был уже изрядно угощен, то ли еще в Управлении Каргопольлага у начальника — полковника Коробицына, то ли на нашем «столичном» лагпункте Кошелевым.

Услышав его слова, «тянульщики» ниток на верхних нарах явно приободрились и ускорили темп раскачивания своей «марионетки».

— Да нет. Что вы, что вы, товарищ генерал. Мы. У нас ведь лагпункт образцовый. Никогда ничего подобного и в заводе не было. И к вам с полным уважением. — залепетал обычно грозный Кошелев.

— Не тушуйся, Кошелев. Я пошутил. Такую диковину подстроить вообще невозможно. Это же чудо природы.

— Так точно — чудо! — подтвердил порученец.

Кошелев накинулся на своих надзирателей:

— Кто это у вас тут на столе разлегся?

— Дневальный по карантину, — сказал надзиратель по кличке «Колхозник».

— Васькой его зовут, — добавил другой.

— А почему он на столе лежит, а не на первом от двери месте на нарах, как положено дневальному? — продолжал допытываться у надзирателей Кошелев, явно стараясь показать генералу, что он ничего тут не подстраивал и ничего не знает о том, что здесь довелось увидеть сегодня.

— Места не хватило. Карантин переполнен, — отвечал второй надзиратель.

— А это у вашего дневального всегда такая карусель с членом происходит? — спросил генерал. — Или только сегодня?

— Раньше не замечали, — сказал «Колхозник».

— Поскольку он раньше накрытый лежал, — добавил второй надзиратель. — Разрешите, товарищ генерал, прекратить безобразие?

Надзиратели подбежали к спящему.

Только теперь шутники, которые все это время продолжали раскачивать Васькин член, отпустили нитки. Надо сказать, что к данному моменту симуляция сна на обоих этажах нар прекратилась, все обитатели карантина приподнялись на нарах и, стараясь соблюдать тишину, наблюдали за происходящим.

Надзиратели не без труда растолкали Ваську. Наконец он проснулся и, дико озираясь, встал возле стола. Он при этом явно не замечал, что его член торчит из прорехи наружу.

— Фамилия? — грозно спросил его Кошелев.

— Перепелкин.

— За что сидишь?

— Ни за что. Гуся на базаре украл.

— А это давно у тебя? — спросил генерал.

— Что? — не понял Васька.

— А вот то — что из штанов торчит. — Генерал ткнул пальцем в указанном направлении.

— Это? — Васька наконец увидел непорядок в своей одежде и быстро спрятал орган в штаны.

— Погоди убирать, если генерал интересуется твоей штукой! Вынь ее обратно! — приказал Кошелев.

Васька покорно исполнил приказание.

— И давно он у тебя крутится? — спросил генерал.

Ничего не понимающий Васька покрутил свой член рукой, сначала в одну сторону, потом в другую.

— Сколько себя помню. От рождения, наверно.

Эти слова вызвали громкий хохот на нарах.

— Прекратить смех! — скомандовал Кошелев.

— Все ясно, — сказал генерал. — Явный больной. Но болезнь небывалая. Я о таком даже никогда не слышал. И читать про такое не приходилось.

— И я никогда, — поспешил подтвердить Кошелев.

— Значит, так, — распорядился генерал. — Завтра же на этап его в Москву. Покажем науке. Пусть он свой прибор лучше ученым академикам показывает, а не сотрудниками НКВД.

— Тем более генералам, — сказал порученец.

— Вот именно! — согласился генерал. — Ладно. Веди дальше, Кошелев. В женскую зону. Надеюсь, голую задницу мне

там не будут демонстрировать?! А?

Генерал повернулся и направился к двери. Кошелев и порученец пошли за ним. А надзиратели, не сговариваясь, погрозили нам кулаками.

Надо ли говорить, что разговоры и смех не смолкали в карантине еще долго. Несчастный Васька, сообразивший наконец, что с ним проделали, долго ругался, проклиная «сук позорных», которые его «подставили под этап». При этом он, вызывая все новые приступы смеха, долго возился, освобождаясь от нитяной петли.

Наутро старший надзиратель лагпункта — старшина Корнейко пришел забирать Ваську на пересылку, где ему предстояло ожидать отправления на этап в Москву в «Столыпине» проходящего через Ерцево московского поезда.

Блатные, чувствовавшие свою вину перед Васькой, напихали в его «Сидор» — заплечный мешок — всевозможную снедь, собрали ему, как было принято между ними, денег в дорогу.

У меня не было ничего, чем бы я мог снабдить Ваську. Кроме нескольких добрых пожеланий.

— Все к лучшему, Василий. Попадешь в руки ученых — они тебе помогут. Обследуют тебя, увидят, что ты нездоров, и актируют. Пойдешь на свободу.

— Не актируют, — сказал Васька. — Сам по себе ведь он у меня крутиться не будет.

— Что-нибудь другое найдут, — старался я его успокоить, имея про себя в виду Васькино слабоумие.

— Найдут и еще поддадут, — сказал Васька и тяжело вздохнул.

Его увели. С тех пор я ничего о нем слышал.

«Лососина» небывалой свежести

В первый же день нашего прибытия на 2-й лагпункт Каргопольлага — в дальнейшем я буду называть его наш лагпункт — нас, вновь прибывших в карантин, вместе со всеми уже находившимися там его обитателями, ведут на обед. «Старожилы» предупредили нас о том, что лагерная столовая на ремонте и поэтому нас будут кормить в полевых условиях. И действительно, «старожилы» привели нас на большую площадку, на которой стояли две полевые военные кухни. Вокруг них и наскоро сколоченных деревянных столов толпились зеки с мисками и ложками в руках. Нам, вновь прибывшим, миски и ложки были выданы еще в карантине. К кухням обедающие подходили по бригадам. Из котла одной кухни наливали в миски суп, из котла другой — съевшим свой суп накладывали второе блюдо. Я обратил внимание на то, что некоторые зеки подходили к второй кухне с миской несъеденного супа и порцию второго блюда им клали прямо в суп. Оба блюда вполне умещались в миске. Над поляной пахло чем-то сытным, и мне, после десяти месяцев тюремного пайка и нескольких суток питания сухим пайком (хлеб и селедка) в «Столыпине», есть очень хотелось. То ли поэтому, то ли из интереса к новому, никогда, даже на фронте не случавшемуся варианту обеда, я, как и некоторые другие, получив суп, тотчас пошел за вторым. В мою миску, разбрызгав часть супа, плюхнулся довольно большой кусок рыбы. «Какой большой! Вот здорово! Черт с ним с разбрызганным супом!» — подумал я. Выхлебав прямо из миски оставшиеся в ней довольно жидкие кислые щи, я принялся разглядывать большой, красивый, розовый, невероятно аппетитный кусок рыбы, лежавший в моей миске. «Не то осетрина, не то лососина, — подумал я. — Ничего себе, кормят в лагерях! А я ожидал, что здесь голоднее, чем в тюрьме».

— Как вы думаете, это лососина или осетрина? — спросил я у стоявшего рядом со мной соседа по дощатому неструганому столу — человека небольшого роста, одетого почему-то в военную плащ-палатку. Он окинул меня весьма ироничным взглядом.

— Это такая же осетрина, как вся эта «едальня» — ресторан «Националь».

По названию ресторана, которое выбрал мой собеседник, я понял, что он москвич, и, как потом выяснилось, не ошибся.

— Это акула, — продолжил стоявший рядом со мной невысокий человек в плащ-палатке, доедавший свой суп.

— Акула?! — воскликнул я и резко отодвинул от себя

миску. — Разве люди едят акул? До сих пор акулы ели людей.

— Чем скорее позабудете, что было до сих пор, тем легче вам будете здесь жить дальше. А что касается акульего мяса, не стоит от него отказываться. Ешьте. И полезно, и сытно. Еще приятно будет вспомнить свое раннее детство.

При чем здесь мое детство, я не понял, но спросить об этом уже не смог, так как мой собеседник отошел за своей порцией акулы, а, отойдя от кухни, не вернулся к нашему столу, заговорив с каким-то другим зеком.

Делать было нечего. Выпитый мною суп, голод, естественно, не утолил. Я пододвинул к себе миску, взял в руку кусок акулы и надкусил его. Тут я и понял, почему мой собеседник сказал, что мне предстоит вспомнить свое раннее детство. Весь мой рот наполнился рыбьим жиром, тем самым рыбьим жиром, который меня всегда, то насильно, то с уговорами, то с обещаниями новых игрушек, принуждали поглощать. Потом, когда я подрос и вливать в меня рыбий жир перестали, я, само собой разумеется, думал, что расстался с эти продуктом навсегда. И вот на тебе! Такая неожиданная встреча.

Кусок акульего мяса я, конечно, съел и почувствовал долгожданное чувство сытости.

А с моим собеседником я потом познакомился поближе. Им оказался ставший через много лет всемирно знаменитым по весьма печальному поводу Ян Рокотов. Но это была уже совсем другая история. А пока что мне предстояло просидеть вместе с ним на нашем 2-м лагпункте «добрых» четыре года.

Здесь, чтобы снять вполне оправданное удивление читателя по поводу того, что заключенных в лагере сытно накормили, следует разъяснить следующее. По многим документам и воспоминаниям хорошо известно, что заключенные в лагерях голодали. Бывало, особенно в годы войны, заключенные в ГУЛАГе от голода мёрли, как мухи. Тем более что размер пайки хлеба начальники ставили в зависимость от выработки заключенного на лесоповале, в шахтах, в рудниках, на стройках железных дорог и на всех прочих стройках. Чтобы заработать не урезанную пайку хлеба, истощенный голодом и непосильным трудом человек надрывался, вкалывая из последних сил, и погибал. Голодом, к тому же, наказывали за любую провинность, опять же урезая пайку и лишая приварка. Мне и всему моему «призыву» лагерников посчастливилось (пишу это слово без кавычек) — мы прибыли в ГУЛАГ в новую эпоху. К тому времени — к началу 50-х годов — масштабы принудительного труда заключенных приобрели гигантские размеры и огромный удельный вес во всех важнейших областях экономики СССР. Во весь рост встала задача

поднять производительность принудительного труда заключенных. И было принято решение ввести в системе ГУЛАГа своеобразный хозрасчет: поощрение лагерных работяг и так называемых «придурков», то есть тех, кто не занят на тяжелых физических работах, — сдельной денежной оплатой труда, при более или менее приличной кормежке. Часть заработанных денег выдавали на руки. Их можно было потратить на дополнительную еду. Например, на приобретение второго блюда или стакана молока. Для этого при столовой, в обеденное время, работал платный буфет. В зоне лагпункта был открыт магазин, в котором можно было купить вполне приличные продукты. Заработки у заключенных были весьма разные. Больше всех зарабатывали грузчики, водители грузовиков, мастера леса. «Придурки», к которым после первых четырех месяцев тяжелой работы на лесозаводе относился и я, получали куда меньше, что, естественно, было справедливо. Кое-какие деньги поступали на лицевой счет заключенного и выдавались ему при освобождении. Словом, мне действительно, без кавычек, посчастливилось попасть в лагерь, когда жуткие голодные годы для заключенных оказались уже позади. Наказание голодом оставалось в виде наказания в БУРах — бараках усиленного режима или, как называли их лагерники, «трюмах», — то есть в карцерах.

Любовница Николая II и прочая, и прочая…

В карантине, как и во всем лагпункте, после полудня проводилась ежедневная поверка — пересчет заключенных, находящихся в зоне, по головам.

Во время поверки каждый заключенный должен был громко называть свою фамилию, имя, отчество и статью или статьи, по которым он осужден.

Во время первой же поверки, при которой я присутствовал, меня поразил необычный набор статей, по которым сидел один из моих соседей по нарам: антисоветская агитация, изнасилование и убийство. «Очень странное сочетание, — подумал я. — Антисоветская агитация во время изнасилования?! Такого никакие фантазеры-следователи, нагромождавшие на «антисоветчиков» самые дикие обвинения, вроде бы, еще не придумали…»

Я, разумеется, спросил своего соседа, как только мы с ним познакомились поближе, — за что же именно он сидит? Его рассказ оказался настолько неожиданным и интересным, что я потом неоднократно пересказывал его своим друзьям. И еще там, в лагере, и в последующие годы, и, конечно же, своим коллегам-историкам.

Вот что я услышал тогда в карантине от Игнатия Пастухова.

— Начнем с того, — сказал Пастухов, — что никакого изнасилования не было. И антисоветской агитации не было. Случайно влип в историю. Кстати сказать, в школе я историю любил. Особенно к историческим личностям интерес имел. Вот из-за личностей… не из-за всех, конечно, а из-за некоторых, я и припух. Короче — так. Я, — начал свой рассказ Пастухов, — электрик. Закончил в Ленинграде электротехникум. Работал на «Светлане». Прошлым летом отправился дикарем отдыхать в Крым. В первый же день приезда в Ливадию снял комнату в доме одной старушонки. Вроде бы повезло мне: море близко, плата сносная. Притом хозяйка подрядилась кормить меня завтраком, обедом и ужином. Единственное, что было не очень удобно, — она решительно запретила приводить в ее дом женщин. Ничего, подумал я, ночи в Крыму темные, если познакомлюсь с хорошей бабенкой, — всегда найдем, где пристроиться.

Как я провел первый день — понятно. Накупался, нагулялся. Присмотрел несколько подходящих особ женского пола. С несколькими даже поговорил. Но никакого конкретного

знакомства пока что не получалось.

Вечером хозяйка позвала меня ужинать. Вышел я из своей комнаты и, надо сказать, крепко удивился. На краю стола стояла старых времен лампа под оранжевым абажуром, которая освещала стол, уставленный всякими разносолами. Тут и копченая рыба была, проткнутая палкой от рта до хвоста. Тут и селедка, окольцованная кружками лука, тут и холодное мясо, нарезанное ломтиками.

— Что за праздник такой, мамаша? — спросил я.

— Знакомство с хорошим человеком — всегда праздник, — отвечала хозяйка.

— Вы ж меня не знаете. Может, я не такой уж и хороший.

— Вы же из Ленинграда. А я среди ваших земляков ни одного плохого не встречала. Так что присаживайтесь. Отпразднуем знакомство.

— Эх, знал бы про такую закуску — прихватил бы бутылку. Да вот, не догадался, — сказал я.

— Найдется и бутылка, — улыбнулась хозяйка.

Она нагнулась к полу и подняла за кольцо крышку подпола. Протянув руку, она сняла с одной из верхних ступеней деревянной лестницы, идущей в подпол, явно приготовленную к ужину бутылку водки. Мы сели за стол.

«Ну что ж, гулять так гулять», — подумал я, принимаясь за рюмку и закусь. А бутылку я завтра же старухе откуплю».

Уплетая селедку и копченую рыбу, я посматривал на хозяйку, которая, пригубив водочки, тоже закусывала.

«На ее бы место бабенку помоложе», — думал я, заметив, что зубов у жующей женщины явно не хватает, что лицо ее в морщинах и что под белым платком, перекрещенным на груди, никакие груди даже глазом не прощупываются. Правда, следы былой красоты — так обычно пишется о таком варианте в книжках — на лице моей квартирной хозяйки уловить было можно.

«Верно, какая-нибудь из бывших», — заключил я.

Хозяйка догадалась, о чем я думаю.

— Да, теперь смотреть на меня, я знаю, не очень приятно. А в прошлом, хотите верьте, хотите нет, — мужчины были от меня без ума. И какие мужчина!..

При этих словах она откинулась на спинку стула, запрокинула назад голову и закрыла глаза.

«Вспоминает, небось, как ее какие-нибудь офицерики прижимали», — подумал я и, воспользовавшись паузой в разговоре, хватил подряд три рюмки водки.

— Небось офицеры всякие пристраивались? — сказал я вслух.

— Пристраивались, как вы выражаетесь, и офицеры. Да не всякие. — Хозяйка мечтательно покачала головой. Был такой один офицер. На всей русской земле единственный. Только я про этот случай никогда, никому ни слова. Раньше одних боялась. Теперь других боюсь. Не дай Бог, узнают.

Мне стало любопытно.

— Ну, мне-то можете рассказать. И вообще, дело прошлое. Да и подумаешь, государственная тайна.

— Государственная — не государственная, а узнают про это органы — даже до Сталина эта история дойдет.

— Вы же сами сказали, что мы, ленинградцы, — люди надежные.

— А, была не была! — махнула рукой старушенция. — Двум смертям не бывать! Тем более, чем-то вы меня к себе расположили. Главное — самой хочется излить душу. Надоело всю жизнь молчать, жить в страхе — как бы не узнали, как бы самой кому-нибудь не проговориться. Ну, еще по рюмке для храбрости.

— Было это еще в мирное время. То есть перед Первой Германской войной, точнее — летом 1913 года, — начала свой рассказ моя собеседница. — Любила я тогда ранним утром подыматься здесь, в Ливадии, в горы. Неописуемая здешняя красота — по утрам еще прекраснее. Никем она не потревожена. Людей — ни души. Кругом только цветы, ароматы трав, да горные уступы вверх и вниз от узкой тропинки.

«Неинтересно, — подумал я. — Скорее бы ближе к делу».

— Вдруг вижу — навстречу мне, по той же узкой тропинке идет мужчина. Он появился неожиданно из-за выступа горы, так что оказался сразу довольно близко. «Боже, я одна, тропинка узкая, кругом ни души, — подумала я. — Куда же мне деваться?»

— Вот-вот, все понятно. Всегда у вас, баб, так: то тропинка виновата, то горы, как нарочно, нагромоздились так, чтобы вам от мужика деваться было некуда. Короче, все понятно.

— Ничего вам не понятно, — продолжала рассказ моя собеседница. — В следующее мгновение я узнала в этом невысоком, но коренастом мужчине с небольшой рыжей бородкой царя Николая II.

«Брешешь! — подумал я. — Но меня не проведешь! Сейчас я тебя прищучу. Я ведь кое-что читал про последнего царя-бедолагу».

— Интересно. Очень даже интересно. А в чем же царь-отец был одет в такой дачной обстановке? В белых штанах, небось, или как горный турист, в шляпе с пером? — спросил я с подвохом. Сам-то я читал где-то, в каком виде Николай в Ливадии по горам

ходил.

— Царь был в форме рядового солдата Преображенского полка, — отвечала рассказчица. — Он шел с полной выкладкой: через плечо скатка шинели, за спиной ранец, на согнутой в локте правой руке приклад винтовки, взятой, как полагается в походном строю, на плечо.

Все было описано старухой точно, как по картинке в той книжке… которую я читал, и где рассказывалось, что царь, когда живал в Ливадии, ежедневно совершал по утрам не то шести-, не то семикилометровую прогулку по горам именно в форме и с полной выкладкой рядового солдата.

«Похоже, не врет», — решил я и стал слушать дальше уже с большим интересом.

— Ну-ну, и что же дальше?

— Ну что дальше. Я поклонилась. Сказала: «Здравствуйте, Ваше Величество». Его Величество изволил остановиться и ответить на приветствие. Расспросил, кто я и как меня зовут. Потом Его Величество сделал мне комплимент насчет моей красоты. Предложил мне прогуляться вместе. Ну, потом. Вы что, ждете, что я буду вам всякие подробности рассказывать? Не стану. Хватит с вас.

— Зачем же про подробности рассказывать. Я такие подробности и сам знаю. Не растерялся, значит, царь-отец?

— Что ж он, по-вашему, не человек?

— Понятно, понятно — он человек, а вы ему подданная. Одну только подробность, пожалуйста, сообщите: винтовку-то царь куда в этот момент девал?

— Не помню, не помню. Что за странный вопрос. Положил куда-то. Не расспрашивайте меня больше. Вы первый человек, которому я об этой встрече рассказала. И — хватит с вас.

— Спасибо, — сказал я. — Ну, а еще приходилось встречаться с царем, хотя бы «случайно» на тех же горных тропинках?

— Нет, что вы, что вы! Я была так потрясена происшедшим. Я несколько дней не выходила из дома. Боялась даже смотреть в сторону гор.

— Чего боялись-то?

— Себя, себя боялась. Боялась, что не удержусь и снова утром пойду на ту дорогу в горах. Он ведь предлагал мне там встречаться. Но вскоре мой искус сам собой кончился: царь с семьей уехал в Петербург. Не скрою, — думала я о следующем лете. Но тем, следующим летом началась Первая мировая война. Да, честно говоря, новое увлечение у меня появилось. Каюсь, но что поделаешь — молодость, красота, ухаживания. Да и человек такой встретился. Никто бы не устоял.

— Это кто же? Может, великий князь какой-нибудь?

— Нет, подымайте выше!

— Если не царь, то кто же еще выше? Господь Бог, что ли?

— Вот именно Бог! Федор Иванович Шаляпин!

— Это где же он вас высмотрел? Тоже на горной тропинке?

— Вовсе нет. А вот «высмотрел» — это вы правильное слово сказали. Я была в Симферополе на его концерте. Потом стояла у выхода из театра вместе с другими восторженными его поклонниками и поклонницами. Шаляпин вышел, долго кланялся собравшимся, раздавал автографы. Я тоже подошла к нему, протянула блокнот. Он на меня взглянул, взял мой блокнот и быстро написал: «Вы само очарование! Умоляю — позвоните!!!» — и написал номер своего телефона в Отеле. Неужели вы думаете, что я ему не позвонила, а потом и не пришла к нему?

— А блокнот с записью Шаляпина у вас сохранился?

— Само собой.

— Так за него же можно большие деньги заколотить, например, у нас в Ленинграде — в Публичке, или у коллекционеров.

— Вы с ума сошли! Это для меня священная реликвия. Я не расстанусь с ней ни за какие деньги! Да и не хватало мне еще объяснять каким-нибудь ученым, библиотекарям, откуда у меня автограф Шаляпина. А потом еще и эмгебешникам докладывать.

— Понятно. А показать мне эту запись Шаляпина вы можете?

— Пожалуйста.

Хозяйка встала и прошла к комоду, на котором у нее стояли какие-то шкатулки и лежали всякие предметы дамского обиходы — пилки, ножницы, гребешки.

Вернувшись к столу, она протянула мне продолговатый альбом в твердом переплете, несомненно довольно давнего происхождения.

— Вот, читайте.

На открытой странице я прочел: «Вы само очарование! Умоляю — позвоните». Затем следовал номер телефона. Под записью стояла размашистая подпись. — Ф. Шаляпин. «Здорово, — подумал я. — Не врет, выходит, старая».

— Давайте выпьем за светлую память Федора, — сказала хозяйка.

— За кого? — спросил я, не сразу сообразив, о ком идет речь.

— Извините. За Федора Ивановича. Да вы не стесняйтесь, водка есть еще.

Я, конечно, выпил. Но не в этом дело. Главное, что с этой минуты я поверил в то, что не обманывает меня хозяйка, в то, что рассказы о всех ее встречах — правда. И, что самое интересное, с

этого момента я как-то иначе ее увидел. Словно бывшая ее красота сильнее наружу вылезла, а всякие там морщины на ее лице вроде бы подразгладились. И любопытство меня, само собой, еще сильнее разобрало.

— Ну, а еще были у вас встречи со знаменитыми людьми? — спросил я, в надежде услышать еще что-то.

— Были, конечно же. Но не всегда такие яркие.

— Ну, например? Все-таки расскажите!

— Например, с Петром Николаевичем, когда он стал главнокомандующим.

— С каким это Петром Николаевичем?

— С генералом Врангелем. Но с ним у меня ничего такого не было.

— С Врангелем? Это когда же?

— Я же сказала — когда он был главнокомандующим Белой армией, в двадцатом году. Я несколько раз была на балах в Симферополе. Он меня там приметил. Кто-то из его офицеров, которого я знала, по его просьбе меня с ним познакомил. Он начал за мной ухаживать довольно настойчиво. Но я ему отказала в более близком знакомстве. Не нравился он мне. Всегда мрачный. Почти никогда не улыбался. Да и судьбе, вероятно, было угодно меня от близких с ним отношений уберечь. Меня ведь, когда красные пришли в Крым, тотчас арестовали, подолгу допрашивали в ЧК именно о Врангеле. Слава богу, выяснилось, что я Врангелю от ворот поворот дала. Об этом весь Симферополь в свое время судачил. Но так как я все же была знакома с Врангелем, обо мне доложили самому красному главкому Фрунзе, и он приказал доставить меня к нему.

— Понятно. Ну и что дальше было? — спросил я.

— Вам все время подробности подавай. Ишь вы какой!

— Да хоть и без подробностей, в общих чертах.

— В общих чертах все просто. Когда меня привели, Фрунзе чекистов сразу отослал, а постовому, стоявшему за дверью, велел никого к нему не пускать. Я сразу поняла, что он человек решительный и целеустремленный, хотя на вид и мягкий и улыбчивый, как-то сразу к себе располагающий.

— «Это правда, что Врангель потерпел от вас поражение раньше, чем от Красной Армии?» — спросил он, улыбаясь. Я промолчала, а он продолжил: «А раз так — сама логика истории не допускает, чтобы вы нанесли подобное поражение победителю Врангеля. Согласитесь, это был бы недружелюбный акт в отношении всей Красной Армии».

Тут он взял меня за руку и отвел в соседнюю комнату. Я, сами понимаете, не решилась сопротивляться.

— Молодец Фрунзе. Молодец! А потом еще встречались с ним? Или вас обратно в ЧК отвели?

— Нет, нет. Фрунзе велел меня отпустить. Я вообще-то ждала, что он меня снова пригласит.

— Выходит, понравился он вам?

— Да, очень. Но больше он меня не приглашал.

— Значит, вы ему не понравились?

— Напротив, очень понравилась. Никаких комплиментов он, правда, мне не говорил, но женщина всегда и сама знает, какое она произвела впечатление.

— Так в чем же дело?

— Не понимаете? В Гражданской войне дело. Не мог Фрунзе себе позволить, чтобы его имя связывали с именем дамы, знавшейся с белым офицерьем, как тогда говорили. И я это понимала. Я вообще постаралась уйти в тень. Так вот и сохранилась. Некоторое время работала санитаркой в госпиталях, потом сестрой-хозяйкой в санатории, уже здесь, в Ливадии.

— Ну, а еще встречались в вашей жизни исторические персоны? — спросил я в надежде услышать еще что-нибудь такое же потрясающее.

— Да как вам сказать. Смотря кого считать историческими личностями? Когда я работала в санатории, нередко встречала нашего Ильича.

— Что? Ленина? — тут я даже привстал.

— Нет, что вы! Ленин, насколько я знаю, в Крыму вообще никогда не был. Я говорю про его брата, Дмитрия Ильича. В первые годы революции он был начальником над всеми крымскими оздоровительными учреждениями. Потому я его и назвала «наш Ильич», в отличие от того, от главного Ильича.

— Ну и как?

— Что «ну и как»? Как обычно. Приметил, пригласил.

— Ну и как?

— Так себе. До Шаляпина ему было далеко. Да и до Михаила Васильевича Фрунзе тоже. Пожалуй, и до Алексея Максимовича он не дотягивал. Ой! Я проговорилась! — вскрикнула хозяйка, быстро прижав ко рту кончик платка.

— До какого Алексея Максимовича? — я почувствовал, что ошалеваю. Какая-то сила опять подняла меня со стула.

— Судя по вашей реакции, — сказала хозяйка, — вы знаете только одного Алексея Максимовича.

— Вы что же, про Максима Горького?

— Да, про него.

— А он-то как сюда попал?

— Что значит — как? Когда вернулся он из эмиграции —

кажется, в тридцать втором это было, — приехал отдыхать в Крым и разыскал меня по просьбе Федора. Федора Ивановича Шаляпина. Федор просил его передать мне привет. И, видать, всячески меня Алексею расхваливал. Тот меня и разыскал.

— И что?

— Что «что»? Разыскал. Пришел, передал привет. Цветов большой букет принес от имени Федора. Потом сидел здесь. За этим столом, под этой самой лампой, на этом самом стуле, где вы сейчас сидите. Курил много.

«А я вот ни разу не закурил, — подумал я. — Но остальное у меня происходит так же, как у Максима Горького. Мог ли я когда-нибудь такое себе представить?!.. А ведь через женщину эту чуть ли не вся история нашего века проехала!»

Охватило меня тут такое дикое чувство. Такие мысли в голове завертелись вихрем. Ну, на тему, что и я могу в эту же самую историю войти, побывать там же, где побывали Шаляпин с Горьким и Фрунзе, и Ленина родной брат, и царь Николай. Короче, не помня себя, рванулся я в сторону моей хозяйки, задел шнур лампы. Лампа грохнулась на пол. Свет погас. В темноте наткнулся я на хозяйку, обхватил ее, стал целовать. Она не сопротивлялась, а наоборот, стала какие-то слова шептать вроде «милый», «дорогой», «иди же скорее ко мне». Короче — свалились мы оба на пол. Все вылетело из головы — и что стара она, и что грудей как бы нет, и зубов негусто. Зато так и вертелось в голове круговертью: «Вот я где. Там, где был Шаляпин, где был Фрунзе, где Горький был, где был царь. Такие люди, такие люди. Родной брат Ленина. Скорее всего, и Врангель тут поприсутствовал. Наврала, наверное, что отшила его…»

К тому же и выпитая водка меня изнутри разъяряла. А то, что она все время пришептывала вперемежку со всякими охами и ахами, я даже и слышать перестал. Потом, когда встали мы с пола, она пошла к двери и зажгла верхний свет — яркую лампочку, свисавшую с потолка. Ох, лучше бы она этого не делала. Ох, лучше бы оставалась та кромешная тьма, в которой мы были. Не лежал бы я сейчас здесь, на этих нарах. А тут вдруг я увидел ее в подлинном ее виде. Передо мной стояла старуха с растрепанными седыми космами. Ее пуховый платок валялся на полу, а из расстегнутой блузы торчала тонкая дряблая шея, над которой с двух сторон провисала кожа щек.

От случившегося во мне перепада чувств я растерялся и как бы окаменел. Ей-богу, не знаю, что было бы дальше, — то ли хватил бы я еще водки, то ли бросился бы прочь оттуда бежать куда попало. Ну, не знаю, что было бы, если бы она вдруг не заговорила.

— Милый, — сказала она, — ты подарил мне столько счастья. Я это предвидела, как только тебя увидала. Я так тебя захотела. Все, что я наговорила насчет царя, Шаляпина и всех других, — это я сочинила, чтобы тебя завлечь. Иначе ведь ты бы не соблазнился на такую старуху. А теперь, когда ты убедился, как тебе со мной хорошо, я и сказала тебе правду. И я буду доставлять тебе такие же счастливые минуты все время, пока ты будешь здесь жить. Обними же меня еще раз, любимый!

Тут она сделала шаг в мою сторону.

— Наврала?! Все наврала? — спросил я, чувствуя, что весь закипаю от ярости, но все еще цепляясь за надежду, что сказка, в которую я поверил, — все-таки правда. Хоть в чем-то.

— А как же записка Шаляпина с его подписью? А?

— Я сама ее написала. А подпись срисовала из его книжки. Там она под его фотографией помещена.

— Заготовила, значит, на такие случаи! Значит, ты не одного меня таким способом на себя затаскивала?! Ах ты, старая сука! Ах ты гадина!!!

С этими словами я, не помня себя от злобы и отвращения, подскочил к старухе, врезал ей по роже, а затем что есть силы толкнул кулаком в грудь. А крышка подпола-то была открыта. Она бухнулась в подпол с истошным воплем. А потом стало тихо. Совсем тихо.

«Может, сознание потеряла? А может, и насмерть убилась», — подумал я.

— Эй ты, вылезай! — крикнул я в темноту подпола. — Больше не трону.

Я прислушался. Ни ответа, ни стона.

«Надо сматывать отсюда, — подумал я. — А когда найдут ее, если померла — подумают, что сама свалилась в погреб, пьяная баба».

Я хотел уже убрать со стола и унести, чтобы выбросить где-нибудь свою рюмку, взять свои еще не распакованные вещички и дать деру. Кто, мол, меня здесь знает и найдет. Но тут я вспомнил, что имел дурость послать утром телеграмму на работу, указав адрес, по которому я поселился.

Я понял, что влип. Снова стал окликать хозяйку. Пытался как-то посветить в погреб. Все бесполезно. Оставалось одно: пойти в милицию и сказать, что мы с хозяйкой немного выпили и что она по неосторожности свалилась в погреб, и что надо ей помочь оттуда выбраться.

Короче, нашел я кое-как отделение милиции. Рассказал дежурному все так, как задумал. Он меня — сразу же в кутузку. «Посиди, — говорит, — пока наша машина освободится». А сам

он, слышу я, звонит своему начальнику домой и докладывает: «Тут к нам подозреваемый в убийстве явился и какую-то чепуховину несет…»

Короче, вскоре начальник приехал, и машина пришла, и скорую помощь вызвали. Повезли меня вместе со всем этим гамузом в тот самый злосчастный дом. Хозяйка — старая эта сука — назло мне оказалась-таки мертвой. Повезли ее труп на экспертизу, а меня — обратно в кутузку.

На другой день переправили меня в тюрьму, в Симферополь, посадили в камеру. Человек двадцать в ней уже парилось. Я рассказал сокамерникам, за что меня взяли и как все было. Ох, и посмеялись они надо мной.

Свозили меня в симферопольскую больницу, на всяческие анализы. Потом пошли допросы. Предъявил мне следователь сразу изнасилование и убийство. Я же объясняю — как она сама меня в себя заманила. «Неужели, — говорю, — вы можете подумать, что я просто так, без особой приманки, на нее бы польстился?» — «По пьянке, — отвечает на это следователь, — все бывает. Факт тот, что сперма в убитой оказалась твоя, а не Николая II».

Споры мои с этим следователем, однако, скоро закончились, потому что перевели меня в другой, в политический корпус тюрьмы, к другому следователю. Стали мне там пришивать новую статью — 58–10 часть 1-ю. За клевету на выдающихся деятелей советского государства — товарищей Фрунзе, Горького, Дмитрия Ульянова, а также на великого русского певца — Федора Ивановича Шаляпина. Короче, пришили мне и убийство, и изнасилование, и антисоветскую агитацию среди заключенных симферопольского следственного изолятора. С этим букетом и направили меня в суд.

Первые две мои статьи — изнасилование и убийство при отягчающих обстоятельствах — уже само по себе на высшую меру, то есть на двадцать пять лет, тянут, А тут еще и политику присобачили. Слава богу, адвокат оказался очень опытным евреем. Так судей запутал, что было похоже — совсем они от него очумели.

Доказывал он суду то ли, что антисоветская агитация смягчает изнасилование, то ли, наоборот, что изнасилование каким-то образом поглощает, как он выражался, антисоветскую агитацию. Не разобрался я в этих их судейских тонкостях. Главное же — он правильно заявлял, что антисоветской агитацией занималась сама хозяйка и что я именно за это ее по неосторожности убил.

Короче — дали мне по совокуплению поглощения и

смягчения семь лет исправительно-трудовых лагерей. Так что отпуск мой крепко подзатянулся.

Правда, мне адвокат советовал подавать на этот приговор кассацию. Но касаться заново этого всего дела я боюсь: вдруг вместо какого-то смягчения, наоборот, что-нибудь еще подсовокупят.

* * *

Мне остается добавить к рассказу Пастухова следующее. Через некоторое время после выхода из карантина мой приятель, адвокат Михаил Николаевич Лупанов, находившийся с нами в лагере, выслушав рассказ Пастухова о его деле, убедил-таки его написать жалобу в Верховный суд и эту жалобу ему написал.

Дело Пастухова было отправлено на доследование и пересуд. В результате было установлено, что антисоветской агитацией он не занимался, что доказательств изнасилования нет и что убийство старухи было явно неумышленным.

Срок его наказания был смягчен до трех лет лагерей, и через три года я проводил бедолагу на волю.

Вступаю в строй работяг

Вот и кончились двадцать два дня карантина. Мне и прибывшим в один день со мной выдают лагерное одеяние: нижнее белье, так называемого второго срока, то есть кем-то уже ношенное и побывавшее в стирке, и верхнюю одежду. Тоже второго срока. Штаны и тужурку из чертовой кожи, выцветший от стирки почти добела ватник, с новой, и потому яркой большой синей заплатой на спине. Выдали и обувь. О ней следует рассказать особо.

Обуть миллионы работяг ГУЛАГа даже в кирзовые солдатские сапоги или ботинки было бы для государства весьма накладно. Поэтому были предприняты поиски другого, дешевого, всего лучше — бросового материала для зековской обувки из какого-нибудь утильсырья. И такой материал был найден. Им оказались отработавшие свой срок автомобильные покрышки. Их внешняя часть — протектор — шла на подошвы, а подкладка из-под протектора — плотная прорезиненная материя — шла на верха. Материал этот был тоже весьма крепок, поэтому дырки для шнурков не требовалось снабжать металлическими кружочками. Впрочем, слово «шнурки» здесь не очень точное. Шнурками служило какое-то вервие — нечто вроде утолщенной веревки.

Материал, из которого делаются автомобильные покрышки, называется корда, и соответственно лагерные ботинки именовались этим словом. В блатной среде можно было услышать, например, такой стих: «Засвечу тебе сейчас кордой в морду между глаз!» А в нашей «пятьдесятвосьмушной» среде по поводу кордовой обуви сочинили анекдот: «Для работы в одном из лагерей пригласили американского инженера. Поселили его, само собой, за зоной в отдельной квартире. Ну и, само собой, бесконвойные зеки, ходившие по поселку, квартиру эту, пока американец был на работе, ограбили. Вынесли довольно много всякого добра и сняли даже небольшую люстру, висевшую под потолком. Пострадавший американец, когда пришел жаловаться лагерному начальству, выразил при этом удивление и восхищение мастерством советских воров. «У нас в Америке, — сказал он, — тоже есть очень искусные и хитроумные воры, но такого, чтобы снять люстру, въехав на стол на грузовике, и не сломать при этом стол, — такого у нас никакие гангстеры не сумеют сделать!»»

Выйдя из карантина, мы, прибывшие вместе из Ленинграда, — адвокат Михаил Николаевич Лупанов, инженер-лесопромышленник Грудинин, бывший первый секретарь

Октябрьского райкома партии Анисим Семенович Шманцарь и я, по совету познакомившихся с нами «старожилов» лагпункта, поселились в 4-м бараке, где, как нам сказали, обычно поселялись интеллигенты — будущие «придурки». Традиция эта сложилась, видимо, потому, что 4-й барак стоял на главной улице лагпункта прямо напротив конторы, где люди с образованием, в том числе профессора, доценты, студенты разных, в основном гуманитарных профессий, работали бухгалтерами, счетоводами, плановиками. Рядом с этим бараком стоял небольшой домик, в котором трудились специалисты другого профиля — инженеры, архитекторы, чертежники, проектировавшие здания и технические службы всего Каргопольлага. Некоторые из них жили в своем служебном помещении — спали на топчанах, поставленных рядом с их чертежными досками, а некоторые жили в четвертом бараке.

Если добавить к сказанному, что в конце барака, после помещения, занятого спальными койками, стоящими, как и во всех бараках лагеря, в виде «вагонки», то есть в два этажа, располагались культурно-воспитательная часть и библиотека, может создаться впечатление, что 4-й барак был каким-то концентратом интеллигенции лагпункта. Но это было не так. Во-первых, многие заключенные интеллигентных профессий жили и в других бараках, вместе со своими бригадами, в которых работали учетчиками или мастерами. В своих госпиталях, а их на нашем «столичном» лагпункте было вместе с поликлиникой четыре, — проживали врачи-зеки. В отдельных кабинках при своих службах жили их завы: завбаней при бане, завклубом при клубе, завхлеборезкой при хлеборезке. Во-вторых, в четвертом бараке нас — «пятьдесятвосьмушников» было меньшинство. Барак, в котором умещалось человек сорок — пятьдесят, был населен в основном уголовниками, ворами всех уровней, в том числе рецидивистами и бандитами. Не случайно поэтому много лет несменяемым дневальным четвертого барака был явный представитель воровского мира всего Каргопольлага — Максим — человек небольшого роста и весьма оригинальный: с русской фамилией, но с большим еврейским носом и с одесским произношением. Через него проходил поток всевозможных сообщений, которыми обменивались блатные Каргопольлага друг с другом и со своими «братками» из других лагерей и лагпунктов Архипелага ГУЛАГ. В воровской мир Максим попал, скорее всего, еще в раннем возрасте. Он был довольно образован, в смысле — начитан, любил говорить поговорками и иносказаниями, для чего использовал всевозможные притчи и присказки. Не прочь был и пофилософствовать на всякие жизненные темы. Относился он к

нам — интеллигентам доброжелательно, но немного свысока, как к представителям низшей касты.

В обязанности Максима входила уборка помещения: ежедневное мытье пола шваброй, вытирание пыли, уборка мусора, в основном окурков с длинного стола, стоявшего в проходе между койками вагонки, и за которым каждый вечер после работы и ужина, сменяя друг друга, резались в домино и в карты обитатели барака, а иногда и гости из других бараков. За чистотой в бараках следил специально назначаемый из числа заключенных лагпункта санинспектор. Дневальный должен был обеспечивать кипяченой питьевой водой бак «титан», словом, обеспечивал, вернее, должен был обеспечивать порядок. Но порядка, тем более тишины, по вечерам, до отбоя, точнее до вечернего обхода бараков надзирателями, а иногда и лагерным начальством, само собой, быть не могло и не было. Треск доминошных костяшек, споры, крики, густой мат стояли в прокуренном воздухе. В одном конце, случалось, кто-то бренчал на гитаре, в другом шла игра в шахматы. После отбоя и обхода шум нередко поднимался снова, поскольку повторный обход случался не часто. Надзирателям тоже хотелось отдохнуть в помещении вахты — поиграть в домино, а то и прикорнуть.

Однажды, после очередного обхода, в бараке воцарился особенный шум и гвалт на почве какого-то конфликта между доминошниками. Почти никто не спал. Одеяла, простыни, подушки на многих койках были скомканы. В это время в барак вошел надзиратель, прибывший к нам с другого лагпункта вместе с присвоенным ему там прозвищем — Пи…ной Мозоль. Это был молодой человек, совершенно не подходящий к своей службе. Был он какой-то робкий, мягкий по характеру, обращался он к заключенным всегда каким-то просительным тоном, словом, грозная синяя с красным околышем энкавэдэшная фуражка мало ему подходила. При этом он был, как говорили, приставуч. Постоянно обращался к заключенным со всевозможными проповедями по поводу того, как надо и как не надо себя вести. В наши дни, когда я пишу эти строки, он, надо полагать, пошел бы не в надзиратели, а в попы.

Так вот, зайдя в наш барак в момент разбушевавшегося в нем хаоса, он растерянно развел руками и, когда стало тихо, заговорил:

— Ну, как же так, ребята? Государство вас обеспечивает. У каждого на койке одеяло, тюфяк, по две простыни, подушка с наволочкой. А вы что творите?! Одеялы скомканы, простыни тем более. А вон и на полу подушка валяется. Дрались ею, наверное. Не хорошо. Не благодарно вы себя ведете.

И тут в ответ на эту речь вдруг выступил дядя Паша. Так с почтением именовали его блатные. Дядя Паша — старый ворецидивист — отсидел к тому времени в тюрьмах и лагерях двадцать три года и, соответственно, пользовался в уголовной среде большим авторитетом.

— Эх, гражданин начальник, гражданин начальник! Что же это вы нам подушки, простыни присчитываете. Нехорошо! Моя бы воля, я поставил бы вам лично шестнадцать кроватей. Настелил бы на них крахмальные простыни, положил бы на каждую кровать горку подушек.

Слушая эту речь старого вора, я был крайне удивлен: никак не ожидал от него такого подхалимажа.

— А подушки все, — продолжал дядя Паша, — чтобы пуховые были. — Тут он сделал паузу. — И чтоб тебя лихорадка с кровати на кровать кидала!

Раздался громовой хохот. Надзиратель, махнув рукой, повернулся и ушел. А я, тоже рассмеявшись, ощутил при этом чувство стыда за то, что плохо подумал про дядю Пашу.

Интересных эпизодов, всякого рода происшествий и разговоров было еще немало в нашем четвертом бараке за время моего в нем пребывания в течение более двух лет.

Неожиданная встреча

С момента своего поселения в четвертом бараке, я размещался на верхней полке так называемой вагонки.

Как-то раз утром моего выходного дня, я начал перебираться со своей верхней полки на нижнюю. Занимавший ее до этого дня заключенный был отправлен на этап. Тот факт, что я теперь буду жить внизу был для меня приятным подарком судьбы. И дело, конечно, не только в том, что теперь не придется каждый раз забираться вверх и спускаться вниз по любой надобности. Главное в том, что жители нижних полок были как бы хозяевами каждого данного «купе». Обитатели верхних должны были постоянно одалживаться у них. И когда надо было покушать на приоконном столике или что-нибудь написать. Было совсем неудобно садиться на нижнюю полку с зашедшим к тебе поговорить товарищем. Тем более, если хозяин на ней спал или даже просто лежал. Словом, я слез с верхней полки и переложил на нижнюю свой «сидор», то есть вещмешок. В этот момент в барак из сеней вошел незнакомый человек. Это был явно какой-то вновь поступивший из лагерной пересылки заключенный.

В этот момент в бараке было пусто. Дневальный Максим куда-то отлучился. Вошедший подошел к пустой полке, с которой я только что слез, и закинул на нее свой вещмешок.

На мой тридцатилетний взгляд, это был старый человек, с небритой седой щетиной на лице, одетый в лагерное «обмундирование» второго срока. На локтях его ватника были заплаты синего цвета.

Мы поздоровались. Мне стало жаль пожилого новичка, безусловно, измученного этапами и пересылками.

— Знаете что, — сказал я ему, — я только что слез с этой верхней полки. Я к ней привык, могу на ней и дальше жить. А вам будет трудновато туда забираться. Занимайте нижнее место.

— Спасибо, — ответил он. И переложил свой вещмешок вниз.

— Что ж, будем знакомиться, — сказал я и протянул руку.

По заведенному в лагере обычаю заключенные называли при знакомствах, кроме имени, свою прежнюю доарестную работу или свою прежнюю должность.

Назвав свое имя, я, сознаюсь, не без некоторого самодовольства добавил:

— Кандидат исторических наук.

— Ворожейкин Григорий, — отвечал мой новый знакомый. — Маршал авиации. Начальник штаба и замкомандующего Военно-воздушными силами Красной Армии.

Следует заметить, что «старику» Ворожейкину, как оказалось, было в тот момент пятьдесят пять лет.

С маршалом Ворожейкиным мы прожили вместе всего несколько дней. Его вскоре отправили на этап.

Дело в том, что он прибыл в Каргопольлаг одним этапом со своей женой, также заключенной. Ее перевели из женской зоны пересылки на наш лагпункт за несколько дней до него и уже устроили на работу медсестрой в амбулатории. А по гулаговским порядкам содержать жену и мужа в одном лагере не разрешалось. Начальство, вероятно, из уважения к прежним званиям Ворожейкина, предложило супругам самим решить — кому из них отправляться на этап. Он попросил, чтобы жену оставили на нашем лагпункте, а этапировали его.

Маршала Ворожейкина я больше не встречал. А его жена — очень милая, всегда доброжелательная к пациентам, приходившим в амбулаторию, женщина, оставалась на нашем лагпункте до реабилитации мужа, и соответственно, своей тоже.

Нас, вышедших из карантина через двадцать два дня пребывания там, отправили к нарядчику для назначения на работу. Нарядчик при этом учитывал и потребность в тех или иных специалистах или рабочих руках, учитывал иногда и прежние, «вольные» профессии прибывших на лагпункт заключенных, прикидывая при этом, кто на что может пригодиться. Так, например, рабочих, имевших специальность токаря или слесаря, он направлял в РММ — ремонтно-механические мастерские, шофёров — в автопарк, электриков — в бригаду электриков. Некоторых интеллигентов, способных хорошо считать, посылали на конторскую работу. Прибывший с нами из ленинградской «Шпалерки» инженер-лесопромышленник Грудинин был, естественно, назначен на какую-то лесную специальность. Женька Михайлов — мошенник-рецидивист по бухгалтерским махинациям, был определен счетоводом в какую-то службу. Весьма пожилого, по моим тогдашним представлениям, пятидесятилетнего юриста Лупанова нарядчик почему-то нарядил на работу в конпарк, то есть на конюшню, в бригаду возчиков и грузчиков. Видимо, посчитал его слишком старым для тяжелых работ, а для работ бухгалтерских непригодным. Забегая вперед, скажу, что позднее Лупанов получил какую-то юридическую работу — составление бумаг, требовавших юридического обоснования.

Что касается меня, не имевшего никакой практически полезной специальности, не умеющего к тому же хорошо считать, а тем более писать сносным почерком, то ни на какую «придурочную» работу я вообще не годился. Мое ученое звание

кандидата наук в те годы, кстати сказать, в отличие от сегодняшнего положения, крайне редкое, и на воле в те времена весьма престижное, здесь, в лагере, было совершенно недостаточным основанием для того, чтобы занять должность «придурка».

Это страшное слово — «лесоповал»

Каргопольлаг — лагерь лесоповальный. Его главное дело, главная задача, главная работа — валить лес, пилить стволы на бревна — баланы, распиливать баланы на доски разных стандартных размеров, складывать каждый стандарт в штабеля, доставлять и грузить эти штабеля на специальные железнодорожные платформы. Их повезут на разные предприятия страны. Все остальное, не малое количество разнообразных работ огромной армии — сто тысяч работяг — лишь «подсобка» лесоповала. Объемы поваленного, распиленного и отгруженного леса измерялись сотнями тысяч кубометров в год. «Кубиками» здесь измерялось все: число и размер звездочек на погонах начальников, их зарплата (прогрессивка и премии), заработки и пайки заключенных, зачеты по сокращению срока (отбывающих его не по политическим статьям и не за особо тяжкие преступления). Этим последним сокращение срока «не светит». Ни за доблестный труд, ни за безупречное поведение.

Работа на лесоповале была самой тяжелой и самой страшной. Даже с точки зрения техники безопасности. И, конечно же, из-за самих условий десятичасового рабочего дня при тридцати градусах мороза зимой, или летом в жару, без возможности скинуть насквозь мокрую от пота одежду и маску с головы, из-за туч всевозможных летающих паразитов.

Над заключенными, занятыми на иных работах, перспектива попасть на лесоповал всегда нависала как дамоклов меч. Этим постоянно угрожали нерадивым или провинившимся «придуркам».

За время пребывания в карантине я был хорошо наслышан о том, что такое лесоповал и, конечно, очень боялся, что попаду на «исправительно-трудовые работы» именно туда.

За годы пребывания в Каргопольлаге я узнал о лесоповале намного подробнее и больше, хотя лично меня эта чаша, к счастью, миновала. Однажды у меня появился повод написать о лесоповале стихотворение. Вернее сказать, я не мог удержаться, чтобы его не написать. Несмотря на то, что прекрасно понимал: от прочтения его своим знакомым — тоже не удержусь. И, значит, могу получить за него, если не целиком второй срок — вторую «десятку», то хорошее к нему дополнение, обычное в подобных случаях — три года.

Теперь это стихотворение неоднократно опубликовано, в том числе в сборнике — «Поэзия ГУЛАГа».

А повод к его написанию был такой.

Осенью 1951 года в английской печати развернулась компания за прекращение закупок советского леса, поскольку он добыт каторжным трудом заключенных. Появились сообщения, что при разгрузке доставленных из СССР партий леса, были обнаружены прибитые к бревнам гвоздями отрубленные человеческие ладони.

Об этих сообщениях английской прессы я узнал из статьи в «Правде», которая обрушилась на «провокационную клевету». Вероятно, большинство читателей «Правды» поверили тогда гневной отповеди, которую дала газета «английским империалистам». Но заключенные Каргопольлага хорошо знали, что англичане написали правду, а «Правда» лгала. Вот это стихотворение.

Лесоповал

Лесоповал, лесоповал.
Никто не поверит, кто сам не бывал.
Летом в болоте, зимою в снегу
Пилим под корень, согнувшись в дугу.

Дзинь-дзень, дзинь-дзень
Каждый день, целый день.
Руки болят, костенеет спина,
Черной повязкой в глазах пелена.

Дзинь-дзень, дзинь-дзень,
Дерево — пень, дерево — пень.
И впереди еще тысячи дней,
Тысячи сосен и тысячи пней.

А я не виновен как эта сосна,
Пилят ее, потому что нужна.
Дзинь-дзень, дзинь-дзень —
Был человек — останется пень.

Лес как решетка кругом обступил,
Пробиться не хватит ни сил, и ни пил.
Вдруг страшная мысль взметнулась костром:
Я левую руку рублю топором.

«Что дальше? Что дальше?» Вот чудится мне:

Чья-то ладонь на окрашенном пне.
Бледный товарищ бежит со жгутом.
Что же потом? Что же потом?

Почему на работу идти не велят?
Начальник зачем-то оделся в халат,
Что-то завязано, что-то болит,
Кто-то о ком-то сказал «инвалид».

Друзья мою руку прибили к бревну.
Бревно продадут в другую страну.
Славное дерево — первый сорт!
Поезд примчал его в северный порт.

Чужой капитан покачал головой,
Табачной окутался синевой,
Плечами пожал, процедил — «Yes!
Мой народ не берет окровавленный лес».

На мостик ушел он зол и угрюм.
Пустым в лесовозе остался трюм.
Отцы наши, братья, а что же вы?
Ужель не поднимите головы?

Знаем, что нет. Всех вас страх оковал.
Чуть шевельнетесь — на лесоповал,
В пекла каналов, в склепа рудников, —
Всех заметут не щадя стариков,
Женщин и девушек не щадя,
Всех заломают во славу вождя!

Тяжко быть пленным в своей стране,
В лесном океане на самом дне.
Летом в болоте, зимою в снегу, —
Пилим под корень, согнувшись в дугу.
Лесоповал, лесоповал,
Никто не поверит, кто сам не бывал.

Октябрь 1951 г.

На другое утро, после встречи с нарядчиком, в семь часов, я стоял в большой толпе работяг перед крыльцом вахты возле лагерных ворот, на разводе. Стоявший на крыльце нарядчик громко выкрикивал номер бригады, а затем называл имена,

входивших в нее работяг.

Прозвучал номер нашей бригады. Вот названа и моя фамилия. Я, как было положено, прокричал в ответ: «Здесь! Статья пятьдесят восемь-десять, часть вторая, начало срока — 6 декабря 1949 года, конец срока — 6 декабря 1959 года».

— Пошел! — крикнул нарядчик. И я, поднявшись на крыльцо, прошел через вахту и, спустившись с ее внешнего крыльца, оказался в толпе зеков лесозаводских бригад, стоявших в окружении конвоиров с автоматами и проводников с собаками. Овчарки дружно, словно приветствуя, облаивали каждого спустившегося со ступенек крыльца и примкнувшего к толпе. Раздалась команда: «В колонну по трое становись!» Мне тут вспомнилось, что в шеренгах по трое ходили в походы колонны древних новгородцев во времена Александра Невского, да и в еще более ранние времена. Отсюда и пошло слово «строй».

Шеренги нашей колонны были значительно шире. В них шло человек по восемь, по десять. Разумеется, прозвучало знаменитое: «Шаг вправо, шаг влево…», — и колонна двинулась по улице, ведшей прямо к лесозаводу, расположенному на окраине поселка.

Всю свою «вольную» одежду — синюю фетровую шляпу, демисезонное пальто, перешитое из моей фронтовой шинели, перекрашенной в черный цвет, костюм, ботинки я сдал в лагерную каптёрку, и теперь впервые шагал в лагерном одеянии: черная фуражка с матерчатым козырьком, серый ватник, серые штаны из чертовой кожи, и кордовые «ботинки», «зашнурованные» белыми тесемками.

Шли мы не быстро, спокойно. Ни собаки, ни конвоиры не лаяли. В строю можно было разговаривать и даже курить.

Вот и лесозавод — большая территория, также как и лагерь окруженная высоким забором, увенчанным колючей проволокой и вышками с часовыми.

Когда колонна подошла к воротам, они широко распахнулись, и колонна втянулась на территорию завода. Конвой с собаками остались за воротами, и бригадиры повели нас в цеха. Я оказался в бригаде, работавшей в лесоцехе, являвшемся сердцем всего заводского, а можно сказать, и всего лесного производства Каргопольлага. Перед строем нашей бригады появился начальник лесоцеха Антуфьев. Этот не молодой уже человек имел славу строгого, но справедливого начальника. Профессиональный лесопромышленник, он и сам отсидел в Каргопольлаге лет десять, а теперь, как и многие отбывшие свой срок заключенные, остался жить и работать в Ерцеве в качестве вольнонаемного. Людей этой категории в лагерях было немало. Заключенные называли их, независимо от возраста и должности,

вольняшками. Оглядев нас опытным взглядом, Антуфьев распределил всех по рабочим местам. Меня он направил на сортплощадку. Для меня лично, особенно поначалу, эта работа оказалась и очень тяжелой и даже, можно сказать, пыточной.

К лесоцеху из всех лесоповальных лагпунктов Каргопольлага железнодорожные платформы свозили и сбрасывали в большой бассейн напиленные на лесоповальных делянках и обработанные там, то есть очищенные от сучьев и сучков, бревна — «баланы», а также и более тонкие стволы. Крючники подталкивали длинными баграми плавающие бревна на специальный «эскалатор» — конвейер из цепей, под наклоном уходивший в воду и поднимавший бревна в лесоцех. Там бревна разворачивали, и другой цепной конвейер подводил каждое из них торцом к пилораме. В огромных четырех пилорамах — метра в три высотой и метра в два шириной — неутомимо ходят вверх-вниз, вверх-вниз мощные пилы, поставленные одна от другой на расстояния, соответствующие заданной толщине сортов выходящих из пилорам досок. Работа пилорам создает непрерывный, с непривычки трудно переносимый шум. Проработать в этом шуме всю смену — десять часов с тремя перерывами — два по пятнадцать минут и один — получасовой, при этом, на постоянном сквозняке (лесоцех, сооруженный из досок, не имел ни передней, ни задней стены), — разумеется, очень тяжело. Особенно на зимнем северном ветру. И тем не менее, мы — работяги на сортплощадке — завидовали пилорамщикам. Они работали рычагами и кнопками. А мы…

Самым тяжелым трудом в лесоповальных лагерях считается сам лесоповал. Не даром именно туда направляли и в виде наказания особо провинившихся «придурков», — заключенных, работавших на каких-нибудь нетяжелых, «блатных» работах. Бывало, однако, что работяги, трудившиеся на сортплощадке, просились — перевести их в лесоповальную бригаду.

Да, работать здесь было несладко.

Сортплощадка представляла из себя длинную и широкую платформу на открытом воздухе. Один конец ее подходил вплотную к лесоцеху. Все, что выходило из пилорам, — доски разной толщины и горбыли (круглые, не очищенные от коры «бока» бывших бревен) — непрерывным потоком сваливалось на тяжелые цепи конвейера, двигавшиеся посреди платформы. С двух сторон конвейера стояли восемь работяг. По четыре с каждой стороны. На эти восемь душ и шестнадцать рук сваливалась вся многотонная продукция лесоцеха. Каждый должен был вытаскивать из сплошного потока доски того номера, то есть того сорта, который был предназначен ему: «пятидесятку»,

«шахтовку», горбыли.

Вытащить свою доску было нелегко. Зачастую, она была прижата досками, лежавшими на ней сверху. Но главная трудность была еще не в этом. За каждым из нас находилась горизонтальная труба, свободно вращавшаяся на железной оси.

Выдернутую из потока доску надо было прокатить по этому чуду техники так, чтобы она легла внизу на землю строго напротив твоего места. И не просто легла как попало на ранее выброшенные доски, но аккуратным прямоугольником, с тем, чтобы подошедшая машина — лесовоз — могла, на него наехав, сжать его своей рамой и увезти на погрузку.

Всю эту операцию надо было проделать быстро, ведь конвейер, не останавливаясь, продолжал приносить все новые и новые доски «твоего» размера.

Выше я назвал эту работу, тяжелую для всех, пыточной для меня. Дело в том, что, как уже рассказано выше, в тюремной камере я схватил миозит — воспаление спинной мышцы. Болезнь к тому времени, о котором идет речь, не прошла. Усилие при вытягивании доски, усилие при повороте в сторону железной «вертелки» и выбрасывания доски позади себя на землю, причиняло мне действительно непереносимую боль. Положение мое осложнялось еще и целым рядом привходящих обстоятельств. Главное — нескончаемый, десятичасовой рабочий день. К тому же меня ежеминутно поджидала опасность — пропустить, не успеть вытащить «свою» доску. Это означало лишнюю нагрузку для того, кто стоял следующим после меня. Не трудно себе представить его реакцию на такой «подарок» с моей стороны. Тем более когда я по неопытности или из-за боли в спине повторял свою неловкость. Доску, скинутую на землю не мною, а моим соседом по конвейеру, кто-то на земле должен был волочить к моему месту и там водружать на мою «горку». От заслуженной расправы меня спасало, пожалуй, то, что со мной на сортплощадке работали молодые ребята, в основном начинающие уголовники. Было им лет по восемнадцать — двадцать. Окрестили они меня Стариком и поэтому прощали. Было тогда «Старику» тридцать лет.

Четыре месяца, что я проработал на сортплощадке, были самыми тяжелыми для меня физически из всех четырех лагерных лет. Боль не только в спине, но и во всех суставах, словом, во всем теле, не отпускала меня и по ночам. Я ощущал ее сквозь сон. Правда, постепенно, хотя и медленно, я научался нормально работать на сортплощадке, но все равно эта работа оставалась для меня очень тяжелой.

Избавление от нее пришло нежданно-негаданно, со стороны и вовсе совершенно неожиданной.

Небываемое бывает

Был декабрь. Снег. Мороз. Темнота. Вернувшись с лесозавода на ОЛП, как обычно разбитый и усталый, я, наскоро поужинав с бригадой в столовой, поспешил в свой 4-й барак, залез на свою верхнюю койку и провалился в сон. Было это, как обычно, после семи вечера. Так бы я и проспал до подъема, до шести утра.

Неожиданно, как оказалось, в одиннадцать вечера, для меня это была глубокая ночь, меня растолкал старший надзиратель Корнейко. Я был и удивлен и напуган.

«Что случилось? И почему меня будит не дневальный, не дежурный надзиратель, а Корнейко?.. Наверное, на этап. Решили избавиться от плохого работника», — пронеслось в голове.

— А ну, быстро слезай, одевайся, — сказал Корнейко. — Быстрей, быстрей пошевеливайся.

— С вещами? — спросил я, вытаскивая из-под подушки свой «сидор» — вещмешок.

— Не трэба его, — сказал Корнейко. — Телогрейку и ушанку надевай — на улицу пойдешь.

Я быстро оделся. Кое-как, потому что руки у меня дрожали, завязал тесемки на своих «кордах», и пошел за Корнейко к выходу из барака. В бараке, освещенном, как всегда, негасимой лампочкой над столом, все спали. Не проснулся даже дневальный Максим.

Корнейко получил у дежурившего на вахте надзирателя свой наган, провертел его барабан, убеждаясь, что все патроны на месте, и не стал убирать его в кобуру.

— Выходи! — приказал он, взмахнув наганом в сторону двери, ведущей за зону.

Я вышел. За зоной не было ни конвоиров, ни собак. Мы спустились с крыльца вахты.

— Вперед, не оглядываясь! — приказал Корнейко, снова взмахнув наганом.

Мы пересекли заснеженную площадь, окруженную темными хатами, и вышли на улицу, по которой меня и других вновь прибывших тогда в Каргопольлаг провели на наш лагпункт. На улице не было ни души. Почти во всех домах и здесь было темно.

Но вот, впереди слева, показался большой двухэтажный дом Управления лагеря. Яркий свет горел едва ли не во всех его окнах. Издалека этот дом был похож на освещенный пассажирский пароход посреди темного океана.

Корнейко привел меня именно в Управление.

За дверью, перед дежурными, проверяющими пропуска у

входящих, нас уже поджидал капитан в синей фуражке. Спросив мою фамилию, капитан отпустил Корнейко.

«Выходит, меня не поведут обратно на лагпункт», — подумал я.

— Подымайтесь на второй этаж, — приказал капитан. — Потом налево.

Я прошел по коридору.

— Сюда, пожалуйста, — капитан остановил меня перед одной из дверей.

Я повернулся к двери и, прочитав прикрепленную на ней табличку, буквально обмер. На табличке значилось: «НАЧАЛЬНИК КАРГОПОЛЬЛАГА МВД СССР ПОЛКОВНИК КОРОБИЦЫН».

Здесь, чтобы читателю стало понятно мое потрясение, необходимо сделать небольшое отступление.

Фамилия Коробицын была мне, как и всем мальчишкам-школьникам, известна с детских лет. О герое-пограничнике Коробицыне, в одиночку задержавшем и уничтожившем на границе с Финляндией группу опасных диверсантов и павшем в неравном бою, нам рассказывали на пионерских сборах. Его бой с нарушителями границы был изображен на плакатных картинках. Его имя было присвоено погранзаставам.

Имя полковника Коробицына постоянно звучало на просторах Каргопольлага.

Как начальник лагеря, в распоряжении которого находились более ста тысяч заключенных, в том числе специалистов самых разных специальностей, свои железнодорожные ветки и службы, и как начальник лагеря, расположенного на территории двух таких крупных областей, как Архангельская и Вологодская, Коробицын обладал большей властью, чем первые секретари обкомов партии этих областей. Он мог помочь им рабочей силой, например, для уборки урожая, построить где надо мосты, обеспечить медицинскими, инженерными и другими консультантами столичного уровня. О безграничности власти Коробицина в самом Каргопольлаге не приходится и говорить. Ходили слухи, что своим продвижением на высокие посты в системе МВД Коробицын обязан родственным связям со знаменитым пограничником и является чуть ли не его родным братом.

Итак, я стою перед дверью в кабинет всесильного начальника. «Зачем? Почему? За что?» — вертится в моей голове.

— Входи. Вас ждут, — путается в местоимениях капитан, видимо, с непривычки говорить с заключенными на «вы».

Мы входим в приемную. Капитан остается в ней, а я по его знаку открываю массивную дверь и вхожу в кабинет.

Передо мной за массивным письменным столом сидел

человек в полковничьем мундире, лет сорока с лишним. Голова его была обрита наголо. Я остановился возле двери. Коробицын продолжал некоторое время перебирать на столе бумаги. Затем он поднял голову и внимательно оглядел меня.

— Проходи. Садись, — сказал Коробицин.

— Спасибо. Здравствуйте. — Я сел возле столика, стоявшего перед письменным столом. Коробицын приподнял лежавший на столе какой-то сброшюрованный печатный текст, похожий на оттиск из научного сборника.

— Знаешь, что это такое?

— Нет.

— И не догадываешься?

— Нет.

— Ну, посмотри. — Коробицын протянул мне довольно пухлый оттиск. Я взял его в руки, и в очередной раз обомлел от удивления. На этот раз радостного. У меня в руках был оттиск из «Исторического архива» Академии Наук СССР, опубликовавшего обнаруженный мною в Отделе рукописей Публичной библиотеки ранее неизвестный список опричников Ивана Грозного.

Вихрь новых вопросов завертелся у меня в голове: «Как могли опубликовать в академическом издании, в Москве, присланную мною туда два года назад работу? Кто мог взять на себя смелость напечатать труд репрессированного по 58-й статье «врага народа»? Как оттиск из названного издания попал в руки лагерного начальства, самого местного бога — Коробицына?»

Ответы на эти вопросы я потом получил, а пока терялся в догадках. При этом сам тот факт, что исключительно ценный для науки и вообще для истории российской государственности ранее не известный исторический источник опубликован и что, несмотря ни на что, оттиск его издания находится у меня в руках, сам этот факт произвел во мне мгновенную перемену настроения, и даже самоощущения. Из униженного заключенного работяги я вдруг словно перевернувшись внутри себя, стал прежним человеком, ученым-историком и прочая и прочая. Смешно сказать, я вдруг, ощутил себя кем-то большим, чем Коробицын: «Шутка ли, я — автор такого труда, а он кто такой? Что он знает?? Сатрап, невежда, мелкий современный опричник!..»

— Это ты написал? — спросил Коробицын, беря обратно оттиск.

— Да.

— Я прочитал твое предисловие к этому документу. Ты, оказывается, умный человек.

— Полагаю, гражданин начальник, вы давно знаете, что не дураков охранять сюда поставлены.

— Да, знаю. На какой работе работаешь?

— На сортплощадке в лесоцехе.

— Тяжело?

— Привыкаю постепенно.

Коробицын снял трубку местного телефона.

— Соедините меня с Кошелевым по его квартирному, — приказал он на коммутатор.

— Кошелев?.. У тебя на лагпункте есть такой заключенный, — Коробицын назвал мою фамилию. — С завтрашнего дня предоставь ему такую работу, чтобы он мог заниматься научной деятельностью. Все. Отдыхай. — Коробицын повесил трубку.

— Ну, все, иди, — сказал он мне.

Я встал и, засунув под мышку шапку, спросил:

— А оттиск моей работы нельзя взять?

— Получишь на лагпункте у почтальона в установленном порядке.

В приемной меня ждал приведший меня сюда капитан. Затем незнакомый старшина повел меня «домой» на наш лагпункт.

Улегшись на койку, я, само собой, не смог заснуть. Что только не налезло в голову за часы, прошедшие до подъема. «На какую же работу пошлет меня теперь Кошелев?» Я живо представил себе, как он вскочил, разбуженный — для него тоже посреди ночи — звонком Коробицына, как выслушивал, стоя возле своей постели в кальсонах и дрожа спросонья, приказ своего всемогущего шефа.

После подъема, я как обычно встал, отправился с бригадой в столовую на завтрак, и вышел на развод. Все как обычно. Стою в толпе перед вахтой. Нарядчик начал выкликать имена нашей бригады. Каждый названный поднимается на вахту и выходит за зону, где стоит конвой. Меня не выкликнули. Развод закончился, и перед вахтой я остался стоять один. Все было ясно. Кошелев успел распорядиться меня на лесозавод не выпускать. Я вернулся в барак и снова улегся на койку.

Где-то около девяти часов к моей койке подошел весьма удивленный дневальный Максим. О том, что меня ночью куда-то уводили, ни он, ни кто-либо другой в бараке не знал.

— Ты чего не на работе? Закосил, что-ли, или заболел?

— Не выпустили меня на работу, — объяснил я.

— Ну, иди в контору. Тебя Кошелев вызывает.

Иду в контору. В небольшой комнате — приемной, как всегда, сидит за своим столиком у окна секретарь Кошелева заключенный Суетов. По слухам из бывших милицейских начальников. Увидев меня, он молча мотнул головой в сторону

двери.

Я вошел в кабинет Кошелева. Там, как всегда по утрам, планерка, сидят начальники всех подразделений служб. Я остаюсь стоять возле двери, докладываю:

— Гражданин начальник, заключенный (далее — фамилия, статья, начало срока, конец срока) прибыл по вашему приказанию.

Предупрежденные, видимо, Кошелевым, все начальники смотрят на меня, как на какую-то диковину.

— А ты, оказывается, большая птица, — говорит Кошелев, внимательно меня оглядывая.

— Ну, какая же я птица, гражданин начальник? Никакая я не птица.

— Брось. Не прикидывайся. Если бы ты был никакой птицей, мне бы из-за тебя сам Коробицын не стал звонить. Тем более посередь ночи.

Из слов Кошелева я понял, что он еще не знает о моем вызове к Коробицину и о том, что я присутствовал при его телефонном звонке.

— Так вот, — продолжал Кошелев. — Коробицын приказал поставить тебя на такую работу, чтобы ты мог продолжать свою научную деятельность. А ты мне тут еще пытаешься доказывать, что ты никакая не птица. Я всю ночь ломал голову, какую же тебе дать научную работу. Ничего не придумал. Вот и начальники служб ничего подсказать не сумели. Так что давай сам предлагай — как тебя тут к науке пристроить. Приказ надо выполнять!

Я молчал.

— Ну, вот что, — сказал Кошелев, — назначаю тебя пожарным в зоне. Подчинятся будешь начальнику пожарной команды, что находится в поселке, товарищу Нехлебаеву. Он и его сотрудники будут сюда приходить — тебя инструктировать и проверять. А свою научную работу будешь сам делать и сам проверять. Нам этим заниматься — прямо скажу — некогда. Да и ни к чему. Нам кубометры надо давать стране!.. Все понял?

— Понял, гражданин начальник.

— Ну, тогда иди. Дождись Нехлебаева и приступай. И чтобы с пожарами у нас полный порядок был!

Так началась моя двухлетняя пожарная служба. Была она по-своему нелегкой. Надо было в очередь с моим сменщиком — таким же, по сути дела, «научным работником», как и я, дежурить то днем, то по ночам, заливать водой бочки на крышах бараков и всех прочих зданиях на лагпункте, обходить все бараки, лазареты и все другие помещения, расположенные в зоне, проверять печи, дымоходы, следить, чтобы на печах не сушили портянки, чтобы не

разводили где не положено огонь, следить за наполнением пожарных водоемов. Словом, работы хватало и не всегда она была простой и легкой. Но!! Разве можно было сравнить ее с работой на сортплощадке или на лесоповале. И главное, самое главное — она оставляла некоторое время для того, чтобы заниматься другими делами. Одно время, поскольку я не надеялся, да и не очень хотел навсегда, то есть на весь свой десятилетний срок, оставаться пожарным, я, под руководством сидевшего на нашем лагпункте заключенного — военного врача капитана Андреева — стал изучать медицину. Хотел подготовиться к работе медбратом в лазарете. Не без удивления перелистываю я сегодня сохранившуюся у меня с той поры тетрадь с подробными описаниями болезней и различных травм, с описаниями методов их лечения, с рисунками — как накладывать шины на переломы, как бинтовать различные части тела, с изображениями человеческого скелета и расположения различных органов.

Стать медбратом и, следовательно, получить какую-то медицинскую практику мне не довелось, усвоенные мною тогда поверхностные сведения из медицинской профессии из моей головы, слава богу, выветрились, избавив меня от искушения применять их для лечения своих знакомых или родственников.

Но главное, чем я занимался в выпадавшее свободное время, была различного рода литературная работа. Писал стихи. Многие из них теперь опубликованы. Некоторые — неоднократно. Кроме своих стихов, писал, бывало, лирические стихи «по заказу», вернее сказать, по просьбам своих сосидельцев, посылавших их от своего имени знакомым женщинам — кому на волю, кому для передачи на женский лагпункт. Всё это предмет особого рассказа. Здесь же важно сказать другое: единственное, чем я не мог заниматься, — так это научной работой, на которую я был назначен Коробициным.

Вскоре после моей с ним встречи, лагерный почтальон вручил мне вскрытую бандероль с моей публикацией Списка опричников, присланную моей женой Ариадной Семеновной, и вложенное туда ее письмо. Прочитав его, я получил ответы на все вопросы, приводившие меня в недоумение во время встречи с Коробициным.

Факт напечатания исследования и публикации «врага народа», находящегося в заключении, под его подлинным именем — случай, как я уже замечал, за всю историю советской печати уникальный, вызывающий в памяти категорическое утверждение героя рассказа Антона Павловича Чехова «Письмо ученому соседу»: «Этого не может быть, потому, что этого не может быть никогда!!!» Никто не решался, не мог себе позволить осуществить

такую публикацию. За такой поступок можно было, по меньшей мере, лишиться должности, званий, для члена партии это привело бы к исключению из ее рядов, а по большей мере, можно было запросто и самому оказаться в тюрьме за протаскивание в печать выступлений врага. В данном конкретном случае дело могло обернуться самым суровым образом. Речь ведь шла о работе, посвященной опричнине Ивана Грозного, которую написал человек, обвиненный в клевете на товарища Сталина, именно с помощью материалов эпохи Грозного. Да и сам «Великий Государь», как именовали тогда Ивана Васильевича, был «оклеветан» этим «псевдоученым», утверждавшим в своих прежних работах, что царь Иван искажал «якобы» историю своего царствования. Но вот, случилось. Человек, решившийся на такой поступок, нашелся. Это был известный московский ученый-историк, автор многих научных трудов по древнерусской истории, составитель исключительно ценного для науки труда — «Словаря русской, украинской, белорусской литературы до XVIII века», изданного под редакцией Д. С. Лихачева, выдающийся организатор изданий академических трудов по истории, ответственный секретарь важнейшего из них — «Исторических записок Академии наук», Исаак Уриелевич Будовниц. Именно он опубликовал в двух томах «Исторических записок» мои работы о приписках Ивана Грозного к летописям своего времени, ставшие основой моей кандидатской диссертации, защищенной мною в 1947 году, и вызвавшие столь большой резонанс, что стали даже предметом глубокого «научного» интереса госбезопасности.

Примерно за год до своего ареста я послал в Москву в Институт истории свою новую работу, вышеназванный «Список опричников», и вскоре получил письмо от Будовница. «С такой находкой Вас следует горячо поздравить, — писал он. — Это «чистое золото». Я приложу все усилия, чтобы продвинуть Вашу рукопись в печать».

Жена, Ариадна Семеновна, зная, что Исаак Уриелевич хлопочет о напечатании моей работы, сочла своим долгом уберечь его от неприятностей, предупредив о моем аресте по 58-й статье. И, тем не менее, Будовниц выполнил обещание, данное мне еще тогда, когда он не мог предвидеть случившееся со мной. Он скрыл от академического издательства полученную им информацию о моем аресте, благодаря чему моя работа увидела свет. Не могу утверждать с уверенностью — сам Будовниц при наших последующих встречах мне об этом не рассказывал, — но по некоторым признакам имею основания предполагать, что он согласовал свое умолчание о моем аресте в момент издания моей работы с академиком Борисом Дмитриевичем Грековым,

тогдашним официально признанным главой академической исторической науки в СССР.

После выхода в свет IV-го тома «Исторического архива» АН СССР с моей работой некоторые историки, зная, что я «сижу», сочли полезным для себя накинуться на труд «врага народа» и изо всех сил доказывать ненаучность как этого, так и других моих трудов. После моего освобождения и полной реабилитации я, естественно, постарался и, мне кажется, сумел поставить на место этих бдительных защитников «истины».

Пользуюсь случаем рассказать о том, что заключенным в лагерях на определенных условиях предлагали печататься в центральной прессе. В частности, мне было однажды сделано предложение на этот счет.

Летом 1952 года в наш лесоповальный лагерь прибыл из Москвы корреспондент центральной газеты «Лесная промышленность».

Придя на наш «столичный» в Каргопольлаге 2-й лагпункт, он обратился к замначальника по режиму, капитану Тюгину, с просьбой: порекомендовать ему такого заключенного, который сможет написать для его газеты заметку или небольшую статью о трудовых подвигах лесозаготовителей. Капитан Тюгин вызывал к себе в кабинет и представлял корреспонденту нескольких заключенных. Ни один из них корреспонденту не подошел. Тем более, что каждый, под разными предлогами, от этого предложения себя «отмазывал». Главный предлог: «не умею писать». Капитан послал и за мной.

Корреспондент стал уговаривать меня выступить в качестве автора их газеты. Посулил перевести за статью гонорар на мой лагерный счет, несмотря на то, что напечатают мой материал под чужим именем и без указания того, что я заключенный. Само собой, в моей статье речь должна идти не о лагере, а о некоем леспромхозе. Я, разумеется, отказался от этого предложения. Корреспондент настаивал. Капитан Тюгин, в свою очередь, стал меня уговаривать. Не удобно, мол, отпускать корреспондента с пустыми руками.

Чтобы отвязаться, я предложил корреспонденту на пробу частушку.

— Но только на лесопромышленную тему, — сказал он.

— Понимаю, — сказал я. И прочел четверостишие:

Я доволен от души:
У моей у милки
Раньше в косах были вши,
А теперь опилки.

— Нет, нет! Вы нам не подойдете! — Замахал руками корреспондент. А капитан Тюгин рассмеялся и махнул рукой.

— Иди, бочки насчет воды проверь на 23-м бараке, — добавил он.

Прежде чем полезть на крышу 23-го барака, я пошел к себе в 4-й и записал в тетрадку свой экспромт. Тетрадка с тогдашней записью у меня сохранилась.

Развод, или «Раньше был у нас режим…»

Слово «развод» в лагерной жизни означает ежедневную утреннюю разнарядку бригад по работам за зоной — на лесоповал, на лесозавод, на продбазу, на «сельхоз», то есть на подсобное хозяйство, на промхоз, то есть в портняжные и сапожные мастерские, на конный двор и на другие работы.

Порой во время развода происходили весьма забавные случаи. О некоторых из них стоит рассказать.

Сначала, однако, необходимо обрисовать общую картину этого действа.

Каждое утро возле вахты собиралась огромная серая толпа заключенных. Зимой — все в телогрейках, бушлатах, в ватных штанах, в подшитых валенках третьего, а то и пятого срока носки. Валенки в лагеря поступали после списания их из армейских складов. Зимой на каждом зеке шапка-ушанка, как говорилось — на смеху. Летом большинство одето в штаны и куртки из чертовой кожи, в башмаках из прорезиненного брезента, на подошве, сделанной из старых автомобильных покрышек. Рассказывали, что изобретатель такой подошвы получил за свое рацпредложение Сталинскую премию. Шутка ли, сколько кожи, благодаря такой находке, удалось сэкономить на миллионах зековских башмаков!

За вахтой, в ожидании выпускаемых по одному через вахту лагерного заграждения работяг, стоял полукругом взвод солдат-конвоиров с винтовками наперевес или с автоматами в руках. Здесь же проводники со своими овчарками.

Развод происходил так.

На высоком крыльце вахты, обращенном внутрь зоны, появлялось несколько надзирателей. Поднимался туда и нарядчик. Так именуется заключенный, занимающий самую высокую из лагерных должностей. Нарядчик — «наряжает», назначает на различные работы всех, кто идет вкалывать за зону, а также «придурков» — тех, кто работает в самой зоне: конторских — бухгалтеров, счетоводов, плановиков, инженеров из конструкторского бюро, а также занятых в обслуге — дневальных, поваров, пожарных, хлеборезов, работающих в бане, в парикмахерской, в сушилке и дезкамере, в КВЧ — заведующего клубом, художников, библиотекаря, заведующего кабинетом культпросветработы, врачей и медбратьев лазарета. Разумеется, начальники могли дать нарядчику любое указание — кого, например, перевести с лесоповала в «придурки». Но в основном и это было в руках нарядчика. Можно, соответственно, себе

представить масштаб его власти и его возможности брать всякого рода подношения и взятки.

Услышав свое имя, выкликаемый должен был ответить: «Я Сидоров! Статья — такая-то, срок — такой-то».

В руках у нарядчика, поднявшегося на крыльцо вахты, пофамильные списки бригад, по которым он выкликает каждого, отправляемого за зону, в «объятия» ожидающего конвоя. Именно в это время то и дело происходят всякого рода забавные «случаи». Надо еще сказать, что на разводах в любую погоду, но особенно летом, присутствуют и «зрители». Вокруг выкликаемых работяг, а нередко и на крышах бараков, стоящих рядом с вахтой, располагается «публика» из тех зеков, которые в этот день или в эту смену не выходят на работу. В основном — это блатные. Они то и дело криками и свистом реагируют на происходящее, порой превращая развод в своеобразный спектакль, скрашивающий лагерную жизнь.

Итак, несколько случаев из тех, что мне приходилось наблюдать на разводах.

В течение нескольких лет нас, заключенных, да и надзирателей тоже, забавлял один и тот же, всем давно известный, заранее всеми ожидаемый спектакль.

Держа в руках список одной из бригад, выходящих на лесоповал, нарядчик выкликал очередного зека, правильно произнося его фамилию:

— Анисовец!

Обладатель этой фамилии — полноватый мужчина лет сорока — по неписанным условиям игры не откликался.

— Анисовец! — еще громче кричал нарядчик. — Анисовец!! Где эта сука?! Опоздал, что ли?

Анисовец стоял молча.

— Такого нет! Еще не посадили! Еще гуляет на свободе! — раздавались выкрики.

Нарядчик внимательно вглядывался в список, как бы отыскивая неточность в написании нужной фамилии, и затем изображал, будто он ее нашел и исправился.

— Антисовец! — возглашал он громогласно.

— Я Антисовец! Статья 58–10, часть вторая. Срок десять лет! — бодро рапортовал Анисовец под всеобщий хохот.

Следует объяснить современному читателю, в чем причина столь бурного веселья, которое непременно охватывало «публику» в данный момент. Дело в том, что за антисоветскую агитацию, по статье 58–10, сидело в лагере большинство политических заключенных.

Подавляющее большинство дел по этой статье были

«липовыми». Человек получал десять, а то и более лет «за разговоры», которых, к тому же, нередко вовсе и не вел, а если вел, то, как правило, не так, как о них донесли стукачи, как рассказывали свидетели, и не так, как их «углубили» в контрреволюционном смысле следователи на допросах. В силу массовости посадок по этой статье ее называли народной. Слова «антисоветчик», «антисоветский человек» стали бытовыми в устах следователей, а также партаппаратчиков и пропагандистов всех рангов, вплоть до вождей. И тем не менее, то, что от слова «антисоветский» появилось (будто бы) имя собственное, образовалась фамилия, воспринималось как нечто смешное, высвечивающее всю несерьезность и абсурдность ярлыка «антисоветский» по отношению к человеку. Меня всегда удивляло, что такой или подобный ход мыслей имел место в сознании (или подсознании) весьма далеких от политики блатных, «бытовиков», мелких воришек и хулиганов — тех, кто составлял основную «публику» происходивших на разводах «концертных номеров».

Благодаря постоянным этапам, перемещающим массы заключенных из одних лагерей в другие, сведения о том, что происходит в том или ином лагере или даже на отдельном лагпункте — ОЛПе, быстро разлетались по всему «архипелагу ГУЛАГ». Поэтому я не удивился, когда получил «ксиву» — письмо от одного знакомого, за несколько лет до того отбывшего по этапу из нашего лагеря на Колыму. Этот весьма интеллигентный человек всерьез просил написать ему, действительно ли на нашем лагпункте, после его отъезда на этап, появился человек с фамилией Антисовец. «Неужели уже до этого дошло?!» — вопросительно восклицал он в своем письме.

Сидел на нашем лагпункте и постоянно выходил на развод заключенный, которого звали Фридрих Энгельс.

Имя свое он получил не случайно. Родился он в семье немцев Поволжья. Его отец имел весьма распространенную фамилию — Энгельс (по-нашему — Ангелов). Когда у этого немца-коммуниста в конце двадцатых годов родился сын, он, естественно, назвал его Фридрихом.

В сорок первом году юный Фридрих Энгельс вместе с папой-коммунистом и всеми прочими немцами Поволжья был выслан в Казахстан.

В школе, еще в Поволжье, а потом и в Казахстане, его постоянно дразнили: «Фридрих Энгельс, Фридрих Энгельс, Фридрих Энгельс — борода». Неудивительно, что внимание Фридриха с юных лет, так или иначе, было фиксировано на фигуре его великого тезки. Достигнув возраста пытливого чтения,

тем более что произведения классиков марксизма так и так надо было постоянно изучать и сдавать, Фридрих, быть может, усерднее многих своих сверстников и соучеников стал читать труды Энгельса. Поскольку он был крестьянином-колхозником, естественно, заинтересовался вопросом: не сказал ли его тезка-классик что-нибудь о колхозах. А если сказал, то что именно. Надо думать, колхозные порядки не очень радовали Фридриха Энгельса-младшего.

И вот, на свою беду, Энгельс-колхозник все-таки наткнулся на высказывание Энгельса-классика о колхозах. Высказывание это оказалось необычайно интересным, поскольку классик коммунизма Фридрих Энгельс лет за семьдесят пророчески предугадал, что у каких-нибудь его последователей, если они придут к власти, может появиться искушение загнать крестьянина-единоличника в те или иные «фаланстеры», «коммуны», то есть в коллективные хозяйства — колхозы.

Энгельс решительно предупреждал против подобных шагов. И наш герой с удивлением прочитал примерно следующее: когда мы будем обладать государственной властью, необходимо будет предоставить крестьянину пятьдесят — сто лет колдовать на своем индивидуальном клочке земли для того, чтобы поглотить инерцию многотысячелетнего стремления крестьянина к этому своему клочку.

Эти слова поразили колхозника Энгельса в самое сердце. Выходит, Энгельс был против организации колхозов через десять — пятнадцать лет после победы социалистической революции, тем более против поспешной принудительной коллективизации. Напротив, он советовал еще лет сто сохранять единоличное крестьянское хозяйство.

Надо ли удивляться, что юный Энгельс поделился своим открытием с друзьями и родственниками. Эти слова своего тезки он повторял много-много раз, но все обходилось без последствий. Обходилось — пока он не оказался на службе в армии. Тут его обращений к авторитету классика-тезки терпеть не стали. Фридрих Энгельс был арестован. Обвинительное заключение по его делу, как он мне рассказывал, гласило: обвиняемый Энгельс выражал неверие в победу коммунизма, систематически выступал против коллективизации сельского хозяйства, используя для доказательства своих клеветнических измышлений цитаты из трудов классиков марксизма-ленинизма.

По утрам возле вахты нашего лагпункта, во время развода, в течение нескольких лет разыгрывалась одна и та же сцена.

Нарядчик выкликал:

— Фридрих Энгельс!

Носитель этого имени нарочно медлил с ответом, чтобы дать время выкрикам из толпы зеков.

— Фридрих Энгельс, ты что, гад, оглох?! — повторял нарядчик.

— Он за Марксом побежал! — неслось из толпы.

— Они с Марксом в картишки режутся в сушилке!

— Оба вместе антисоветскую агитацию разводят!

— Не! Я сам видел: они в бараке на верхних нарах свой манифест переписывают!

— Усатого туда вместо призрака вставляют, — выкрикивал кто-то из «подкованных».

— А ну, прекратить базар!! — кричал старший надзиратель. — Я спрашиваю, здесь Фридрих Энгельс или нет?

— Здесь, в Каргопольлаге, где же еще ему быть, в бегах, что ли?!

— Да здесь я! Здесь! — объявлялся наконец наш герой.

— Здесь — так отвечай, как положено, Фриц. — ярился нарядчик.

— Я! Заключенный Фридрих Энгельс, статья 58–10, часть первая. Антисоветская агитация. Начало срока. (тогда-то), конец срока. (тогда-то).

— Выходи!

И Фридрих Энгельс — довольно крупный блондин с бородой лопатой, которую ему, видимо, нарочно разрешили не сбривать, в кургузом ватнике второго срока, поднимался на вахту и выходил на площадь перед лагерем, где под охраной дорожного конвоя с автоматами и яростно лающими овчарками уже стояли — то под дождем, то под снегом, то под восходящим солнцем — ранее вышедшие заключенные. Стояли молча. Тут шуток не шутили. Все знали знаменитое предупреждение: «Вологодский конвой шуток не понимает!»

Особенное и вполне естественное возбуждение охватывало на разводе толпу, когда проходить через вахту выкликали работяг-женщин.

Небольшая, человек на сорок, женская зона была отделена от мужской высоким забором, увенчанным колючей проволокой, но вахта для обеих зон была общая.

Даже зимой, когда женские тела были плотно скрыты под стегаными ватными бушлатами и штанами, а головы почти целиком тонули в шапках-ушанках, опытные глаза изголодавшихся по женской ласке мужчин весьма точно определяли основные для них достопримечательности женских фигур.

Надо ли говорить, что всевозможные, самые непристойные

оценки этих фигур и не менее яркие предложения собственных мужских достоинств — в смысле их длины и толщины, — никакой цензуре не подвергались. Большинство женщин, состоявшее из блатных или весьма близких к ним по своему развитию и культурному уровню «бытовичек» — мелких воровок, убийц своих мужей, хахалей, а то и детей, проворовавшихся продавщиц, — воспринимало адресованные им выкрики с явным одобрением. Порой женские ответы на звучавшие из мужской толпы «комплименты» их задам и грудям — бывали похлеще, чем мужская самореклама. Нетрудно представить себе, как подобная обстановка действовала на находившихся в этой среде «политических», на сидящих по статье 58–10 интеллигентных женщин. Вроде очень милой и скромной жены маршала авиации Ворожейкина, угодившей в наш Каргопольлаг вместе со своим мужем, и только за то, что была женой прославленного военачальника.

Однажды летом — было это в 1952 году — на развод впервые пришел вновь назначенный начальник режима нашего лагпункта — капитан Тюгин.

Об этом перешедшем на лагерную службу ради прокормления своей большой семьи армейском офицере — о человеке, как оказалось, добром и явно сочувствовавшем многим невинно страдавшим в лагере людям — будет особый рассказ. А тогда, то есть до того, как он впервые появился на разводе, о новом начальнике режима прошел слух, будто это очень суровый и жестокий человек, присланный на наш «столичный» 2-й лагпункт для того, чтобы хорошенько закрутить здесь гайки.

Вероятно, из-за этого слуха развод в присутствии нового начальника режима проходил спокойно и чинно.

Было утро еще по-летнему теплого дня. Из женской зоны на крыльцо вахты выскочили вдруг две молодые смазливые девицы в светлых блузках и хорошо обтягивающих юбчонках. Чем-то, скорее всего, плотными ножками в хромовых сапожках, они были похожи на плясуний военных ансамблей.

Девицы тут же отплясали — дробно «сбацали» на досках вахты частушечный ритм — и прокричали:

Раньше был у нас режим —
П…ся и лежим,
А теперь у нас режим —
П…ся и бежим!

Среди начальников на вахте на мгновение произошло замешательство в виде немой сцены. Надзиратели онемели, надо

полагать, при мысли о том, что же о них — надзирателях за порядком — подумает их новый непосредственный начальник — как, де, они такое допускают.

Капитан Тюгин явно оторопел от услышанного. Он сначала даже как-то непроизвольно отшатнулся от плясуний. Как это ни странно, в первый момент промолчала и обычно крикливая толпа заключенных. Видимо, в ожидании реакции нового начальника режима — что ж он скажет в ответ на посвященную явно его назначению частушку. И это ожидание оказалось не напрасным. Разумеется, любой опытный лагерный служака либо вообще не отреагировал бы на привычный лагерный фольклор, либо отозвался бы на выступление девиц злобным и не менее похабным рыком. Капитан Тюгин, впервые вышедший на новую службу, хотя тоже, несомненно, наслушался всевозможных армейских шуток, был, тем не менее, явно ошарашен таким девичьим выступлением. Явно от растерянности он выпалил нечто совершенно нелепое:

— Как это бежим?! За побег второй срок дают. А в свободное от работы — как лежали, так и лежите. Я не запрещаю.

Тут публика взорвалась одобрительными криками:

— Точно, начальник!

— Как лежали — пусть так и лежат! Только почаще!

— Начальник — человек!

— Наряди их в нашу зону лежать!..

Пришедшие в себя надзиратели быстро вытолкали обеих девиц через вахту за зону. Но «вытолкать» за зону пропетую частушку, само собой, не удалось. В разных точках стоявшей перед вахтой толпы раздались хорошо запомнившиеся слова. Кое-кто повторил их, приплясывая. Капитан Тюгин делал вид, что ничего не слышит.

— А ну, тихо! Не мешайте работать!! — рявкнул нарядчик.

И развод продолжился.

Голый индеец на крыше, или Театр одного актера

Васька Калинин — небольшого роста, худенький, остроносенький, юркий паренек лет семнадцати — постоянно выкидывал совершенно непредсказуемые и невероятные номера. Начальству он доставлял порой большие хлопоты, а заключенные получали от спектаклей его «театра одного актера» изрядную долю веселья.

Сидел Васька Калинин то ли за воровство, то ли за хулиганство. Так или иначе, он примыкал к блатным, щеголял воровскими поговорками и прибаутками. Был он весьма изобретателен и хитер.

На нас — политических, которых он, как было принято в воровском мире, именовал фашистами, — он смотрел свысока, в лучшем случае покровительственно.

— Мужики! Амнистию хочете? — кричал он, забегая в какой-нибудь барак. — Пятьдесят восьмая, не дыши!

Это означало, что «пятьдесятвосьмушникам» — в отличие от настоящих преступников — надеяться не приходится.

Интересно, что точно так же, как этот маленький Калинин, думал, надо полагать, и Калинин большой — «всесоюзный староста», председатель Президиума Верховного Совета СССР, за подписью которого и выходили амнистии. Впрочем, вряд ли Калинин большой мог сам что-то решать в этом вопросе. Все тогда знали, что амнистии, которой все нет и нет, вместе с другими заключенными ожидала и его собственная жена, сидевшая в лагере.

Предсказание Васьки Калинина — «Пятьдесят восьмая, не дыши!» — полностью оправдало себя, когда после смерти Сталина и уже без умершего еще раньше Калинина наконец-то была объявлена амнистия. В ней предписывалось освободить уголовников и бытовиков. Политических она практически не коснулась.

Итак, посетим пару спектаклей Васьки Калинина.

Как-то раз, около часу дня, в жаркий летний день (было это в 1952 году) в зоне возникло, говоря словами Ильфа и Петрова, очередное нездоровое оживление.

Околачивавшиеся в зоне работяги второй лесозаводской смены, просто не вышедшие на работу — «отказники», больные, а также симулировавшие какую-нибудь болезнь, так называемые «закосившие» — бежали в сторону вахты, криками передавая все

дальше и дальше — в глубь зоны — сообщение о невероятном происшествии: «Васька Калинин в дерьме утопился. В уборной, что у вахты!»

Все лагерные уборные имели одинаковый, стандартный вид. Это были невысокие, несколько вытянутые в длину домики, сколоченные из досок и горбыля, с покатой крышей, обитой толем. Каждый домик имел по краям передней стенки два входа без дверей. Внутри во всю длину задней стенки тянулся рундук, в досках которого были вырезаны шесть круглых «очков». В данном случае полезно отметить: протяженность рундука составляла не менее шести метров.

Зимой отхожая масса плотно смерзалась, а летом представляла собой жижу.

Уборная, куда на этот раз с криками сбегались люди, находилась между вахтой и первым от нее бараком. Она стояла на «главной улице» нашего лагпункта — торцом к зданию конторы. Из конторы тоже выбежали конторские и бывшие там в это время начальники в синих фуражках. Сюда же из разных концов зоны спешили надзиратели, уже разошедшиеся с вахты перед началом ежедневной полуденной поверки — подсчета заключенных, находившихся в зоне, по головам.

К моему приходу уборная уже оказалась в шевелящемся кольце синих фуражек. Стоял шум и гам, слышался смех. Из всего этого вырисовывалась такая картина.

Раздевшись догола, Васька Калинин пролез в очко и спрыгнул в навозную жижу. Предварительно он послал своего дружка на вахту — объявить, что он, Васька Калинин, утопился в дерьме.

Тотчас и поднялась тревога.

Надзиратели и лагерные начальники несли серьезную ответственность за жизни охраняемых ими заключенных. Всякое ЧП оказывалось «лыком» в их служебной «строке». Одно дело, если заключенного убил другой заключенный. Тогда отвечал убийца, которого судили. Одно дело, опять же, если заключенный умирал от болезни или, еще в недавние времена, предшествующие тем, о которых здесь речь, заключенные массами умирали от голода. В этих случаях составлялся акт о смерти, и дело с концом. Зато самоубийство или даже членовредительство заключенного высшее начальство ставило в вину лагерным начальникам как серьезный недосмотр в охране государственного имущества.

Поэтому, когда прибежавший из лазарета в белом халате доктор Брусенцев объяснил начальнику лагпункта старшему лейтенанту Кошелеву, что Васька Калинин может погибнуть, не только захлебнувшись навозной жижей, но и от отравления

организма ядосодержащей фекальной массой, тот изрядно обеспокоился.

Смертельную опасность, как разъяснил начальнику доктор Брусенцев, несли в себе попытки старшего надзирателя Корнейко подцепить голого Ваську через очко крюком пожарного багра. В этом случае смертельное отравление через открытую рану стало бы неизбежным.

— Немедленно убрать багры и доски. Ловить голыми руками! — закричал надзирателям Кошелев.

Между тем Васька Калинин, ничего не подозревающий о грозящих его организму биологических осложнениях, продолжал с упоением издеваться над надзирателями. Когда один из них, придерживаемый своим товарищем за поясной ремень, опускал голову и руки в очко, чтобы изловить Ваську, тот, ловко перебирая руками по выступам брусьев, окаймлявших ассенизационную яму, оказывался у другого ее края.

— Скорее вытаскивайте этого гада! Он у меня насидится в холодном «трюме»! — кричал Кошелев.

Время шло, но Васька был неуловим.

— Ломайте доски! — скомандовал Кошелев. — Тащите лопаты! Деревянные! На лопату его! И прямо на лопате несите в карцер!

— Сначала надо его отмыть, а потом в лазарете обследовать, — сказал доктор Брусенцев.

В это время раздался дружный стук топоров. Надзиратели разламывали покрышку рундука. Один из них — по кличке Колхозник — зачем-то, видимо, от показного старания, расколошматил топором стенку уборной, выходившую на нашу «главную улицу». Еще несколько мгновений, и Васька — голый, перемазанный по горло в дерьме — сам вылез из ямы и выскочил из двери уборной на улицу. Хватать его никто не решился. Надзиратели отшатывались от него, как от зачумленного. Горохом рассыпалась в разные стороны и собравшаяся толпа.

Васька нарочно медленно пятился от надзирателей, держа в руках палку, которую, наверно, припас заранее для использования в финале своей хорошо продуманной акции.

Вслед за Васькой, вытягивая руки вперед, демонстрируя тем самым начальству намерение схватить обмазанного навозной жижей Ваську, двинулся Колхозник.

Васька, пятясь от него по кругу, то и дело приостанавливался, протягивая Колхознику свою палку. Тот пытался ее ухватить, но Васька вовремя ее отдергивал и отбегал. Так происходило несколько раз. Но вот, когда хватательный рефлекс Колхозника достиг автоматизма, Васька протянул ему свою палку уже другим

ее концом, густо измазанным навозом. Схватив на этот раз палку, Колхозник от неожиданности, под общий хохот наблюдавших эту сцену, остался стоять, держа грязную палку обеими руками. Он явно не мог сообразить — что с ней дальше делать. А голый Васька с победным криком: «Я — неуловимый мститель!» — бросился наутек. Где и как он отмывался — я сказать не могу.

Разъяренный Кошелев приказал надзирателям немедленно, притом своими руками, восстановить порушенное здание уборной. Какие еще нагоняи и наказания дал им начальник лагпункта — тоже осталось неизвестным.

Тем же летом Васька Калинин учудил еще один номер. И снова со стриптизом (этого слова тогда никто не знал — ни у нас в лагерях, ни в Большой зоне — то есть, на воле).

Однажды в жаркий июльский полдень в зоне снова началось явное смятение. На этот раз люди сбегались на другую от вахты сторону нашего городка, отгороженного от остального мира запретной полосой, высоким забором с колючей проволокой и вышками часовых. Там, почти у самого забора, стоял единственный в нашей зоне, и поэтому казавшийся весьма высоким, двухэтажный дом. В отличие от других зданий ОЛПа, стены большинства из которых были обмазаны белой штукатуркой, это здание — 25-й барак — было построено из плотных бревен и покрыто железной крышей. На второй этаж вела деревянная лестница. На ее верхней площадке начинался ряд вбитых в стену железных скоб, служивших ступеньками для подъема на высокий и просторный чердак. Над крышей барака высились три кирпичных трубы.

Надо еще заметить, что невдалеке от забора, возле которого стоял 25-й барак, проходила Северная железная дорога. Пассажирские и товарные поезда шли по ней на Север — на Архангельск, на Инту, на Ухту, на Воркуту, и на юг — на Вологду, на Москву, на Ленинград.

Так вот, на этот раз Васька Калинин проделал следующее. Поднявшись на чердак 25-го барака, он прикрыл тяжелой опускающейся дощатой крышкой выход на чердак и придавил ее какими-то тяжелыми хозяйственными предметами, хранившимися на чердаке. Затем через слуховое окно поднялся на крышу барака и принялся преспокойно, с помощью топора и другого шанцевого инструмента, снятого с пожарного щита, ломать дымовые трубы. Барак в это время был пуст — жившие в нем работяги ушли на работу. Заслышавший шум дневальный вышел на улицу и окликнул снизу трудившегося над трубами Ваську.

— Эй, ты, верхолаз, чего там делаешь?

— Трубы вам перекладывать будут, — ответил Васька. — А меня нарядчик поставил старые трубы разбирать. Вот гад, нашел работенку!

— Ничего, ничего! — успокоительно отвечал дневальный. — Кто-то ведь должен эту работу выполнить. Все легче, чем на лесоповале хребтину гнуть!

— Вот ты бы и полез разбирать свою трубу, а я бы за тебя — придурка — пол в бараке подметал. Небось, твоя работа — тоже не лесоповал!..

— Ладно, ладно — не умничай! Тебя назначили — ты и работай! — С этими словами дневальный вернулся в барак.

Разломав верхушки труб, Васька аккуратно сложил их обломки кучками так, чтобы они не скатывались, возле труб с искрошенными, словно старые зубы, верхушками и около слуховых окон.

После этого он приступил к выполнению своего замысла. Украсив голову собранными возле лагерной кухни петушиными перьями, он разделся, как говорится, «донагла». Затем неизвестно где добытыми красителями он ярко размалевал свое лицо и тело.

Взяв в руку пожарный топорик, Васька почти полностью походил теперь на индейца. От героев романа Фенимора Купера — какого-нибудь Ункаса или Чингачгука — его отличали только малый рост, отсутствие набедренной повязки и, конечно же, далеко не индейский, а вполне российский набор оборотов речи, которыми он сопровождал начатую возле трубы ритуальную пляску. Его воинственные выкрики были адресованы начальству всех степеней — от лагерного до самого «Усатого». Так блатные именовали вождя всех народов — Сталина.

Первым голого «индейца», пляшущего на крыше 25-го барака, заметил часовой с ближайшей охранной вышки. Он дал выстрел в воздух, чтобы подозвать к себе разводящего.

Выстрел часового на вышке не мог означать ничего иного, как попытку побега кого-либо из заключенных или целой их группы. Поэтому безмолвная в рабочее время зона тотчас всполошилась. Из конторы выбежали начальники, с вахты выскочили надзиратели, из бараков, из бытовых служб стали выбегать зеки. Вскоре перед 25-м бараком собралась толпа.

Увидев подбегавших надзирателей, Васька оттолкнул от края крыши деревянную пожарную лестницу. Она со свистом полетела вниз и грохнулась оземь.

Под веселые выкрики собравшихся надзиратели подняли лестницу и приставили ее к крыше. При попытке старшего надзирателя — старшины Корнейко — влезть по ней Васька стал кидать сверху увесистые кирпичные обломки. Один из них угодил

Корнейко по плечу. Старшина с проклятиями отступил. Танец на крыше продолжался.

Размалеванный голый человек, пляшущий на крыше барака, был хорошо виден из окон проходящего поезда. Машинист, вероятно, в знак того, что видит странную картину, дал несколько коротких гудков. Поезд замедлил ход. Некоторые из прилипших к окнам вагонов пассажиров что-то кричали, размахивали косынками и платками.

Васька продолжал то плясать и орать, то метать в надзирателей, сменявших друг друга в попытках влезть по лестнице на крышу, обломки кирпича.

Шло время. Кто-то из надзирателей пытался снизу поднять крышку люка, ведущего на чердак. Кто-то из них приволок еще одну пожарную лестницу от другого барака. Она, однако, оказалась слишком короткой. Но вот раздались звон колокола и вой сирены.

К 25-му бараку подкатила вызванная капитаном Тюгиным из поселка Ерцево пожарная машина. Пожарные быстро раскатали два шланга и погрузили в ближайший пожарный водоем широкие рукава с грузными железными водозаборниками на концах. Два пожарных встали на изготовку, нацелив брандспойты на крышу.

— Давайте команду, товарищ капитан, — обратился к Тюгину прибывший к месту происшествия начальник пожарной команды старший лейтенант Нехлебаев. — Струя будет в шесть атмосфер, как щепку сбросит ентого героя с крыши. А может, и за зону он улетит.

— Стойте! Отставить! — всполошился Тюгин. — Погодите. Попробую словом его уговорить.

— Эй! Калинин! — закричал капитан. — Слезай по-хорошему, не то струей тебя с крыши сдунем!

— А вот этого видел? — Васька выпятил вперед нижнюю часть голого живота.

Такого начальник режима стерпеть уже не мог.

— Давай струю! — сказал он Нехлебаеву. — Только сбавь напор атмосфер до двух.

— При двух атмосферах струя до крыши не достанет, — отвечал тот.

— Ну, тогда дайте две струи посильнее, по сторонам от него.

Нехлебаев дал команду. Насос пожарной машины заработал.

Мощные струи громом загрохотали по железной крыше, с двух сторон от Васьки. Затем они стали постепенно приближаться к нему. Спасаясь от них, Васька затиснулся в трубу. Над ее разломанной верхушкой остались торчать его голова и руки.

Это было его «стратегической» ошибкой. Впрочем, что ему

оставалось делать?!.. Тотчас по пожарной лестнице стали один за другим подниматься надзиратели во главе со старшиной Корнейко.

Дальнейшее уже было, как говорится, делом техники. Сопротивляющегося голого Ваську вытащили из трубы и поволокли к слуховому окну. Толпа внизу следила за этим действом. Три надзирателя вместе с брыкающимся Васькой запросто могли скатиться с крыши. Все, однако, обошлось. Ваську запихали через слуховое окно на чердак. Там его заставили надеть штаны и рубаху, сорвали перья с его головы.

Из дверей барака Васька вышел под конвоем надзирателей в нормальном и, следовательно, уже неинтересном для «зрителей» виде.

— В трюм его! — скомандовал капитан Тюгин. И Ваську поволокли в «трюм» или, если по настоящему названию, — в БУР — барак усиленного режима.

Очередной спектакль Васьки Калинина закончился.

Меня, да и, наверное, не только меня, занимал вопрос: почему постоянные художества Васьки так легко сходят ему с рук? Почему, например, не отправляют его на этап в другой лагерь? Или хотя бы на какую-нибудь отдаленную «командировку» — на лагпункт со строгим режимом, где не «забалуешь», как на нашем «столичном» ОЛПе с более или менее «законопослушным» поведением начальства?

Наш 2-й ОЛП находился почти рядом с Управлением Каргопольлага, что означало частое появление в нашей зоне каких-то комиссий и инспекций, демонстрирующих недрёманное бдение начальников различных управленческих служб.

Выяснилось, что Васька Калинин был сыном какого-то, возможно, высокопоставленного прокурора. Но ведь и высокое положение родителя в сталинские времена мало помогало проштрафившимся потомкам. Если сына или дочь сажали по политической статье — родителя немедленно выгоняли из партии и снимали с высокой должности. Если же потомок сидел за воровство, хулиганство или за еще более серьезное уголовное преступление — папашу обвиняли в том, что не сумел воспитать из своего дитяти настоящего советского человека. В этих случаях с родителями поступали не так сурово. Но всё же.

Оставалось предположить самое естественное: Васька Калинин был ценным для лагерного опера стукачом. А без визы опера на списке назначенных на этап лагерное начальство не имело права отправлять заключенных из данной зоны.

Интересно, что имена своих стукачей оперуполномоченный Особого отдела лагеря, «обслуживавший» данный лагпункт,

начальству лагпункта обычно не выдавал.

Лагерные начальники пользовались простым приемом для того, чтобы выявить осведомителей, доносивших на них. Они вписывали подозреваемого ими в список на этап и смотрели — кого же «опер» из этого списка вычеркнет. Зная такую уловку, уполномоченный вычеркивал из списка не только «своего», но и еще трех-четырех первых попавшихся. Начальству лагеря приходилось гадать — кто же из нескольких вычеркнутых — «тот самый». Скорее всего, Васька Калинин, будучи «добровольным помощником» опера, мог рассчитывать на свою безнаказанность. Разумеется, для того, чтобы устраивать такие спектакли — нужны были еще и определенные способности и склонности. Словом, к «театру» Васьки Калинина вполне подходили слова Гегеля, так определявшего действия театрального героя: ситуация, помноженная на характер. Навряд ли старик Гегель мог хотя бы в приближении представить себе такую ситуацию и такой характер, которые столь ярко и убедительно подтвердили его мысль.

Сверхъеврей и бандеровцы

В конце 1952 года на наш лагпункт прибыл с очередным этапом инженер из Львова — Песчинский, человек для того времени весьма странный. С одной стороны — хорошо образованный интеллигент, но вместе с тем фанатично набожный еврей. Раньше мне таких людей встречать не доводилось. Всегда бывало одно из двух — либо интеллигент, либо религиозный фанатик, ревностный исполнитель всех полагающихся по его вере молитвенных обрядов.

Как и многих других оказавшихся в лагере интеллигентов — либо пожилых, либо молодых, но не шибко физически крепких, седобородого Песчинского назначили учетчиком. В бригаду грузчиков.

Учетчики в каждой трудовой бригаде должны были на специальной фанерной дощечке записывать химическим карандашом бригадную выработку: либо количество спиленных на лесоповальной делянке деревьев, либо количество досок данной сортности, напиленных на лесозаводе, либо килограммы и центнеры огурцов, картофеля и других плодов урожая лагерного сельхоза.

Работа учетчика была весьма ответственной. От его точности зависел не только размер хозрасчетной суммы, заработанной каждым работягой бригады, но и отчетность лагерного начальства, получавшего в зависимости от количества поваленных, напиленных и отгруженных на железнодорожные платформы «кубиков», то есть кубометров леса, свою «прогрессивку», свои премии, а то и правительственные награды.

Оказавшись в одной из бригад грузчиков, Песчинский был поселен в 23-м бараке, где жили грузчики из всех бригад нашего 2-го лагпункта. В этом бараке на двухэтажных нарах размещалось более ста заключенных. Барак этот был одним из самых шумных и беспокойных. В бригадах грузчиков собирался обычно народ буйных нравов.

После возвращения бригад с работы и после ужина в бараке воцарялись шум и гвалт.

Посреди барака едва ли не во всю его длину тянулся стол шириной в четыре доски, вдоль которого на скамьях рассаживался резаться в домино добрый десяток доминошных кучек. Стук костяшек, крик, мат. Столбы табачного дыма. То тут, то там возникают перебранки, переходящие в кулачные стычки.

Учетчик Песчинский отходил в пустой угол позади стола. Он облачался в еврейские молитвенные причиндалы, присланные

ему родственниками из Львова, надевал какую-то полосатую накидку, обкручивал запястья тонкими черными ремешками, надевал круглую черную шапчонку. Становился на колени и начинал бормотать молитву, не обращая внимания на царивший в браке гвалт и грохот.

Нетрудно представить себе, как реагировало поначалу на эту картину население барака. Смех, издевательские выкрики. Да и как могло быть иначе? Потеха, да и только!..

Я, однако, не случайно употребил здесь слово «поначалу». Постепенно ситуация изменялась. Когда Песчинский начинал молиться, в бараке становилось тише. Костяшки клали на стол без громкого стука, говорили вполголоса. А если в это время с улицы в дверь барака вбегал какой-либо шумный гость, его успокаивали: «Тихо, тихо. Наш жид молится!»

Однажды зимой возвратившаяся с лесозавода бригада грузчиков принесла с собой бракованные по размерам доски. Этот брак разрешали уносить на лагпункт для отопления. Бригадиры взяли у лагерного прораба топор и пилу. Вскоре в углу барака был отгорожен досками небольшой отсек. На торце его, обращенном к столу, большими буквами зеленой масляной краской было сделана надпись: «Синагога».

— Это тебе, Песчинский, — сказал бригадир. — Мужик ты хороший, тихий. Люди решили синагогу тебе сколотить. Молись себе здесь, сколько душе угодно.

— Хоть от пуза! — добавил кто-то из собиравших обрезки досок и инструменты.

Так бы оно шло и дальше. Но вдруг начальству понадобился «ответственный» работник на должность начальника «китайской кухни». Слово «начальник» носило шуточный характер, поскольку начальствовать на так называемой «китайской кухне» было абсолютно не над кем.

Читателю, не знакомому с лагерным бытом, надо объяснить, что это было за заведение — «китайская кухня». На лагпунктах ГУЛАГа заключенным разрешалось ставить небольшой деревянный домик, в котором не было ничего, кроме плиты и топчана для «начальника», то есть для дневального. Он должен был топить плиту и держать ее горячей от ужина до отбоя. Существовала эта «китайская кухня» для того, чтобы заключенный, если разживется чем-либо съестным, например, яйцом или куском сала, присланным в посылке, или крупой, лапшой или чем-либо еще из того, что можно купить в лагерном ларьке, — мог что-то для себя сварить или разогреть. В том числе — оставленный для него в столовой обед или ужин, к которому не смог прийти, задержавшись на работе. В обязанности

«начальника китайской кухни» входило также постоянно держать на плите для своих посетителей горячий чайник.

Когда появилось само это название «китайская кухня» — может быть, еще на царской каторге, а может быть, уже в ГУЛАГе, — мне узнать так и не удалось.

Песчинский оказался «начальником китайской кухни» зимой 1952 года. Он исправно выполнял свои обязанности. Из трубы над его домиком в положенные часы поднимался дым. После отбоя, погасив свою плиту, Песчинский ложился на стоявший напротив нее топчан, недолго читал при свете свисавшей с дощатого потолка лампочки и засыпал.

Так и жил бы он спокойно на своей непыльной работе. Но вдруг нежданно-негаданно произошли события, отразившие по своей сути весьма серьезные политические и, можно сказать, геополитические явления, выходящие по своим масштабам и значению далеко за стены крохотной «китайской кухни» Песчинского.

Здесь необходимо сообщить читателю, что в то время, о котором идет речь, на наш 2-й лагпункт перевели из различных других лагпунктов Каргопольлага несколько десятков бандеровцев. Большинство из них имели двадцатипятилетние сроки. Были среди них и совершенно невиновные люди, ставшие жертвой сознательных провокаций некоторых излишне ретивых опергрупп МГБ и НКВД, уничтожавших бандеровские и оуновские[15] отряды, орудовавшие на Западной Украине.

Бывало так. В избу крестьянина западноукраинской деревни заходила небольшая группа вооруженных «лесных братьев» — бандеровцев. Они требовали у хозяина еды для себя и продовольственного запаса для своего отряда. Хозяин — добровольно или из страха — кормил и снабжал незваных гостей. Те благодарили и уходили. Нередко при этом оставляли хозяину на сохранение несколько автоматов, патронных лент, а то и противопехотных или даже противотанковых мин. На другой день эта же группа, но уже в своем подлинном виде — в форме сотрудников НКВД — приходила в ту же избу. Хозяина и всю семью, как правило вместе с детьми, арестовывали за содействие бандеровской банде. Вся семья оказывалась в ГУЛАГе. Взрослые — в зонах, дети — в гулаговских спецприютах.

Но в своем большинстве прибывшие на наш лагпункт бандеровцы были настоящими «лесными братьями», на совести которых были и зверские убийства советских работников, энкавэдэшников и своих же украинских крестьян, посмевших вступить в колхоз или отказавших бандеровцам в помощи. Нередко бандеровцы сжигали целые деревни. С советскими

работниками или с попавшими к ним в руки офицерами Советской армии они обращались с особой, демонстративной жестокостью. Вплоть до такой. К стволу дерева вблизи дороги приколачивали гвоздем отрезанный член убитого врага и делали под ним надпись: «Мясозаготовки».

С прибытием бандеровцев обстановка на нашем лагпункте резко ухудшилась. Им удалось поселиться всем вместе в одном бараке. Они тотчас сплотились в хорошо организованную банду, быстро установившую на лагпункте свой «режим». По лагпункту начал прогуливаться главарь бандеровцев. Он открыто держал два ножа за поясом и два ножа в голенищах сапог. Ходил он всегда в сопровождении четырех телохранителей, вооруженных таким же образом.

Надзиратели иногда отбирали недозволенное холодное оружие — ножи. Но вскоре у главаря и его охраны появлялись новые. Их запросто изготовляли в ремонтно-механических мастерских на лесозаводе и так или иначе проносили в зону.

Начались расправы с неугодными — избиения и убийства. Убивали, как правило, способом, исключавшим обвинение в убийстве. Делалось это так: бандеровцы врывались ночью в барак и выволакивали из него свою заранее намеченную жертву. Затем обреченного хватали за руки и за ноги, раскачивали и с размаху «сажали» несколько раз на землю. После этого «посаженного» отволакивали обратно в барак и кидали на его место на нарах. Наутро человек с отбитыми почками и другими органами умирал — либо в своем бараке, либо через день-два в госпитале, где спасти его жизнь не удавалось.

Надо ли говорить, что отношение к евреям у бандеровцев было, мягко говоря, неприветливое. Следует заметить, что антисемитизма в те годы в лагерях практически не было. Слово «жид» можно было изредка услышать, но оно, как правило, было лишено какого-либо оскорбительного оттенка. Среди уголовников бывало в ходу другое обращение ко всем лицам не «титульной» нации: «Эй ты, нерусский!» Но и оно, по искреннему убеждению произносивших его, не содержало ничего оскорбительного.

В устах бандеровцев слово «жид» звучало в его ругательно-оскорбительном значении.

Четырнадцатого января 1953 года по радио и в центральных газетах было опубликовано сообщение Генеральной прокуратуры СССР о деле врачей, в основном евреев, якобы уморивших своими медицинскими способами ряд деятелей партии и правительства, а также планировавших осуществить еще целый ряд убийств выдающихся руководителей. В лагере тотчас родился слух о том, что бандеровцы восприняли это сообщение как прямой призыв

или, по крайней мере, разрешение резать евреев и что сегодня ночью они такую акцию совершат.

Об этом заговорили в лагерной бане, в хлеборезке, в столовой во время ужина, на прогулках по зоне. Обнаружилось, что, кроме Песчинского, среди евреев на нашей лагерной зоне есть еще трое верующих иудеев. Вечером, после десяти часов, они пришли к Песчинскому, чтобы вместе молиться и вместе умереть. Время шло томительно долго. Когда молитвенное бормотание сменилось молчанием, был отчетливо слышен тихий, мерный стук ходиков, висевших над топчаном Песчинского. Но вот их стрелки приблизились к двенадцати. В соответствии с распространившимся слухом именно в полночь бандеровцы должны были начать свою акцию.

Часы показали двенадцать. В напряженной тишине прошло еще несколько минут. И вдруг дощатая дверь китайской кухни с шумом распахнулась от сильного удара ногой, и в клубах морозного пара в помещение вошел главарь бандеровцев. Позади него встали его телохранители-ноженосцы.

Песчинский и его сотоварищи, оцепенев от страха, молча прижались друг к другу. Главарь, оставшийся стоять возле раскрытой двери, после недолгой паузы произнес:

— Граждане евреи! Среди вас тут разнесся слух, будто бандеровцы собираются из-за сегодняшнего сообщения вас резать. Так вот. Если бы сообщение, что евреи готовились отравить советских вождей, а кое-кого уже и прикончили, было правдой, то с этого дня началась бы вечная дружба между еврейским и украинским народом. Но так как евреи на это не способны и все это — очередная липа МГБ, все остается по-прежнему.

С этими словами он повернулся и в сопровождении своих молодцов вышел вон.

Бандеровцы решили заговорить на английской мове

Была у меня личная встреча с бандеровским главарем. Однажды вечером в наш 4-й барак прибежал от него «курьер» и попросил меня явиться к ним в барак, к «самому». — Зачем? — спросил я.

— Там узнаешь.

Первое, что пришло мне в голову: зовут для какой-нибудь расправы. Но за что? Я до этого никогда не общался ни с одним из бандеровцев. Ничего никому из них не сделал — ни плохого, ни хорошего. Так или иначе, подумал я, добром посещение бандеровского барака кончиться не может. Но отказаться от приглашения и не пойти — невозможно. Сами меня найдут, не днем так ночью, если захотят. И будет только хуже.

Сколько ни перебирал в голове всевозможных вариантов насчет того, зачем именно я мог понадобиться бандеровцам, — ничего не мог себе объяснить. И не мудрено. Представить себе, лучше сказать — вообразить причину моего приглашения к бандеровцам не смогли бы никакие нормальные мозги.

И вот я в бандеровском бараке.

«Курьер» подводит меня к своему хозяину. Тот сидит на одной из аккуратно застеленных нижних полок «вагонки».

— Здоровеньки булы, — говорит мне главарь довольно суровым голосом и жестом приглашает меня сесть на койку, что напротив.

— Добрый день, — отвечаю я и сажусь. — Слушаю вас.

В проходе между столом и нарами возле нас сгрудились любопытные.

— Дошел до нас слух, — обратился ко мне их главарь, — что ты людина шибко грамотная. Аж який-то научный кандидат. Так, чи брешут?

Я подтвердил, что являюсь кандидатом наук.

— Так вот, пан кандидат, — продолжал мой собеседник. — Есть у нас до тебя дило.

То, что я услышал вслед за этими словами, меня буквально ошарашило. В другой обстановке я бы рассмеялся. Но в тот момент мне было не до смеха.

— Нам дюже треба, — продолжал бандеровец, — научиться английской мове. — Заметив мое изумление, он пояснил, что незалежность Украине, как теперь стало ясно, помогут обрести американцы. Вот и надо к их приходу научиться балакать по-

ихнему.

Далее бандеровец сообщил, что они здесь, у себя в бараке, уже приступили к делу, что кому-то из них родичи прислали «дюже ценную книгу» — словарь, и что они по нему заучивают некоторые английские слова. Я не понял, о каком словаре идет речь — то ли об англо-украинском, то ли об украино-английском. Не понял и того, каким способом «лесные братья», взявшись изучать «английскую мову», этим словарем пользуются.

Я сказал, что не смогу быть полезен, так как не знаю английского языка. Знаю только немецкий.

— Нет, нет, — нахмурился мой собеседник. — Немецкой мовы нам не трэба. Во-первых — где они теперь, немцы? Нема их теперь в Краине. И не будет. Да и вообще, немцы — барахло. Не лучше москалив.

Бандеровец был весьма огорчен моим отказом. А может быть, и не поверил, что я не знаю английского, поскольку продолжил меня уговаривать.

— Да ты не журись, не журись. — похлопал он меня по плечу. — Мы тебя богато одарим. И сала дадим, и цукору. И денег.

— Спасибо, конечно. Но я действительно не знаю английского. Да если бы и знал.

— Если бы и знал, не стал бы нас обучать? Так, что ли? — в голосе главаря зазвучали угрожающие нотки.

— Нет, нет, совсем не поэтому, — поспешил я снять возникшее у него подозрение. — Научить людей полезному делу — всегда хорошо. Не взялся бы вас здесь обучать, потому что бесполезная это затея.

Я, как мог, постарался втолковать бандеровцу, что изучение иностранного языка может получиться при одном обязательном условии, а всего лучше — при двух. Либо если живешь в среде людей, говорящих на данном языке, либо нужен нормальный и долгий учебный процесс с грамматикой, упражнениями. Но даже при всем при этом изучить чужой язык — очень непросто.

Не знаю, смог бы я убедить своего собеседника, если бы вдруг не осенил меня один важнейший довод.

— Был, — сказал я, — замечательный писатель, Короленко.

— Наш? Хохол?

— Полтавчанин, — продолжал я. — Он написал книгу о том, как два украинца оказались в Америке. О том, какие мучения выпали на их долю из-за того, что они не знали английского языка. И о том, с каким трудом они учились изъясняться на нем. Книга так и называется: «Без языка». Почитайте ее. Она есть в библиотеке на нашем лагпункте. Правда, напечатана она на

русском языке.

— Ничего, сдюжим, — сказал бандеровский главарь. — Ну что ж, и на том спасибо, пан кандидат. До побачения.

На этом наша встреча закончилась. Другого «побачения», слава богу, не случилось.

На другой день я узнал, что бандеровский «курьер» прибегал в библиотеку за книгой Короленко «Без языка».

Очень платоническое свидание

Однажды, жарким июльским днем, довелось мне стать свидетелем весьма оригинального платонического любовного диалога.

Невдалеке от нашего лагпункта располагалась разделенная поселковой улицей на две части территория главного склада всего Каргопольлага, именуемая общим словом — база. Туда поступало, там хранилось, рассортировывалось, разгружалось из вагонов лагерной железнодорожной ветки, погружалось обратно и рассылалось по другим лагпунктам различное имущество — продовольствие, уголь, мазут, бензин, разного рода оборудование и инструменты. И главное — продукция лесоповала и лесозавода — пиломатериалы всех видов.

На одной территории базы работали мужские бригады зеков, на другой — женские. Их разделяли два высоких забора, увенчанных колючей проволокой, и неширокая поселковая улица, проходившая между заборами.

Итак, однажды жарким июльским днем в расположении обеих частей базы, как обычно в полдень, раздались удары в рельсу, возвещавшие получасовой обеденный перерыв. И тотчас на крышу одного из складов, стоявших возле самого забора, вылез через чердачное окно парень лет двадцати. Как и все работавшие в тот жаркий день на базе, он был до пояса голым.

В это же время на крышу самого близкого к забору склада на другой стороне улицы вылезла девица. Тоже полуголая, но в бюстгальтере.

Так началось свидание этой пары. Через улицу и через два забора произошел между ним и ею диалог, который я без труда запомнил и воспроизвожу дословно.

Он: Ну, чего?
Она: Да ничего!
Он: А что ничего?
Она: Да всё ничего!
Он: Слыхал — вчера вашу бригаду на сельхоз гоняли.
Она: Ну и что?
Он: Как это — что? А Ваську бесконвойного там видела?
Она: Ну и что?
Он (с иронией): Как это — что? Как это — что?
Она: Не было ничего!
Он: Ну да, ничего?!
Она: А вот и ничего!
Он: А вообще-то что?

Она: И вообще ничего!

Тут в диалог вмешался часовой с караульной вышки, стоявшей вблизи склада на женской зоне.

— Ну, ты чего? — окликнул он девицу.

— Я ничего!

— Ну, ничего — так слезай!

Девица послушно полезла в слуховое окошко.

— А ты чего? — в свою очередь окликнул парня часовой с вышки мужской зоны.

— Да ничего!

— Ну, ничего — так и уматывай с крыши!

Парень снова подошел к пожарной бочке, плеснул на себя пригоршню воды и стал спускаться по скрипучей пожарной лестнице.

Так закончилось это платоническое свидание.

«Ну и что? Ничего?» — подумал я. Вроде бы, и в самом деле ничего. А все-таки — что-то ведь было. Что-то, наверное, останется в памяти от этого свидания у его участников. Что-то ведь перелетало от одного к другому через заборы и улицу. А может быть, останется у каждого из них в памяти только одно:

— Ну что? А ничего!

— А вообще что?

— И вообще ничего!

Чье-то третье дыхание

О том, как печально иногда заканчиваются тайные любовные свидания, написано много. И в романах, и в пьесах, и в рассказах разных жанров. Анекдотов на эту тему вообще не счесть. Однако случая, подобного тому, о котором мне поведал заключенный нашего 2-го лагпункта бесконвойник Сергей Фоминцев, — надо полагать, не бывало во всей истории человечества.

А было вот что.

Выйдя как-то раз теплым июньским днем за зону в Ерцево, Фоминцев в условленном месте встретил свою подружку — бесконвойницу с 15-го женского лагпункта Свету. Сделав друг другу условные знаки, они порознь отправились в лес, вплотную окружавший поселок. Дорогу к месту их встреч в лесу каждый хорошо знал. Идя сначала по лесной дороге, сворачивая потом на знакомые тропинки, и он, и она не раз, как бы невзначай, оглядывались и прислушивались. Все кругом было тихо. Лес спокойно и ровно шумел. Где-то перечирикивались птицы. Словом, ничто не помешало им, придя на место, не мешкая приступить друг к другу. Замечу для современного читателя, что я выбрал для данного случая словосочетание «приступить друг к другу», так как общепринятого теперь — «заняться любовью» тогда, в 50-е годы XX века, мы еще не завели.

О том, что произошло дальше, я постараюсь рассказать словами самого Сергея Фоминцева.

«Приглядели мы небольшую солнечную лужаечку, на которой трава росла. В лесу, в тенечке — сам понимаешь, неудобно. Мох там подсохший, жесткий. Сучочков всяких сухих полно. А подстилки у нас ведь никакой не было. Правда, солнце здесь излишне ярко светило. Мне-то хоть бы что. Я вниз лицом расположен. А Светке глаза зажмурить пришлось. Шло все, как положено. Все хорошо. Только вдруг стал я улавливать ухом частое-частое такое дыхание — хэ, хэ, хэ, хэ, хэ. Успел подумать: «Это я, что ли, так запыхался? Да нет, не я. Светку, что ли, разобрало? Чего ж так скоро?! Да нет, и не она это. Повернул я голову кверху и обмер. Аккурат надо мной — собачья морда. Стоит возле нас овчарка. Пасть оскалена. Язык набок свешивается. А от собачьей шеи поводок натянутый в сторону отходит. Глянул я туда, смотрю — солдат в синей фуражке — видать, надзиратель за бесконвойниками — между двух сосен стоит и ухмыляется. Я как очумелый вскочил, подхватив штаны. Светка тоже подхватилась. Попыталась без оглядки в лес кинуться.

— Стой! — крикнул солдат. — Спущу собаку, не убежишь, да и покусана будешь!

Пес натянул поводок, зарычал. Светка остановилась. Вся как-то сжалась в комок. Солдат дал собаке команду, и она, сев на задние лапы, затихла.

— Что, попались, голубки-голубчики? — хохотнул солдат и приблизился к нам, сматывая по пути поводок. — За уход с назначенного в пропуске маршрута — знаете, что бывает?

— Знаем, — отвечал я. — Пропуск на бесконвойное хождение отнимут.

— Это еще как посмотреть, — продолжал надзиратель. — Могут и за побег посчитать. Тогда по второму сроку каждому из вас, голубчики, накинут.

— Отпустите нас, гражданин начальник, — взмолилась Светка. — Мы больше не будем.

— Больше не будете? — рассмеялся надзиратель. — Вот разошлют вас по этапам на разные лагпункты, а то и по разным лагерям. Вот тогда уж точно больше не будете.

— Простите, гражданин начальник. Отпустите нас. А я уж вас отблагодарю, — пролепетал я.

— Ваше счастье, что на хорошего человека нарвались. Другой бы не отпустил. Отвел бы к начальству и еще благодарность бы заработал за поимку нарушителей бесконвойного режима. Ладно. Хрен с вами. Разбегайтесь по одному. Давай, ты первый иди, — сказал он мне. — Да и побыстрей. Не то передумаю. Ну давай, дуй до горы. Чего стоишь?!

Я не двигался. Сразу понял, в чем состоит его «доброта». Он надумал прогнать меня, чтобы остаться с моей девчонкой здесь или отвести ее отсюда в сторонку. Нет, не уйду. Ни за что не уйду. «Будь что будет», — решил я.

— Так не пойдет, гражданин начальник, — сказал я. — Вместе мы с ней сюда пришли, вместе и уйдем. Ведите нас к начальству.

— А ты чего за нее говоришь? — спросил надзиратель. — Может, она не желает из-за тебя пропуска лишиться или, тем более, дополнительный срок схлопотать?

— Я с тобой не останусь, начальничек, — сказала Светка. — Веди нас в Ерцево.

— Ну что ж, хотел я с вами по-хорошему. Не получилось! — со злобой в голосе произнес надзиратель. — Ну, ты пойдешь? Последний раз спрашиваю, — обратился он ко мне.

— Один не пойду.

— Ах, ты не пойдешь?! Тогда побежишь! Наперегонки с собачкой. — Надзиратель нагнулся к собачьему ошейнику,

намереваясь отстегнуть поводок.

— А такое слово из трех букв, — продолжал он, — знаешь? Вот сейчас скомандую «фас», и побежишь.

— Беги, Серега! — вдруг закричала Света. — А я в другую сторону. Двух собак у него нет! Кто до Ерцева добежит — доложит, как все было. — Света явно изготовилась бежать в чащу леса.

— Ну, что ты доложишь?! Что ты доложишь, сучонка ты этакая! — закричал надзиратель. — О себе не забудь доложить. Мой рапорт дополнишь. А я, — продолжал он, — свою службу исполняю. И ничего против режима не совершил. Ну все, все.

Он дернул поводок. Собака зарычала и встала в стойку.

— А ну, пошли! — крикнул нам надзиратель. — Держаться рядом! Не разговаривать! А ну, пошли, говорю!

Пошли мы со Светкой рядом, держась за руки. Всю дорогу молчали. Так и пришли в Ерцево».

Такую вот историю рассказал мне Сергей Фоминцев.

Начальник 15-го женского лагпункта отправил Светлану (фамилию ее я не запомнил, да, кажется, и не называл мне ее Сергей) очередным этапом в какой-то другой лагерь. Либеральный начальник режима нашего 2-го лагпункта, капитан Тюгин, назначил Сергею куда более легкую меру наказания — десять суток отсидки в БУРе, в бараке усиленного режима. Так официально именовался лагерный карцер, на языке заключенных — «трюм».

— Пропуска тебя не лишаю, — сказал Тюгин Сергею. — После БУРа выйдешь за зону на свою работу. Но смотри, больше не попадайся! — добавил капитан, грозно нахмурив брови и погрозив пальцем.

Фоминцев, само собой, обещал больше не попадаться. И, насколько мне известно, обещание сдержал, больше не попадался.

Кобыла легкого поведения

Июль. Несносная жара. Основное население нашей зоны на работах: кто на лесоповале, кто на лесозаводе, кто на базе, кто на конпарке. В зоне только больные и «придурки», то есть те, кто работает в конторе, на кухне, в хлеборезке, в медчасти, дневальные бараков.

И больные, и те, кто может прервать свою работу в душных помещениях, вышли на свежий воздух и расположились под стенами бараков, где можно укрыться в тени. Тихо. Над зоной воцарилась сонная одурь. Водовоз, разливший по точкам свою бочку воды, выпряг потную кобылу из оглобель, пустил ее пастись на широкой зеленой лужайке между бараком и хлеборезкой, а сам разлегся в тени барака и сладко заснул. Словом, тишина и покой. Непривычно это. Так на зоне не бывает. Просто не может быть, чтобы ничего не происходило. А раз так быть не может, значит, что-то обязательно произойдет.

Какой-то молодой парень из воров, проходя мимо спящего водовоза и его мирно пасущейся лошади, на мгновение остановился, что-то сообразил и сорвался с места. Он быстро обежал несколько бараков, в которых нашел своих из числа воров, «закосивших» от работы. Вскоре немного поодаль от спящего водовоза собрался небольшой «совет», что-то явно решавший — что и как делать, чтобы устроить для себя и для прочих, находящихся в зоне, очередной «сеанс».

Посовещавшись, кучка рассыпалась. Каждый из заговорщиков помчался выполнять свое поручение.

Надо сказать, что выдумке, находчивости, предприимчивости в организации всевозможных потех, которыми обладают многие из воровской среды, мог бы позавидовать иной театральный, тем более, эстрадный режиссер. Речь, разумеется, идет только об аксессуарах, предметах, элементах костюмов, которые идут в ход и появляются порой вдруг неизвестно откуда. Что касается содержания осуществляемых блатными спектаклей — нормальные режиссеры до него тем более не дойдут. И слава богу, как говорится[16].

Довольно скоро на лужайке в ожидании интересного зрелища собралось много нашего лагерного люда. Организаторы спектакля действовали на удивление быстро и ловко. На голову лошади надели чепчик, сотворенный из цветной яркой наволочки, позаимствованной из бани, и бинтов, из которых сделали ленты и бант. Откуда ни возьмись, появилась плошка с разведенным суриком. С помощью малярной кисточки кобыле накрасили губы.

Затем ее подвели к завалинке соседнего барака и поставили к ней задом. Тотчас на завалинку вскочил исполнитель главной роли. Одной рукой он стал расстегивать штаны, другой — попытался поднять кобыле хвост. Лошадь явно забеспокоилась. Но было предусмотрено и это. Двое здоровых ребят держали лошадь под уздцы, а третий парень поднес к лошадиным губам добытую на кухне миску с сахарным песком. Деликатесное угощение отвлекло кобылу от всего остального, и главный артист, сумел-таки приступить к исполнению своей роли.

Непросто описать реакцию собравшихся на лужайке зрителей. Аплодисменты, свист, одобрительные возгласы, соответствующие «советы» — все это слилось в такой шум и рев, что разомлевший в сладком сне водовоз проснулся и вскочил на ноги.

— Вы что! Вы что это делаете, сукины дети? — завопил он и двинулся было к своей лошади. Такая его реакция была также предусмотрена. На пути водовоза возник специально поставленный на это дело парень, который протянул вознице картинно вытащенную из-за спины поллитровку.

— Прими, батя. От нее не убудет, а тебе прибудет.

Зрители бурно одобрили и эту сцену.

Водовоз, надо сказать, не стал артачиться и, не мешкая, засунул бутылку в карман своих брезентовых штанов, хорошо прикрытый толстым клеенчатым фартуком.

Вечером вся зона, то есть и те, кто днем был на работах, знала о происходившем. В предвидении повторения назавтра столь интересного представления многие заполнили медпункт с жалобами на различные недомогания. Кое-кто из мелких воришек устроил себе так называемую «мастырку» — нарочное саморанение. Например, такое: на руке или на ноге иголкой выковыривается небольшая ранка; затем с помощью иголки мастырщик добывает комочек гнили либо из своего же испорченного зуба — самый надежный вариант, — либо гниль, застрявшую между зубами; той же иголкой гниль заносится в ранку. Через несколько часов, скажем, наутро, поврежденная таким способом рука или нога распухает до размеров полена. Перспектива гангрены и, значит, ампутации больной конечности мало кого из блатных пугает. Зато нужный результат обеспечен: бюллетень, освобождение о работы или отправки на этап — гарантированы.

Существует немало и других способов устроить себе невыход на работу: договоренность, за ту или иную мзду, с нарядчиком, выкликающим по утрам на работу, или со своим бригадиром насчет замены своей, скажем, дневной смены на ночную или

переноса своего будущего выходного дня на сегодня. Можно открыто отказаться от выхода на работу, намеренно лишая себя хлебной пайки или обрекая себя на отсидку в БУРе, или на этап в отдаленный лагпункт, а то и вообще в другой, еще более тяжелый, чем наш, лагерь.

Короче говоря, на другой день к двенадцати часам — к обычному времени приезда водовоза — на лужайке между хлеборезкой и соседним с ней бараком был полный аншлаг. Из госпиталей — на нашем «столичном» в Каргопольлаге 2-м лагпункте их было вместе с медпунктом, как-никак, четыре — высыпали ходячие больные, пришли на лужайку и едва ли не все «придурки», многие из отдыхавших после ночной смены.

После того как водовоз развез по точкам воду, он привел на лужайку и распряг свою лошадь. Спать он, однако, на этот раз не завалился, а остался возле лошади, держа ее под уздцы. Он знал, чего ждет, и не ошибся. Ему вручили поллитровку, после чего он отдал уздечку в руки вчерашних коноводов и отошел в сторону.

Весь вчерашний спектакль повторился во всех деталях. На кобылу был надет чепчик с бантом из бинта, ее губы были снова накрашены суриком, ее снова поставили перед завалинкой, ей снова поднесли угощение — миску с сахаром. Только исполнитель главной роли был на этот раз другой — говоря языком театра, из второго состава.

Реагаж «публики», состоявшей в основном из блатных, нетрудно себе представить.

Финал этой истории случился на третий день. Все происходило строго по накатанному уже «сценарию». Кроме одного. Не успели на кобылу надеть чепчик, как она сама направилась к завалинке и, явно в ожидании сахара, повернулась к ней задом.

И тут, в неожиданно образовавшейся паузе, прозвенел возмущенный голос нашего бывшего лагерного завклубом, рафинированного интеллигента Задина:

— Ваша кобыла проститутка! — прокричал он, обращаясь то ли к водовозу, то ли к колдовавшим вокруг лошади ворам.

— Твоя ничуть не лучше! — отпарировал один из воров.

— У меня нет и никогда не было никакой кобылы! — отвечал Задин[17].

— Значит, ты педераст! — крикнул в ответ блатной.

Как ни печально об этом писать, но надо признать, что парень попал в точку. Ведь именно за это свое пристрастие Задин и оказался в лагере.

Профессор Штейнберг и актриса Окуневская

Однажды по этапу из Москвы прибыл на наш лагпункт профессор-иранист Штейнберг.

Это был человек очень высокого роста. Ватные штаны второго срока, в которые его нарядили по прибытии в лагерь — хотя на дворе стоял теплый сентябрь, — были ему чуть ниже колен, а рукава телогрейки опускались чуть ниже локтей. Эта нескладная фигура, несмотря на то, что доспехи его были ватными, а на голове вместо медного тазика красовалась видавшая виды зимняя зековская ушанка, чем-то напоминала Дон-Кихота. Такому сходству, правда, мешали типично еврейское лицо и довольно густые черные волосы с проседью, вылезавшие из-под сдвинутой на затылок шапки.

Начальство лагпункта, понимая, что ни на лесоповале, ни на лесозаводе пользы от Штейнберга не будет, направило его работать на продовольственную базу. Там ему поручили, казалось бы, нетяжелую работу — заливать воду в противопожарные бочки, стоявшие на крышах продскладов.

Для того чтобы выполнить эту задачу, надо было подняться на крышу по прогибающейся и скрипучей деревянной лестнице. Там предстояло добраться до стоящей на ее гребне бочки по лежащей на крыше доске с набитыми на нее рейками-ступеньками.

И до первой попытки Штейнберга совершить такой подъем, да еще с полным ведром в руке, его товарищам по бригаде было ясно, что Штейнберг осуществить это не сможет.

Поглазеть на предстоящий цирковой аттракцион сбежалась целая толпа грузчиков, складских рабочих и других зеков, трудившихся на базе.

Штейнберг поставил ведро с водой слева от лестницы. Затем, вцепившись двумя руками не то за вторую, не то третью перекладину лестницы, он не без труда сумел подняться на первую ступеньку. Лестница при этом сердито заскрипела.

Штейнберг попросил, чтобы кто-нибудь подал ему в руку ведро. Какой-то парень протянул ведро к руке Штейнберга. Тот, однако, тщетно пытался, преодолевая страх, не дольше, чем на мгновение, оторвать левую руку от перекладины, чтобы взять ведро, но тотчас снова вцеплялся в нее.

Чем дольше продолжалась эта манипуляция, тем громче и громче раздавался хохот наблюдавшей за ней толпы. Какие

только советы не выкрикивали из ее рядов.

Наконец Штейнбергу удалось схватить дужку ведра и немножко подтянуть его вверх. При этом сам он, во весь свой рост, распластался плашмя на перекладинах лестницы. Надо думать, никакое блистательное выступление акробатов на трапециях под куполом цирка не вызвало бы такую бурную реакцию зрителей, как судорожные попытки Штейнберга нормально встать на ступеньку лестницы. Хохот, выкрики, аплодисменты, топот ног, свист — слились в дикую какофонию звуков. На шум и крики из конторы выбежали начальник базы — лейтенант — и два надзирателя.

По указанию лейтенанта несколько человек взялись спасать Штейнберга, который самостоятельно не мог даже спуститься с лестницы. Он лежал на перекладинах, словно был к ним приклеен.

Из его руки взяли ведро. Самого его перевернули с живота на спину, снизу подперли его зад, глубоко провалившийся между перекладинами, и наконец спустили его на землю. Все это делалось нарочито медленно, чтобы растянуть для продолжавших весело галдеть зрителей нежданное удовольствие.

— Ну, вот что, Штейнберг, — сказал начальник базы — раз ты эту работу делать не можешь, пойдешь в грузчики. Или в катали — тачку толкать. — А начнет и там циркачить — отправь его на лесоповал. — сказал начальник нарядчику и ушел в контору.

И тут выступивший из толпы парень высказал предложение, которое вызвало всеобщее одобрение не расходившейся толпы и на некоторое время определило трудовую судьбу Штейнберга.

— Ты мне, папаня, сегодня утром в бараке анекдот рассказал. Во анекдот! — сказал молодой парень. Он поднял большой палец. — Еще анекдоты знаешь?

— Знаю. Знаю. Много их знаю, — поспешил ответить Штейнберг, предчувствуя в этом вопросе что-то для себя спасительное.

— Так вот, предлагаю, — парень обратился к работягам бригады. — Он нам анекдот, а мы за него ведро на крышу. Еще анекдот — еще ведро. Так все бочки на всех складах и заполним.

Это анекдотское «трудовое соглашение» вызвало всеобщее одобрение.

С этой же минуты Штейнберг стал, как мог, помогать своим товарищам по бригаде в качестве подсобника в разных мелочах. А в общих перерывах и в отдельных рабочих паузах он садился на первую ступеньку какой-нибудь из пожарных лестниц и рассказывал столпившимся возле него работягам анекдот.

Рассказывать анекдоты он умел.

Запас анекдотов у него не иссякал, так как он после работы обходил в лагере своих знакомых, выспрашивая у них и записывая новые и новые анекдоты.

— Попроще, пожалуйста, поскабрёзнее. Чем похабнее, тем лучше, — просил он. — Можно и частушки похабные, и стихи.

Его сказительская деятельность продолжалась довольно долго, месяца два или три. Потом его судьба повернулась так, что он сам, кстати сказать, по собственной вине, оказался героем анекдота. Такого анекдота, который едва не закончился для него трагически.

* * *

Однажды, если не ошибаюсь, в 1952 году, по нашему лагпункту разнесся слух, что на соседний 37-й женский лагпункт, находившийся километрах в пяти от нашего, с очередным этапом прибыла новая заключенная — знаменитая актриса Татьяна Окуневская. Окуневскую все хорошо знали по нескольким кинофильмам. Особенно популярной была еще довоенная кинокомедия «Горячие денечки», в которой она играла вместе с Николаем Черкасовым.

По слухам, позднее подтвердившимся, Окуневская находилась раньше в Тайшетлаге (Иркутская область), где отбывала двадцатипятилетний срок по обвинению в шпионаже и в связях с самим «бандитом Тито» и его «подручным» — знаменитым югославским политическим деятелем Поповичем. По ее жалобе на необъективность следствия она была этапирована в Москву на пересмотр дела. В результате срок ее заключения в ИТЛ был снижен до 10 лет, после чего ее и отправили в Каргопольлаг.

Появлением в нашем лагере, в соседнем 37-м лагпункте знаменитой актрисы — красавицы Татьяны Окуневской — вызвало среди наших интеллигентов оживленные пересуды. Как-никак — сенсация!

Разговор на эту тему происходил в те дни и в нашем четвертом бараке, где жило несколько «пятьдесятвосьмушников». Там жил и Штейнберг. Там же находился и я.

По вечерам к нам в барак обычно приходили друзья пообщаться, поговорить, в основном насчет очередных слухов — «параш» — о возможном скором освобождении.

На этот раз разговор зашел об Окуневской. В свое время все видели шедший в СССР до разрыва Сталина с Тито фильм «В

горах Югославии», посвященный героической борьбе югославов с немецко-фашистскими захватчиками. Фильм снимался в Югославии, и Окуневская на экране и, несомненно, не только на экране тесно общалась с маршалом Тито, с Поповичем и с другими югославскими руководителями. Именно эти ее общения и были раздуты следствием в шпионаж. Эти сюжеты и обсуждали мы, сидя, словно в купе, на двух нижних полках «вагонки» в нашем бараке.

Вдруг, неожиданно для всех нас, Штейнберг заявил:

— Окуневская. Танька. Я же ее хорошо знаю. Она была моей любовницей. Она ничего себе. Вполне, вполне.

Дальше пошли некоторые подробности их встреч. Посыпались и вопросы. С доверием к словам Штейнберга отнеслись наши старшие товарищи — завбаней ленинградец полковник Окунь, завхлеборезкой — москвич Лондон, завбиблиотекой и культпросветкабинетом — бывший партработник из Чувашии Стемасов, бывший секретарь Октябрьского района Ленинграда Шманцарь. Молодежь — московские студенты Слава Стороженко, Юра Макаров и я (в этой компании меня относили к молодежи, несмотря на мои тридцать лет) — мы сразу же заподозрили, что почтенный профессор-иранист лжет.

Позднее наши старшие, которым мы высказали свои сомнения, стали нас всячески упрекать и стыдить за неуважение к солидному человеку.

— И в самом деле, — сказал я, — на кой ей, известной красавице, сдался этот «Дон-Кихот». Да еще после маршала Тито и красавца Поповича?

Предположить, что Штейнберг снискал любовь Окуневской богатыми подарками, тоже нельзя было. Мы уже успели узнать его как человека скуповатого.

И мы решили наказать Штейнберга за его вранье, как следует его разыграв.

Рядом с 37-м женским лагпунктом, на котором была Окуневская, почти что на его территории, находилось еще одно подразделение Каргопольлага — железнодорожное депо. Паровозные машинисты, работники депо и мастерских, трудившиеся там, на 37-м, были бесконвойниками. Они имели пропуска на свободное хождение и жили на нашем лагпункте. Зная это, мы проделали следующее.

Студент Юра Макаров, обладавший хорошим почерком, написал коллективно сочиненное нами письмо от Окуневской Штейнбергу. Затем мы подговорили одного немолодого машиниста, обещав ему за это дело пол-литра, принести это

письмо, якобы переданное ему на 37-м, и вручить Штейнбергу.

На другой день вечером в наш барак, где в этот момент происходила наша вечерняя посиделка, прямо с вахты зашел вернувшийся с 37-го машинист в промасленной робе.

— Кто тут Штейнберх? — громко крикнул он от дверей.

— Я! Это я! — встрепенулся удивленный этим нежданным обращением Штейнберг.

— Тебе ксива с 37-го, — сказал машинист.

Он подошел поближе к нам и протянул Штейнбергу письмо, сложенное фронтовым треугольником — черным и промасленным от рук железнодорожника.

— От кого это? — спросил Штейнберг.

— А мне откудова знать? Передала одна бесконвойница. Верно, от твоей крали какой-то. Если ответ будет — я в 23-м бараке проживаю. Придешь, скажешь, я отнесу.

С этими словами машинист повернулся и ушел.

Штейнберг развернул треугольничек, пробежал его глазами и как-то странно пожал плечами.

— Вот видите, — начал он, — это мне от Окуневской.

— Прочтите, прочтите — что она пишет. Может, какие-нибудь московские новости. — попросил завбаней, полковник Окунь.

— Извольте, как говорится. Секретов тут никаких нет, — отвечал Штейнберг и прочитал сочиненное нами «письмецо от Окуневской». В нем, после обращения: «Дорогой друг!» содержались слова о том, что она очень обрадовалась, узнав, что он здесь, почти рядом. Затем «Окуневская» писала, что она скоро получит из Москвы от дочери посылку, а пока просит поддержать ее, так как она плохо себя чувствует и даже голодает.

Закончив читать, Штейнберг победоносно произнес:

— Вот видите! Вот видите! А мне стало известно, что кое-кто заподозрил, будто я все сочинил насчет близости с Татьяной.

— Да, были такие Фомы неверующие. Нехорошо, нехорошо, молодые люди!.. — и так далее и в таком роде начали нас воспитывать наши старшие товарищи. Мы, естественно, понуро опустив головы, все это выслушали.

Штейнберг отправился в лагерный ларек, купил там банку ананасов и вручил их нашему машинисту для передачи Окуневской[18].

Ананасы мы — заговорщики — съели, а машинисту вручили обещанную поллитровку.

Через пару дней машинист снова появился в назначенное нами время в 4-м бараке и вручил Штейнбергу новое письмо.

Обычная компания была опять в сборе, и Штейнберг, развернув треугольник, прочитал его сам и затем огласил его

содержание, которое нам — «заговорщикам» и авторам этого письма — было знакомо заранее.

— «Уважаемый друг!» — прочитал Штейнберг. — Слышите? Уже не «дорогой», а только «уважаемый», — повторил он сердито. — А теперь послушайте, что она дальше пишет: «Конечно, спасибо вам за ананасы. Вы бы еще бутылку «Шампанского» к ним прислали! Вы же понимаете — мы в лагере находимся!! Мне в сто раз нужнее — кусок сала, пачку масла. Или деньги, на которые я могла бы здесь прикупить еды. Я бы все это вам, при первой возможности, вернула бы. Но зачем же эти дурацкие ананасы?!»

— Шантажистка! — зло произнес Штейнберг. — Вымогательница! Деньги ей надо! А где я возьму для нее деньги?!.. — Штейнберг еще некоторое время кипятился. Наши старшие стали его осуждать, говоря, что Окуневская права и что надо ей послать что-нибудь существенное.

— Ни за что! — отрезал Штейнберг. — Она неблагодарная вымогательница!

На этом, казалось бы, и закончилась эта история. Мы в своей компании еще долго веселились по поводу того, как здорово обдурили и самого Штейнберга, и наших оппонентов в возникшем вокруг него споре.

Судьбе, однако, было угодно дать этой истории продолжение, которого мы никак не ожидали. Если бы мы знали ее финал — разумеется, не затевали бы своего, как нам казалось, невинного розыгрыша.

Прошло время. Хозяйственный начальник нашего 2-го лагпункта старший лейтенант Кошелев решил избавиться от столь бесполезного, ни на что не годного труженика, каким был Штейнберг, и нашел повод сбагрить его этапом на какую-то дальнюю «командировку», то есть на один из далеких лесозаготовительных лагпунктов нашего Каргопольлага.

Окуневская тем временем оказалась в общелагерной культбригаде, в которую собирали из числа заключенных профессиональных актеров и музыкантов, а иногда и талантливых любителей — бывших до своего ареста членами музыкальных и драматических кружков. Среди них, надо сказать, было много мастеров игры на различных музыкальных инструментах — на струнных, духовых, на баянах и аккордеонах.

Культбригада разъезжала с концертами и театральными постановками — в основном с опереттами — по всем лагпунктам Каргопольлага. Часто выступала она и на сцене клуба нашего лагпункта.

На одном из концертов культбригады мне довелось видеть

выступление Окуневской. Она выступала с сольным номером. Пела какие-то песни из кинофильмов. Выступала она в своем, присланном ей из Москвы концертном платье. Спереди в нем был довольно большой вырез в виде ромба, открывавшего голый живот актрисы. Посередине этого голого ромба красовался ее пупок.

Сейчас, когда я пишу эти строки, едва ли не все женщины, так сказать, «призывного возраста», а бывает, которые и постарше — ходят по городу с голыми животами, демонстрируя свои пупки. В то время, о котором идет речь, не только до такой моды, но даже до женских брюк в обтяжку было еще далеко. Голый ромб живота Окуневской с пупком посередине был тогда, тем более у нас, в Каргопольлаге МВД СССР строгого режима, явлением небывалым и, естественно, производил на зрителей сильное впечатление.

Как-то раз культбригада приехала на одну из дальних лесных «командировок» (номер того лагпункта мне не запомнился). В столовую, превращенную, как всегда в таких случаях, в зрительный зал, набилась тьма зековского народа. Концерт, само собой, шел с большим успехом. Сольный номер известной всем по кинофильмам актрисы — Татьяны Окуневской — стал его заключительным аккордом. Зековская публика ликовала. Окуневскую вызывали на бис много раз. Все это, как и то, что произошло дальше, я не могу описать в деталях, так как знаю об этом лишь по рассказам очевидцев, побывавших затем на нашем лагпункте.

По окончании выступления на сцену один за другим стали подниматься поздравители. Прежде всего — представитель «аристократии» — от бригад грузчиков. Их заработки на погрузке леса на железнодорожные платформы были очень большими не только по лагерным меркам и доходили иногда, как приходилось слышать, аж до семисот рублей. Один за другим поднимались на сцену бригадиры грузчиков с подарками актрисе.

— От бригады номер пять, — говорил один и вручал Окуневской небольшой посылочный ящик с плитками шоколада.

— От бригады номер восемь, — объявлял другой и вручал ей пачку денег, перевязанную веревкой.

Так на сцене собралась целая толпа заключенных.

Неожиданно сквозь толпу протолкался к Окуневской высокий, нелепого вида человек — в штанах, едва покрывавших колени, и в телогрейке, рукава которой доходили чуть ниже его локтей. Он тычет в актрису указательным перстом и кричит: «Не давайте ей ничего! Она шантажистка! Вымогательница!»

В установившейся на миг тишине удивленная Окуневская

говорит: «Простите, кто вы такой? Я вас не знаю».

«Ах, вы меня не знаете?! — кричит Штейнберг. — А писать мне письма, чтобы я вам присылал деньги и сало, и масло — это вы знаете?!»

«Ребята, не верьте ему! Он все врет, я его в первый раз вижу!»

Она не успела закончить, как Штейнберг был брошен на пол мощным ударом. Его стали бить, тяжело бить ногами, топтать. Скорее всего, забили бы насмерть.

«Не надо! Не надо! Не убивайте его!» — закричала Окуневская. — Вы же видите, это больной человек!»

Ей удалось как-то утихомирить впавших в азарт расправы грузчиков и блатных. Рассказывали, что она упала на Штейнберга, чтобы прикрыть его от ударов.

Узнав об этой истории, я как закопёрщик розыгрыша Штейнберга с «письмами от Окуневской» долго винил себя за это. Без одобрения к этому своему поступку вспоминаю о нем и сейчас. Оправдываю себя и своих «подельников» тем, что мы, естественно, никак не могли предвидеть того оборота, который приняло это дело. И тем еще, что и сам пострадавший — Штейнберг — от начала до конца сам виноват в этой истории.

Воровской суд

В свое время воровской мир, живущий по определенным законам, был в целом един. Всякого рода отступники — доносчики, предатели, холуи у начальства — конечно, существовали всегда. Но это были единицы, притом старавшиеся скрывать от товарищей свое истинное лицо. Один из священных воровских законов гласил: истинный вор в лагерях и тюрьмах не должен работать. В старые добрые — досталинские — времена начальство с этим так или иначе мирилось. Профессиональная преступность не имела еще столь массового характера, и, главное, система исправительных учреждений не имела еще того огромного удельного веса в экономике страны, какое приобрел сталинский ГУЛАГ. Но настал момент, когда надо было заставить миллионы заключенных воров и воришек работать на построение социализма. Для того чтобы это осуществить, одного лишь надзирательского и охранного персонала лагерей и тюрем было явно недостаточно. Тогда и было принято и вполне удачно проведено в жизнь решение — расколоть воровской мир. Выделить из него путем подкупа и всякого рода льгот добровольных помощников лагерного и тюремного начальства. Из числа этих лиц назначались дневальные в карцерах и БУРах, бригадиры и нарядчики. Руками этих отступников, получивших в воровском мире наименование — «суки», начальство избивало и нередко убивало наиболее непокорных воров.

Поначалу эта политика, наряду с целым комплексом других мер, дала нужный эффект. В «закон» было внесено существенное изменение. Вор получал разрешение работать на любых лагерных работах, кроме «режимных». К числу таких было отнесено: строительство караульных вышек и заборов, натягивание «колючки», распахивание «запретки» — четырехметровой полосы, шедшей по периметру забора с его внутренней стороны. В заключенного, шагнувшего на запретку, часовые на вышках стреляли без предупреждения.

На режимные работы «вор в законе» не шел ни под каким видом. А если шел — тотчас зачислялся своими бывшими товарищами в разряд «сук».

С течением времени раскол уголовников на «воров в законе» и «сук» стал приносить начальству больше хлопот, чем пользы. Кровавая война между этими двумя категориями блатных приобрела массовый характер. Воры и суки беспощадно и, как правило, зверски уничтожали друг друга на лагпунктах и в пересылках, на госпитальных койках и на местах работы. Война

эта приобрела такой размах, что начальство в конечном счете вынуждено было пойти на раздельное содержание «воров» и «сук». Их запирали в разные камеры в тюрьмах и пересылках. В лагерях для них были созданы разные лагпункты. В одних содержались только «воры», в других — только «суки». Разводить представителей враждующих «партий» по различным камерам и лагерям было нетрудно. Для этого достаточно было объявить, как это было сделано на Вологодской пересылке по прибытии нашего эшелона: «Суки — направо, воры — налево». Само собой понятно, что ни один «вор» и ни одна «сука» не ошибется и не останется среди врагов. В противном случае его ожидает немедленная расправа, как только он окажется в камере не со своей «мастью».

У читателя может возникнуть вопрос: как же и те и другие — «воры» и «суки» — спокойно стояли в одном строю в большом зале пересылки?

Да, там они друг друга не трогали, так же, как и на пути в пересылку. В зале еще стоял вооруженный дорожный конвой, имеющий право и обязанность стрелять без предупреждения в случае малейших нарушений в строю зеков. Надзиратели же в тюремных коридорах и на территории лагерей оружия не носят, чтобы не подвергнуться разоружению. Да и вообще, подоспеть на место того или иного ЧП в какой-либо из камер или, тем более, на обширной лагерной территории надзиратели, как правило, своевременно не могут. И, кстати сказать, не всегда и хотят.

Обо всем этом я узнал потом. Между прочим, лагерная жизнь нашего брата — политического заключенного, равно как и всякого другого, не относящегося к блатному миру, во многом определялась тем, на какой он попадал лагпункт — на «воровской» или на «сучий». На воровских жить было относительно легче и безопасней. На таких лагпунктах так или иначе соблюдался воровской «закон». Например, по «закону» вор не имеет права воровать у заключенных. Разумеется, кое-что пропадало, но не часто. А главное, на «воровских» лагпунктах каждый заключенный мог спокойно получить, принести в свой барак и положить в тумбочку присланную из дома продуктовую посылку. К нему мог подойти кто-либо из воров и сказать: «Угости». Получив кусок сала или чего-то еще, он благодарил и уходил.

На «сучьих» лагпунктах дело обстояло иначе. Не успевал тот или иной заключенный получить из рук «почтальона» — расконвоированного ЗК (зека), ходившего за зону на почту, — свою посылку, как стоявшие вокруг «суки» тотчас вырывали ее у него из рук и тут же делили между собой. Иногда получателя посылки «угощали» кусочком сала или колбасы.

К счастью для меня, случилось так, что весь свой лагерный срок я отбыл на «воровском» лагпункте. Прелестей общения с уголовным контингентом, как читатель увидит дальше, хватало и здесь. Но все же я должен благодарить судьбу за то, что она избавила меня от пребывания на «сучьем» ОЛПе.

Истребительная война между «ворами» и «суками» имела не только стихийные, но и весьма организованные формы. Речь идет о том, что в блатном мире очень четко поставлена информация. Сведения о сколько-нибудь знаменитых в этом мире «ворах» и «суках» — кто в каком лагере сидит, кого откуда и куда отправили на этап — распространялись с необъяснимой быстротой по всем лагерям и весям необозримой гулагерной державы. Где-то на Колыме воры узнавали о прибытии в Каргопольлаг знаменитого «суки» по кличке Санька-Бомба. Тамошнее, колымское, воровское толковище принимает решение его прикончить. Назначаются исполнители казни. Всеми правдами и неправдами, с помощью всякого рода ухищрений и подкупов этих «судебных исполнителей» устраивают на очередной этап, идущий на Запад. Либо им удается пройти через несколько пересылок и достичь нужного лагпункта, либо они перепоручают по пути свое дело отправляемым туда из числа «своих». Либо, наконец, если первым посланцам или преемникам их задачи не удается добраться до места назначения, снаряжается новая экспедиция. А если надо — то и третья. И так до тех пор, пока приговор не будет приведен в исполнение. Чаще всего дело обходится без таких экспедиций. Достаточно оповестить своих на соответствующем лагпункте, что такой-то прибывший к ним — «сука», и его прикончат местными силами. По такой же схеме действуют и «суки», расправляясь со своими врагами на «сучьих» лагпунктах.

Расскажу здесь о знаменитом на всю «страну ГУЛАГ» эпизоде войны между «ворами» и «суками», произошедшем в нашем Каргопольлаге.

Было это в 1952 году.

На станцию Ерцево Архангельской железной дороги пригнали очередной эшелон с заключенными. Эшелон прибыл из харьковской пересылки. Под названием «Харьковский этап» он и вошел в историю. Этап состоял в основном из воров. Верховодила ими большая группа отпетых рецидивистов, во главе которой стоял бывший офицер Советской Армии бандит Белоцерковский. Не могу сказать, каково было в прошлом его настоящее офицерское звание. Надо полагать — не выше капитана. Но выдавал он себя за полковника, носил полковничью папаху и черное кожаное пальто. Погон на пальто, разумеется, не было, но

маленькие пуговицы возле воротника и кожаные полоски для крепления погон сохранились. Были на Белоцерковском и все другие форменные одежки — габардиновая гимнастерка, синие бриджи с красным кантом и хромовые сапоги.

Управление Каргопольлага назначило Харьковский этап на наш лагпункт, находившийся здесь же, в Ерцеве. Начальник 2-го ОЛПа старший лейтенант Кошелев отправился на станцию принимать этап. Заглянув в несколько вагонов, Кошелев наметанным глазом сразу разглядел, что за контингент прочат ему в подопечные. Надеяться, что прибывший «рецидив» будет давать высокую производительность труда, лишние «кубики» леса — а именно этим в первую очередь был озабочен Кошелев, — не приходилось. Правдами и неправдами ему удалось отговориться от приема Харьковского этапа на наш лагпункт. И тогда, из-за какой-то начальственной халатности или неразберихи, эшелон с харьковскими ворами загнали на ОЛП Мостовица.

Это была роковая ошибка. Мостовица была «сучьим» лагпунктом. Наряду с политическими заключенными и бытовиками там находилось около двухсот блатных — «сук». Они и «держали» лагпункт, вершили на нем суд и расправу, были там непререкаемой властью.

И вот именно туда, в эту «сучью республику», привезли четыреста или даже больше воров.

Белоцерковский и его молодчики хорошо знали, куда их привезли. И заранее, еще в пути, сумели договориться о том, как «с ходу» провести операцию по захвату власти на лагпункте.

Для начала была применена военная хитрость. Белоцерковский и другие известные в блатном мире воры, которых кто-либо из местных «сук» мог узнать в лицо, держались в задних рядах своей колонны, стараясь остаться незамеченными. Те же, что были в первых рядах вновь прибывших в зону, выдали себя за «сук». Это было вполне правдоподобно. Местные знали, что воров в законе на «сучий» лагпункт не повезут. Когда ворота лагеря закрылись за впущенной в зону колонной, произошел обычный в таких случаях диалог. Вновь прибывшие справились у местных, нет ли здесь недобитых воров. Им радостно сообщили, что таковых нет. Одного, случайно сюда попавшего, на днях разоблачили и прикончили.

Появились местные «сучьи» главари, покровительственно принявшие вновь прибывших «под свою высокую руку». И вдруг из задних рядов раздался условный свист. Собравшиеся для встречи вновь прибывших местные «суки», ничего не ожидавшие и растерявшиеся, были мгновенно окружены, избиты, связаны. Заранее сколоченные Белоцерковским «штурмовые группы»

рассыпались по зоне — кто в бараки, кто в столовую, кто в баню, кто в хлеборезку. Повсюду шло выявление «сук». Всех их сволокли к одному из бараков.

Часовые, заметившие с вышки драки, происходившие в зоне, дали несколько выстрелов в воздух. Надзиратели и прибежавший на вахту начальник лагпункта что-то кричали с крыльца вахты, ведшего в зону. Однако спуститься вниз никто из них не решался. Да это было бы и бесполезно. Усмирять бунты заключенных внутри лагерных зон с помощью оружия могли только специальные дивизионы внутренних войск НКВД, численность и огневая мощь которых исключала возможность их разоружения заключенными. Лагерному начальству и надзорсоставу входить в зону с оружием строжайше запрещалось. Короче говоря, лагпункт оказался захваченным ворами из харьковского этапа.

Белоцерковский и его приближенные подробно выспрашивали у заключенных лагпункта о том, как тут «погуляли» «суки», обо всех случаях расправ и насилия. Допрашивали и самих «сук», выбивая из каждого признания в преступлениях против «воров в законе» в течение всей их тюремно-лагерной жизни.

На другой день в одном из бараков состоялся суд над «суками». Им предлагали покаяться и вновь принять воровской закон. Это снизило бы меру наказания. Четверо «сучьих» главарей гордо отказались каяться. Их приговорили к смерти через отрубание головы. Здесь же, в бараке, были поставлены четыре плахи — чурбаки для колки дров. Четырех приговоренных, со связанными за спиной руками, кинули на колени перед плахами. Головы легли на плахи, и вверх взлетели четыре остро наточенных топора. Стук ударов и падающих на доски пола голов был заглушен громкой музыкой. Крики ужаса, вырвавшиеся из толпы связанных «сук», ожидающих наказания, заглушить не удалось. Все они громко каялись, молили о пощаде, клялись загладить свою вину любым способом, каким только им прикажут. «Справедливый суд» смилостивился. Раскаявшимся была сохранена жизнь. Однако в назидание себе и всем другим «сукам» им было велено, чтобы каждый сам или с посторонней помощью — либо своих же товарищей, либо «порядочных людей», то есть кого-либо из присутствующих воров, — сломал себе правую руку. Делалось это либо умелым ударом палки, либо каким-то образом с помощью двух палок, между которыми зажимали и ломали руку. Дикий крик, плач, стоны изувеченных смешивались с веселым хохотом зрителей.

К великому моему счастью, сам я этого не видел. Зато рассказов о кровавых днях на Мостовице слышал множество. На

нашем 2-м или, как его еще называли, Комендантском лагпункте перебывало много политических, бывших в те дни на Мостовице.

Их рассказы потрясали. Под их впечатлением я написал целую небольшую поэму — «Воровской суд». Не мне судить о ее поэтических достоинствах. Но то, что она является подлинным документом того времени — это несомненно.

Воровской суд

(Полубыль)[19]

Как-то в нашу зону
Завели колонну.
— Эй, вы кто?
Откуда вас понавезли?

— Мы из мест различных,
Дальних и столичных
Изо всей России,
Матушки-земли.

С лесопунктов вьюжных,
До каналов южных,
От морей восточных
До северных морей

Возят нас бесплатно
Туда и обратно —
Словом, мы блатные
Из разных лагерей.

Слышно, в вашей зоне
Блатные в загоне?
Слух идет, что «суки»
Одолели вас?

Что ж, давайте сразу
Выведем заразу,
Фарш из них нарубим,
Пустим кровь на квас!

Тишина в бараке,

В плотном полумраке
Три свечи на стенах
Тенями трясут.

Судит двадцать «ссученных»,
Связанных и скрученных,
Наш блатной, суровый,
Справедливый суд.

Отвечайте, «суки»:
Жизнь иль смерть и муки?
Если жизнь — клянитесь
Вновь принять закон.

Для возврата чести
По паре «сук» повесьте.
Ну, а не хотите —
Головы на кон!

Четверо сказали:
— Нет, мы завязали
И навек порвали
Воровскую нить.

Мировой не ждите,
Силы есть — судите.
Ваша нынче сила.
Можете казнить.

Головы на плахе,
Топоры в размахе.
Три гармони разом
Дружно разлились

В громовую пляску,
Чтоб не слышно хряску,
Чтоб с веселым звуком
Жизни порвались.

Вот и совершилось.
Разом отвалилось
С легким стуком на пол
Четыре головы —

«Сук» отныне в мире
Меньше на четыре.
Справедливо судим,
Хоть и без Москвы.

Гул и шум в бараке,
В плотном полумраке
Свечи, догорая,
Тенями трясут.

Обсуждают воры
Казнь и приговоры,
Хвалят свой кровавый
Справедливый суд.

С лесопунктов вьюжных
До каналов южных,
От морей восточных
До северных морей

Весть единым духом
Разнесется слухом
Меж больших и малых
Наших лагерей.

1952 г.

Русский характер

Прежде чем начать рассказ об одном совершенно невероятном случае, считаю полезным объяснить читателю, почему я выбрал для своего рассказа такое уже использованное большим писателем название.

Много, очень много самых разнообразных рассказов из уже написанных, а также из тех, которые еще будут написаны, можно было бы (и можно будет) с полным основанием озаглавить именно так — «Русский характер». И это понятно, ибо русский характер весьма многогранен по своей сути, а значит, и в своих проявлениях. Вместе с тем, рассказы, так названные, должны, на мой взгляд, изображать ту или иную неповторимую черту именно русского характера. В противном случае будет показан какой-то общелюдный, что ли, повсюду возможный характер. К сожалению, случилось так, что слова «русский характер» оказались в заглавии рассказа о поступке, ни с какой стороны не характерном, а скорее, просто странном для человека любой национальности. Речь идет о рассказе Алексея Николаевича Толстого. Что ж, «и на старуху бывает проруха». Таковы уж были обстоятельства жизни этого выдающегося писателя. Приходилось ему, и не однажды, выполнять социальный заказ. Иногда «спущенный сверху» в прямой форме («Иван Грозный», «Хлеб»), иногда «спущенный» самим временем, подступивший, так сказать, из собственного нутра, по причине вполне естественного желания соответствовать зову времени. И как, в самом деле, можно было писателю не откликнуться не только публицистическими выступлениями, но и в художественной форме на величайшую народную трагедию, сопряженную с величайшим народным подвигом, какой была Великая Отечественная война?! Но великая побудительная причина не принесла в данном случае адекватного результата. Рассказанная А. Н. Толстым история — от начала до конца была автором сочинена в худшем значении этого слова, искусственно выстроена, без соотнесения с подлинной жизнью.

Танкист, лицо которого до неузнаваемости обожжено в сгоревшем танке, решил было не возвращаться в таком виде домой. Так бывало со многими изувеченными на войне. Но дальше начинается нечто странное. Танкист приезжает домой, выдавая себя за другого человека, за товарища того, кого здесь ждут мать, отец, невеста, односельчане. И никто — ни отец, ни невеста, ни даже родная мать — его не узнает. Так и уезжает он обратно на фронт неузнанным. Потом только — не помню, кому, то ли невесте, то ли отцу, то ли матери — как говорится, ударило

в голову: а не наш ли это… был здесь?! С помощью укоризненных писем, посланных неоткрывшемуся сыну и жениху… все кончается благополучно. «Отторжения», которого опасался пострадавший герой, не произошло.

Все тут — сплошная «липа». Не может мать не узнать в течение нескольких дней родного сына, даже если он предстанет перед ней в надетом на голову черном мешке. Предположим, однако, что такое все же произошло. Исключительных случаев каких только не бывает! Но при чем здесь русский характер? Исключительные случаи могут происходить где угодно и с кем угодно. Но исключительное потому таковым и зовется, что не является характерным и, следовательно, ни о каком типичном для данного народа складе характера не свидетельствует.

Короче говоря, я считаю, что заглавие «Русский характер», достойное украшать большой и, если угодно, бескрайний цикл рассказов на эту тему, в данном случае потрачено понапрасну.

Что же касается подлинного случая, о котором я хочу здесь рассказать, — он, на мой взгляд, вполне заслуживает названия «Русский характер». Правда, поначалу читателю может показаться, что случай этот пустяковый. Но не будем спешить с выводами. Не сомневаюсь, что, дойдя до конца этой истории, вы, читатель, сами скажете: «Да, это уж точно русский характер и никакой другой!»

* * *

Лето тогда, в 1952 году, выдалось небывало жаркое для вологодско-архангельских краев. Долго находиться в полдневные часы на солнцепеке было прямо-таки невозможно. Мне как пожарнику[20]в зоне надлежало постоянно лазить на крыши бараков и других строений нашего лагпункта и проверять наличие воды в пожарных бочках, установленных возле дымовых труб. Железные крыши на зданиях конторы, бани, столовой были раскалены, точно кухонные плиты. Лазить по ним, перебирая руками, можно было только в зимних ватных рукавицах. Большинство бараков было покрыто дранкой. Находиться на таких крышах было легче. Зато опасность их возгорания от любой случайной искры была велика. Непросто было подняться на крышу даже одноэтажного барака с полным ведром в руке по скрипящей и гнущейся под тобой деревянной лестнице. Еще труднее было добираться по наклонной крыше до бочки, не расплескав воду. Строений на лагпункте было больше двадцати. На крышах стояло где по две, где по три бочки. Словом,

доставалось мне в эти дни крепко. По пожарной линии я подчинялся начальникам поселковой пожарной команды, находившейся вне зоны. Проверять противопожарное состояние зоны, то есть мою работу, приходил старшина Степаков. По внешнему виду он ничем не отличался от других лагерных надзирателей. Та же военная форма, та же синяя с красным околышем фуражка, те же белые лычки на синих погонах. Роста он был невысокого, но сложения крепкого. Волосы у него были темные, что для уроженцев тех мест было случаем редким.

Уже при нашем первом знакомстве, происшедшем более чем за год до описываемых событий, я отметил для себя, что карие глаза у Степакова веселые и добрые. Первое впечатление подтвердилось. Относился он к заключенным с явным сочувствием, был спокоен и приветлив. Постепенно между нами установились отношения если не товарищеские, то вполне свойские. Он рассказывал мне о своей жене и маленьком сыне, о своем отце, который был еще жив. Отец его был местный, ерцевский житель. Сам Степаков родился и всю жизнь прожил здесь, в Ерцеве. С участием расспрашивал он меня о моих делах. Короче говоря, я знал, что он человек хороший и добрый, знал, что если его о чем-нибудь попросить — например, опустить в почтовый вагон ленинградского поезда письмо, — он безотказно исполнит просьбу. Но такого, что он совершил в этот день. Такого я ни от него, ни вообще от кого бы то ни было ожидать не мог.

Итак, старшина Александр Иванович Степаков пришел в тот день на лагпункт около двух часов дня. Несмотря на жару, я встретил его одетым по форме — в светлой брезентовой куртке, опоясанной широким брезентовым ремнем, на котором красовались различные металлические финтифлюшки: карабин — размыкающееся кольцо для крепления к канату, страхующему пожарных и циркачей на опасных высотах, футляр для топорика и что-то еще. Посетив для порядка несколько бараков и приподняв тяжелые, покрытые слоем дерна крышки двух противопожарных водоемов, из которых пахнуло приятной прохладой, мы со Степаковым прошли в техкабинет — небольшую комнату, увешанную плакатами на лесотехнические темы. В этом обычно пустом и полутемном помещении было мое пристанище. Здесь я мог иногда посидеть и почитать, а то и заняться какой-либо писаниной.

Усевшись на скамью за одним из столов, Степаков снял фуражку и вытер мокрый лоб.

— Сегодня в поселок пиво в бочонках привезли, — сказал он. — Холодное такое… красота! Я три кружки выпил.

— Могу только позавидовать.

— Небось, тоже бы не отказался холодненького пивка хватить, а?

— Не дразните, гражданин начальник. Я уже три года пива не пробовал. А вкус вот помню.

— Наверно, немало вас тут, кто бы сейчас холодного пива глотнул с превеликим удовольствием, а?

— Конечно, немало. Все мы тут от жары маемся.

— Сейчас на обратном пути снова у ларька пива попью, — мечтательно сказал Степаков.

— Ну что же, желаю вам. И за меня кружечку выпейте.

— С удовольствием помог бы тебе и твоим дружкам пива попить, — раздумчиво сказал Степаков. — Да вот как это сделать?!

— Спасибо, конечно. Только никак этого сделать нельзя.

— А почему нельзя? — оживился вдруг Степаков. — Можно налить в бутылки. Две бутылки — можно запросто пронести.

— Столько возни из-за литра пива! Не стоит.

— Действительно, никакого смысла нет. Погоди-ка, погоди. Кажись, сообразил. А знаешь, можно и целый бочонок пива закатить.

— В зону?

— Ну да. Можно. Если с умом действовать. У тебя ребята надежные есть?

— Есть.

— Не продадут?

— Ну, что вы!

— А деньги соберете?

— Сколько?

— Рублей шестьсот[21].

— Соберем.

— Тогда давай так: первое — собери деньги. Второе — обегите бараки, снимите по одному огнетушителю. Штук десять поднесите к вахте. А я через час подъеду за ними на подводе.

— А дальше-то что? — спросил я охрипшим от волнения голосом. Я предчувствовал, что затевается что-то очень рискованное и даже очень страшное, но при этом что-то совершенно нежданное-негаданное и, значит, взрывающее опостылевшее лагерное прозябание.

— А дальше вот что, — продолжал Степаков. — Я отвезу огнетушители к себе на двор. По дороге куплю бочонок пива.

— А продадут целый бочонок? — спросил я, словно ни о чем более важном нечего было беспокоиться.

— Продадут! — уверенно заявил Степаков. — Ларечник у меня на крючке. Короче, дома я из огнетушителей колбы

повывинчиваю, корпуса хорошо промою и залью туда пиво. Ну, а дальше — сам знаешь. Привезу «перезаряженные» огнетушители в зону. А вы их тут до ночи по баракам на свои места и развесите.

Я выслушал план Степакова с замиранием сердца. «Здорово как! — думал я. — Страшно, конечно, но здорово!» И проделать такую штуку готов не какой-нибудь бесконвойник — сорви голова, а мой начальник, человек в синей фуражке, обычно такой рассудительный и спокойный. А главное — сколько в этом его предложении нормального мужского, товарищеского, напомнившего какие-то фронтовые, а то и студенческие похождения. Давно не испытывал я подобного внутреннего состояния, будто я вдруг оказался не заключенным, а обычным человеком. И Степаков, сидевший передо мной за учебным столом техкабинета без своей синей фуражки, отложенной в сторону, и говоривший «таковы слова», тоже разом потерял в моих глазах «статус» лагерного начальника и принял столь привычный для меня в прошлом вид бывалого, добродушного, но изощренного в хитроумных проделках фронтового старшины. Эти ощущения были для меня куда дороже, чем замаячившая впереди возможность припасть губами к краям сосуда (граненого стакана, алюминиевой кружки, а может, и целой миски) с холодным пивом.

Я без колебаний и с благодарностью согласился на предложение Степакова.

Сказано — сделано. Степаков надел свою фуражку, кивнул и пошел к вахте. Я первым делом побежал к завбаней — полковнику Окуню. Потом к его приятелю Науму Борисовичу Лондону. Оба они были люди пожилые — лет по пятьдесят, но вполне способные на участие в задуманной авантюре. Еще старше их был профессор Гречишников, в прошлом один из авторов школьных стабильных учебников по литературе, а в лагере — учетчик в лазарете. Ему было уже лет под шестьдесят. Выслушав мое предложение, он энергично замахал на меня руками, словно на черта, и решительно отказался от участия в столь опасной затее. Вместо него я сговорил на «дело» завполитпросветкабинетом — очкастого толстяка Ивана Дмитриевича Стемасова (бывшего крупного партработника). Поначалу он было тоже размахался руками, но потом согласился. Я, пока он не передумал, тотчас же сорвал у него со стены огнетушитель и утащил к вахте.

Моего друга — хирурга Леонида Фотиевича Брусенцева, бывшего в годы войны врачом десантного подразделения в тылу врага, уговаривать не пришлось. Он встретил мое предложение участвовать в операции «Пиво» с восторгом.

Более всех был обрадован предстоящим свиданием с пивом самый близкий мой друг, юрист Михаил Николаевич Лупанов. Словом, сколотилась хорошая компания. Вскоре необходимая сумма была у меня в кармане, а штук десять огнетушителей выстроились попарно возле ворот лагпункта.

Степаков подъехал к вахте на телеге, запряженной крепкой серой лошадью. Надзиратель открыл ему ворота. Подъехав ко мне, Степаков начал кричать:

— А ну, быстрее грузи! Нечего резину тянуть! Давай, шевелись!

Подобно тому, как ни одна собака не может не залаять, если рядом начала лаять другая, так не мог промолчать и стоявший возле ворот надзиратель по кличке Колхозник. Он тоже стал кричать на меня:

— Давай, давай, шевелись, пожарник! Привык тута в зоне… груши околачивать! Надо иногда и поработать!

Мог ли он знать, этот почтенный «труженик» ГУЛАГа, какому доброму делу он помогает?!

— Не класть, не класть огнетушители! Колбы могут от тряски повредиться! Только стойком ставь! — кричал мне Степаков.

— Не класть! Не класть! — вопил вслед за ним Колхозник. — Ставь на попа! Колбы побьешь, гад!.. С ними нужен глаз да глаз, — доверительно заявил он Степакову. — Чуть недосмотришь — они нарочно все перебьют да перепортят. Контра — она контра и есть.

Степаков развернул телегу и со звонким грохотом выехал за зону.

Часа через три он возвратился. Я поджидал его с командой добровольных помощников. Не прошло и четверти часа, как огнетушители были развешены по своим местам.

Я поблагодарил Александра Ивановича, и он, явно довольный своим поступком, уехал.

Ночью мы сносили огнетушители в баню. Полковник Окунь приготовил у себя в кабинке чистую бочку, куда мы слили пиво.

Наутро Степаков снова приехал на телеге и забрал пустые огнетушители, которые я притащил к вахте. Затем он привез их заряженными теперь и в самом деле новыми колбами.

Не обошлось, естественно, без того, чтобы наш благодетель не проверил противопожарное состояние бани и кабинки ее заведующего, полковника Окуня, где мы уговорили его вместе с нами отведать столь ценный для нас напиток.

Для нас — «пайщиков» — наступил блаженный в нашей лагерной жизни миг. Кружка холодного пива в раскаленный жарой день! Может ли быть что-нибудь приятнее?! Оказывается,

может: та же кружка, но выпитая в столь особенных обстоятельствах! Это была нечаянная радость в подлинном значении этих слов.

Я налил пива в бутылку и принес в лазарет профессору Гречишникову. Но он снова замахал на меня руками: «Нет, нет и нет! — заповторял он. — Я не участвовал, я не рисковал — не имею морального права. Нет, нет и нет!»

Так он ни глотка и не попробовал.

Пиво, вполне понятно, скоро кончилось. Но теплое чувство благодарности Александру Ивановичу Степакову — не столько за пиво, сколько за человеческое отношение к нам, отверженным «врагам народа», — сохранилось в нашей памяти надолго. Проходили десятилетия, но мы, тогдашние «пайщики», при наших встречах никогда не забывали снова и снова рассказывать друг другу эту историю во всех подробностях.

Вроде бы, пора поставить здесь точку. Нет, рано. Читатель не сможет по достоинству оценить поступок старшины Степакова, если не рассказать — что грозило Степакову, если бы кто-нибудь из нас выдал. В этом, не самом еще худшем, случае Степакова ожидали тяжкие репрессии. Согласно специальному постановлению, за неуставную связь с заключенными жители поселка подлежали выселению в двадцать четыре часа вместе с семьями. В те сталинские годы, когда за два-три часа осуществлялись операции по выселению из родных очагов и родных мест целых народов, выселить из собственного дома семью проштрафившегося служащего ГУЛАГа не стоило бы ничего. Судьба жены, сына, старика отца были поставлены Степаковым на карту.

Самого его, несомненно, судили бы за грубое нарушение устава караульной пожарной службы, за использование служебного положения в преступных целях, за оставление порученного ему объекта противопожарной обороны без положенного по штату оборудования. А может быть, повернули бы и так: «За связь с осужденными врагами народа». Срок он получил бы во всех случаях немалый. И тем не менее, все это — еще не самый страшный из возможных результатов его поступка. О самом страшном даже страшно подумать. А вдруг случился бы в тот вечер или на другой день в зоне пожар, и в момент пожара выяснилось бы, что едва ли не в половине огнетушителей вместо пеногона залито пиво? Кто возил огнетушители на «перезарядку», стало бы тотчас известно.

Тот, кто помнит те времена, или тот, кто хорошо их изучил хотя бы по книгам, понимает: статей, связанных с диверсией или вредительством, здесь бы не забыли. В зависимости от ущерба,

нанесенного пожаром, а может быть, и вне зависимости от этого Степакова могли «под вышку подвести», расстрелять.

Может быть, кто-нибудь, прочитав эту историю осудит Александра Ивановича Степакова. «Как, де, он смел так рисковать и собой, и своей семьей? А главное, ради чего?! Добро бы, ради спасения чьей-то жизни, добро бы, шла речь о хлебе для погибающих с голоду. А тут — подумаешь — полакомил пивом нескольких заключенных!»

Что ж, если рассчитывать да взвешивать, какую порцию добра можно отпустить в том или ином случае, с точки зрения последствий твоего доброго поступка для тебя самого, оно, конечно, безоглядный поступок Степакова можно и осудить. Возразить будет трудно. Да он не рассчитывал и не взвешивал. Да, своим поступком он не спасал никого ни от голода, ни от беды. Захотел доставить небольшую радость жизни обездоленным людям. Только и всего. И ничего более. Ну, а то, что он при этом полагался на знаменитые «авось» и «небось», — что тут скажешь. Был у него и этот грех.

От людей очень разных и между собой незнакомых нередко слышал я по поводу этого случая: «На такое мог пойти только наш русский человек. Кто ж еще на такое способен?!» И на это, мне кажется, возразить трудно. Сам я тоже именно так думаю. Потому и назвал свое повествование об этом случае — «Русский характер».

Смерть Сталина. Прелюдия

Сталина в лагере не любили все. Но по-разному. Не любили его, говоря мягко, блатные. «Усатый», — иначе они Сталина никогда не называли, — был, по их убеждению, виновник суровости наказаний, которым их подвергали за их воровские дела.

В январе 1953 года Сталин издал, как оказалось, свой последний Указ. Касался он именно блатных. Отмененная в стране после Победы смертная казнь, восстанавливалась этим Указом в отношении заключенных, которые совершат убийство других заключенных в лагере.

Объективность требует признать, что Указ этот имел весьма положительное значение. Межворовская, хорошо отлаженная почта, стала приносить блатным из всех разбросанных по стране лагерей сообщения о расстреле таких-то и таких-то их «коллег» за совершенные ими внутрилагерные расправы.

Говоря о своем пребывании в карантине, я обещал рассказать о судьбе, находившегося там одновременно со мной бывшего военного моряка, старшины, по прозвищу Костя-морячок, осужденного за убийство. Пожалуй, именно здесь, стоит упомянуть о его дальнейшей лагерной судьбе.

Начальство, вероятно, за мощную фигуру, а также, учитывая командные навыки флотского старшины, назначило его нарядчиком. От нарядчика впрямую зависело, на какую работу отправить заключенного, или кого перевести из одной бригады в другую, на более легкий, а то и на более «хлебный» труд.

Нарядчики, понятно, кое-что имели от тех, кому помогали. Но вместе с тем, наживали себе врагов. Не всем могли, или хотели угодить. Костя-морячок — человек властного и грубого нрава, видимо, нажил не мало обиженных. Особенно среди блатных.

Однажды, летом 1952 года, воскресным солнечным днем, на площадке, где была натянута волейбольная сетка, шла игра. Вокруг стояла довольно плотная толпа зеков. Кто болел за «свою» команду, кто ждал своей очереди вступить в игру. По сторонам площадки стояли скамейки, вытащенные из соседнего барака. Среди восседавших на одной из них, был и Костя-морячок. Он, как и многие другие, шумно «болел», что-то кричал, размахивал руками. За его спиной стоял юный паренек из блатных. Вдруг, при всем честном народе, паренек спокойно, не торопясь, вытащил заткнутый за пояс под рубашкой топор, замахнулся, и что есть силы рубанул нарядчика по голове. Костя-морячок не

успел даже вскрикнуть. Кровь плеснула на тельняшку. Стоявшие рядом, отпрянули, и труп повалился на сторону. Игра прекратилась, поднялся шум. А юный убийца, бросив окровавленный топор на землю, с гордой улыбкой выполнившего свой долг героя пошел на вахту «сдаваться». Все понимали, что он исполнил приговор, вынесенный Косте-морячку воровским толковищем. Совершить это воровской сход поручил несовершеннолетнему. Ему за лагерное убийство грозил небольшой дополнительный срок.

На меня, как и на многих обитателей лагпункта, случившееся произвело жуткое впечатление. Так же, как и другие, то и дело происходившие внутрилагерные расправы. Многолетнее совместное пребывание с блатными, а затем и с бандеровцами, вынуждало воспринимать этот ужас как бытовое явление лагерной жизни.

Не ради полемики с сегодняшними противниками смертной казни, обосновывающими свою позицию, в частности, тем, будто применение смертной казни не снижает преступность, следует обратить внимание на бесспорный факт: внутрилагерные убийства, имевшие до этого Указа массовый характер, вскоре после его введения как рукой сняло.

Политические имели к Сталину, казалось бы, одинаковую «претензию». Благодаря ему они лишились свободы, мучились в лагерях и тюрьмах. При этом, однако, их справедливая ненависть к Сталину имела разное происхождение и, соответственно, разный характер.

Наиболее яростными ненавистниками Сталина были старые большевики, относившие себя к «Ленинской гвардии». Для них Сталин был губителем их великого дела, их великих идей, организатором «термидорианского», контрреволюционного переворота в политике советского государства, предателем международного пролетарского движения, кровавым палачом, уничтожившим и продолжающим уничтожать подлинных героев революции и гражданской войны.

Большинство из них к моменту смерти Сталина отсидело в лагерях и тюрьмах по семнадцать, а то и более лет.

Ненавидело Сталина и более молодое поколение сидевших в лагерях коммунистов. Эти люди еще вчера входили в «номенклатуру», являлись теми самыми кадрами, которые «решали всё», а когда прикажут — и всех.

Это с помощью их голосований на съездах партии Сталин расправился со старыми большевиками — ленинцами, это их руками развертел он колесо репрессий против своих бывших партийных товарищей. Это их руками осуществлялось

практическое «колесование» виновных и невиновных.

Теперь, когда они сами попали под каток, эти вчерашние верные сталинцы наполнились яростной ненавистью к нему. Они считали, и надо сказать — справедливо, что в их лице Сталин предал своих самых верных слуг. Не того они у него заслужили, не того от него ждали.

Чувство тяжелейшей обиды питали к Сталину участники Великой Отечественной войны, возвратившиеся из фашистского плена.

Всех попавших в плен красноармейцев, в том числе захваченных в состоянии тяжелых ранений, а также не по своей вине оказавшихся в окружении в составе своих полков, дивизий и целых армий, или подобранных в море советских моряков с потопленных фашистами кораблей, сбитых летчиков. — всех их, в соответствии со сталинским указанием, объявили изменниками Родины.

Их лагерная судьба была наиболее тяжелой. В отличие от других политических заключенных, «изменников Родины» нельзя было использовать на каких-либо «придурочных», более или менее легких работах, они не могли, сколько бы лет своего срока ни отбыли, получить пропуск на работы за зоной. Словом, это были парии из париев. А между тем, многие из них были героями до плена, многие стали героями и в плену — организаторами смелых побегов из фашистских концлагерей, видными организаторами движения сопротивления в странах, захваченных гитлеровцами. И самое непонятное и обидное — многие из них успели после плена снова воевать в рядах Красной Армии, например, участвовать во взятии Берлина, заслужить ордена и медали.

Эти «изменники» имели большие сроки — от пятнадцати до двадцати пяти лет. Именно такой, двадцатипятилетний срок заслужил, как известно, героический летчик Девятаев, сумевший, находясь в плену, угнать и посадить на советский аэродром немецкий бомбардировщик.

Самый массовый контингент политических заключенных сталинского ГУЛАГА составляли те, кто сидел по статье 58–10. За так называемую антисоветскую агитацию. В прямом смысле этих слов — за разговоры.

К этой категории принадлежал и автор этих строк.

Так называемые антисоветские разговоры в тех случаях, когда они в самом деле имели место, обычно сводились к высказываниям того или иного, зачастую бытового, характера. Бывало, что содержали ту или иную критику властей. Случалось, разумеется, что высказывалось недовольство и в адрес Сталина.

Однако очень часто человека обвиняли в том, чего он вовсе и не говорил. Чтобы не ходить за примерами далеко, напомню о моем собственном следственном деле. Никакой антисоветской агитацией я не занимался. Обвинение было полностью сфальсифицировано.

Надо сказать, что людей, действительно агрессивно настроенных против советской власти, я среди моих «коллег» по статье 58–10 почти не встречал. Зато людей, «приговоренных», как и я, заочно, так называемым Особым совещанием, среди «болтунов» было не менее 70–80 процентов. Это означало, что даже достаточно дисциплинированный советский суд, отказывался принимать большую часть этих абсолютно липовых дел.

Действительными врагами советской власти были бандеровцы. Да и то не все. Бывало, что на западной Украине, в ходе развернувшейся там войны украинских националистов против советских властей, под замах, за связь с «лесными братьями», украинских крестьян забирали целыми семьями, даже с детьми. Эта связь обычно выражалась в том, что крестьянин кормил или даже оставлял ночевать вооруженных до зубов бандеровцев, не смея им отказать в ночлеге и продовольствии.

Сидели в лагерях по политической статье и вовсе далекие от всякой политики люди. У нас на лагпункте свой восьмилетний срок отбывал рабочий, помочившийся ночью, по пьянке, на пьедестал памятника Сталину. Немало сидело и тех, кто, так или иначе, плохо обошелся с портретом вождя.

В этой связи невозможно не вспомнить ситуацию, казалось бы, невероятную.

Заключенный Володя Сазонов, молодой художник, работавший при КВЧ — культурно-воспитательной части нашего лагпункта, — написал, по заданию начальства, большую копию картины — «Утро нашей Родины». Картина эта изображала Сталина, вышедшего в момент восхода солнца на простор широких русских полей, пересеченных линией электропередачи, опирающейся на ажурные металлические опоры. Сталин стоит на этом фоне в белых одеждах — в белом летнем френче, в белых штанах и без головного убора. Сложив руки на животе, он любуется восходом.

Копии с этой картины висели в те годы и на вокзалах, и в школах, и в фойе некоторых театров, и в казармах. Репродукции с нее постоянно помещались в журналах.

Копия, сделанная Володей Сазоновым, висела на стене столовой нашего лагпункта, над окнами раздачи, выходившими в зал из лагерной кухни. Тысяча заключенных и заходившие в

столовую начальники ежедневно лицезрели ее.

Между тем, эта копия обладала некоторым художественным своеобразием. На ней руки Сталина были окрашены не бледно розовым отсветом восхода, как на оригинале, а отчетливым красным цветом, создававшим впечатление, что руки вождя в крови.

Заключенные довольно свободно говорили об этом между собой.

Мысль о том, что руки Сталина на висевшей в столовой картине, подозрительно красные, несомненно, приходила в голову и стукачам, и самим начальникам. Но никто из них не посмел даже заикнуться, что ему могло показаться, будто руки товарища Сталина могут быть окрашены кровью, хотя бы даже и на картине. И главное, если скажешь о таком, тебя же и спросят: как же ты мог допустить такую чудовищную диверсию?! Хорошо, если из уважения к прошлым заслугам, просто выгонят из органов за разгильдяйство! Но ведь могут и соучастие пришить!.. Так или иначе, картина спокойно провисела на стене столовой все четыре года, что я был на 2-м лагпункте.

Предпоследнее известие

Днем 2 марта 1953 года я был свободен после своего ночного пожарного дежурства и пошел в баню. Как правило, заключенные мылись в бане побригадно, в соответствии с расписанием. Я же, поскольку ни в какой производственной бригаде не состоял, мог, как и прочие «придурки», работавшие в зоне, приходить в баню в любой день и мыться одновременно с любой находившейся там в это время бригадой.

Я, как обычно, поднялся в помещение бани со служебного входа и через большое, заполненное паром помещение прачечной, где заключенные — рабочие бани стирали белье, прошел в кабинку завбаней, моего друга полковника Окуня.

Мы, как всегда, поговорили о том о сем, обсудили последние «параши» о скорой амнистии, которая будто бы вот-вот будет объявлена. Затем я здесь же, в кабинке у Окуня, разделся. Он выдал мне мыло и мочалку, открыл деревянные половинки широкого окошка в предбанник, через которое выдавал вышедшим из мыльной заключенным чистое белье.

И вот я в мыльной. Там в это время мылась одна из бригад грузчиков, состоявшая в основном из блатных. Было их здесь человек двадцать. В помещении, заполненном паром, стоял обычный для таких случаев шум: плеск воды, звон железных шаек, возгласы и перекличка мокрых, голых людей.

Взяв себе пару шаек, я нашел свободное место в углу, на одной из деревянных лавок. Начал мыться. И вдруг!.. Вдруг дверь из предбанника распахнулась, и в мыльную влетел человек в зимней одежде — в ватном бушлате, в ватных штанах, в шапке-ушанке, в валенках.

— Братва! — заорал он истошным голосом. — Братцы! Усатый подыхает! Слышь, братва!? Подыхает Усатый!

В мыльной стало тихо. На мгновение сама собой возникла не снившаяся никакому режиссеру немая сцена. Кто-то замер с шайкой над головой, кто-то стоя в шайке, кто-то нагнувшись к лавке, кто-то с мочалкой над его спиной. Потом начался всеобщий галдеж.

— А ну, замри!! — зычным голосом прокричал известный на лагпункте вор в законе по кличке Фиксатый. Снова стало тихо. Фиксатый подошел к стоявшему у дверей вестнику.

— Чего туфту гонишь!? Врешь, ведь, сучий потрох?! Если наврал, сейчас мордой в шайке утоплю!

Фиксатый схватил со скамьи шайку полную грязной, мыльной воды.

— Да, что ты, Фиксатый! Разве ж я фраер недоделанный?! Сейчас только, по радио из Москвы извещение толкали! Своими ушами слышал!

— Обзовись!

— Гад буду! Ей богу, гад буду! — стал заверять вестник, ударяя себя кулаком в грудь. — Последней сукой буду! И чтоб век мине свободы не видать!!!

— Вроде, правду говорит! Какой ему фарт врать! Значит, и верно, Усатый концы отдает! Да уж давно пора!! — раздались голоса.

— Ну, раз такое дело, надо выпить за то, чтоб не оклемался, чтобы в натуре копыта откинул! — прокричал Фиксатый. С этими словами он схватил шайку с грязной водой. — Ну, что бог послал! До дна!

Он поднял шайку ко рту, запрокинул голову и начал глотать ее содержимое.

Снова поднялся шум — грохот шаек, шлепки ладоней по мокрым телам. Кто-то прокричал: «Молоток, Фиксатый!»

Вылив на себя воду из своей чистой шайки, я выскользнул в предбанник и застучал в деревянные створки окна выдачи белья.

— Сейчас! Сейчас! — услышал я взволнованный голос Окуня.

Створки раскрылись.

— Скорее, скорее! Сейчас будут повторять сообщение! — замахал руками Окунь.

Я влез в окошко и вслед за Окунем вбежал в его кабинку.

Окунь дал мне полотенце.

Так, наскоро натягивая на себя белье и одежду, я прослушал известное сообщение о болезни Сталина.

Свершилось

Около часу дня 5 марта 1953 года я, выполняя свою пожарную работу, разгребал снег с площади самого большого на лагпункте пожарного водоема.

Был обычный зимний день — мороз, густой снежный покров на земле, на крышах бараков и других строений лагпункта, сизые дымы над крышами.

В зоне пустынно. Большинство заключенных на работах, те, кто остался в зоне, сидят по своим баракам. На вышках, что по углам зоны, топчутся часовые в тулупах. Тепло одет и я. На мне удлиненный ватник — бушлат, валенки, шапка-ушанка. Поверх бушлата, как положено в часы дежурства, светлая брезентовая тужурка и широкий зеленый пояс пожарного с металлическими причиндалами для крепления в случае пожара необходимых приспособлений.

Работы немало. Площадь водоема с его двумя деревянными квадратными крышками и подъездные пути к нему завалило за ночь толстым слоем снега.

«Но ведь не лесоповал, не сортплощадка, — думаю я, — а научная работа, на которую меня нарядили по указанию Коробицына…»

Как все в эти дни, я думаю о Сталине: «Помрет, не помрет? И что с нами будет после того, как он помрет? Скорее всего, наступят какие-нибудь улучшения в нашей судьбе. А может быть, еще хуже станет?!..»

Все три дня после первого сообщения о болезни вождя только на эту тему шли разговоры в бараках и в рабочих бригадах, при любых встречах в зоне и в поселке Ерцево.

Анисим Семенович Шманцарь — бывший первый секретарь райкома Октябрьского района Ленинграда волновался и суетился больше всех.

Он в течение всех лет, что мы находились в лагере, неустанно перед сном молил судьбу об одном и том же, чтобы на следующее утро первым сообщением, с которого начнутся радиопередачи, было сообщение о смерти Сталина.

— Наконец, и на моей улице праздник! Наконец, дождался! — говорил он теперь всем и каждому с утра и до вечера. — В шесть утра заговорило радио. Просыпаюсь. Передают!!!

Я бросаю в сторону сугроба очередную лопату снега и, распрямившись, замечаю, что из бараков выбегают люди. Кто-то размахивает руками, кто-то машет шапкой. До меня еще не

доносится, что эти люди кричат, но я догадываюсь о том, что случилось.

Швыряю в сторону лопату и бегу к ближайшему громкоговорителю, в баню к Лазарю Львовичу Окуню.

Да! Подтвердилось! Сталин умер! Началось другое время.

Запахло свободой

То, что происходило в стране после смерти Сталина, хорошо известно и неоднократно описано. Я буду здесь, как и прежде, говорить только о том, что происходило там, где был я, и о том, что я лично видел и испытал.

Все разговоры между заключенными на лагпункте, как, надо полагать, во всех лагерях и тюрьмах страны, сводились теперь к одному. Все были уверены, что предстоит то или иное облегчение: амнистия, справедливый пересмотр дела. Говорили об этом и политические, и бытовики, и воры. Среди тех и других были оптимисты и пессимисты. В числе последних был и мой приятель Евгений Осипович Войнилович — ленинградский интеллигент, инженер. Когда мы познакомились в лагере, при первом же нашем разговоре выяснилось, что мы с ним оказались во внутренней тюрьме МГБ, в Шпалерке, в один и тот же день — шестого декабря 1949 года, в один и тот же час.

Евгений Осипович и теперь, после смерти Сталина, оставался неисправимым пессимистом. «Будет только хуже, — повторял он. — К власти придет Берия, или любой другой из сталинских соколов. Какой им будет резон нас выпускать?!»

Я был оптимистом всегда, а теперь тем более воспрянул духом и находил всяческие аргументы в пользу своей «гипотезы»: нас обязательно скоро выпустят.

Будущее показало, что я был и прав, и неправ. Нас выпустили задолго до окончания наших сроков, но не скоро. До того, как мы, политические, вышли на свободу, прошло много месяцев. Лично мне пришлось сидеть в лагере еще почти два года, до начала января 1955-го. И выходили мы все по-разному, в трех различных, если можно так выразиться, статусах.

Годы эти были наполнены многими яркими событиями. Много перемен ворвалось в лагерную жизнь.

Расскажу о наиболее интересном и значительном по порядку.

В то время, когда в Москве гроб Сталина устанавливали в Мавзолее, по всей стране, как известно, гудели трубы заводов, фабрик, паровозов и кораблей. Хор громких гудков был слышен и на нашем лагпункте. Гудели паровозы, остановившиеся по данному случаю на Архангельской железной дороге вблизи лагерного забора. Гудел наш лесозавод.

Паровозы наших лагерных веток не загудели. Молчали гудки паровозов, стоявших в депо 37-го железнодорожного лагпункта.

Все начальники, включая надзирателей на вахте, и находившиеся в помещениях тех или иных служб, и те из них,

кого гудки застали на улице, стояли как вкопанные, опустив головы и вытянув руки по швам.

Никто из заключенных, слушавших возле громкоговорителей в бараках или в рабочих помещениях репортаж с Красной площади, не встал. Те, что до этой минуты стояли, демонстративно сели на что попало.

Потом рассказывали, что-то же самое происходило во всех лагпунктах — и в нашем лагере, и по всей стране. Вероятно, кое-где были среди заключенных такие, кто хотел в этот момент встать, но не посмели это сделать, опасаясь презрения своих товарищей, а то и расправы со стороны уголовников.

Амнистия

Первый месяц после смерти Сталина проходил внешне спокойно, без каких-либо происшествий. Но в воздухе ощущалось, что все как-то не так, как было. Явно притихли надзиратели. Реже слышались грубые, а то и злобные окрики, то и дело вылетавшие раньше из их ртов. Само их обращение к заключенным, нередко напоминавшее обращение к собакам или к скотине, стало явно менее презрительным. Получилось это само собой, без какой-либо команды на этот счет.

Ну, а заключенные говорили только об одном — об амнистии. Слухи о ней — «параши» — распространялись с небывалой активностью.

Главные распространители «параш» среди нашего брата — политических — завхлеборезкой Наум Исаакович Лондон и завбаней Лазарь Львовичи Окунь неустанно обегали своих друзей, делая им очередные «уколы». Так прозывались бодрящие сообщения о предстоящем освобождении.

Не прошло и двух месяцев после смерти отца всех советских людей, как долгожданная амнистия наконец наступила.

Ее сразу же, и совершенно справедливо окрестили — «воровская амнистия». Ворам всех «мастей» и так называемым бытовикам она объявляла освобождение или значительное сокращение сроков. Под амнистию не подпадали убийцы и политические. В отношении последних была, правда, сделана оговорка, которую иначе, как издевательской нельзя было назвать. Амнистии подлежали «политические», имевшие срок, не превышавший пяти лет. Таких среди нашего брата — «пятьдесятвосьмушников» — были единицы. На нашем лагпункте по амнистии выходил «на слободу» только «политический» Яша Маркус, получивший пять лет лагеря как член «Академии перепихнизма».

Воры, естественно, бурно радовались своему освобождению. Вышеназванный Васька Калинин носился по всем баракам и, бия себя в грудь кулачишком, кричал: «Говорил я вам! Говорил — «пятьдесят восьмая не дыши!»

В том же духе, но, разумеется, без всякой радости, выступал в наших разговорах Евгений Осипович Войнилович: «Ну, что я вам говорил?! Съели?! Только еще хуже будет!» Возразить было нечего. Надежды на скорое освобождение сменились разочарованием и, конечно же, возмущением.

На волне тогдашних настроений и переживаний я написал в те дни стихотворение — «Амнистия»:

Стал сильнее блеск в глазах,
Глотки — голосистее.
Наконец-то, «на волах»
Прибыла амнистия!

Толковалы входят в раж —
И хулят и хвалят,
Ведра целые «параш»
На головы валят.

Чтобы подолгу друзьям
Слухами не маяться, —
Разберемся по статьям:
Что же получается?

Если парень из жулья,
Крал, не уставая, —
Это легкая статья,
Это бытовая.

Если дядя был горазд
Мальчиков насиловать, —
Что ж такого — педераст.
Надо амнистировать.

Если с кем поговоришь
(От не полной сытости) —
Под амнистию? Шалишь!
Ни за что не выпустят!!

Значит, тех, что говорят,
Языком болтают,
Без амнистий, в тот же ряд
С тем, кто убивает?!

Отчего такая твердь
В отношеньи слова?
Оттого, что слово — «смерть»
Для всего гнилого!

Воров стали освобождать косяками.

Попал под амнистию и вышел на свободу мой сменщик по пожарной службе, молодой мелкий воришка Володя Колесов.

Судьба этого амнистированного была весьма типичной. Через год он попался на мелкой краже, получил новый срок и вернулся на наш лагпункт. Встретив меня в зоне, он кинулся меня обнимать, выражая свою радость по поводу возвращения, как он сказал, «к себе домой».

«Домой» постепенно возвращались многие воры. Гулагерное начальство считало, видимо, целесообразным возвращать лиц этой категории на те места, где их единожды уже «исправили».

Ну а то, что творили амнистированные уголовники на воле — в поездах, в городах и поселках, — хорошо известно.

Инициатором амнистии считали Маленкова. Поэтому благодарные воры ласково именовали его — Малина. Как стало известно теперь, находившийся первые месяцы после смерти Сталина в составе руководства страной Берия предлагал амнистировать и политических, но его коллеги тогда на это не согласились. Однако поток жалоб на фальсификацию обвинений резко увеличился. В адрес прокуратуры, МВД, руководителей партии и правительства шли вагоны писем заключенных и их родственников.

После ареста, а затем и расстрела Берии политических решено было освобождать. Их освобождение связывали теперь с именем Хрущева.

Постановления об освобождении стали приходить постепенно, в ответ на заявление обратившегося с жалобой, или с просьбой об амнистии. Освобождение происходило в трех разных формах.

Одна из них — «Сократить срок до отбытого». Человека освобождали, как отбывшего срок наказания за совершенное им преступление. Это был самый худший вариант. Совершенно необоснованно репрессированный выходил из лагеря преступником, со всеми вытекающими из такого статуса последствиями. Именно таким образом был, например, освобожден сидевший в нашем лагере известный литературный критик и писатель, автор пьесы «Давным-давно» — о героине Отечественной войны 1812 года Надежде Дуровой — Александр Гладков. Его пьеса шла во многих театрах страны и за рубежом, по его сценарию был сделан знаменитый фильм — «Гусарская баллада», а он все еще жил в Петушках, так как не имел права прописаться в Москве.

Другой, наиболее массовой формой освобождения политзаключенных было помилование. Выглядело оно так: «Сократить — имярек — срок до пяти лет и применить в отношении него амнистию». Этот вариант был, конечно, лучше предыдущего. Помилование означало снятие судимости (в том

числе с тех, у кого ее и не было, то есть, с репрессированных по постановлению всяких троек и Особого совещания). Амнистия, однако, не позволяла тем, кто этого хотел, восстановить свое членство в партии, не открывала возможностей вернуться на тот или иной руководящий пост, или заново занять таковой.

Из моих лагерных товарищей по амнистии были освобождены многие. В том числе Илья Николаевич Киселев. Ему, как и многим другим амнистированным, пришлось предпринять, уже на воле, непростые хлопоты, чтобы обрести реабилитацию. Только после ее получения, в результате трагикомической сцены, которую он разыграл в Смольном, на заседании бюро Обкома партии, возглавляемого тогда Фролом Романовичем Козловым, Киселев был восстановлен в партии. Это позволило ему через некоторое время стать директором «Ленфильма».

Третьей, самой лучшей и справедливой формой освобождения сидящих по 58-й статье, была реабилитация. Она означала: признание соответствующими властями, что отбывающий наказание был невиновен и репрессирован незаконно. Вполне понятно, что раздавать такие признания власти хотели, как можно реже. Удостоиться реабилитации в принципе могли только те, кто на следствии не оговорил ни себя, ни своих «подельников».

Мне, как и всем заключенным, очень хотелось освободиться, вернуться к семье, к сыну, которого я оставил полуторамесячным, к любимой работе, к своим успешно начатым научным исследованиям. Да и просто к нормальной человеческой жизни.

Абсолютная уверенность в своей невиновности усиливала никогда не ослабевавшее с годами стремление к воле, усиливала надежду на то, что она наконец придет. При этом мне мало нравилась перспектива выйти на свободу досрочно освобожденным преступником, или, что почти то же самое, — преступником помилованным. И, поскольку я не признал на следствии ничего из предъявлявшихся мне обвинений, я твердо решил: не просить об амнистии, а требовать полной (хочется написать здесь — и безоговорочной) реабилитации.

Об обстоятельствах моего освобождения, поскольку оно произошло, как я уже написал выше, только в первые дни 1955 года, я расскажу позже. До этого протекли еще многие месяцы лагерной жизни. Внешне она оставалась прежней. Тот же высокий забор, увенчанный колючей проволокой вокруг лагпункта, та же «запретка» по его внутреннему периметру. Тот же «собачий троллейбус» — немецкие овчарки, бегающие на поводках, которые со звоном скользят по проводам, натянутым с внешних сторон забора. Те же вышки с вертухаями на четырех его углах.

Тот же режим: подъем, развод. Тот же вологодский конвой, сопровождающий колонны заключенных на работы. То же предупреждение — «Шаг вправо, шаг влево…» Та же работа. В зоне те же поверки — пересчет находящихся в ней заключенных по головам. Все вроде бы то, и вместе с тем все постепенно менялось.

Лагеря были изъяты из подчинения МВД и переданы в ведение Министерства юстиции. За МВД и его сотрудниками сохранялись только организация работ и другие хозяйственные функции. Надзиратели, охрана заключенных, словом, все, кто осуществлял лагерный режим, оказались теперь представителями юстиции.

Пропагандистское значение этой меры — понятно: создать впечатление о смягчении гулаговского режима и прекращения репрессивного произвола, придания карательной системе правового характера. Практически, естественно, надзиратель не превращался в адвоката или даже в прокурора. Конвоир, разумеется, не сделал бы шаг в сторону права и по-прежнему стрелял бы в того, кто сделает «шаг вправо…» из охраняемой им колонны. Тем не менее, в головах начальства стало что-то происходить. Это стало особенно заметно летом и осенью 1954 года. Все нарастающим потоком стали тогда приходить из Москвы положительные ответы на заявления политзаключенных о пересмотре дел.

В этой обстановке многие лагерные начальники, особенно те, кто знал за собой грех жестокого обращения с «врагами народа», явно «подобрели». Предвидя, что, оказавшись на воле, некоторые из их бывших подопечных (тем более те, кто сумеет восстановить прежние высокие связи) станут жаловаться на факты лагерного произвола, они старались как-то задобрить будущего «освобожденца». Некоторые стали заводить покаянные разговоры, жаловаться на приказы сверху, которые они якобы через силу выполняли.

Искусство принадлежит «врагам народа»!

Да, именно так. Искусство, при этом настоящее, большое, принадлежало в лагерях всецело, и без каких либо исключений, заключенным. Выступлений на лагерных сценах «вольных» артистов или музыкантов просто не бывало. А среди нашего брата — «врага народа» — было много профессиональных артистов, музыкантов, писателей. Еще больше было талантливых людей, многие из которых стали в будущем профессионалами, и обрели известность в различных родах искусства и литературы.

Справедливость требует сказать и о том, что немало талантливых людей было среди уголовников. И плясунов, и людей, хорошо игравших на различных музыкальных инструментах. Были и такие, кто в силу неодолимого желания съездить в составе нашего самодеятельного коллектива на концерт в женский лагпункт становились танцорами или певцами в хоре, или даже акробатами.

Несколько слов об интерьере нашего клуба и об общей обстановке, в которой происходила его работа.

Отдельного помещения у клуба не было. Для киносеансов, концертов и постановок наезжавшей к нам общелагерной культбригады, а также для выступлений нашей собственной самодеятельности просторное помещение лагерной столовой превращалось в зрительный зал.

В одном его конце, при входе в столовую, была оборудована кинобудка. В ней стояли два киноаппарата, обеспечивавшие вполне качественную демонстрацию кинофильмов. В другом конце зала находилась довольно высокая и большая сцена, снабженная черным бархатным занавесом и такими же бархатными кулисами. В течение дня, пока функционировала столовая, занавес был обычно закрыт. В левой стороне стены за сценой была дверь в небольшую кабинку, в которой жил заключенный — заведующий клубом. В 1953 году в ней довелось поселиться и мне. За сценой с правой стороны, была дверь в музыкальную комнату. В ней стояло пианино и хранились музыкальные инструменты. Там проходили репетиции солистов — певцов и музыкантов, играющих на духовых или струнных инструментах.

Многие музыканты, особенно те, которых отправили в лагеря из Прибалтики, имели присланные им или привезенные на свидания собственные инструменты — скрипки, мандолины, аккордеоны.

На концерты культбригады и собственной самодеятельности,

нарушавшие однообразие лагерной жизни, шло все население лагпункта. Огромное помещение столовой превращалось в зрительный зал.

Трудно представить себе, как бывал он набит людьми. Сидели в проходах, на коленях друг у друга, стояли на сдвинутых в сторону столах, на подоконниках. Некоторые зрители по два часа на плечах своих приятелей, некоторые сидели на полу перед первым рядом, у самой сцены, так что по всем законам физики, они не могли ничего разглядеть, но, тем не менее, сидели. Однажды я видел, как один молодой паренек из воришек весь концерт провисел, держась попеременно то одной, то другой рукой за край большой железной печки.

Обстановку, в которой обычно происходили у нас концерты или спектакли, вполне можно себе представить на примере хотя бы таких случаев.

Небывалый доклад о международном положении

Среди лагерного начальства было немало бывших сотрудников МГБ и МВД, «высланных» на работу в лагеря за какие-либо провинности.

В 1952 году появился на нашем лагпункте новый начальник КВЧ (культурно-воспитательной части) — лейтенант Зайцев, изгнанный из ленинградского управления МГБ за пьянство.

Это был человек еще молодой, лет двадцати шести, щуплый и добродушный. Заключенным он весьма понравился. Лейтенант Зайцев приходил по утрам в зону уже пьяным, никогда ни к кому не придирался, приветливо здоровался с каждым встречным и тихо отсиживал пару часов в помещении КВЧ. Иногда он возвращался в зону в состоянии уже полного опьянения. Бывали случаи, когда он валялся в зоне возле дороги в полной форме, на потеху заключенным. Но чаще он засыпал на деревянном диване у себя в культурно-воспитательной части. Надо заметить, что пьяницы среди начальства встречались нередко. Но такого, как лейтенант Зайцев, еще не бывало. Довольно скоро он установил определенное «культурное общение» с заключенными — на их деньги закупал и приносил в зону водку и, само собой, участвовал в ее распитии. Над лейтенантом Зайцевым стали сгущаться тучи начальственного гнева. Ему искали замену. Но пока ее не было, он продолжал «работать» в прежнем духе. В числе его обязанностей были такие, обойти которые было невозможно.

Накануне празднования 7 ноября на наш лагпункт приехала общелагерная культбригада. На этот раз в ее программе была оперетта «Свадьба в Малиновке».

Зал, как всегда в таких случаях, забит, точно этапный вагон: сидят друг на друге, сидят вплотную перед сценой. Только в двух первых рядах нормально сидят начальники, их жены и взрослые дети. Начальство здесь — значит, скоро начало.

Это чувствуется и по другим признакам. Все больше уплотняется воздух. Со сцены, из-за бархатного занавеса, слышатся все более нервные удары молотков установщиков декораций. Перед сценой сидит оркестр, пиликают настраивающиеся скрипки. Совсем как в Большом театре. Кстати, первую скрипку играет скрипач Большого театра Беня Шклярский. На контрабасе — Ефимов, в будущем он был в составе государственного оркестра СССР под руководством

Кирилла Кондрашина.

Раздаются нетерпеливые хлопки. Зрители знают, что перед опереттой, ради которой они пришли, им придется выслушать доклад начальника КВЧ о международном положении. То и дело раздаются возгласы:

— Давай, начинай, начальничек!

— Толкай доклад быстрей!..

— Доклад! Доклад давай!!

Наконец бархат закачался, стало тихо, и перед рампой появился лейтенант Зайцев. Зал зааплодировал. Трудно сказать, чего больше было в этих аплодисментах — насмешки ли, как над клоуном, или, напротив, выражения симпатии к хорошему начальнику или, наконец, просто привычки, привезенной с воли, — встречать докладчиков аплодисментами.

Лейтенант Зайцев молча покачивался на фоне занавеса. Сапоги его, освещенные рампой, сверкали. Аплодисменты нарастали, становясь бурными и продолжительными.

— Товарищи! — торжественно произнес лейтенант Зайцев. Непривычное обращение вызвало новый взрыв аплодисментов.

— Мы живем в окружении международного положения, — продолжал докладчик. (Снова бурные, продолжительные аплодисменты).

— А поскольку мы живем в окружении.

— В оцеплении! — несется из зала.

— В оцеплении, — соглашается оратор. (Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в долгую овацию.)

— Они, гады, нас не уважают! — Докладчик угрожающе помахал рукой. Он, надо полагать, имел в виду западных и прочих империалистов, но показывал явно в сторону сидевших в первом ряду начальников.

— Но мы все добьемся освобождения! — воскликнул оратор.

— Добьемся! Добьемся! — понеслось из зала.

Доклад становился все интереснее. К сожалению, он оборвался самым неожиданным образом.

Пережив овацию, Зайцев открыл рот. Но вместо членораздельной речи послышался характерный звук, докладчик странно перегнулся над рампой, и струя рвоты хлынула на оркестрантов и на зрителей, сидевших на полу перед оркестром.

Тут сотворилось нечто неописуемое. Поэтому взамен описания придется ограничиться лишь перечнем основных звуков и «кадров» этой картины.

Рев, свист, хохот всего зала как общий фон.

Нестройный хор начальственных кликов.

Грохот опрокинутых скамеек и стульев.

Звон разбитого стекла

Крики и возня на сцене.

Пострадавшие вскочили с пола, как ошпаренные. Вскакивая, они опрокинули пюпитры с нотами. На этой почве взметнулась пара блиц-драк с музыкантами. С криками: «Бей его!.. Бей гада!» — пострадавшие ринулись на сцену, за занавес, куда сразу же скрылся докладчик. Из-за занавеса раздались крики, громыхнула упавшая декорация. Возня переместилась к самому занавесу. К всеобщему удовольствию занавес оборвался и упал.

По сцене, щедро поливая березки и хатки декоративной Малиновки, метался лейтенант Зайцев. За ним, настигая его то пинком ноги, то ударом кулака, носились «оборванные», то есть облитые рвотой зрители. При этом никто из них не пытался схватить и остановить Зайцева, так как важнее всего для них было продлить «спектакль» на радость неистовствующему залу. Тут же бегали два надзирателя, старавшиеся схватить заключенных, осмелившихся поднять руку на начальника.

Наконец на сцену выбежали два инструктора политотдела и оперуполномоченный. Они пытались схватить Зайцева. Но так как они не хотели при этом запачкаться, у них ничего не получалось.

Зал ревел, стонал, топал, хлопал, свистел. На сцене истошно вопили актеры культбригады. Они в конце концов и решили исход происшествия. Премьер нашей лагерной сцены — будущий директор Ленфильма Илья Киселев — накинул на лейтенанта Зайцева плотный тюлевый задник, в котором тот запутался. Тогда начальники и надзиратели унесли его со сцены через выход во двор.

На авансцену вышел начальник политотдела и объявил:

— Международное положение отменяется!

Пока налаживали занавес и очищали декорации, прошло немало времени. Зал постепенно успокоился. Мало кто обратил внимание на то, что оперуполномоченный вернулся в зал, сменив форму на гражданский костюм. Позднее стало известно, что лейтенанта Зайцева так плотно завернули в тюль, что едва не задушили. Пришлось делать ему искусственное дыхание. Тут-то он и завершил свой доклад на гимнастерку откачивавшего его оперуполномоченного. Больше лейтенанта Зайцева в нашем лагере не видели.

«Обыкновенный» концерт

Не раз случалось мне видеть в Ленинграде на афишных стендах и тумбах афиши, извещавшие о концертах в филармонии и других залах известного исполнителя еврейских песен, заслуженного артиста РСФСР Эппельбаума. И вот он приехал на наш лагпункт. В качестве заключенного, естественно. Доставили его к нам по этапу с какого-то другого лагпункта Каргопольлага.

Это был высокий, статный мужчина лет пятидесяти, с изрядно просвечивающей лысиной. Одет он был по-лагерному — в телогрейку и серую куртку.

Я познакомился с ним в кабинке милейшего нашего завбаней — полковника Окуня. Лазарь Львович Окунь, на редкость общительный и доброжелательный человек, обязательно приглашал к себе в баню каждого вновь прибывшего интеллигента и знакомил его с нами — аборигенами 2-го ОЛПа. Мне, скажу откровенно, знаменитый артист сразу же не понравился. Он держался с явным высокомерием, стараясь не выходить из образа большого артиста, избалованного почитанием и аплодисментами.

Мне показалось, что Эппельбаум к тому же и глуповат. Я плохо умею скрывать свое неприязненное отношение к тем людям, которые его у меня вызывают. Не удержался я и здесь от насмешливого отношения к разглагольствованиям Эппельбаума, за что позднее получил «втык» от Лазаря Львовича.

— Как вы могли! — кипятился Окунь. — К нам прибыл такой человек! Его знает весь мир!

— Ну, сбавьте хоть одно полушарие! — отвечал я. — И то много будет.

Будущее вскоре показало и полковнику Окуню, да и всем прочим, что носиться с Эппельбаумом как с писаной торбой не стоит.

Вслед за ним с других ОЛПов, на которых он побывал, пришли некоторые отзывы о его поведении. Стало известно, что, оставаясь ночевать у радостно принимавших его заведующих столовыми, банями, клубами — то есть у тех, кто по своей должности жил не в общих бараках, а в отдельных кабинках при этих учреждениях, Эппельбаум постоянно обворовывал гостеприимных хозяев. Во время его пребывания у них из их тумбочек пропадала всякая снедь, присланная родственниками в посылках или купленная в лагерном ларьке. А бывало, из карманов телогреек исчезала и какая-нибудь пятирублевка или десятка.

Пожалуй, учитывая все это, можно было бы и вообще не говорить про Эппельбаума. Однако с ним связан один весьма яркий эпизод из нашей лагерной жизни, о котором рассказать стоит.

* * *

День Победы 9 мая отмечался в те годы в лагерях с особым чувством, которого и не могло быть у тех, кто отмечал этот день на свободе.

Большинство, по крайней мере больше половины, сидевших тогда в лагерях — были вчерашние (после Победы прошло всего 5–7 лет) участники Великой Отечественной войны: сидели рядовые и офицеры, бывшие командиры взводов, рот, полков, дивизий, корпусов и армий — словом, от рядовых до маршала, как, например, маршал авиации Ворожейкин, побывавший на нашем лагпункте. — бывшие военнопленные и в плену не бывавшие. Здесь в качестве «врагов народа» тянули свои сроки защитники Ленинграда и Москвы, герои Севастополя и Сталинграда, герои, форсировавшие Днепр и Одер, герои, штурмовавшие Рейхстаг. Сидели освободители от фашистов Польши, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, тысяч городов, поселков, деревень нашей страны — пехотинцы, артиллеристы, летчики, моряки. А если прибавить к ним жителей оккупированных земель, мужчин и женщин, трудившихся в тылу, — получалось, что почти все сто процентов сидящих в лагерях были вчерашними участниками Великой Отечественной.

До написания слов известной теперь песни: «Это праздник со слезами на глазах…» — было тогда еще очень далеко. Притом ее авторы имели в виду вовсе не слезы лагерников, их жен, матерей, детей. А между тем, эти слова относились бы к ним раньше, чем к кому-либо другому.

Слез на глазах зеков, поздравлявших в этот день друг друга с Днем Победы, не было. Но формула «праздник со слезами на глазах» — дикая несправедливость, обрушившаяся на тех, кто не хуже, а порой и лучше многих других воевал за празднуемую победу, а оказался к тому же, как правило, без всякой вины за колючей проволокой, да еще с клеймом «враг народа» или «изменник Родины», — в этот день особенно остро давала о себе знать в душе каждого, кого эта несправедливость постигла.

В клубе лагпункта задолго до 9 мая готовили праздничный концерт. Вполне естественно, что завклубом — Григорий Иванович Ситкин — включил в него и Эппельбаума, прибывшего

незадолго до того на наш лагпункт.

Разумеется, не могло быть и речи об исполнении им чего-либо из его обычного репертуара — из еврейских песен. Во-первых, содержание всего концерта определялось единой темой — День Победы. И кроме того, исполнение еврейских песен, хотя в лагерях антисемитизма не наблюдалось, было не очень уместно после недавно отгремевшей кампании по борьбе с космополитизмом, имевшей выраженный антисемитский характер, и накануне «дела врачей-евреев», увенчавшего антисемитские подвиги тогдашней партийной и государственной номенклатуры. Эппельбаум поэтому охотно согласился спеть песню о Великой Отечественной.

Вечером 9 мая, после того, как отужинали вернувшиеся с работы бригады (9 мая в те годы было по всей стране рабочим днем), наша столовая, как всегда в таких случаях, была превращена в зрительный зал.

На этот раз зал был особенно плотно заполнен заключенными. В первых двух рядах, тоже как обычно, разместились начальники из управления Каргопольлага и наши оэлповские начальники. Многие из них пришли на концерт с женами. Некоторые привели и своих детей — подростков.

После короткого слова о Победе, произнесенного перед занавесом начальницей КВЧ (культурно-воспитательной части) зал по традиции разразился бурными аплодисментами. В этом и в подобных случаях аплодисменты выражали благодарность публики за то, что доклад был кратким.

Оркестр грянул мотив песни «Идет война народная». Медленно пошел в стороны черный бархатный занавес, и взорам зрителей открылся задник, сделанный художником Володей Сазоновым. На фоне огромного, почти во всю стену, ярко раскрашенного ордена Победы красовалась голова генералиссимуса Сталина. Вождь смотрел в зал. Его усы художник нарисовал заметно длиннее их реальной пропорции.

Зал понял намек. В уголовном мире Сталина не называли иначе как «Усатый».

Зал снова разразился бурной овацией. К ней присоединились и начальники. Понравился им портрет или нет, но не аплодировать Сталину они не смели. Однако различный смысл, вкладываемый в эти общие — начальственные и зековские аплодисменты, тут же проявился с достаточной ясностью. Захлопав в ладоши, начальники и пришедшие с ними жены в едином порыве вскочили на ноги и продолжали аплодировать стоя. За первыми двумя начальственными рядами в зале не поднялся ни один человек.

Но вот овация стихла. Начальство уселось на свои места. На середину сцены, к рампе вышел ведущий и торжественно объявил первый номер.

— Заслуженный артист Российской Социалистической Федеративной Республики Эппельбаум.

Зал встретил Эппельбаума аплодисментами. Стало тихо. Вероятно, столь торжественно оглашенное высокое звание артиста произвело впечатление.

Однако сам Эппельбаум, полагаю, по глупости это впечатление тут же снизил. Вместо того чтобы запеть своим безусловно красивым, хорошо поставленным баритоном, он решил подыграть залу дешевым эстрадным хохмачеством.

Картинно поклонившись на аплодисменты, он, разведя поочередно в стороны руки, продекламировал:

Выступал я тут и там,
А теперь приехал к вам.

Тут из середины зала раздался громкий возглас:

— Вот поц!

Слова эти выкрикнул Ян Рокотов — человек, ставший впоследствии очень знаменитым благодаря первому в СССР валютному делу. Ян Рокотов был тогда расстрелян по личному указанию Хрущева, в нарушение действующего законодательства. А у нас он сидел по знаменитой «разговорной» статье 58–10 и был в 1954 году освобожден с помощью того же Хрущева. Стоит отметить, что Ян Рокотов был сыном известного старого большевика Тимофея Рокотова, умершего, если не ошибаюсь, своей смертью и в полном почете.

После выкрика «Вот поц!» в зале раздался всеобщий хохот. Послышались новые выкрики:

— Во дурак!

— Других по этапу привозят, а он сам приехал!

— Знать, на воле остался заслуженный артист без публики — вот и приехал!

Вышедший на сцену ведущий понемногу успокоил зал. Аккомпаниатор Геннадий Бузаев дал несколько вступительных аккордов, и Эппельбаум, принявший торжественную осанку, запел:

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья-однополчане.

— Все здесь! — раздалось из зала.

— Здесь мы! Здесь! — подхватили уже несколько голосов.

Зал снова разбушевался. Снова раздались аккорды, и Эппельбаум снова запел.

Первые две строчки зал выслушал тихо, как бы нарочно затаясь перед бурной реакцией. И как только Эппельбаум пропел: «Где же вы теперь, друзья-однополчане…», зал взорвался криками:

— Здесь! Здесь!

Отчетливо прозвучал возглас:

— Спасибо великому Сталину за нашу счастливую жизнь!.. — Хохот, аплодисменты.

— Спасибо великому Сталину… — прозвучало из разных концов зала.

В первом ряду встал и повернулся к залу сам начальник КВЧ Каргопольлага подполковник Мелькин.

— Прекратить! Прекратить безобразие! — прокричал он грозным голосом. Но вдруг, не дожидаясь результата своего окрика, поспешно сел на место и как-то ссутулился. Похоже, спохватился, что обозвал безобразием здравицы в честь Сталина.

Оркестр снова заиграл: «Идет война народная…» Половинки черного бархатного занавеса с необычной скоростью пошли навстречу одна другой. Когда они снова распахнулись, Эппельбаума на сцене уже не было. Ведущий объявил следующий номер концерта.

Вскоре Эппельбаум сам напросился на этап и был отправлен из Каргопольлага в какой-то другой лагерь.

Ни я, ни, надо полагать, прочие наши «пятьдесятвосьмушники» расставанием с ним опечалены не были.

Театр под конвоем

Общелагерная культбригада — театр, в котором было немало профессиональных актеров и музыкантов — проживала и репетировала не на нашем лагпункте. Главным отличием ее постановок и концертов от тех, что ставились у нас, было то, что женские роли в них исполняли всамделишные женщины. Уже по одной этой причине приезд культбригады на тот или иной лагпункт вызывал там особый интерес у зрителей-мужчин, заполнявших клубные залы. Большинство из них по многу лет не выходили за зону и в глаза не видели женщин, кроме нескольких начальниц в военной форме, или врачих в белых халатах.

В культбригаде было немало профессиональных актеров и музыкантов. Были и талантливые непрофессионалы.

Назову здесь имена несколько знаменитых и запомнившихся участников культбригадного театра.

Наиболее яркой фигурой в нем был, несомненно, Илья Николаевич Киселев, в прошлом артист ТРАМа (Театр рабочей молодежи), а в будущем директор Театра им. Комиссаржевской (при нем это имя и было присвоено бывшему Пассажному театру), многолетний директор киностудии «Ленфильм», а затем Театра им. Пушкина (Александринского театра).

Ленфильмовцы, деятели театров и общественные деятели Ленинграда хорошо знали Киселева — полноватого, можно сказать, грузного человека, с тяжелой походкой, с черными вьющимся волосами, припудренными проседью. При этом он отличался необычной, тем более для начальства, в том числе и для «культурного», напористостью и экспрессивностью речи.

Он с одинаковым напором давал советы — указания сценаристам, режиссерам, и произносил застольные тосты, даже в домашней обстановке. Ходили слухи, будто Илья Николаевич Киселев по одному из своих родителей — цыган. Так ли это, не знаю. Не интересовался.

В наши лагерные годы Киселев был по характеру таким же, а по фигуре совсем другим — стройным и легким. Так, например, нацепив шаржировано увеличенную фуражку с непомерно большим козырьком и полувоенную форму, он лихо отплясывал вприсядку, изображая «бандита Тито». Киселев исполнял премьерные роли героев-любовников в опереттах, которые привозила к нам культбригада, хорошо пел и танцевал.

Другим хорошо известным человеком в лагерной культбригаде был упомянутый выше драматург и литературный критик Александр Гладков. Он был известен еще до своего ареста

как автор пьесы «Давным-давно», посвященной героине Отечественной войны 1812 года, кавалерист-девице Надежде Дуровой. В культбригаде он исполнял должность завлита и, надо полагать, так или иначе помогал в выборе репертуара, и в написании различных текстов. При этом он отличался, по крайней мере там, в лагере, необычайной леностью и даже неподвижностью. Его невозможно вспомнить в каком-либо движении, и вообще в какой-либо иной позе, чем возлежащим на койке с трубкой во рту. Он оставался на койке в бараке, где размещали приехавшую культбригаду, даже тогда, когда его товарищи выступали на сцене. Разумеется, Гладков много читал. Я не раз приносил ему книги из нашей лагерной библиотеки и, если было время, присаживался к нему на койку, чтобы поговорить о новостях литературной жизни, за которой он старался по возможности следить.

После лагеря мы с ним встречались крайне редко и только на Ленфильме у Киселева. Последний много помогал Гладкову в его киноделах.

Однажды осенним солнечным днем мы с Гладковым шли вместе из Ленфильма в сторону Невского. Он к себе в Европейскую, где остановился, а я к себе на работу в Публичку. Когда спустились с Кировского моста к Марсову Полю, я предложил Гладкову присесть на скамейку покурить. Он охотно согласился.

— А не прилечь ли вам, по старой доброй традиции? — спросил я.

Гладков, то ли поддерживая мою шутку, то ли и в самом деле, будучи не прочь полежать, растянулся на скамейке. Правда, быстро поднялся и сел. Вероятно, ему было неуютно лежать на узкой и жесткой скамейке. Тем более, при его солидном весе.

На похороны своего старого друга — Киселева — Гладков из Москвы не приехал.

В культбригаде было еще несколько ярких, запомнившихся людей. Великолепный скрипач из оркестра Большого Театра — Бениамин Шклярский. Замечательный ударник — Лев Шанин.

Из женщин культбригады самой яркой актрисой была «красючка» (так блатные именовали красивых женщин) Верка Карташова. Я назвал ее Верка потому, что никогда не слышал, чтобы кто-нибудь назвал ее полным именем. Это была действительно красивая девчонка, небольшого роста, со светлой косой, обмотанной вокруг головы, с хорошим голосом и несомненным комедийным талантом. Она исполняла главные женские роли во всех опереттах, поставленных культбригадой. До лагеря Карташова была студенткой. Сидела за разговоры.

К рассказанному здесь о культбригаде следует добавить, что возили ее для выступлений по двум десяткам ОЛПов Каргопольлага под конвоем автоматчиков и собак, что жили ее артисты только в зонах, без права выхода за пределы лагерных заборов. Когда бригада приезжала на наш лагпункт, артистов под конвоем водили в «вольный клуб», находившийся в поселке Ерцево рядом с управлением Каргопольлага. Там они давали концерты или ставили для начальства те же оперетты и пьесы, которые показывала заключенным. Прогулка под окрики вологодского конвоя и под лай овчарок не очень располагала к выполнению предстоящей работы — веселить «гражданинов начальников» и их супруг. Я написал тогда стихотворение, посвященное подконвойным артистам.

Прежде чем привести его здесь, хочу сказать то, что всегда говорю по поводу своих стихов, особенно тюремных и лагерных. Я не поэт и никогда не считал себя таковым. Но как историк я оцениваю свои тогдашние стихи как документы, как исторические источники, полезные для изучения, отразившегося в них времени. Они сохранили детали, которых нет в других источниках. Прежде всего, некоторые нюансы душевного настроя тогдашних людей, их видение событий своей эпохи.

Смех

Горит огнями клуб поселка.
Внутри — парад последних мод.
И дама каждая, как елка
Украсилась на Новый год.

Сверкают серьги, кольца, блестки,
Глаза горят светлее свеч,
И черно-бурые треххвостки
Кой у кого свисают с плеч.

Мужчины — в форме преотличной.
Полно погон и портупей.
Вид, что у публики столичной.
Вот, разве, лица потупей.

Утихли свары, слухи, сплетни, —
Все дрязги кучного жилья,
И лица светятся приветней:

Всем хорошо, и все — друзья.

Над снежной улицей поселка
Раздался лай и злобный вой.
Два пса, два прирученных волка
Сопровождают спецконвой.

Ссутулившись от воя волча,
Угрюмо вглядываясь в снег,
Голов не подымая, молча,
Бредут двенадцать человек.

Кругом белеет снег искристый,
Белеет кожа полушуб.
Кого ведут? Ведут артистов.
Ведут на сцену. В вольный клуб.

Несут под снежною порошей
Пожитков тягостную грузь,
Несут в сердцах тяжелой ношей
Неизбываемую грусть.

Раздался окрик: — Эй! Народный!
Чего плетешься? Иль уснул?!
Качнулся штык, и пес голодный
Сильнее повод натянул.

Но вот и рампа. В зал притихший
Крадется шепот, словно вор:
— Ты погляди. Народный бывший.
За что сидит? — За разговор.

И вот, все стихли. Очень скоро
Пришел заслуженный успех,
И смеху мастера-актера
Раскатом вторит зала смех.

Ха-ха-ха-ха! И зал хохочет,
В ладони яростно стучит.
То будто громом прогрохочет,
То пулеметом прострочит.

Но постепенно в хохот дикий
Актера смех перерастал.

Смеялся зал дубоволикий,
И вдруг смеяться перестал.

Как будто кто-то грозный, свыше,
Своим холопам подал знак.
Вдруг чей-то голос был услышан:
«Над кем смеется этот враг?»

Рядами кресел зал захлопал,
И все пошло своей канвой:
Кто к дому, кто в буфет затопал,
А кто — обратно под конвой.

Наш клуб

Театральная, концертная и вообще творческая жизнь нашего собственного лагпунктовского клуба была очень насыщенной. На лагпункте было много одаренных и талантливых людей. Наши концерты по своему содержанию и художественному уровню порой превосходили выступления культбригады. Я говорю только о концертах потому, что ставить полноценные пьесы, или оперетты мы не могли из-за отсутствия женщин для исполнения женских ролей. Правда, отдельные веселые сценки и скетчи, в которых были женские роли, мы ставили с большим успехом, благодаря талантливому комику Михаилу Бадикову — профессиональному актеру из Кишинева. В нашей зоне он работал парикмахером — стриг и брил целые бригады работяг, приходивших в баню, стриг и брил нас — своих друзей и, разумеется, блатных авторитетов, а иногда и начальников. По характеру этот человек небольшого роста был очень говорлив, постоянно рассказывал какие-нибудь истории, передавал различные лагерные слухи и «параши». Всего этого он вдоволь набирался от своих разнообразных клиентов. При этом Миша Бадиков обладал хорошим чувством юмора. Когда он выходил на сцену в женском наряде, с подложенными грудями и задом, с ярко накрашенными губами, зрители всех интеллектуальных и статусных уровней каждый раз буквально валились со стульев от хохота. Хватало у нас и других талантливых исполнителей. Назову хотя бы одного из них — прославленного своим искусством хирурга, доктора Леонида Фотиевича Брусенцева. В годы войны он служил в воздушно-десантных войсках. Будучи заброшен в тыл противника и попав в плен, доктор Брусенцев совершил «тяжкую измену» Родине: находясь в лагере, оказывал медицинскую помощь не только своим — советским военнопленным, но и раненым немцам в ближайшем госпитале. За эту «ужасную измену» доктор Брусенцев получил ужасный (уже без всяких кавычек) срок — 25 лет лагерей строгого режима. Но при этом несмотря на, казалось бы, беспросветные перспективы своей судьбы, Фотич (его обычно так называли) был исключительно добрым, жизнерадостным человеком.

Однажды с этапом из Харькова прибыл к нам в Ерцево небольшого роста молодой украинец Василий Хирный. Он, как оказалось, обладал замечательным — говорю без преувеличения — баритоном. Вася Хирный стал непременным участником всех наших концертов. Многие заключенные нашего лагпункта и нередко разные начальники специально приходили на наши

репетиции, чтобы послушать Хирного. Василий не был профессиональным музыкантом, но где-то явно учился пению. Он хорошо разбирался в партитурах опер. Репертуар его был разнообразен. Он с одинаковым успехом исполнял оперные арии, народные и современные массовые песни. И нам стоило больших трудов отстоять его от притязаний культбригады.

Отдельно надо сказать о наших музыкантах. И, прежде всего, о двух выдающихся композиторах и пианистах — Геннадии Бузаеве и Борисе Магалифе. С каждым из них, пока он был жив, я поддерживал самые теплые отношения. Мы постоянно переписывались. Бузаев и Магалиф не раз приезжали в Ленинград. Я съездил в гости к Бузаеву в Волгоград. Каждый из них прожил после заключения долгую музыкально-педагогическую и композиторскую жизнь. Бузаев в Волгограде, Магалиф в Белоруссии. В лагере оба работали учетчиками. Бузаев в подсобных сапожно-пошивочных мастерских. Магалиф в какой-то из лесозаводских бригад. Оба они прекрасно аккомпанировали концертным номерам и солистам, выступали с отдельными фортепианными номерами и сочиняли отличную музыку. В основном на слова песен, сочиненных для нашего концертного репертуара. В том числе и автором этих строк.

Весной 1953 года на наш лагпункт был назначен новый начальник КВЧ (Культурно-воспитательной части). Им оказалась женщина — жена начальника Особого отдела Каргопольлага полковника Носова — капитан внутренней службы Александра Семеновна Носова. Ничего хорошего от такого назначения никто из заключенных не ждал. Думали, что под ее началом культурная жизнь в лагере замрет. Все понимали, что ее супруг является главным блюстителем политического, а значит, и культурно-воспитательного режима в лагере, начальником всего оперсостава и, соответственно, всех стукачей на всех лагпунктах и во всех подразделениях.

По своей должностной силе начальник Особого отдела стоял даже выше всемогущего Коробицина, поскольку мог и даже был обязан доносить на него в Москву, в случае если бы тот дал на это повод. Ну, а в том, что жена будет капать на ухо своему начальнику-мужу обо всем, что покажется ей на лагпункте неладным, — в этом сомневаться не приходилось.

К счастью, эти опасения оказались напрасными. Вскоре после своего назначения Александра Семеновна Носова превратилась в «Маму Сашу». За глаза мы ее иначе обычно и не называли, хотя официальным обращением, естественно, оставалось — «гражданин капитан».

Ко времени появления на нашем лагпункте Александре

Семеновне было лет тридцать пять. Ходила она всегда в форме: синий берет или армейская ушанка с красной звездочкой, шинель с синими петлицам. Под шинелью — гимнастерка и синяя юбка. На ногах — зимой аккуратные валеночки, в теплое время — туфельки на высоких каблуках. У нее были длинные черные волосы, собранные на затылке, и карие глаза. На ее лице обычно сохранялась доброжелательная улыбка.

До замужества и поступления на службу в МВД Александра Семеновна была у себя на родине, в Нижнем Новгороде, преподавателем химии в школе. И в ней, видимо, многое оставалось от педагога, хорошо относившегося к своим воспитуемым.

Говорю так потому, что Мама Саша привнесла много доброго в нашу недобрую подневольную жизнь.

Поскольку была она женой самого Носова, начальство лагпункта не только прислушивалось к ее советам, но старалось выполнять ее просьбы. И Мама Саша постоянно пользовалась этим. Многих ЗК нашего лагпункта спасла она от отправки на этапы. Многих избавляла от заключения в БУР (Барак усиленного режима, попросту говоря, — карцер). Многим помогла получить пропуск на бесконвойный выход за зону. Однако главное, что сделала для нас капитан Носова, связано с нашим клубом. Она вдохнула в его работу новую жизнь. Ей удалось сделать то, о чем никто из нас прежде не мог и подумать, то, чего бы не мог организовать ни один другой начальник, даже если бы очень захотел. Она добилась через руководство Управления лагерем, и конкретно, через Политотдел, разрешения на поездки нашего клуба с концертами на женские лагпункты. Перспектива таких поездок вызвала небывалый энтузиазм, и не только у постоянных участников наших репетиций и представлений. К заведующему клубом потянулись заключенные, готовые ради участия в будущих поездках к женщинам, выучиться искусству, которым прежде никогда не занимались. Попробовать себя в качестве певца, усовершенствовать свое умение играть на мандолине, балалайке или гармони, попытаться стать клоуном.

К очередному концерту, который должен быть отрепетирован и готов к очередной красной дате — к 7 ноября, ко Дню Победы, к 8 марта, к следующему съезду партии, — готовились по нескольку месяцев. Репетиции шли каждый вечер. И на сцене, по окончании работы столовой, и в музыкальной комнате, и в самом зале, где столы и скамейки были сдвинуты к стенам. Однажды, в мою бытность заведующим клубом, ко мне пришли четверо молодых людей из РММ (Ремонтно-механические мастерские).

— Возьмите нас в акробаты, — попросили они.

— А что вы умеете?

— Пока что ничего не умеем. Но если дадите нам мат, мы будем по вечерам заниматься в конце зала. Мешать репетициям на сцене не будем. А потом, через пару месяцев, вы посмотрите, может быть, у нас и получится.

Два или три месяца они колдовали на своем мате в полутьме, в конце зала. А когда мы посмотрели на сцене, что у них получилось, — присутствующие не поверили своим глазам, увидев вполне профессиональный, можно сказать, красивый номер коверной акробатики. Мы включили их в программу концерта, и выступления новоявленных акробатов пользовались затем неизменным успехом.

Да уж! На многое способны люди, вдохновленные желанной целью!

До моего назначения заведующим клубом, эту должность занимал профессиональный актер из драмтеатра города Саранска — Григорий Иванович Ситкин. Это был человек лет тридцати, очень доброжелательный и симпатичный. Его неизменным обращением к любому собеседнику (кроме начальников, естественно) было ласковое — «голуба». Имел, правда, Григорий Иванович два довольно существенных для его работы недостатка. Первый из них: в силу мягкости своего характера он был слабым организатором и поэтому постоянно попадал под влияние того или иного «голубы», самонадеянно предлагавшего себя в исполнители концертного номера или постановку отрывка из какой-нибудь пьесы по своему, не всегда хорошему вкусу. Менее всего Григорий Иванович был способен противостоять вкусам представителей начальства из политотдела лагеря. В результате постановочный репертуар нашего клуба бывал эклектичен, а порой и весьма странен. Другим недостатком милейшего Григория Ивановича было пристрастие к выпивке. Запершись днем, то есть не в клубное время, в своей кабинке за сценой с очередным «голубой», сумевшим пронести в зону водку, он выпивал с ним, а то и самолично, свою поллитровку. Необходимо, однако, оговорить, что профессиональный актер Ситкин на сцену нетрезвым не выходил никогда. В крайних случаях, чувствуя себя «не в форме», он либо снимал свой номер, либо находил себе замену.

Ситкин, участник Великой Отечественной войны, находился в наших войсках, вступивших в Германию. Запомнились слова из частушки, высмеивавшей так называемых «трофейщиков». Из числа рядовых солдат, разумеется. Самым популярным и массовым трофеем были, как известно, «загормоничные» радиоприемники, невиданного у нас качества. Ситкин исполнял,

вероятно, эту частушку еще во фронтовой бригаде артистов:

Я в деревне Дунькино
Поставлю «Телефункена»,
И пусть играет радиво
На весь район!

Григорий Иванович отсидел в лагере по пятьдесят восьмой статье весь свой срок, кажется, восьмилетний. По установившейся традиции, я по просьбе Ситкина написал на день его освобождения стишок. Он сохранился в моей тогдашней лагерной тетрадке:

Григорь Иваныч! В день счастливый —
Желаем счастья, дорогой!
Не забывай, пиши нам «ксивы»,
Но сам обратно — ни ногой!

Звонок в звонок, без актировок
Ты беззачетно пробыл тут.
Зато как много поллитровок
Тебе друзья твои зачтут!.

А ты, попав опять на запад,
Иль в жарких южных поясах,
Припомни местной водки запах,
И нас, живущих здесь, в лесах.

Настанет — поздно или рано —
Такая мудрая пора,
Чтоб водку дома, из-под крана,
Ты, сколько сможешь, пил с утра.

Чтоб алкогольные напитки
Из каждой капали дыры.
Уж ты, Григорь Иваныч Ситкин,
Будь добр — живи до той поры!

Григорию Ивановичу стихотворение понравилось. На гротескное преувеличение его алкогольных подвигов он нисколько не обиделся и увез на волю текст этого стишка вместе с моим ленинградским адресом. Через несколько лет после возвращения домой я получил от Григория Ивановича очень

теплое письмо, из которого узнал, что он живет в родном Саранске и снова играет в своем театре.

Став начальником КВЧ нашего лагпункта, капитан Носова начала подбирать из числа заключенных нового заведующего клубом. Ее выбор довольно скоро пал на меня. Во-первых, работая пожарным, я одновременно уже выполнял работу в КВЧ: «заведовал» библиотекой лагпункта, составил каталог находившихся в ней книг. Было их, надо сказать, совсем немало. Каждый заключенный, получавший книги из дома по почте или на свиданиях с родными, обычно по прочтении отдавал их в библиотеку. Каждый день в определенное время я выдавал книги читателям. Библиотека помещалась в культпросветкабинете, расположенном в помещении 4-го барака, что стоял напротив конторы лагпункта. Там же на столах лежали подшивки газет. По стенам были развешаны плакаты и лозунги. Словом, это был типичный красный уголок. Начальник КВЧ постоянно бывала в этом кабинете. Из моего лагерного дела, хранившегося, как и все подобные дела, в спецотделе лагпункта, она знала, что я до ареста был старшим библиографом Публичной библиотеки. Для нее, интеллигентного человека из провинции, само название этой библиотеки имело, несомненно, некоторый особенный смысл. Кроме того, я был кандидатом наук, что для того времени, тем более для представителей гуманитарных профессий, было крайне редким. На нашем лагпункте был, правда, еще один кандидат — филолог.

Как, однако, выяснилось позднее, выбор Мамы Саши пал на меня главным образом потому, что меня настойчиво рекомендовали ей постоянные активисты концертной и клубной деятельности нашего лагпункта — Бузаев, Бадиков, Магалиф и другие.

Поначалу я решительно отказывался от предлагаемой должности. Прежде всего потому, что мне не хотелось расставаться с должностью пожарного. Работа оставляла много свободного времени. Сделав за свою смену три обхода бараков и служб лагпункта, я обычно просиживал остальное время в техкабинете. Он помещался в отдельном домике, в единственной комнате которого стояли парты и стол для лектора. По стенам здесь были развешаны плакаты с изображением различных лесоповальных и лесообрабатывающих машин, деревьев различных пород в поперечных и продольных разрезах. Самым привлекательным для меня в этом помещении было то, что в нем никогда никто не занимался, да и вообще мало кто туда захаживал.

Техкабинетом заведовал очень симпатичный человек, бывший

заключенный, отсидевший в Каргопольлаге восемь лет по 58-й статье, — Яков Максимович Притыкин. В мое время он был вольнонаемным, так называемым в среде заключенных — «вольняшкой», и проживал с женой и дочерью в одном из ерцевских двухэтажных домов для сотрудников лагеря. До своего ареста Яков Максимович жил в Ленинграде, учился на истфаке университета (до моего туда поступления) и работал в Библиотеке Академии наук. У нас, естественно, было много общих знакомых, прежде всего, общих учителей — профессоров истфака. Надо ли говорить, что мы с ним очень быстро подружились.

Словом, менять свою привычную и для условий лагерной жизни вполне хорошую «придурочную» работу на беспокойную, требующую большой отдачи времени и сил, деятельность заведующего клубом я не хотел. Капитан Носова тем не менее настаивала.

Другой начальник на ее месте не стал бы со мной церемониться. Разговор был бы короткий: отказываешься идти, куда тебя назначают, пойдешь на лесоповал, а закочевряжишься — отправим на этап! Но Мама Саша меня просто уговаривала. Она привела аргумент в пользу моего назначения заведующим клубом, о котором я раньше не думал и который разом положил конец моим колебаниям. Как заведующий клубом, я должен буду привозить в зону из вольного клуба кинокартины, приносить с почты газеты и журналы. А это значит: получу пропуск на бесконвойный выход за зону.

Пропуск на так называемое свободное хождение — а именно так он и назывался на лагерном языке, — разумеется, не предполагал свободного хождения в полном смысле этих слов. Бесконвойникам запрещалось посещать частные дома жителей поселка, покупать в продовольственных магазинах спиртные напитки, уклоняться от своего маршрута — от дороги к месту работы и обратно. Им было тем более запрещено выходить из поселка в таежный лес, окружавший Ерцево со всех сторон.

Для борьбы с нарушениями бесконвойного режима существовала специальная служба — надзиратели за бесконвойными. Некоторые из них ходили по улицам поселка, проверяли продуктовые магазины, заходили иногда в частные дома, если подозревали, что там окажется бесконвойник. Несколько надзирателей, с овчарками на поводках, прочесывали лес. Застигнутые там заключенные задерживались ими как совершившие побег.

Всех нарушивших бесконвойный режим, в том числе тех, кто при возвращении в зону, был задержан на вахте выпившим или

пытавшимся пронести в зону бутылку, ожидало наказание. Как правило, лишение пропуска: временное — на месяц, на три, а в случаях тяжелых нарушений — навсегда, до конца срока. При этом, однако, даже в системе ГУЛАГа знаменитые слова Карамзина о том, что суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения, оставались вполне справедливыми. И в частные дома бесконвойники нередко заходили. И спиртное в магазинах покупали. Иногда даже самолично, но чаще просили какого-нибудь из проходивших мимо магазина «вольняшек» купить бутылку. Ну, а устроившуюся в лесу парочку, обнаруживали редко. Впрочем, это бывало. Один случай такой неприятности мною выше описан.

Итак, как заведующему клубом мне следовало ходить в кинобудку вольного клуба и привозить оттуда кинофильмы. Здесь необходимо рассказать читателю о той «киноэпопее», каковой была система показа кинофильмов на нашем лагпункте. Тем более, что нечто подобное, несомненно, происходило и на других лагпунктах и, скорее всего, на всем архипелаге ГУЛАГ.

По нормам культурно-воспитательной работы, а была и такая норма, полагалось показывать заключенным три кинофильма в месяц. Это, так сказать, положенное, вроде пайка. Фильмы были, как правило, малоинтересными. В лагеря сбывались самые слабые из советских кинокартин, те, что провалились в прокате. Однако в обход всяких норм, при явном нарушении режима, заключенные постоянно смотрели в нашем клубе хорошие кинокартины, в том числе иностранного происхождения. Назову хотя бы некоторые из широко известных тогдашним кинозрителям: «Касабланка», «У стен Малапаги», «Мост Ватерлоо». Происходило это, естественно, в условиях общего ослабления режима после смерти Сталина и по совершенно незаконному сговору бригадиров производственных бригад с лагерным начальством. Начальство разрешило привозить из вольного клуба и показывать в зоне шедшие там картины, а бригадиры за это обязывались повалить, распилить и погрузить столько-то тысяч кубов леса сверх нормы. За эти лишние «кубики» начальство получало денежные премии, ордена, новые звездочки на погонах.

«Высокие договаривающиеся стороны» не учитывали при этом, что вечерний показ кино происходил за счет сокращения сна работяг, которым назавтра предстояла побудка в пять утра, а также за счет их дополнительного тяжелого труда ради выработки этих лишних «кубиков». Рассуждали так: дело добровольное, хочешь — смотри кино, не хочешь — иди спать.

Объем лишней работы для бригад, само собой, облегчался с помощью явных приписок бригадиров в отчетах о напиленных и

отгруженных кубометрах.

Получали кинокартины в вольном клубе, разумеется, не официально, непосредственно в кинобудке у киномехаников, за небольшую мзду на выпивку.

Наш лагерный киномеханик — Петр Белоусов, молодой парень, сидевший за какое-то бытовое преступление, ввел меня в курс предстоящих действий по приобретению кинокартин. Прежде всего, надо было собрать по баракам у дневальных небольшую сумму денег. Затем Белоусов выдал мне хранившуюся у него в кинобудке ручную тележку для доставки коробок с кинофильмами. Тележку — дощатую платформу на двух покрытых резиновыми шинами колесах от небольшого самолета — было легко и удобно толкать впереди себя за поручень — тонкую, изогнутую буквой П, металлическую трубу.

И вот я в кинобудке вольного клуба. Знакомлюсь со старшим механиком Учватовым, о котором был наслышан, как о выдающемся механике и мастере на все руки.

Забегая вперед, скажу, что вскоре мы с Алексеем Григорьевичем Учватовым тепло сдружились. Был он умным, душевным человеком, надежным и верным другом. До нашего знакомства он и сам сидел по «народной статье» — за разговоры. «Отмотав срок», остался жить и работать в Ерцеве, обзавелся семьей. Я с друзьями, имевшими пропуск на «свободное хождение», не раз бывал в гостеприимном доме Учватовых.

Мы отмечали там дни рождений его родственников и другие праздники.

Год, когда я пишу эти строки, объявлен годом свиньи. Поэтому представляется уместным вспомнить стишок, написанный мною в далеком 1954 году по случаю заклания выкормленной Учватовыми свиньи. По этому поводу состоялось застолье, во время которого я этот стишок зачитал:

Тост на заклание свиньи

Знать не зря за стол сгрудили
Нашу дружную семью:
На тот свет препроводили
Знаменитую свинью.

Нам, конечно, не пристало
Сокрушаться здесь о ней, —
Вокруг нас еще немало

Ходит всяческих свиней.

Быть свиньей не так уж худо:
Для свиньи уйти в тот свет —
Означает лечь на блюдо
И приехать на обед.

Жаль, что сами мы не свинки,
Где уж нам до поросят.
На свои же на поминки
Ни за что не пригласят.

Чтобы слов не тратить многих,
Буду краток, сжат и прост:
За свиней (четвероногих!)
Возглашаю этот тост.

Все это происходило потом. А в первый день моего появления Учватов и находившиеся в кинобудке вольного клуба какие-то его друзья или помощники по всяким ремонтно-механическим работам встретили меня, нового для них человека, настороженно. Я представился и объяснил, что пришел за кинокартиной. При этом, не откладывая, протянул Учватову пачечку тридцаток.

— Что ж, надо познакомиться с тобой поближе. Не возражаешь? — спросил он.

— Конечно, нет.

— Тогда к делу. Время, как раз, обеденное. — Учватов раздал деньги двум своим товарищам. — Дуйте, ребята. Один в магазин, другой в столовую. Да оглядитесь, когда обратно пойдете. Надзирателя за бесконвойными за собой не притащите.

Прихватив плетеные хозяйственные корзины, посланцы ушли. Вскоре они вернулись. Один принес четыре бутылки водки. Другой — четыре армейских котелка и пару буханок хлеба. В котелках оказались макароны с мясом. Ходивший в столовую извлек также из разных карманов штанов и ватника завернутые в газету соленые огурцы и зеленые помидоры.

Я с любопытством и не без страха за свое ближайшее будущее наблюдал за скорыми, явно привычными приготовлениями к трапезе.

На верстаке были расстелены газеты. Водку разлили по поллитровым банкам из-под огурцов, пустые бутылки тотчас куда-то спрятали, хлеб, огурцы, помидорины нарезали.

— Ты уж извини, — сказал Учватов, заметив мое

замешательство. — По рюмочкам разливать мы здесь не можем. Сам знаешь, — не та обстановка. Надо за один раз быстро хватить и порядок. А потом можно спокойно покушать.

— Мне столько не выпить, — сказал я, когда ко мне придвинули налитую водкой до краев поллитровую банку.

— Правильно, — сказал Учватов. — Столько тебе и нельзя — по дороге могут прихватить, когда домой в зону пойдешь.

С этими словами он достал из тумбочки граненый стакан.

— Хватит тебе и этого. А меньше не положено. Ты же сказал, что фронтовик, всю войну на фронте был. Вот сейчас и проверим — как ты воевал.

Пить водку граненными стаканами мне на фронте не приходилось. Тем не менее отказаться у меня в тот момент не хватило духу.

Прощаясь со мной уже на улице, Учватов сказал, чтобы я не беспокоился, что через вахту меня беспрепятственно пропустят. Кино поможет.

Я тогда не догадался, что он имеет в виду. Но Учватов знал, что говорил. Все оказалось очень просто. Протащить мою тележку с укрепленными на ней жгутом железными банками с кинокартиной на крыльцо вахты, а затем по узкому коридорчику, отгороженному застекленной сверху перегородкой, за которой сидели дежурные надзиратели, было невозможно. Увидевший меня с крыльца надзиратель, вернулся через вахту в зону с ключом от ворот. Он распахнул их с внутренней стороны. Я въехал через ворота так, как обычно въезжали машины и бочки водовозов. Держать ворота открытыми, ради обнюхивания меня на предмет запаха водки, надзиратель не стал. Таким образом, кинокартина, которую я привез, и в самом деле спасла меня от больших неприятностей — лишения пропуска в один из первых дней после его получения. При этом я безусловно лишился бы и должности завклубом. Да и на прежнюю работу пожарного навряд ли вернулся бы. Словом, пронесло.

Впредь я, конечно же, был более благоразумен и более опытен. Приходя в кинобудку за кинокартинами, я больше никогда там не выпивал. Ради первого знакомства уж пришлось, а больше, как говорится, ни-ни.

Чтобы закончить сюжет о кино, расскажу еще о двух деталях.

Когда бы ни въезжал я со своей тележкой и с кинокартиной в ворота зоны, особенно летом, когда на «главной улице» находилось много людей, всегда обязательно и неизменно происходило одно и тоже.

Кто-то из блатных подбегал или кричал издалека — «Какое кино?» И тут же сам себе отвечал: «Батька Махно показывает … в

окно!»

Этот вопрос-ответ мог повторяться и не раз на всем протяжении дороги от ворот до дверей клуба. И несмотря на то, что сам вопрос, равно как и ответ на него, были хорошо известны, их повторение каждый раз вызывало искренний смех, а то и хохот оказавшейся вблизи блатной и приблатненной публики. Эта «шутка» досталась более позднему, уже послевоенному времени от эпохи черно-белого кино. На экранах всей страны крутили тогда знаменитую картину «Красные дьяволята», в которой четверка лихих комсомольцев-кавалеристов (в их числе — девушка и негр), изобретая всевозможные хитрости, героически громила отряды батьки Махно и других, воевавших против советской власти атаманов. И батька Махно, и его сподвижники изображались в той картине и в ее продолжениях крайне карикатурно, что поспособствовало рождению соответствующего юмора.

Мне представляется интересным и такое наблюдение, которое удалось сделать уже во время демонстрации кинофильмов нашему лагерному контингенту.

На лагпункте по официальной статистике содержалось примерно восемьсот политических — «социально далеких», и примерно около двухсот уголовников, то есть «социально близких».

Во время киносеансов политические и нормальные люди из числа бытовиков сидели молча. Уголовная публика и приблатненная молодежь, так называемая шобла, бурно реагировала на все, что происходило на экране. То и дело возникал шум. Раздавался свист, слышались «комментарии». Особенно возбуждали эту публику лирические сцены и кадры, в которых герои — мужчина и женщина — обнимались и целовались. В эти моменты из всех концов зала неслись выкрики. В основном — практические советы герою, как ему дальше и прямо сейчас поступать с героиней.

Но однажды произошло чудо. Шел английский фильм «Мост Ватерлоо». Поначалу из зала раздалось несколько выкриков. В общий шум они, однако, не переросли. Фильм шел в тишине. И вот финал. Герой и героиня целуются на мосту Ватерлоо. Целуются долго и страстно. Им предстоит расставание. Он отправляется на фронт. Как только герои начали целоваться, из зала раздался мальчишеский возглас: «Давай! Начинай!..»

И сразу же на него зашикало несколько приглушенных голосов: — Заткнись, сученок! Замри, гад!..

Фильм закончился в полной тишине. Зажегся свет. Зрители еще несколько минут сидели молча.

Потом мы с моими клубными товарищами еще долго обсуждали и фильм и совершенно неожиданную на него реакцию наших блатных. Все мы сошлись на мысли: настоящее искусство доходит до всех. Трогает иногда самые загрубевшие сердца и души.

Концерты на женском лагпункте

Поездки нашей клубной концертной бригады на женский лагпункт были новшеством, которое могло прийти в наш строго режимный лагерь только в результате двух, далеко не равнозначных, но для данного случая одинаково важных обстоятельств: смерть Сталина и появление Мамы Саши. Так или иначе, это было нечто, казавшееся прежде совершенно невозможным чудом.

Чтобы лучше понять и оценить значение этих нечастых поездок — раза два-три в год, по случаю больших праздников, — следует хотя бы кратко рассказать об отношениях между мужчинами и женщинами в обычной для лагеря режимной обстановке.

Назову основные варианты, в которых бытовали эти отношения.

Один из них свидания с женами, приезжающими на свидание.

Свидания происходили в специально отведенной для этой цели комнате, на вахте. Нередко там встречались одновременно две, а то и три пары. Они рассаживались в обнимку по разным углам комнаты и разговаривали. Пары по очереди выходили в коридорчик, гасили там свет и располагались на полу. Никакой мебели в этом коридорчике не было. Подушкой служил ватник мужа, одеялом — пальто жены.

Приезжающие на свидания жены останавливались в ерцевской гостинице. Затем шли в спецотдел Управления лагеря и получали разрешение на одно, два или три свидания. Непросто было получить разрешение на свидание тем женам, которые развелись со своими репрессированными мужьями в интересах сохранения работы или страха перед высылкой из Москвы или Ленинграда. Как правило, разрешение им все-таки давали. Но, бывало, что и отказывали. Несчастной женщине оставалось тогда только одно: постоять у вахты и передать мужу привезенные продукты или какие-то вещи через входившего в зону бесконвойника, либо упросить сделать это какого-нибудь надзирателя. Свидания с родственниками были, естественно, редким делом. Приезжать издалека было непросто. Да и разрешения на частые свидания не давали.

После получения пропуска мое положение улучшилось и в отношении свиданий с женой. Приезжая в Ерцево, она останавливалась теперь в доме добрейшей семьи Степаковых, куда я, выйдя из зоны, приходил. Однажды она приехала не одна. Привезла с собой сына, которого я не видел со времени

предэтапного свидания в тюрьме. Теперь ему шел уже пятый год, и он смог впервые осознанно познакомиться со своим отцом. Надо ли говорить о том, как радостно было мне впервые увидеть своего «повзрослевшего» сына, с выражением читавшего стихи и басни и, помнится, умевшего даже читать свои детские книжки.

А вообще, на свидания приезжали к немногим из заключенных на лагпункте. Большинство из них по многу лет даже не видели женщин, кроме нескольких начальниц, докторов и артисток культбригады. Неизбывная тоска по женщинам, стремление к ним, проявляло себя постоянно, в самых разных формах. Прежде всего, естественно, в разговорах о них. Содержание этих разговоров бывало самым разным и неожиданным. Однажды, в то время, когда я еще работал на лесозаводе и крепко спал поздним вечером после отбоя на своей койке в 4-м бараке, меня вдруг растолкал дневальный Максим и попросил подойти к группе воров, рассевшейся на соседних нижних койках. Между ними, как оказалось, происходил спор на тему: кто подлее — мужчина или женщина. Меня как «шибко ученого человека» попросили рассудить ожесточенно спорящие стороны. Одна из них доказывала на примерах конкретных подлых поступков мужчин, что мужчины подлее женщин. Самым убедительным примером, на мой взгляд, был рассказ одного рецидивиста о своем собственном подлом поступке, о том, как он, освободившись из заключения, обворовал женщину, которая несколько лет помогала ему едой и деньгами, пока он был в заключении. Другая сторона кинулась возражать.

Примеры, доказывающие несравненную с мужской подлость женщин, посыпались, как из рога изобилия. В основном это были примеры черной неблагодарности — рассказы об изменах женщин, которым были сделаны дорогие подарки, которых богато содержали и холили, пока были на свободе.

Я начал говорить о том, что вопрос поставлен неправильно. Стал рассказывать о патриархате и матриархате, о борьбе с пережитками векового неравенства женщин и за их равноправие. Назвал имена нескольких великих представительниц женского пола — государственных деятелей и ученых. Меня слушали молча и вроде бы с интересом. Но не успел я закончить свою «лекцию», как кто-то из моих слушателей сказал: «Все это в натуре правильно. А все-таки у меня, например, был такой случай…»

«А все-таки» стало ключевой формулой для ряда последовавших выступлений, и конкретные примеры противоположного значения с прежним жаром посыпались с обеих сторон. Я понял, что подняться от примеров до их обобщения этой аудитории не дано, и вернулся на свою койку.

Самой распространенной, можно сказать, массовой формой общения, разлученных расстоянием, заборами, колючей проволокой, часовыми и собаками, представителей разных полов, была переписка. Начиналась она, по большей части, между незнакомыми людьми, способом обычным и одинаковым. Продолжалась иногда в течение многих лет. А заканчивалась по-разному, порой самым удивительным образом. Начиналось обычно так. Заключенный нашего лагпункта, не имеющий пропуска на выход за зону, просил любого из бесконвойников о пустяковой услуге: передать через любую, встретившуюся на улице поселка бесконвойницу, его письмецо какой-нибудь женщине на 15-м лагпункте. В таком письмеце содержалось краткое описание личности автора, указание на его возраст, на статью, по которой он сидит, и обязательно — на дату его выхода на свободу. При этом излагалось предложение вступить в переписку. Если предложение принималось, женщина откликалась письмом, которое таким же способом, через любую бесковойницу ее лагпункта, передавалось любому бесконвойнику нашего мужского лагеря. Простая эта экспедиционная служба работала безотказно.

Длившаяся, как уже было сказано, иногда годами переписка зачастую крепко сближала данную пару. В письмах выражалось искреннее беспокойство за дела и здоровье друга, порой проявлялась и ревность по поводу и без повода. Словом, шла «нормальная» семейная жизнь. Иногда этот, как сказали бы сейчас, виртуальный брак, превращался по освобождении обоих «заочников» в брак реальный и нередко имела место долгая счастливая жизнь. Как правило, сроки освобождения переписантов (да простит мне читатель это выдуманное мною слово) не совпадали, и тот, кто освободился раньше — она, или он — ждал освобождения своего суженого.

Чаще, однако, любовь по переписке имела другой финал. Бывало, что с освобождением одного из лагерных влюбленных по переписке, все и заканчивалось. Бывало, что оба, освободившись, считали себя свободными друг от друга. Бывало, что разрыв происходил во время и в результате встречи, вызвавшей разочарование в партнере, или как наказание за неверность. А бывали и смешные случаи. Получившие предложение о переписке женщины посылали своему другу по переписке фотографию, но не свою, а более молодой и привлекательной подруги. Увидев, после долгой переписки свою корреспондентку «в натуре», обманутый ухажер получал тяжелое разочарование. Немало таких случаев имело место во время наших приездов с концертами на женский лагпункт. После того, как такой обманутый любовник по

переписке избил обманщицу, наши поездки на женский лагпункт были запрещены. Позднее, к следующему праздничному концерту, запрещение с большим трудом удалось преодолеть. Однако отбор участников для выступления на 15-м серьезно ужесточился. Правда, он и до этого случая был довольно строгим. Составленный нами список выступающих утверждал не только начальник КВЧ, но и «Кум» (так именовали в лагерях оперуполномоченных), и начальник лагпункта. Из списка вычеркивали подозреваемых в склонности к побегу, имеющих взыскание за нарушения режима, предназначенных к отправке на этап. К счастью, эти ограничения относились в основном к «социально близким», и наших главных исполнителей концертных номеров не касались.

На почве моего отказа одному из блатных включить его в список выезжающих на женский лагпункт чуть не случилась со мной беда.

Молодой парень из блатных подошел ко мне вечером в клубе, в то время когда на сцене шла репетиция, и попросил меня отойти с ним для разговора в конец зала. Он попросил, сначала вежливо, включить его в список наших артистов. Я сказал, что не могу этого сделать, так как он ни в одном нашем концертном номере не занят.

Он настаивал, сказал, что может открывать и закрывать занавес. Я старался объяснить ему, что на занавесе стоят по очереди те, кто не занят в данное время в собственном выступлении, и что такого дополнительного помощника начальство в списке не утвердит.

— А ты уговори начальничков. Скажи, что без меня не можешь, — продолжал он настаивать, повышая и повышая голос, чем привлек внимание занятых на сцене и сидевших около нее. — Значит, не возьмешь на женский? Говори, фраер — да, или нет! — заорал он. Лицо его при этом стало пунцовым.

— Нет, — сказал я.

— Тогда и сам не поедешь! — С этими словами он выхватил финку.

Я сделал шаг назад к стене.

Здесь я, пожалуй, предоставлю слово Геннадию Тимофеевичу Бузаеву. У меня сохранилось его письмо с воспоминанием об этом случае.

«Разве можно забыть драматический эпизод, когда один блатарь с ножом припер к стене Д. Аля и потребовал чтобы тот как завклубом включил его (блатаря) в список для поездки с концертом на женский лагпункт. Помню бледное лицо Д. Аля, который держался мужественно, не вступая с ним в диалог, пока

не прибежали ребята из РММ с металлическими прутьями и не обезоружили страстного любителя женского общества. Наш завклубом был спасен…»

В день нашего выступления на женском лагпункте бесконвойники отправлялись туда заранее пешком, для подготовки сцены. Остальных участников привозили под конвоем на двух грузовиках, предоставленных гаражом лесозавода.

К нашему посещению, естественно, готовились и женщины. С особенным волнением те, которые ждали встречи с героем своего эпистолярного романа. Многим из них, как уже было сказано, предстояло его впервые увидеть. Многие из тех, кто не имел такого знакомого, готовились приветить и приголубить любого из наших молодых ребят — артистов, кто сможет во время концерта хоть ненадолго отлучиться. В этих целях «стол и дом» заранее приготавливались во всех отдельных служебных помещениях — в бане, в хлеборезке, в каптерке, в амбулатории, в продларьке… и даже в сушилке, которую работающие в ней женщины в этот день специально не натапливали до положенного градуса.

Современного читателя такая предварительная активность и готовность женщин, возможно, не удивит. А в то время она была непривычной и поначалу казалась неправдоподобной. В отличие от привычного положения, женщины в условиях неволи проявляли себя более похотливыми, чем мужчины.

Гомосексуалисты на мужских лагпунктах встречались в виде исключения. На нашем лагпункте за все четыре года моего пребывания там оказалось всего два представителя этой породы. Зато на любом женском лагпункте было широко распространено лесбиянство. При этом семейные отношения между женскими парами не скрывались, а уголовницами даже афишировались. «Муж» в такой семье именовался — кобёл, «жена» — ковырялка. Отношения между «супругами» соответствовали общепринятым. «Жена» стирала, гладила, шила. «Муж», по возможности, добывал дополнительную шамовку для обоих и выполнял супружеские обязанности. Они должны были удовлетворять супругу в соответствии с утверждением: «Попробуешь пальчика — не захочешь мальчика!» Непременным спутником таких отношений была ревность. Коблы жестоко наказывали своих «жен» за измену. Особенно за измену с мужчиной, что считалось преступлением, подобному измене Родине. Поскольку по окончании концерта в зрительном зале женского лагпункта разрешались на полчаса танцы под наш оркестр, мужчин строго предупреждали: не приглашать танцевать ковырялок. В случае согласия какой-либо из них потанцевать с мужчиной мог произойти скандал. Обычным наказанием изменницы в таких случаях было такое: разгневанный

«муж» подбегал во время танца к танцующей паре и надевал на голову изменившей ему «супруги» ведро с фекалиями.

Кстати сказать, сразу отличить в толпе женщин подобную «семейную» пару можно было по внешнему виду. Женщина-кобёл была коротко пострижена под мужчину, ходила в брюках (в те времена нормальные женщины брюк еще не носили), туго обматывала себе грудь полотенцем, стараясь создать впечатление отсутствия у нее грудей. Ковырялка отличала себя более простым способом. Ее обязательной униформой был бант на левой стороне головы. Во время танцев такие супруги танцевали друг с другом.

Надо сказать, что в нашем коллективе, во время пребывания на женском лагпунктке, соблюдалась строжайшая дисциплина. Обеспечивалась она не только страхом перед неизбежным наказанием — лишиться возможности приехать сюда еще раз. Пожалуй, еще сильнее воздействовало на наших артистов чувство взаимной товарищеской выручки. Для того, чтобы одни могли во время концерта на малое время отлучиться без ущерба для программы концерта, — чтобы не задержался и не сорвался ни один номер, — другие должны были их на это время подменять. Разумеется, не в том плане, чтобы плясуны подменяли певцов, а клоун пианиста. Просто все делалось со строгим расчетом. Во-первых, ни на минуту никуда не отлучались бесконвойники. Кроме собственных выступлений, они выполняли все технические и подсобные работы, чтобы предоставить остальным достаточное время для отлучки со сцены. Длительность каждого номера и специально предусмотренные два антракта были строго прохронометрированы на репетициях. Соответственно, каждый участник представления знал точно, когда и на какое время он имеет право отлучиться со сцены. Он точно знал, когда, не просрочив ни одной минуты, он обязан на сцену возвратиться, для того чтобы выступить, если его номер еще предстоял, или, если сам он уже выступал раньше, для того, чтобы отпустить со сцены своего товарища, ожидающего своего «Очередного отпуска».

Женщины хорошо понимали, что прибегавшие к ним в гости артисты были крайне ограничены во времени, и лишними разговорами не затягивали встречи. Так или иначе, ни одного случая срыва какого-либо номера по причине опоздания исполнителей не бывало. Разумеется, на всякий случай у нас всегда была подстраховка. Можно было, например, повторить предыдущее выступление на бис. Можно было выпустить на сцену тех, кто по программе должен был выходить после задерживавшегося номера. Наш неутомимый Михаил Бадиков мог затянуть конферанс. Оркестр всегда мог, что-нибудь сыграть.

Словом, приемов подстраховки хватало. Но все проходило гладко.

Интересно отметить, что сама внешняя картина танцев, происходивших в зале после концерта, была для нас, заключенных, как теперь говорят, очень волнительна. Мы впервые за много лет видели зал, заполненный празднично одетыми людьми. Женщины были в красивых «вольных» платьях, взятых по сегодняшнему случаю из камеры хранения. Мужчины тоже в нормальной одежде — не в лагерных куртках из «чертовой кожи», не в рабочих штанах, а в брюках и в пиджаках. Многие, прежде всего наши артисты, в рубашках с галстуком. И никого или почти никого, в ватниках, в кордовых чунях. Сама эта картина создавала иллюзию, будто мы не в зоне, а на «Большой земле», на свободе.

Иллюзии быстро приходил конец. Настают минуты прощания. Кто-то на улице перед вахтой целуется на прощание, кто-то записывает, быть может, домашние координаты своей только что обретенной любимой, кто-то пожимает друг другу руки. Стоит общий довольно громкий гомон. Но вот начинаются поторапливающие окрики надзирателей. Бесконвойники выходят через вахту. Остальные наши артисты — через ворота, за которыми их ждут конвойные, собаки и грузовики.

Пусть тот, у кого при чтении этого описания наших поездок на женский лагпункт возникнет чувство осуждения этих мероприятий за то, что они сопровождались нарушением обычных норм нравственного поведения, знает, что у него были предшественники.

Начальник КВЧ капитан Носова ни в первый, ни следующие разы наших поездок на женский лагпункт не ездила с нами. Видимо, по разным соображениям, которые можно понять, не хотела во время наших приездов там присутствовать.

После первой же нашей туда поездки, она была вызвана к начальнику Политотдела лагеря полковнику Мелькину для объяснений. На столе у полковника, разумеется, уже лежали, написанные оперуполномоченными — нашего и женского лагпунктов описания всей картины нашего пребывания на 15-м. Скорее всего, еще и приукрашенные.

— Как вы могли допустить такую поездку?! — напустился на Маму Сашу полковник.

— С вашего разрешения.

— Я разрешил провести там концерт с политико-воспитательной целью, по случаю Международного женского дня 8 марта. А там что происходило?!

— Там и был концерт — подарок женщинам к их празднику. Концерт был хороший, женщины были очень благодарны.

— Знаю я, как они благодарили ваших артистов.

— Наверное, по-всякому.

— Вот именно по-всякому! Вам самой надо было там присутствовать и не допускать отлучек заключенных мужского пола из здания столовой, где происходил концерт.

— У меня бы это плохо получалось. Надежнее было бы окружить здание сторожевыми собаками. Это, вероятно, украсило бы картину праздника. Следующий раз так и сделаем.

— Следующего раза не будет! — отрезал полковник Мелькин.

Содержание этого диалога стало вскоре широко известно, благодаря тому, что и сам полковник Мелькин, и капитан Носова со всеми подробностями, хотя и с различным отношением к сути дела, широко пересказывали его сотрудникам Управления лагеря и нашего лагпункта. Вскоре содержание этого диалога стало секретом полишинеля и для участников нашей клубной работы.

Будущее показало, что начальнице КВЧ удалось переубедить тех, кто возражал против наших поездок на женский лагпункт. Мы еще несколько раз выезжали туда с праздничными концертами. Собак вокруг здания столовой, где они происходили, не ставили.

Новый год — пятьдесят пятый

После смерти Сталина, в марте 1953 года, в лагерной жизни все перевернулось. Почти все.

Забор, увенчанный колючкой, «запретка» по его внутреннему периметру, немецкие овчарки, бегающие вдоль забора с внешней его стороны. Их называют «собачий троллейбус», потому что они бегают на цепочках-поводках, скользящих с помощью кольца по проводу, протянутому вдоль забора. Вышки по углам лагерного квадрата. Это все сохранилось. Но отношения между заключенными и начальством изменились. Особенно после расстрела Берии.

Лагеря передали в ведение министерства юстиции. За МВД осталась только их внешняя охрана. В апреле 53 года произошла так называемая «воровская амнистия». И хотя политзаключенные остались в лагерях, и в их судьбах наметились некоторые перемены. Постепенно начали освобождать и их. Кому-то сокращали срок до фактически отбытого. Так, например, был освобожден из нашего Каргопольлага Александр Гладков, отсидевший к тому времени шесть лет из «своих» десяти. Кому-то из политзеков сокращали срок до пяти лет, что позволяло применить к нему амнистию. Таким образом был освобожден из нашего лагеря Илья Николаевич Киселев — будущий директор Ленфильма. И, наконец, была и полная реабилитация. Ее получали те, кто на следствии не оговорил ни себя, ни своих «подельников». третьего января 1955 года был реабилитирован и автор этих строк.

В этой обстановке многие лагерные начальники, особенно те, кто знал за собой грех жестокого обращения с «врагами народа», попавшими в их руки, засуетились. Они явно «подобрели». И более того, стали заискивать перед политзэками, заводить покаянные разговоры, жаловаться на приказы сверху, которые они, якобы, через силу выполняли, — словом, всячески старались повлиять на своих подопечных, чтобы те после освобождения не писали на них жалобы.

Режим лагерной жизни переменился до неузнаваемости. Каждый день, около пяти вечера, возле вахты провожали нескольких освободившихся. Объятия, рукопожатия. Каждый раз в эти минуты возле вахты выстраивается и играет наш клубный духовой оркестр. Звучат мелодии песен и маршей, исполненные значением: «Прощание славянки», «Интернационал», «Марсельеза». То и дело собравшиеся хором запевают:

А если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей.

Пришедшие на провожание начальники тоже подпевают эти слова, делая вид, будто не понимают, что под «сворой псов и палачей!» в данном случае имеют в виду именно их.

Затем оркестр обязательно исполняет что-нибудь по заказу покидающего «родной» лагпункт.

Так проходит весь пятьдесят четвертый год.

Накануне Нового года происходит нечто и вовсе невероятное. «Вольный клуб» поселка Ерцево приглашает заключенных нашего 2-го лагпункта — артистов, музыкантов, художников, разумеется, только бесконвойных, — провести праздничную встречу нового, 1955 года.

Между деятелями нашего (лагерного) клуба разгорелась жаркая дискуссия — браться за это дело или нет. Одни говорили, что надо отказаться. Не к лицу-де нам ублажать лагерное начальство, которое будет на новогодней встрече. Другие возражали: в клуб придут не только начальники, но и жители поселка. А среди них немало добрых, хороших людей, постоянно помогавших заключенным, чем могли. И бесконвойным, и тем, кого приводили под конвоем на работу в различные хозяйственные учреждения — на лесозавод, на электростанцию, в сельхоз, в пошивочные мастерские. В поселке есть и молодежь, ничем перед нами не провинившаяся.

Вторая точка зрения победила. Был, однако, принят уговор: никаких подношений с «барского стола» — ни сухим, ни жидким — ни в коем случае не принимать.

Несколько вечеров перед Новым годом мы готовили новогодний праздник. Особое удовольствие нам, заключенным, доставляли репетиции некоторых предстоящих номеров. Будучи изрядно поднаторевшими в подобных делах, мы — скажу честно — не без некоторого садистского удовлетворения беспощадно «гоняли» и заставляли по много раз заново готовить свои номера нескольких пожелавших выступать в концерте начальничков. Выше капитана среди таковых, надо сказать, никого не было.

Наши художники, вместе с поселковыми умельцами, соорудили веселые аттракционы. Я написал для каждого аттракциона шуточные стишки.

Новогодний вечер прошел хорошо. Вероятно, не ошибусь и не преувеличу, если скажу, что ни до, ни после 31-го декабря 1954 года в поселковом клубе Ерцева такого вечера не было. До этого услугами замечательных артистов, художников, музыкантов из

числа заключенных в «вольном клубе» не пользовались в новогоднюю ночь, а после этого политзаключенных в Ерцеве, да и вообще в Каргопольлаге, слава богу, не стало. А до притока новой творческой интеллигенции — диссидентов — было еще далеко. К тому же, в Каргопольлаг их не отправляли.

Поскольку стихотворные подписи к аттракционам, задействованным на том вечере, являются историческим документом, передающим в какой-то мере дух своего времени, предлагаю их вниманию читателя.

Наш путеводитель

Драгоценный посетитель,
Обязательно прочти
Этот наш путеводитель
И решай, куда пойти.

Аттракционы, шутки, трюки,
Ёлка, танцы и кино.
Не увидишь только скуки —
Ей входить запрещено!

Моментальная фотография

Поспешите! В нашем клубе
Чудо-фотоателье.
Ничего, что снимут в шубе,
А получишься в белье.

Чтоб узнали на работе,
Чтоб не плакала семья,
Напиши на обороте:
«Не пугайтесь — это я».

«Заданный вес»

Очень сложный аттракцион:

На весах она и он.
Потянуть им вместе надо
Вес, который раньше задан.

— Ну, друзья, не просчитайтесь —
Вес известен наперед.
Будет больше — раздевайтесь,
Будет меньше — гирю в рот.

«Попробуй сосчитай»

Третья утка, пятый гусь,
Курица шестая.
Нет, седьмая.
Ну и пусть! Вновь пересчитаю!

Пот сошел — уже седьмой,
Лоб в натуге морщится,
Все давно ушли домой,
В кресле спит уборщица.

Снится ей, как будто вы
Посчитали птицу
И ушли. Но ей, увы, —
Это только снится.

«Запись на магнитофон»[22]

Вот прибор — магнитофон,
Звук любой запишет он.
А какой? Забота наша ль?
Кто чихнет — запишем чих,
Кашлянет — запишем кашель,
Стих прочтет — запишем стих.

Стройте ваши выступленья
Без стесненья, без волненья,
Хоть умно, хоть не умно
(Аппарату все равно).

Так же смело просим петь
(Пленка может все стерпеть.)

«Ход конем»

Что ж, товарищи, рискнем
Сделать мудрый ход конем?
Очень важно в Новый год
Сделать первый умный ход.

Моментальный шахтурнир

В новогоднем блицтурнире,
Мысль, строчи как автомат!
Старт: Е-два на Е-четыре,
Раз – два — ШАХ! Семь – восемь — МАТ!!

«Бревно»

Кто здесь ловкие, а ну?!
Добирайтесь по бревну.
Кто с бревна не рухнет вниз,
Получает добрый приз.
(А кто свалится с него,
Не получит ничего.)

«Занимательный квадрат»

Шестнадцать клеточек квадрат.
Сумей в нем разобраться.
Не зря в народе говорят:
«Пропал: — кругом шестнадцать!»

«Новогодняя почта»

А вечер! А ночь-то!
А звезд… и не счесть!
Неси же мне, почта,
Желанную весть —
Что я в наступающем
Новом году
С тобой, как с товарищем,
К счастью пойду.
Сегодня в мой дом не ходи, почтальон:
Сегодня мой адрес к груди прикреплен,
У самого сердца — пусть сердце само
От сердца другого получит письмо.
Отбрось промедленье!
Пиши же, прошу!
Не хватит терпенья —
Другой напишу!!

Пора домой и мне!

Между тем лагерная жизнь продолжалась. С передачей лагерей под юрисдикцию министерства юстиции в лагерном режиме и распорядке произошло мало изменений. Надзор за заключенными бесконвойниками во время их нахождения за зоной несколько ослаб. Но для зоны оставался прежний режим. Надзиратели, поверки — счет по головам, отбой, подъем, развод, конвоиры с автоматами и собаками для сопровождения бригад на работу и с работы. Не был уволен ни один начальник или вертухай. Сохранялась та же норма отправления из лагеря писем — не больше трех в месяц. Оставалось прежнее наказание (если попадешься) за нарушение этой нормы с помощью тех же бесконвойников, или приезжавших к кому-то на свидание. Виновного лишали права переписки на срок от одного до трех месяцев. Именно на такой срок лишения почтовой связи был наказан и я после отъезда отца, приезжавшего ко мне на свидание. В результате, о том, что отец умер, я узнал только через три месяца после его смерти, получив письма, пролежавшие все это время совсем близко от меня, на ерцевской почте. И все же, некоторые изменения имели место.

Новый хозяин лагерей — министерство юстиции — посчитал, что заключенных в лагерях надо учить. Главным образом, конечно, производственным специальностям по профилю данного лагеря, но так же умению писать и считать. Техкабинет на нашем лагпункте был ликвидирован. Вместо него была создана общая для всего Каргопольлага учебная база. Под нее был отдан барак давно ликвидированной женской зоны, отделявшейся от мужской зоны высоким забором с колючей проволокой. Теперь забор был снесен, а бывший жилой барак переоборудован под учебное заведение. Там имелись учебная часть — она же кабинет заведующего базой, и учебный класс с грифельной доской и плакатами из бывшего техкабинета. Была в этом помещении и жилая комната, в которой стояли стол и две койки для заведующего базой и его помощника.

Приезжавших на учебу с других лагпунктов размещали на жительство по баракам.

По решению капитана Тюгина я был освобожден от должности заведующего клубом, который, после отъезда многих наших артистов и музыкантов, начал явно увядать, и назначен заведующим учебной базой. Она и стала последним местом моего обитания в Каргопольлаге.

Моими помощниками становились по очереди два

интересных и приятных человека, прибывших из других лагпунктов. Первым стал Владимир Кабо, московский студент-восточник, в будущем известный ученый. Разговаривать с ним было очень интересно и приятно. Володя Кабо — небольшого роста, умный, интеллигентный молодой человек, по характеру доброжелательный и общительный. Вторым был ученый философ, если мне не изменяет память, замдиректора какого-то московского научного института — Генрих Миронович Эмдин. Мы с ним быстро нашли общий язык и подружились.

В будущем, на воле, мы переписывались, и я всегда бывал у него дома, на Верхней Масловке, когда приезжал в Москву. Он посещал премьеры моих пьес, шедших в Москве, и насылал в театры, где они шли, своих друзей-гуманитариев.

К моему счастливому огорчению, вскоре после нашего знакомства Генрих Миронович получил из Московской прокуратуры извещение об освобождении по амнистии. Как и многим другим, насколько я помню, ему затем пришлось долго хлопотать о реабилитации.

Читатель, вероятно, заметил, что я постоянно подчеркиваю хорошие черты в характерах многих людей, с которыми общался в разные периоды и в разных обстоятельствах моей жизни. Да, это так.

В моей памяти сохраняются в основном именно хорошие люди.

В предисловиях к моим книгам фронтовых повестей и рассказов, я постоянно подчеркиваю свое глубокое убеждение в том, что истинным победителем в Отечественной войне был хороший, бескорыстный человек. Готовый пожертвовать даже собственной жизнью ради свободы Родины, ради своих близких, ради товарища, а то и незнакомого солдата.

В условиях тюрьмы и лагеря характеры людей раскрываются даже вернее, чем на фронте, где немалую роль в их поведении, зачастую, играет хорошо известный фактор: «На людях и смерть красна». В условиях заключения, этот фактор не работает.

Невозможно «красно умирать» годами подряд. Невозможно также годами играть, даже если очень захочется, роль человека, каким ты в действительности не являешься. Лагерная жизнь обязательно проявит твой характер и твою душу, подобно тому, как раствор проявителя показывает изображенное на пленке.

Были, конечно, в лагере разные люди. Об этом уже не раз было сказано на страницах моих воспоминаний. Среди политических, как правило, интеллигентных людей, таких негодяев и мерзавцев («отморозков»), которые водились среди уголовников, мне встречать не приходилось. Но люди, мягко

говоря, неприятные, державшиеся отчужденно от других, были. В том числе, человека два-три и на нашем лагпункте. Бывали люди насквозь прозлобленные. Понятно, что сам факт заключения, тем более несправедливого, давал все основания для злобы и ненависти в отношении виновников твоей тяжкой беды. Политический террор, систематическое развязывание в стране всяких гнусных кампаний, превращение невинных и, как правило, полезных членов общества в париев, обездоливание заодно их семей не могли не вызывать в нормальных людях таких чувств. Были, однако, среди политзаключенных и такие, которые как бы окучивали себя злобой. На всех. В том числе на своих товарищей по несчастью. Они полностью замыкались в себе, почти ни с кем не общались.

Мне всегда было жаль этих людей, становившихся «буками», лишавших себя той радости, которую все-таки можно было иметь, или лучше сказать, от которой ни в коем случае не следовало отказываться в заключении, — радости человеческого общения. В том числе радости помогать по возможности другим людям, приносить им какое-нибудь душевное облегчение, скрашивать их унизительное, бесправное существование в окружении заборов, часовых, и собак снаружи, воров, убийц и прочей уголовной публики рядом. Люди такого склада дополнительно к реальному своему тяжелому положению еще и сами вгоняли себя в постоянное самоощущение страдальца. Они не оставляли в себе места для других чувств, переставали быть сами собой, то есть людьми, наделенными страстями и другими свойствами человеческого характера. Тем более, для спасительного в тяжелых обстоятельствах юмора. Таких «бук» нет в моих воспоминаниях прежде всего потому, что мне нечего про них вспомнить. Да и им самим, кроме как о своих страданиях, не о чем вспоминать. Мемуары таких людей обычно лишены главной правды жизни — полноты ее изображения, ее многосторонности, ее многоцветия. Такие воспоминания неизбежно оказываются стандартными схемами, отличающимися одна от другой в основном именами, географическими названиями, или датами однотипных событий.

По вечерам, когда надзиратели отдыхали на своей работе, либо дремали по очереди на вахте, либо резались там в домино, у меня, в кабинете учебной базы, собиралось несколько моих друзей из числа «придурков», то есть тех, кто работал в зоне и кому не надо было утром рано подыматься на развод. Бывало, отмечали мы там получение кем-нибудь из наших друзей извещения об освобождении.

Ждал такое извещение и я. Можно сказать — заждался. Ведь очень многие мои товарищи уже освободились. Некоторые — уже

год назад. Я, разумеется, понимал, в чем причина задержки. Дело в том, что я послал в различные инстанции не заявления с просьбой о сокращении срока и тем более не просьбы об амнистии, а жалобы на незаконный арест и незаконное содержание в лагерях без решения суда. В каждом своем заявлении я настаивал на полном пересмотре моего дела.

В ответ я каждый раз получал стандартные ответы: «Ваша жалоба рассмотрена. Оснований для пересмотра вашего дела не найдено». Такой же ответ я получил и после смерти Сталина и расстрела Берии, то есть уже в период массового освобождения политических заключенных. Теперь я ожидал ответа на два своих заявления с просьбой об освобождении на имя Н. С. Хрущева.

Зная, что заявления от заключенных на его имя, иногда очень подробные, идут едва ли не целыми вагонами и что в лучшем случае ему докладывают лишь краткие выжимки из этих обращений к нему, я написал свое заявление в телеграфном стиле, с тем, чтобы его нельзя было сократить. Поскольку оно было столь коротким и притом, скорее всего, единственным в своем роде, приведу здесь его содержание полностью:

«Мне, как и всем необоснованно репрессированным, предстоит освобождение. Соответственно просьба не об этом, а исключительно об освобождении в надлежащей форме, то есть в форме полной реабилитации…»

До этого я написал еще одно обращение к Хрущеву. Тоже в необычной для таких случаев форме.

Гражданину Хрущеву

От заключенного по решению ОСО,
по обвинению в преступлениях,
предусмотренных Ст. 58–10, ч. 1 УК РСФСР,
на срок 10 лет ИТЛ.

Глубокоуважаемый Никита Сергеевич!

Обращаюсь к Вам с просьбой, написанной в стихотворной форме.

Я избрал эту форму потому, что в стихотворении можно кратко и убедительно сказать то, на что иначе нужно много места.

На папке следственной — «хранить вечно».
Историки будущих поколений

Прочтут и смеяться будут, конечно,
Над пошлой нелепостью обвинений.

Да что там грядущее поколенье!
Вот она тут, бумажная кипа.
Сам следователь вынес постановление:
«Материалы ареста — сплошная «липа».

Но, не сменив материала подмоченного,
Ничего не добрав для судейских весов,
Следствие фабрикацию уполномоченного
Подшило, оформило и… в ОСО[23].

В ОСО штабеля недоказанных дел
Валяли быстрее котлет:
— Ага, агитация? — в ИТЛ.
— На сколько? — На десять лет.

Да, я агитатор. На фактах истории
Оружием лекций, книг и статей
Я агитировал в студенческой аудитории,
Учил рабочих, учительство и детей.

Как агитатор я очень был счастлив,
В окопной землянке, при двух фитильках,
Увидев бойцов наступающей части,
Сидевших с книжкой моей в руках.

Значит — страну от фашистских ударов
Я защищал не одним автоматом,
А бился в ста тысячах экземпляров
Книжки моей, выпущенной Воениздатом.

Специальность моя у историков редкая,
Не писал я о прошлом издалека.
В глубины веков уходил в разведку я
Для советской науки добывать «языка».

Палеография и сфрагистика,
Добрый десяток других наук,
Тысячи рукописей — до листика —
Вот стоимость фактов из первых рук.

И в ходе архивных кротовых разрытий,

Вздымавших рукописей пласты непочатые,
Родилось немало полезных открытий
(После ареста — и то печатали).

Дикость! — печатать брошюры и томы,
Агитировать в массах статей тиражами
И вдруг: «…Вы таким-то троим знакомым
Недовольство политикой выражали…»

Одни только бериевские кретины,
По счастью взятые теперь за жабры,
Могли малевать такие картины,
Подобные стряпать абракадабры.

А время плетется за годом год,
Дни отлетают, как дым.
Работа стоит, ребенок растет,
Сам я молод был — стал пожилым.

Пора на свободу. Но мне не по нраву
Быть на воле, а в главном урезанным.
Свобода, по-моему, — это право
Быть в полную силу полезным.

Для воли мой план нерушимый и четкий:
Стремлюсь к ней не благ обывательских ради,
Хочу одного: назад, за решетки
Отдела рукописей в Ленинграде.

И я бы, покуда хватило сил,
В сегодняшний день из архивных трущоб,
Истории жемчуг носил и носил.
Ваша помощь нужна, гражданин Хрущев.

Мне не известно, какое именно из этих двух моих обращений к Хрущеву дало желаемый результат. Допускаю, что одно из них заинтересовало кого-то из его помощников и было доложено патрону. Тот велел разобраться. Скорее всего, так и было.

В начале января 1955 года я вдруг заболел ангиной. Заболел в первый раз за все годы пребывания в лагере. Я несколько дней провалялся на койке в своей комнате в помещении учебной базы. Мой помощник и сосед Генрих Миронович Эмдин приносил мне из столовой еду, а из амбулатории лекарства.

Я честно полоскал горло и мерил температуру. Не забывали меня навещать остававшиеся еще на лагпункте друзья. Правда, я несколько удивился, когда среди бела дня, в самое горячее для него рабочее время, ко мне в комнату, толчком распахнув дверь, влетел один из активных участников нашей клубной самодеятельности и мой добрый приятель — закарпатский украинец Василий Яцула. Он был известен как хороший фотограф и в последнее время, не покладая рук, трудился в спецотделе Управления лагеря, делая фотографии на документы освобождающихся заключенных.

— Даниил Натаныч, пляши! — закричал он с порога.

— Ты что, с ума сошел?! — напустился на него мой сосед. — Не видишь — человек болен. У него температура тридцать восемь!

— Все равно, он сейчас запляшет! А не сможет, мы с тобой за него спляшем!

— Ну говори, говори же, Вася! — попросил я, приподымаясь. Надо ли говорить, что я догадывался, в чем дело.

— Мама Саша меня прислала, — сказал Яцула. — Беги, говорит, на второй лагпункт. Обрадуй Даниила Натановича. В спецотдел пришло извещение из Генеральной прокуратуры о его освобождении. И не просто об освобождении, а о полной его реабилитации.

Я искренне поблагодарил доброго вестника и стал одеваться, чтобы идти на почту, дать телеграмму домой.

— Пишите телеграмму, я добегу до почты, отправлю, — сказал Яцула.

— Нет, нет. Я сам.

И я действительно, несмотря на протесты друга, оделся и пошел на поселковую почту. Правда, Василий заставил меня измерить температуру. Произошло медицинское чудо. Температура оказалась нормальной. И вообще мою болезнь словно рукой сняло. Больше я о ней и не вспоминал.

Потом я узнал, что постановление о моей реабилитации датировано 3 января. Документы об освобождении я получил на руки только пятнадцатого. Билет на проходящий через Ерцево поезд на Вологду, где предстояла пересадка на ленинградский поезд, удалось достать только на 18 число.

Невозможно — да и не интересно это было бы для читателя — описать свои переживания этих дней ожидания выхода на свободу, возвращения домой к жене и сыну, к любимой работе. Тем более, что описывать свои переживания я не мастер.

Невозможно также описать эпопею (не нахожу здесь другого слова) моих прощаний с друзьями на лагпункте и в Ерцеве.

Расскажу только о самых последних минутах моего пребывания на ерцевской земле. Под влиянием нелепого предположения: «А вдруг мне не повезет, и поезд придет раньше, чем нужно по расписанию», — я на всякий случай пришел на вокзал за час до прихода поезда. На вокзале не было ни души. Даже касса была закрыта.

Держа в руке чемодан, я вышел на пустынную платформу и стал вглядываться в даль — не идет ли поезд. Буквально через минуту я увидел приближающийся паровоз. «Как хорошо, что пришел раньше!» — успело «сообразить» мое нацеленное в одну точку сознание. Тут же я понял то, что прекрасно знал и должен был понять сразу.

Приближался не пассажирский поезд, а очередной товарняк. Я же сам, и не раз, подсчитывал, что грузовые поезда по Архангельской дороге проходили мимо Ерцева примерно через каждые пятнадцать минут. Лес, уголь, руда, нефть, лес, уголь, руда, нефть. Товарные вагоны, платформы, цистерны, мчали все это необходимое для промышленности добро из лагерей Воркуты, Ухты. Ну и из нашего Каргополя, разумеется. Как я сам написал еще три года назад:

А вон и платформы. Уложены ровно
Стройматериалы — к доске доска:
Шахтовка, опалубка, рейки, бревна.
Лес рубят, и пилят, и грузят ЗК.

На этот раз, однако, мимо меня прогремел состав с другим грузом:

Железных колбас прогремела связка, —
Катят цистерны, раздув бока.
Бензин, лигроин, керосин, смазка.
Нефть добывают они же — ЗК.

Так простоял я довольно долго. Мороза не чувствовал. Правда, одет я был тепло. На мне зековская шапка-ушанка, ватник. Под ним свитер, переданный мне женой еще в тюрьму. Штаны заправлены в валенки. Осеннее пальто и синюю фетровую шляпу, в которых я приехал в лагерь и которые все четыре года моего здесь пребывания хранились в лагерной каптерке, я везу в чемодане. В поездах в то время спокойнее было ездить в зековской «униформе», чем в виде — по блатной терминологии — «фан фаныча»..

— Да вот же он! — услышал я вдруг голос позади себя.

Оказалось, что небольшое помещение вокзала забито набежавшими меня провожать бесконвойниками, отпросившимися со своих рабочих мест, кто с электростанции, кто из конпарка, кто из мастерских ширпотреба, а кто из лесозавода.

Настали минуты прощания. Рукопожатия, объятия, поцелуи, добрые пожелания, у кого-то даже слезы на глазах. А друзья все подбегают и подбегают. Теплое было прощание. Но растрогало меня, пожалуй, больше всего коллективное письмо этих моих солагерников, написанное ими после отхода моего поезда там же, на вокзале, и продолженное в другом месте. Я храню его до сих пор. Оно лежит передо мной и сейчас, когда я пишу эти строки.

Не успел прибежать на вокзал с лесозавода мой друг — композитор Борис Магалиф. Он, как выяснилось, смог только помахать вслед уходящему поезду.

Я написал об этих проводах, чтобы подчеркнуть важнейшее в моей тюремной и лагерной эпопее обстоятельство. На всех ее этапах, с первого ее дня и до самого последнего, на этом страшном и тяжком пути, мне встречались хорошие люди. Их доброе человеческое отношение, а нередко и серьезная помощь помогали выжить и физически и духовно. Были такие люди и среди моих товарищей по несчастью, и среди отдельных начальников. Среди них таковые встречались не часто. И поэтому хорошо запомнились. Бывало, по доброму относились ко мне в трудные минуты и некоторые уголовники. Благодарная память о каждом из них, как видит читатель, меня не покинула за столько прошедших лет.

Самым первым, самым главным, самым преданным, самым самоотверженным другом была для меня в те годы моя жена — Ариадна Семеновна. Оставшись одна, с маленьким ребенком и больной матерью на руках, она, с трудом добывая работу переводчика (со штатной работы ее, естественно, уволили), она в течение всех пяти лет моего заключения помогала мне, как могла.

Прежде всего, она подняла с пеленок и вырастила нашего сына. Результаты воспитания и развития, полученного в те давние, детские годы, стали основой формирования из него яркой творческой личности.

Ариадна Семеновна решительно отвергла советы различных опытных людей, в том числе и некоторых моих родственников, — последовать примеру многих и оформить развод со мной. Советы эти давались из добрых побуждений. Оставаться женой репрессированного было в то время очень неуютно не только из-за проблем с устройством на работу. Вполне реальной была

угроза высылки неблагонадежной семьи из Ленинграда.

Жена постоянно писала мне в лагерь письма. За четыре года их было около семисот, в среднем по два письма в неделю. Надо ли говорить о том, какой поддержкой и какой радостью для меня было получение каждого ее письма. Тем более с фотографиями моего подрастающего без меня сына. Я отвечал так часто, как мог, обходя с помощью разных оказий положенную норму отправки из лагеря писем — два или три письма в месяц.

Передо мной лежит сейчас пухлая пачка сохранившихся с пятидесятого года квитанций — описей передач, которые жена каждый месяц приносила для меня в тюрьму. Все они однотипны и скромны. Вот, на выбор, содержание одной из этих квитанций: «Хлеб — 500 гр. Сухари — 300 гр. Масло — 300 гр. Конфекты — 300 гр. Чеснок — 2 головки». На каждой — дата и подпись принимавшего передачу тюремщика.

В тюрьме было голодно, и передачи очень даже хорошо поддерживали.

В течение четырех лет пребывания в лагере я постоянно получал от жены посылки. Я знал, что мои родственники, в частности, отец, пока был жив, понемногу помогали ей деньгами, иногда и продуктами. Тем не менее, в основном то, что посылалось мне, приходилось отрывать от более чем скромного семейного бюджета. Мои просьбы не присылать мне посылок, действия не возымели.

Ариадна Семеновна несколько раз приезжала ко мне на свидания. Такие приезды всегда были сопряжены и с трудностями, и с немалыми по тем временам затратами.

Не было в моей тюремной и лагерной жизни ни одного дня, да, пожалуй, и ни одного часа, когда бы я не думал о самых близких мне людях, — о жене и сыне, не мечтал вернуться к ним.

И вот я в поезде! Я еду домой!! Живой, свободный!!!

Одно только плохо: ну, почему этот поезд идет так медленно и так часто останавливается?!

Постфактум

Несколько слов в заключение моей тюремно-лагерной истории.

После, можно сказать, всеобщего нашего освобождения из ГУЛАГа, многие лагерные знакомства продолжались. С Бузаевым и Магалифом, как я уже говорил выше, мы поддерживаем переписку до сих пор. Рассказывал я и о встречах с Александром Гладковым.

А с земляками-ленинградцами приходилось, пока все были живы, встречаться часто.

Ко времени моего возвращения из лагеря Илья Киселев был уже директором Пассажного театра, получившего позднее благодаря его усилиям имя В. Ф. Комиссаржевской. Помня о моих драматургических сочинениях в бытность заведующего клубом на 2-м лагпункте, он попросил меня написать звучащие тогда по современному интермедии к спектаклю, который готовил к постановке его театр. Сатирические интермедии к комедии Карло Гоцци «Счастливые нищие» стали началом моей профессиональной драматургической работы.

Бывший до своего ареста первым секретарем Октябрьского райкома партии Анисим Семенович Шманцарь, стал на несколько лет директором Дома Архитекторов. Наш добрейший лагерный завбаней полковник Лазарь Львович Окунь — возвратился для оформления отставки на военную службу. Яша Маркус, оказавшись «на слободе», вернулся к изготовлению женской модельной обуви, а Евгений Иосифович Войнилович — к своим инженерным делам. Адвокат Михаил Николаевич Лупанов поступил на службу в юридическую консультацию. А я — в Отдел рукописей Публичной библиотеки.

Несколько раз наезжал в Ленинград капитан Тюгин. В Ленинграде училась его дочь. У нас сохранялось теплое к нему отношение.

В один из его приездов я предложил бывшим «одноолпчанам» немного над ним пошутить. Мы договорились с ним встретиться возле Дома офицеров. В назначенное время почти все там собрались, радостно поприветствовали друг друга и приезжего гостя. При этом мы дружески посоветовали капитану быть предельно внимательным в отношении проходящих мимо старших офицеров и вовремя их приветствовать, приняв стойку «смирно». Мы расписали ему строгость ленинградских военных патрулей, особенно здесь, возле Дома офицеров. И вдруг, как и было нами задумано, из-за угла Литейного и Кирочной вышел и

направился в нашу сторону полковник в папахе и в серой касторовой полковничьей шинели. Кто-то легонько подтолкнул Тюгина, и тот, завидев полковника, вытянулся и замер, бросив правую руку к шапке. Полковник вроде бы нехотя поднял руку к папахе, но тут же шагнул к капитану, улыбаясь и протягивая к нему обе руки.

Тюгин на мгновение опешил, не понимая, почему мы все хохочем.

— Окунь! Лазарь Львович! Ты ли это? Ну, здравствуй! Здравствуй. Здравствуйте, товарищ полковник!..

— Здравия желаю, гражданин начальник!..

Вскоре мы все сидели за столиком в расположенном поблизости ресторане «Уют». Повспоминали тот, совсем иной «уют», на который в свое время обрекла нас судьба. Каждый припомнил, как капитан Тюгин старался по возможности помочь в трудном случае.

После той встречи прошло лет двенадцать, и утекло много воды.

Судьба развела нас с Ариадной Семеновной. Но добрые отношения мы сохраняем до сих пор. Более сорока лет я женат на Тамаре Александровне Мельниковой. Указываю здесь на это потому, что событие, о котором я хочу вкратце рассказать, произошло в ее присутствии.

К тому времени я уже был членом Союза писателей, и получил квартиру. В спальном районе, на Звездной улице, где мы с женой живем и сегодня. Эти приметы времени позволяют мне уточнить нужную дату.

Осенью 1968 года у нас в квартире раздался телефонный звонок. Звонил приехавший в Ленинград капитан Тюгин, с которым мы не виделись со времени описанной выше встречи.

Рассказав, как он разыскал мой новый телефон и адрес, он попросил разрешения приехать ко мне вместе с сыном.

К вечеру они пришли.

Я еще с лагерных времен знал, что у Тюгина пятеро детей, старший из которых — военный моряк. Но не предполагал, что вместе с отцом появится высокий, статный морской офицер в звании капитана второго ранга, и как тут же выяснилось, командир подводной лодки.

Сам Александр Иванович заметно постарел. Я впервые увидел его в гражданской одежде. Но на его лице была знакомая, приветливая улыбка. Он притащил с собой целый чемодан гостинцев: грибы и ягоды из ерцевского леса, огурцы со своего огорода. Его сын принес вино, торт, конфеты. Да и у нас уже был накрыт стол.

Тем не менее, посидели мы за ним недолго. Наши гости вечером того же дня должны были уезжать. Поговорили, что-то, разумеется, повспоминали. Тюгин младший рассказал о каком-то интересном походе своей лодки. Мы — о своем житье-бытье. Я расспросил старшего Тюгина о Ерцеве, о том, что теперь представляют из себя Каргопольлаг и наш 2-й ОЛП. Он рассказал, что многое переменилось, что политических там теперь не содержат.

Потом гости попрощались и ушли. Вроде бы ничего интересного не происходило в течение этого вечера. Однако когда за ушедшими закрылась дверь, мы с женой несколько минут стояли возле двери, и молча смотрели друг на друга. Затем выяснилось: не сговариваясь, мы думали об одном, о том какая сцена личной драмы человека прошла здесь сегодня перед нами. Отец, не раскрывая, надо полагать, свою истинную цель, привел сына к бывшему заключенному, чтобы он — сын — узнал, убедился, что его отец, хотя и служил лагерным начальником, не был держимордой. Что, напротив, он заслужил у бывших заключенных добрую память о себе.

Сколько же лет постоянно мучился отец при мысли, что его дети могут думать и, вероятно, думают о нем как об обычном лагерном сатрапе? Сколько же лет надеялся он на случай, который представился ему сегодня?

Не думаю, что многие из лагерных начальников имели переживания подобного рода. Капитан Тюгин был, несомненно, исключением. Кстати сказать, я понял это с первой нашей встречи.

Сколько бы раз ни проходил я мимо окон конторы нашего лагпункта, в свою бытность пожарным, я всегда видел капитана Тюгина через окно кабинета в странной позе. Он сидел за своим столом с опущенной головой, подперев ее обеими руками. Я полагал, что он спит.

Однажды я зашел по какому-то делу к нему в кабинет. При моем появлении капитан быстро поднял голову и задвинул ящик стола. Я решился задать ему вопрос: почему он обычно сидит с опущенной головой.

— Читаю, — ответил он и выдвинул ящик стола. — Интересная книга. «Три цвета времени». Ты, небось, читал ее? — продолжал он.

Я ответил утвердительно и рассказал ему, что работал в самом книжном учреждении, в Публичной библиотеке. Так мы тогда и познакомились.

Вспоминая о капитане Тюгине, я думаю, что слова Максима Горького «Всем хорошим, что во мне есть, я обязан книгам»,

вероятно, справедливы и в отношении него. Нельзя не заметить при этом, что ни одного другого лагерного начальника, читающего художественную литературу, мне видеть не приходилось.

Наконец-то я дождался суда и оказался «в законе»

Чуть ли не на второй день после моего возвращения домой, я отправился в родную Публичку, чтобы восстановиться на работе, по которой я очень скучал в течение долгих пяти лет.

Из бюро пропусков я позвонил в Отдел рукописей, мне спустили пропуск, и вот я родных стенах. Встреча с товарищами была радостной и теплой — мне жали руки, некоторые меня обнимали и целовали.

Отмечу здесь лишь один, наиболее интересный момент этой встречи.

В течение многих лет в Отделе рукописей работала Анна Николаевна Михалева — простая, не очень образованная женщина средних лет, по характеру вполне доброжелательная. Как профорг нашего Отдела, она старалась помогать тем, кто в этом нуждался, — кому выхлопотать материальную поддержку, кому путевку в Дом отдыха, а кому просто сочувствием. Внешне она отличалась от других сотрудниц библиотеки толстой, рыжеватой косой, уложенной вокруг головы, что в те времена было редким случаем. Анна Николаевна Михалева принадлежала к партийному активу Публичной библиотеки, и была, соответственно, проводником партийной линии в Отделе рукописей.

До моего ареста она относилась ко мне вполне хорошо. Особенно после того, как я, единственным из аспирантов Публичной библиотеки, досрочно закончил аспирантуру, защитив кандидатскую диссертацию. (Кстати сказать, больше никто из тогдашних аспирантов не уложился даже в установленный трехлетний срок.)

Михалева еще больше зауважала меня, когда заметила, какие хорошие отношения сложились между мною и новым директором библиотеки Львом Львовичем Раковым.

После моего ареста, как мне потом рассказывали многие очевидцы, она рыдала и в Отделе рукописей и на трибуне партийного собрания, глубоко раскаиваясь в том, что не сумела разглядеть такого матерого врага народа, как я. «Я никогда не прощу себе этой своей политической близорукости», — говорила она, бия себя в грудь. Надо думать, она продолжала каяться по данному поводу в течение всех пяти лет моего заключения.

И вот теперь, когда я вернулся полностью реабилитированным, Анна Николаевна Михалева кинулась меня

обнимать и целовать, приговаривая сквозь слезы радости: «Какой ужас! Как я могла подумать, как я могла допустить, что такой человек, такой хороший товарищ, такой перспективный молодой ученый — враг?! Ну, простите меня, пожалуйста. Поймите, время было такое…»

Я, разумеется, и понял и простил это живое воплощение «такого времени», вернее двух «таких» времен — и тогдашнего и сменившего его. Самое удивительное в этой истории то, что Михалева, и в первом и во втором случае в большой степени искренне верила в то, что говорила. В нынешние покаянные дни, когда массы вчерашних карьерных пассионариев в интересах своей сегодняшней карьеры без тени самоосуждения проклинают ими же творившееся прошлое время, не могу говорить об Анне Николаевне Михалевой без доли уважения к искренности ее переживаний.

В Отделе рукописей мне рассказали, что в Отделе кадров, куда мне предстояло отправиться, новый начальник — некто Алексей Александрович Алексеев — личность весьма неприятная. О нем было известно, что до прихода в Публичную библиотеку, он работал секретарем горкома партии Пскова, и был снят с этой должности еще при Сталине с формулировкой «За разгром кадров». Можно было, конечно, удивляться, почему человек, изгнанный с работы «за разгром кадров» даже при Сталине (!!!), оказался во главе Отдела кадров Публичной библиотеки в новое время, но факт был фактом.

И вот, я в Отделе кадров перед Алексеевым. Зная уже, что это за личность, я ожидал увидеть человека похожего на Бармалея.

Но оказалось, что вид у него вполне обычный. Лет ему было под сорок пять, голова круглая, с большой лысиной. Поздоровался он со мной по чиновничьи, подняв глаза от лежавшей перед ними бумаги. Предложил сесть.

— Представьтесь. С чем пожаловали?

Я назвал себя и сказал, что пришел восстанавливаться на работе в Отделе рукописей после реабилитации и освобождения из заключения.

— Принять вас на работу в рукописный не могу. Там нет вакансии. Весь штат укомплектован.

— Как реабилитированный я по закону должен быть восстановлен на работе в прежней должности — старший библиограф Отдела рукописей, — сказал я. — И вы обязаны восстановить меня прежней работе.

— Ну, что ж, закон есть закон, — сказал Алексеев. С этими словами он открыл ящик стола, вынул из него и положил передо мной какой-то список. — Вот список сотрудников Отдела

рукописей. Поставьте крестик возле фамилии — кого предлагаете уволить, чтобы освободить место для вас.

— Вы же прекрасно знаете, что я этого делать не стану, — сказал я, отпихивая в его сторону список сотрудников отдела. — На это и рассчитывали, надеясь от меня отвязаться таким способом? Не выйдет! Будьте любезны, обсудите мой вопрос с директором библиотеки. А я завтра принесу официальное заявление. Если не восстановите меня на работе, дадите мотивированный отказ в письменной форме.

— Ну, зачем, зачем вы так кипятитесь, — улыбнулся Алексеев. — Давайте будем все решать по закону. Даю вам добрый совет. Пишите заявление прямо сейчас. А я прямо сейчас напишу на нем резолюцию о невозможности восстановить вас на прежней работе ввиду отсутствия штатной единицы. И вы подадите на меня в суд. Если суд решит в вашу пользу, решение суда выполним. Если не в вашу, тогда уж, извините.

Я принял «добрый» совет Алексеева, хотя понимал: он уверен в том, что наш советский суд встанет, как всего чаще бывает, на сторону государственного учреждения, а не частного лица.

На другой день я подал заявление в райсуд Куйбышевского района, помещавшийся тогда на улице Плеханова (ныне Казанская). Слушание моего иска состоялось примерно через две недели.

На заседание суда пришло довольно много народа: несколько сотрудников библиотеки, «болевших» за меня, адвокат, представлявший ее дирекцию, и человек пять моих друзей. Я пригласил авторитетного свидетеля моей успешной работы в доарестное время, бывшего директора Библиотеки Льва Львовича Ракова. Он задолго до меня вышел на свободу. «Позорное Ленинградское дело», по которому он сидел в знаменитой Владимирской тюрьме, было к тому времени уже почти год как закрыто. Лев Львович привел с собой своего друга — известного юриста, профессора юридического факультета университета — Давидовича. Именно в тот момент, когда Давидович, с которым я тоже был хорошо знаком до своего ареста, радостно меня обнимал, в зал вошла председатель Куйбышевского районного суда Антиошко, его бывшая студентка.

Секретарь суда произнесла: «Суд идет». Все встали, потом сели, и началось судебное заседание.

Говоря о сути моего иска, я не преминул заметить, что впервые нахожусь в суде, несмотря на то, что пять лет находился в заключении.

Лев Львович Раков в краткой, но яркой речи, в которой зачем-то ссылался на римское право, высоко оценил мою прежнюю

работу в Публичке. Юрист, представлявший дирекцию библиотеки, говорил об отсутствии штатных единиц.

Решение судьи и двух заседателей обязывало дирекцию Публичной библиотеки, в соответствии с законом о правах реабилитированных, восстановить меня на работе со дня подачи заявления, повысив при этом с должности старшего библиографа до главного библиографа. Суд разъяснил это решение тем, что за время моего вынужденного отсутствия на работе, заработная плата старшего библиографа была несколько снижена, а закон о реабилитации необоснованно репрессированных не разрешает оплачивать их работу по ставке более низкой, чем у них была до их ареста.

Отдельным решением суд обязывал дирекцию библиотеки оплатить мне вынужденный прогул со дня подачи заявления о восстановлении на службе в Публичной библиотеке.

Надо ли говорить о том, как я был доволен таким справедливым решением суда. Мне не терпелось как можно скорее первым вручить судебное решение Алексееву до того, как о нем ему сообщит проигравший дело юрист.

Тепло попрощавшись с поздравлявшими меня друзьями, я побежал в ближайший продмаг и, купив большую коробку конфет, пришел в канцелярию суда. Преподнеся ее канцелярским девушкам, я объяснил им, почему мне так хочется прямо сейчас получить у них полагающуюся мне копию судебного решения. Девицы пошли мне навстречу. Через час с этой копией в руках я входил в кабинет Алексеева.

— Спасибо, спасибо, Алексей Александрович, — начал я прямо от двери, стараясь и лицом и голосом подтвердить будто бы переполнявшее меня чувство благодарности.

— Это за что же? — насторожился он.

— То есть, как за что? Разве вы не помните? Вы же дали мне добрый совет — обратиться в суд. Так кого же, как не вас мне благодарить? Ваш совет оказался совершенно правильным. Вот, что значит добрый человек и опытный кадровик!..

— Ну ладно, ладно. Будет! Давайте ближе к делу, — Алексеев, почувствовав недоброе, даже встал со стула. — Суд был?

— Был, был!

— Ну и какое решение?

— А вот какое! Правильное. Справедливое, — сказал я и протянул Алексееву копию.

Он сел, пробежал бумагу глазами, и пренебрежительным жестом бросил ее на стол.

— Неужели не понравилось? — спросил я, не скрывая

иронии. — Или, давая мне добрый совет обратиться в суд вы надеялись, что суд мне откажет? В этом ваша доброта?

— Это решение неправильное. И мы его обжалуем в городской суд, — процедил Алексеев сквозь зубы.

— Ваше право. Только учтите, пожалуйста, возможные последствия. — Я протянул Алексееву постановление суда об оплате моего вынужденного прогула.

— Здесь пока за семнадцать дней, — продолжил я. — В городском суде вы тоже проиграете, и куда больший срок вынужденного прогула придется оплачивать. А дирекция библиотеки этот расход наверняка на вас возложит. Так что — подумайте.

Дирекция библиотеки подумала и не стала опротестовывать решение районного суда. Я вернулся на свое рабочее место в Отдел рукописей, где и проработал еще около тридцати лет.

Приложения

Некоторые из моих лагерных литературных опытов (Кроме тех, что уже были приведены в ходе повествования)

Стихи и песни про беду

ЗК

Товарищ, возьми обычную ручку,
Обмакни перо, оботри слегка
И выведи маленькую закорючку —
Две буквы только «Зе» и «Ка».

Что, непонятно? Видишь впервые?
Тогда послушай, не теряй нить.
Мозгов твоих слои жировые
Пробьем, попробуем объяснить.

Взгляни на соседку. Часто плачет,
Бьется, мотается из-за куска.
Везде ей не рады. Что это значит?
Это значит, что муж у нее — ЗК.

Поедешь в вагоне — оторвись от книжки.
Как бы дорога ни была далека.
Увидишь повсюду заборы и вышки.
Кто за колючкой? Они, ЗК.

А мимо окошка, в платформах-корытах
Течет непрерывно угля река.
Кем эти тонны угля нарыты?
Ответ все тот же: ими — ЗК.

Железных колбас прогремела связка —
Катят цистерны, раздув бока.
Бензин, лигроин, керосин, смазка.
Нефть добывают опять же — ЗК.

А вот на платформы уложены ровно
Стройматериалы — к доске доска:
Шахтовка, опалубка, рейки, бревна.
Лес рубят, и пилят, и грузят — ЗК.

Враньем набухают «научные» томики,
А правду вместит и одна строка:
Главные тяготы экономики
Взвалили на плечи все тех же — ЗК.

Каналы, дороги, газ, электричество —
Всё, чем жизнь хороша и легка,
Создал и добыл — Его Величество —
Новый рабочий класс — ЗК.

ЗК — сокращенное — заключенный,
Долголетняя жертва сталинских лап,
Превращенный в скотину, с семьей разлученный,
Бесплатный рабочий. Короче — раб.

ЗК — это твой вчерашний приятель,
Соседка — девушка твоей мечты.
Твой отец или сын, твой преподаватель,
Кто станет им завтра? А завтра — ты!!

Ну, что удивленно поводишь бровью?
Не правда ли, фокус: твоя рука
Писала чернилами, а вышло кровью —
Две буквы только — «Зе» и «Ка».

Ерцево. 1952 г.

Злые кандалы

Кандалами скован, цепь обвила грудь.
Не гадал я снова широко вздохнуть.
Сделать шаг свободно, спать спокойно ночь,
Но судьбе угодно мне теперь помочь.

Дорогие ручка, как они малы,
А смогли раскинуть злые кандалы.
Чуть они погладят, нежно обоймут,

Цепи мне не давят, обручи не жмут.

Дорогие глазки, как они светлы.
Глядя в них, забыл я злые кандалы,
Всю свою недолю, горечь всех обид,
Нудный и тяжелый каторжный свой быт.

Дорогие губки, как они теплы.
Даже вы согрелись, злые кандалы!
Ведь не даром в жилах кровь распалена,
Знаю, полюбила, милая, она.

Будет тяжело мне расставаться с ней.
О себе напомнят, врежутся больней,
Злее, чем доныне, вдвое тяжелы,
Обручи стальные, злые кандалы.

Октябрь 1952 г.

Упреки разума

Как хорошо тому, кто верит богу,
Он лишний раз себя перекрестит,
Горячею мольбой уймет свою тревогу,
Спокойно веруя, что кто-то там простит.

А мне покоя нет — душа бездонный ледник
И некого просить: «Прости меня, прости».
Я сам себе судья и сам свой исповедник,
А от себя куда же мне уйти.

Нет! Над самим собой не просто в роли бога.
А общий божий труд — судить людское зло?
Грехов не счесть, людей до черта много.
И всех перепрощать — безбожно тяжело.

Ерцево. 1953 г.

Мираж

Все песок, да песок повсюду,
И небес обесцвеченный зонт.
С каждым медленным шагом верблюда
Отступает на шаг горизонт.
Словно вечность от шага до шага,
Как котел голова горяча,
Иссякает последняя влага,
Соляная верблюжья моча.
Кипятком наливаются жилы,
Солнце жжет через пленку одежд,
Испаряя последние силы
И последние капля надежд.
Только вдруг, за равниной песочной
Контур города — зыбкий, как сон,
Чуть, едва, синевою молочной
На небесною гладь нанесен.
Нет, не бред! И не сонная небыль!
Пусть мираж! Это добрая весть:
Если что отразилось на небе —
На земле оно подлинно есть!

Январь 1954 г.

Студент-заочник

Жил да был студент-заочник
(Пожилой уже),
Изогнувший позвоночник
В долгом зубреже.
Он сидел, корпел, как в бурсе,
Потом лоб мочил.
Все искал он в «Кратком курсе» —
Маркс чему учил?
Выяснял он так безбожно
Истины одне:
«Ну так можно, иль не можно,
Чтоб в одной стране?»
Раз, однажды, он, привычно
По строкам скользя,
Взял и понял преотлично,
Что никак нельзя.
И тогда студент-заочник

Свесил петлю вниз,
Вдел в нее свой позвоночник,
Прыгнул и повис.

Декабрь 1952 г.

Сидор Карпыч похудел…

Как у нашего народа
Небывалая свобода:
Скажешь слово, скажешь два —
И слетела голова.

Сидор Карпыч похудел,
Не находит места.
Он ни разу не сидел —
Значит — жди ареста.

Карп Иваныч похудел,
Не находит места.
Он когда-то уж сидел —
Тоже — жди ареста.

На сосне уселся дятел,
Так и хочет стук начать.
А Иван Петрович спятил —
На себя пошел стучать.

Две баллады
(На тему моей прерванной исторической работы)

Мать Ивана Грозного

Великий князь Василий III, бездетно прожив двадцать шесть лет с первой женой Соломонией Сабуровой, прогнал ее в заточение. После трех лет бездетной жизни Василия III с молодой женой Еленой Глинской вдруг, один за другим, родились два сына Иван и Юрий. Было

много толков о том, кто же истинный отец Ивана Грозного. Вот одна из легенд.

Лес меняется опушками,
Рассиялась неба ширь.
Вдоль дороги грянул пушками
Древний Духов монастырь.

Не пожар, не приступ вражеский.
Потому, знать, суета,
Что возок великокняжеский
Мчит по снегу в ворота.

Уж молва длинноязыкая
Весть далеко понесла:
«Государыня великая
На моленье прибыла».

Шубу приняли соболию,
И под звон колоколов
Настоятель с хлебом-солию
Встретил речью у столов:

— Хлеб да соль с дороги, странница,
Не суди — что подал бог:
Сливки, яйца, каша-манница,
С белой рыбою пирог.

Прикажи медку студеного,
Али пенного пивца,
Хлеба белого, зеленого,
Аль ржаного леденца?

— Бог спаси, отец, устала я.
Путь не легкий, с ног валюсь.
Укажи, где келья малая,
Там поем и помолюсь.

И пошла, шурша нарядами,
С легким стуком каблуков,
Провожаемая взглядами
Из-под черных клобуков.

Красота от бога многая

Государыне дана,
Но суровая и строгая —
Недобра и холодна.

Вот Елена в темной келии
Перед образом, в углу,
Кольца сняв и ожерелии,
Распласталась на полу.

— Царь небес, рабу негодную
Защити и пощади:
Иль окончи жизнь бесплодную,
Или сыном награди.

Ой, же лихо мне, ой худо,
Точно яд бежит в крови.
Царь небесный, сделай чудо,
Милость божию яви.

Поднялась, собрала четки,
Облеклась в наряд ночной.
Вдруг шаги тверды и чётки
Стали слышны за стеной.

Темнотой пахнуло синей,
Дверь замкнулась щеколдой.
И стоит перед княгиней
Рослый инок молодой.

Белый лоб под темным волосом,
Взор отчаянный горит.
И бесстрашным твердым голосом
Инок тихо говорит:

— Свет-княгинюшка великая,
Страшный час в моей судьбе.
Божья воля, страсть ли дикая
Привела меня к тебе.

Не гони монаха бедного,
Бог простит, коль спутал бес.
Знаю: отрока наследного
Долго молишь у небес.

Для моления, для тщетного
Все святыни обойди,
Но от мужа от бездетного
Чуда божьего не жди.

Изгоришь тоскою огненной,
Годы будешь слезы лить
И с княгиней с первой, с прогнанной,
Долю горькую делить.

Средство верное, целебное
Нынче послано судьбой,
И простое, не волшебное —
Вот оно перед тобой.

Не гони монаха бедного,
Знаю — дерзко говорю.
Хочешь отрока наследного?
Если хочешь — подарю!

А за тайну — будь спокойною,
Не расстанется с нутром
Ни под пыткою разбойною,
Ни под звонким топором.

А не хочешь — воля вольная,
Сдай монаха палачам —
Пусть головушка бездольная
Поскучает по плечам!

Сходно плавленному олову
В душу ей вливалась речь.
Вдруг рука легла на голову,
По груди пошла от плеч,

Пламя свечки колыхнулося,
Тени сбились на стенах.
И по девичьи вздохнулося:
— Не губи меня, монах.

* * *

Медных труб гуденье зычное
Раздается по лесам.
Скачет воинство опричное,
Грозный царь в походе сам.

Лес меняется опушками,
Рассиялась неба ширь.
Золочеными макушками
Глянул Духов монастырь.

Царь коня одернул круто,
Наклонился из седла.
— Посмотри-ка, брат Малюта,
Видишь эти купола?

Слышал я в глухом предании
Под углами все ворчат —
Будто в божьем этом здании
Был я матушкой зачат.

От бояр извечно смута.
То от них исходит блажь!
Ты… сыщи-ка, брат Малюта,
Память матушки уважь!

1952 г.

Прощание

(Песня молодого татарина накануне штурма Казани)

Русский царь Иван Василич —
Он могуч и лют.
Чтоб в Казани нас осилить,
Поднял русский люд.

Под бесчисленные стяги
Стянуты полки,
По Оке и по Свияге
Ставят городки.

Тянет чадом желто-серым,
Чаны возле хат —
По деревням варят серу,
Сушат пороха.

По рекам плывут насады{Речные суда},
Весла плещут в ряд —
Перевозят для осады
Пушечный наряд.

И скрипят, скрипят подводы,
Всех не перечтешь.
Смотрят царь и воеводы
Наших стен чертеж.

Скоро двинутся турусы,
Загремит таран.
Ну так что ж, и мы не трусы,
Встанем за Коран!

Для защитного удара
Двинемся стеной.
Ну, Надира — дочь Гумара,
Распростись со мной.

От дворца Сафа-Кирея
Слышно пенье труб,
Проводи меня скорее
Мягкой лаской губ.

Сладость их чтоб стала силой,
Разлилась вдоль жил,
Чтоб от смерти уносила,
Чтоб я долго жил.

Чтоб меня за подвиг ратный
Отличил мурза,
Чтоб вернулся я обратно
Под твои глаза.

Ярче угольного жара,
Крепче, чем буза,
О, Надира — дочь Гумара,
Те твои глаза.

От дворца Сафа-Кирея
Слышно пенье труб —
Проводи меня скорее
Мягкой лаской губ.

Ну, а если от удара
Упаду с коня,
Ты, Надира — дочь Гумара,
Позабудь меня.

5 июня 1958 г.

Стихи, сочиненные и посланные домой малышу-сыну

Зайка-капризайка

Бедный зайка очень глуп —
Он не хочет кушать суп.
Мама кормит, мама просит —
Зайка только глазки косит,
Машет лапками, орет,
В рот ни капли не берет.
Вьется в стуле, как юла,
Ложку сбросил со стола.
Третьи сутки! Третьи сутки…
Пусто в зайкином желудке.
Суп прокис в холодной миске
И его отдали киске.
Сил у зайки стало мало,
А потом совсем не стало.
Еле-еле, еле-еле
Он добрался до постели.
У него посохли лапки,
Ушки свисли, точно тряпки,
Вместо пышного хвосточка
Еле видимая точка.
Шейка стала тонко-тонкой,
И не движет головенкой.
Плачет киска, плачет мишка:
— Умирает наш зайчишка.

— Что ты, зайка, натворил,
Сам себя ты заморил.
На четвертый день с утра,
Прибежали доктора.
Лечат бедного зайчишку,
Ставят градусник подмышку
И качают зайке в рот
Чистый воздух-кислород.
На язык глядят, на зубки,
Сердце слушают сквозь трубки,
Сыплют в глотку порошок
И сажают на горшок.
Ну, а ночью, до утра
Совещались доктора.
И велели доктора
Скушать супа три ведра,
И еще они велели
Десять дней лежать в постели,
Не давать ему сластей,
Не пускать к нему гостей.
После супа дать касторку,
На закуску хлеба корку.
Так, с кроватки не слезая,
Десять дней лечился зая,
И сказали доктора:
— Ну, теперь вставать пора.
Зайка сильно пополнел,
Стал послушный, поумнел.
За столом сидит он смирный,
Суп хлебает вкусный, жирный,
Ложку сам ко рту подносит,
Все поест, добавки просит.
Все довольны, мама рада.
— Умный зайка, так и надо.
Вытри рот, сними салфетку,
Скушай вкусную конфетку.
Киски, мишки и лошадки
Дарят зайке шоколадки.
Вместе с ними доктора
Зайке крикнули — Ура!
И с тех пор, как только детки
Станут рвать с груди салфетки,
Злобно ручками махать,
Ложку в сторону пихать.

Им читают эту книжку
Про несчастного зайчишку.
Тут уж каждый, кто не глуп,
Начинает кушать суп.

Ерцево 1951 г.

Присланная мне в лагерь фотография, ставшая поводом к написанию сказки «Зайка-капризайка»

Фролка-Балаболка

Жил на свете мальчик Фролка
По прозванью Балаболка.
Не успеет Фролка встать,
Как во всю начнет болтать.
И про это и про то.
Про котлеты, про пальто,
И про киску и про миску,
Про ириску, про редиску,
Про бидоны, про смолу,
Про лимоны и золу,
Про корзину, про часы,
Про резину, про усы,
Про лопатку, про снежок,
Про лошадку, про флажок,
И про то и про другое,

Прямо ужас, что такое!
О платочке, о листочке,
О свисточке, о цветочке,
Об игрушках, о ватрушках,
О старушках, о зверюшках,
Про медведя, про лису,
И про прыщик на носу.
И про то и про не то,
И про сам не знает что.
Мама скажет — Фролка, кушай,
Фролка скажет — Мама, слушай.
Рот забьет полным-полно
И болтает все равно
Про сметану и про кашу,
Про стакан, про простоквашу
И про сыр, и про творог,
И про яблочный пирог.
Как-то Фролка кушал рыбу.
Взял кусок — большую глыбу,
Полный рот набил битком
И болтает языком.
Вдруг — большая рыбья кость
Сквозь язык прошла, как гвоздь.
Фролка очень удивился,
А язык остановился.
Фролка хочет крикнуть — «Мама!»
А язык молчит упрямо,
Заболел, стал хил и плох,
Ну, а к вечеру засох.
Фролку мать ведет к врачу,
К Ипполиту Кузьмичу.
Старый доктор Ипполит
Фролке рот раскрыть велит.
Долго возится он с Фролкой,
Промывает рот карболкой
И щипцами тащит кость,
Кость большую, точно гвоздь.
Фролке доктор Ипполит
Десять дней молчать велит.
Говорит он — Мальчик Фролка,
Прекрати болтать без толка.
Разговоры за едой
Могут кончиться бедой.
Фролка доктора послушал:

С этих пор он молча кушал.
Постепенно он привык
Не ворочать зря язык.
Не болтает, ценит слово,
Говорит всегда толково.
Все теперь довольны Фролкой
И не дразнят Балаболкой.
Ну, а сам-то ты, малыш,
За едой не говоришь?

Ерцево, февраль 1952 г.

Мишка-певец

Ползимы в краю лесном
Спал медведь глубоким сном.
Съел он летом столько мёда,
Что наелся на полгода,
И блаженствует во сне,
Собираясь встать к весне.
Ночью вдруг проснулся Миша —
Шум какой-то он услышал:
Кто-то пляшет и поет,
Спать спокойно не дает.
Заворчал со сна медведь:
Кто посмел плясать и петь?!
Кто шумит, когда я сплю?!
Всех сейчас передавлю!
Видит Мишка — на снегу
Пляшут зайчики в кругу,
Подлетают, как пружинки,
Ловят лапками снежинки —
Маленькие зайчики —
Девочки и мальчики.
На головках у зайчат
Ушки стрелками торчат,
Глазки, словно бусики,
Над губами — усики.
Пляшут весело и лихо,
А под елкой мать-зайчиха
Детям песенку поет,
В барабан чечётку бьет.

Смотрит Мишка из-за веток
На зайчиху и на деток —
И подумал: «Малыши
У зайчихи хороши,
Что на них нельзя сердиться —
Надо ж детям порезвиться!»
И еще решил медведь:
«Помогу зайчихе петь».
Подошел, нагнулся к уху,
Да как рявкнет, что есть духу.
То-то был переполох:
На охоте волк оглох,
В страхе белки-попрыгушки
В снег попадали с макушки.
Тотчас дал тревогу дятел —
Клювом в ствол заколошматил.
Всполошились от тревоги
Норы, гнезда и берлоги.
Подскочив на край небес,
Заглянуло солнце в лес.
Зайки бедные с испуга
Повалились друг на друга,
А потом, поджав хвосты,
Ускакали за кусты.
А несчастная зайчиха
На снегу лежала тихо,
Неподвижна, чуть жива,
И дыша едва-едва.
«Странно, — думает медведь, —
Я хотел им песню спеть.
Отчего же это пенье
Привело весь лес в смятенье?
Очень жаль, — у нас в лесах
Толк не знают в голосах!
Я обиделся, и впредь
Ни за что не стану петь!!»

Ерцево, 1952 г.

Песни на мои слова, разрешенные к исполнению на сцене лагерного клуба

Твоя улыбка

Лирическая песня для тенора и фортепиано
Сл. Д. Альшица
Муз. Б. Магалифа

Ты всегда улыбнешься так ласково,
Когда встречу тебя у дверей, —
Ну хоть сердце наружу вытаскивай (2 раза)
И в лучах той улыбки грей!

А в глазах у тебя переливы,
Чуть лукавый намек в глубине.
Я подумал: какой я счастливый, (2 раза)
Если так улыбаются мне!

Но умчалась надежда зыбкая,
И, как прежде, я грустен и нем:
Оказалось, такою улыбкою (2 раза)
Ты всегда улыбаешься всем.

Вот и жду я с тревожной тоскою,
Безнадежнее день ото дня, —
Расцветешь ли улыбкой другою, (2 раза)
Только нашей — твоей для меня?..

Твоя улыбка.

Слова Д. Альшица. Музыка Б. Магалиф.

Умеренно скоро.
Piano
mf
(rit.)
Canto
a tempo
mf
ТЫ ВСЕ- ГДА У- ЛЫБ- НЕШЬ-СЯ ТАК ЛАС- КО- ВО, КОГ- ДА ВСТРЕ- ЧА ТЕ- БЯ У ДВЕ- РЕЙ,-
ЗАХ У ТЕ- БЯ ПЕ- РЕ- ЛИ- ВЫ, ЧУТЬ ЛУ- КА- ВЫЙ НА- МЁК БОЛЬ- ШЕ-
НУ ХОТЬ СЕРД-ЦЕ НА- РУ-ЖУ БИ- ТАС- КИ-ВАЙ, НУ ХОТЬ СЕРД-ЦЕ НА- РУ-ЖУ БИ- ТАС- КИ-ВАЙ И Я ЛЮ-
Я ПО- ДУ- МАЛ: КА- КОЙ Я СЧАСТ-ЛИ- ВЫЙ, Я ПО- ДУ- МАЛ: КА- КОЙ Я СЧАСТ-
1.
2.
ЧАХ ТОЙ У- ЛЫБ- КИ ТРЕЙ! А В ГЛА- ЛИ- ВЫЙ, ЕС- ЛИ ТАК У- ЛЫ- БА- ЮТ- СЯ
f
Tempo e rit. ad libitum
Tempo e rit. ad libitum

Meno mosso
мне!
Но у- муд-лась на- деж- да лыб- ка- я,
и, как прежде, я трус-тем и
mp
нем:
О- ка- за-лось – та- ко- ю у- лыб- ко- ю,
о- ка- за-лось – та- ко- ю у-
rit.
лыб- ко- ю
ты всег-да у-лы- ба- ешь- ся всем...
Tempo I
вот и жду я с тре-вож-ной тос-
rit.
Tempo I
ко- ю,
без- на-деж-но- е день о- то дня,—
тас- ка- тёшь ли у- мос- кой дру-

Ты всегда улыбнёшься так ласково,
когда встречу тебя у дверей,—
ну хоть сердце наружу вытаскивай (2 раза)
и в лучах той улыбки грей!

А в глазах у тебя переливы,
чуть лукавый намёк в глубине...
Я подумал: какой я счастливый, (2 раза)
если так улыбаются мне!

Но умчалась надежда зыбкая,
и, как прежде, я грустен и нем:
оказалось — такою улыбкою (2 раза)
ты всегда улыбаешься всем...

Вот и жду я с тревожной тоскою,
безнадёжнее день ото дня,—
расцветёшь ли улыбкой другою, (2 раза)
только нашей — твоей для меня?..

Машка бесконвойная[24]

С пропуском мне очень тяжко —
Жизнь беспокойная.
Все смущает меня Машка,
Машка бесконвойная.

Я в нее влюбился пылко,
Даже сердце замерло.
Весь в жару я, как сушилка,

И даже, как дезкамера.

Этак сохнуть нет резону —
Стал я мрачен и угрюм.
Отведите меня в зону,
Посадите меня в «Трюм».

И, узнав, что мне так тяжко, —
Та дивчина гордая, —
Может, будет эта Машка
Не такая твердая.

Нелегальный почтальон

У меня, друг, не ищи ты
Толстой сумки на ремнях.
Письма наглухо зашиты.
Угадайте где? В штанах.

Не скучайте, получайте
Все, кто страждет, кто влюблен,
Письма нежные, простые,
И со смыслом, и пустые
Доставляет не впервые
Нелегальный почтальон.

Муси, Дуси, Веры, Шуры —
Много женщин и девчат
Без стесненья и цензуры
Письма жаркие строчат.

Не скучайте, получайте
Все, кто страждет, кто влюблен,
Кто в глаза, а кто заочно,
Кто на день, а кто бессрочно,
Всех обслужит быстро, точно —
Нелегальный почтальон.

И скорей спеша ответить,
Все дела отбросив прочь,
Миши, Гриши, Вани, Пети

Письма стряпают всю ночь.

Не скучайте, получайте
Все, кто страждет, кто влюблен,
Кто в глаза, а кто заочно,
Кто на день, а кто бессрочно,
Всех обслужит быстро, точно —
Нелегальный почтальон.

Но случилось, ах, представьте,
Вы простить меня должны…
Как-то раз меня на вахте
Взяли прямо за штаны.
Все скучают, все ругают,
Все клянут со всех сторон.
Кто в глаза, а кто заочно,
Кто слегка, а кто и прочно!..
Всех подвел вас — это точно,
Нелегальный почтальон.

16 июля 1954 г.

Марш «Пройденный путь»

Марш для духового оркестра и хора
Муз. К. А. Георгиади[25]
Текст Б. Я. Магалифа

Наливает кисти черная смородина.
Будят ночь соловьиные трели,
Расцветает вешним садом наша родина —
Даже сосны, даже ели!

Мало прожито, но много нами пройдено —
Мало радостей, больше печалей;
Без весны сердца дичали,
Как сады без солнца и воды.

Я не знаю — гостя встретишь ли незваного?
Я вернулся из зимнего плена.
Не коснется уж листвы зеленой заново
Желтой осени измена!

Столько доброго, родного, долгожданного
Возвращает мне эта дорога, —
Под откос тропинок много,
Лишь одна вернет тебя со дна.

Вспомни, друг, про наш нелегкий путь,
Как не давала нам беда-пурга вздохнуть.
Пусть далека была мечта, — это не кто-нибудь,
Это же мы смогли во льдах костёр раздуть!

Так и ты всегда огнем искрись:
В нем — любовь, и свет, и мощь, и высь!
Но на краю обрыва, друг мой, стойким будь,
Не позабудь пройденный путь, наш путь.

Одолев ущелья и хребты,
Помни и ту, которой обязан ты:
В мире немного душ святых, — это не кто-нибудь,
Это она в тебя смогла тепло вдохнуть!

Ей одной ясна твоя стезя,
Кроме нее подруг найти нельзя, —
Даже невеста в жизни так не сможет ждать
И обнимать, и понимать, как мать,

Слышишь клич зовущих к счастью труб?
Ты возрожден, ты — человек, не раб, не труп!
Время не ждет: неси вперед
Твой наилучший дар —
Весь свой ум, весь свой труд, весь свой жар!

ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ. Марш. Музыка К.А. Георгиади, Слова Б.Я. Магалиф (Ерцево).

un poco cresc.
ПУСТЬ ДА-ЛЕ-КА
СЛО-ТО ЖЕ
МЫ
ТАК И ТЫ
ВЛЮБЛЁМ И ЮНОШЕ
НА КА-
НЕ ПО-ЗА-БУДЬ
НАШ
ПУТЬ!
ДО-МАТЬ.
cresc. e un poco rallent.
Ключ
ТЫ ВОЗ-РОЖДЁН
ВРЕ-МЯ НЕ ЖДЁТ:
ВЕСЬ СВОЙ УМ, ВЕСЬ СВОЙ ТРУД, ВЕСЬ СВОЙ ЖАР!
Tromba

Примечательные примечания к концерту-дирижеру марше для духового оркестра „Пройденный путь" Константина Анастасовича Георгиади с подтекстовкой Бориса Яковлевича Мачалиф (Архангельск, Ерцево, 37-й ОЛП).

1. Автор музыка провел шесть в отделении рассерела, который заменили затем на 25 лет. Автор слов впервые был арестован в 15 лет прямо в больнице (нужавшемся в его показаниях „органы" велели врачам не дать ему заглушить их слишком тифа и тромбофлебита) сразу по 3 пунктам 58-й статьи, впоследствии получил по 58-10 10 лет, из которых отсидел более 6; отец расстрелян Беговинно в 1937, мать отсидела 10 лет близ Караганды, брат тоже не избежал лагеря и погиб потом на фронте. Сия преамбула должна помочь проникнуться настроением марша, понять его особенности. Реабилитированы все.
2. Вступление и ① — почти безобидно, за вторым разом возникают некие новые опасения, сомнения, сопровождаемые (II голос и альты) играется на один аккордовый звук ниже, нюанс — не *f*, а *mf*, фактура уже не ♩♫ или ♫♩♩, а четвертями. ② — Начало кокетливо звуки тем, контрапункт создаётся впечатлением басов в идиллию флейт, кларнетов и др. писклявых обывателей... ③ — Термин читается по-итальянски, но искать его надо не в итальянских словарях...
④, как и ②, — без пения (хотя при желании в ② можно сделать мужской унисон линии басов), поэтому группировка тут инструментальная, с рёбрами. Здесь — предвосхищение торжества справедливости, а в ⑤ — преодоление всех преград и — победа.
3. Предлагаемые ноты изложены для строя in B. При наличии же хора рекомендуется реальная начальная тональность E-dur (как это ни „печально" для меди), и тогда трио будет в d-moll. Самое гениальное место — переход к трио: не просто в традиционную тональность S, а SS, да ещё в минор. Доиграв до Конца, на Начало марша не возвращаться!
4. Гармония указана по-русски в момент взятия аккорда (мажор, естественно, с большой буквы). Для тактов 108–111 аккорды даны на стр. 2 внизу справа. На той же строке дан фрагмент партии трубы в тактах 112–116.
5. Для ориентировки начало слов каждой строчки подписано под нотами (ученикам было бы тесновато).
6. Категорически ничего не менять ни в музыке, ни в словах, — не добавлять, не убирать, не переставлять: вещь должна остаться как есть.

БЮЛЛЕТЕНЬ

Издание культурно-воспитательного отдела лесозаготовительного предприятия.
(За пределами предприятия распространению не подлежит.)

понедельник 24 декабря 1951 года №33 (170) Год издания 5-й

Никогда не успокаиваться на достигнутом, критически анализировать свою работу, неуклонно стремиться вперед!

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ НАСТУПАЮЩИЙ 1952 ГОД!

Изжить нарушения трудовой дисциплины

Честное отношение к труду, выполнение и перевыполнение производственных и технических норм — первейший долг каждого труженика нашего лесного предприятия.

Сознанием этого высокого долга проникнуты люди лесозаготовительного участка, где начальником Терехин. Это благородное чувство и стремление внести свой трудовой вклад в дело борьбы за мир, за дальнейшее укрепление могущества Советского государства, вызывает все новый и новый трудовой подъем и дальнейшее повышение производительности труда. Ярким свидетельством тому служит выполнение участком годового плана на 25 дней раньше срока, т. е. к 5 декабря 1951 года.

Однако за этими успехами нельзя не видеть серьезных недостатков, которые наносят большой ущерб производству. Некоторые рабочие, такие как: Раздуе, Борисов, Лухт, Суворов и Лашенков систематически совершают прогулы и не выходят на работу на протяжении 15-ти и более дней. Другая категория таких же лодырей—Абдулин, Ровотов и Удалов, чтобы замаскировать свое безделье, формально на производство идут, но там ничего не делают.

Эти прогульщики своим поведением и отношением к труду позорят весь участок, который в настоящее время работает в счет 1952 года. Поэтому общественность участка должна непримиримо относиться к носителям нарушений государственной и трудовой дисциплины. Кроме того, на участке нужно создать для них такую обстановку, которая бы исключала возможность всяких нарушений.

Находчивость

Недавно на участке начальника Кошелева от неисправности электропроводов загорелась резиновая трубка и опилки между крышей и потолочным перекрытием одного из зданий. Возникший пожар был обнаружен уборщиком Колесовым, который первый заметил огонь и принял соответствующие противопожарные меры. Вскоре на помощь Колесову подбежали рабочие Детюк и Фесько, совместно с пожарным надзором Альшиц. Опасность была полностью предотвращена.

За проявленную бдительность в противопожарном отношении, энергичность и инициативу—руководством участка уборщику Колесову, пожарнику Альшиц, рабочим Фесько и Детюк объявлена благодарность. Кроме того Колесов и Альшиц получили денежное вознаграждение.

Борьба за первенство

На месяца в месяц перевыполняет свое задание бригада по ремонту железнодорожного пути, которую возглавляет Кирьянов (участок начальника Стешина). В сентябре ее люди выполнили норму выработки на 131 процент, в октябре—на 130, в ноябре—на 124 процента, но особенно сильная борьба за первенство по участку развернулась в декабре.

Взяв обязательство в честь наступающего нового, 1952 года выполнить декабрьское задание не менее чем на 120 процентов—ремонтники в настоящее время вырабатывают норму в среднем на 140 процентов.

На своем бригадном собрании путейцы решили вызвать на трудовое соревнование бригаду Баландина, которая в свою очередь приняла вызов, и между ними в эти дни идет особенно интенсивная борьба за первенство. Однако показатели в бригаде Кирьянова значительно выше, и есть основание полагать, что ей будет присуждено первое место и, как в предыдущие месяцы, присвоят почетное наименование „отличного качества".

Савельев.

Бригада Кувардовой впереди

В марте этого года на участке начальника Куриченкова была организована бригада грузчиков, руководство которой было поручено Кувардовой. В прошлом многие работники из числа ее членов не серьезно относились к порученному делу и зачастую не выходили на работу. Но умелое, настойчивое и справедливое руководство Кувардовой на протяжении 9 месяцев изменило облик бригады. В настоящее время среди них нет прогульщиков. Вместе с тем в бригаде повысилась производительность труда. На 100—105 процентов выполняет она ежемесячно свое задание, а в отдельные дни выработка достигает до 130—140 процентов.

В отличном состоянии содержат они и свое общежитие, причем много внимания быту и уюту уделяет их уборщица Кицер.

Следуя примеру бригады грузчиков Кувардовой, значительно лучше стали работать люди, руководимые Курбатовой и Абрамовой.

Выполнили годовой план

26 ноября сего года работники лесозавода, где начальником Селезни (участок начальника Кошелева), одержали большую производственную победу—полностью завершили годовое задание 1951 года.

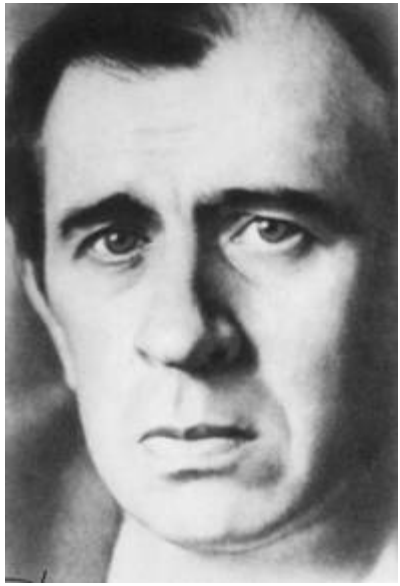
Рабочие и служащие этого завода, не успокоившись на достигнутом, обязались к началу 1952 года дать народному хозяйству нашей страны сверх годового плана 11 тысяч кубометров качественных пиломатериалов.

Пангерот.

Этот «Бюллетень» от 24 декабря 1951 года был периодическим изданием культурно-воспитательной части 2-го лагпункта Каргопольлага МВД СССР, названного «Лесопромышленным предприятием». Этот номер «Бюллетеня» я сохранил потому, что в нем помещена информация о пожаре на «одном из зданий», то есть на одном из бараков, в тушении которого я участвовал как пожарный. За эту работу я получил «денежное вознаграждение» — целых двадцать пять рублей! По лагерным меркам это была солидная сумма. На нее можно было приобрести в буфете при

лагерной столовой, хоть сразу, хоть в разные дни, несколько дополнительных вторых блюд.

Сохранившиеся у меня фотографии «преступников» той эпохи



Анатолий Владимирович Жигулин

Леонид Фотиевич Брусенцев. 1954 г.

На освобождение доктора Брусенцева

От старушек до младенцев,
От начальства до воров
Все зовут — «Ко мне, Брусенцев,
Лучший врач из докторов!»

У него лихая хватка.
Все боятся, — он рискнет,
Человка, как перчатку,
Наизнанку извернет.

Тем, кто кончил с жизнью счеты,
И собрался в рай иль в ад,
Говорит Брусенцев —
«Что ты?! Заворачивай назад!

Потерпи. Захлорофорим,
Стопроцентно усыпим,
То есть, временно уморим,
Но здоровым оживим».

Инвалидов, изможденцев,
На кого надежды нет,
Всех вытаскивал Брусенцев,
С того света в этот свет.

Пусть в числе освобожденцев,
Выпускаемых домой,
Будет счастлив наш Брусенцев,
Дорогой товарищ мой!!!

Геннадий Тимофеевич Бузаев. 1954 г.

Михаил Николаевич Лупанов. 1955 г.

Даниил Альшиц, Леонид Брусенцев, Василий Яцула. 1954 г.

Так выглядел мой отец, когда приехал ко мне на свидание в Ерцево. Начало 1953 г.

Письмо от заключенных нашего лагпункта, провожавших меня на свободу

На последних страницах моих лагерных воспоминаний рассказано о том, что на ерцевский вокзал меня пришла провожать целая толпа заключенных — безконвойников, работавших на различных «командировках» за зоной. Как видно из письма, посланного мне вдогонку, домой в Ленинград, все они после ухода моего поезда отправились справлять по мне «поминки» к Петру Белоусову — бывшему заключенному, оставшемуся работать в ерцевском «вольном клубе» киномехаником. «Поминки» и происходили в помещениях кинобудки клуба, на втором этаже, над поселковой столовой. Находившейся, кстати сказать, рядом со зданием управления Каргопольлага. Туда же подтянулись и опоздавшие к отходу поезда.

Необходимо подчеркнуть, что состоявшееся там возлияние было возможным потому, что гулагерный режим к тому времени сильно ослаб.

В течение почти двухлетнего периода, прошедшего после смерти Сталина, лагеря были переданы из ведомства НКВД в ведение Министерства юстиции. Уже успели пройти две амнистии — первая, так называемая «воровская», в 1953 году, вторая — массовое освобождение необоснованно репрессированных по 58-й статье, в основном с помощью распространения на них той же амнистии. Об этом подробно рассказано в моих воспоминаниях.

И еще одно необходимое здесь уведомление. Большинство моих лагерных друзей, в том числе наиболее близкие — музыкант Бузаев, доктор Брусенцев, полковник Окунь, Илья Киселев. — к этому времени уже вышли на свободу. Среди провожавших меня был только один из них — адвокат Михаил Николаевич Лупанов, с которым мы подружились еще в камере внутренней тюрьмы МГБ в Ленинграде.

Из большой пачки писем моих бывших солагерников, с которыми я переписывался в течение долгих лет, я решил выбрать для опубликования именно это письмо, потому что, люди, его написавшие, вовсе не были моими близкими друзьями. Каждый, кто «побывал» в шкуре лагерника, хорошо знает, что лагерный быт, взаимоотношения человека с другими заключенными и с «гражданинами начальниками», его поведение в калейдоскопище порой диких и страшных событий лагерной жизни, его

собственные большие и малые поступки, — год за годом, лучше любого рентгена высвечивали его истинное нутро. Провожавшие меня, как говорится, «простые люди», выражали, по существу, не только личные добрые чувства, но и общее отношение ко мне, сложившееся за четыре года совместного пребывания на нашем лагпункте. Поэтому несомненно искренние, добрые слова, высказанные ими в мой адрес, как выразился один из «поминавших», — «ото всех и ото вся» — и являются для меня особенно ценными.

Из тех, кто писал это письмо, я встречался потом, на воле, только с двумя. С возвратившимся домой в Ленинград Михаилом Николаевичем Лупановым и специально приехавшим однажды из своего Закарпатья к нам на встречу «ерцевских сидельцев» Василием Яцулой.

(Стиль и орфография письма сохранены)

«Ерцево. 8. 1. 55 г. 14 часов

Вот милый наш друг Даниил Натанович!

Ты уехал поездом по зеленой улице, а мы стали в тупик Ерцевской ветки. Но как ты знаешь, в тупике надо долго стоять.

И вот мы как условились организовали твои поминки.

Достаточно сказать, что шапка ходила 3 раза и после этого прибывало на твои поминки по 10 штук. Читались твои стихи, твои остроумные выступления, вобщем ты был вместе с нами.

Этот поезд, по общему мнению увес от нас друга, которого заменить нельзя. Хотя как говорят Заменить можно: «А незаменимых нет». Я думаю и все так здесь думают по другому и это на наш взгляд правильно. У меня вырывают тедрадь Даниил… Многие товарищи обижаются на тебя что Ты не выпил перед отъездом Даниил знай о том Я рад, что тебя не было здесь Но и только что тебя не было здесь. Извени выпито много.

Вася Яц.[26]

Даниил Натанович Я лично очень жалею, что нет здесь тебя. И нет здесь очень многого (? неразборчиво) Это конечно пишет Петр Пав. Белоусов, но тут еще очень хочут передат тебе большой привет от Николая Николаевича и Запетой,[27] а остальные пожалуй напишут сами, а Хирный сегодня без подобный(?) (конец слова — неразборчив) он даже поет без музыки и получается довольно не плохо. Петр Белоусов.

…. (Начало фразы неразборчиво). Поминки твои прошли Мощно (?) что три — 3 — раза пускали шапку по кругу получилось очень хорошо.

В. Сазонов.[28]

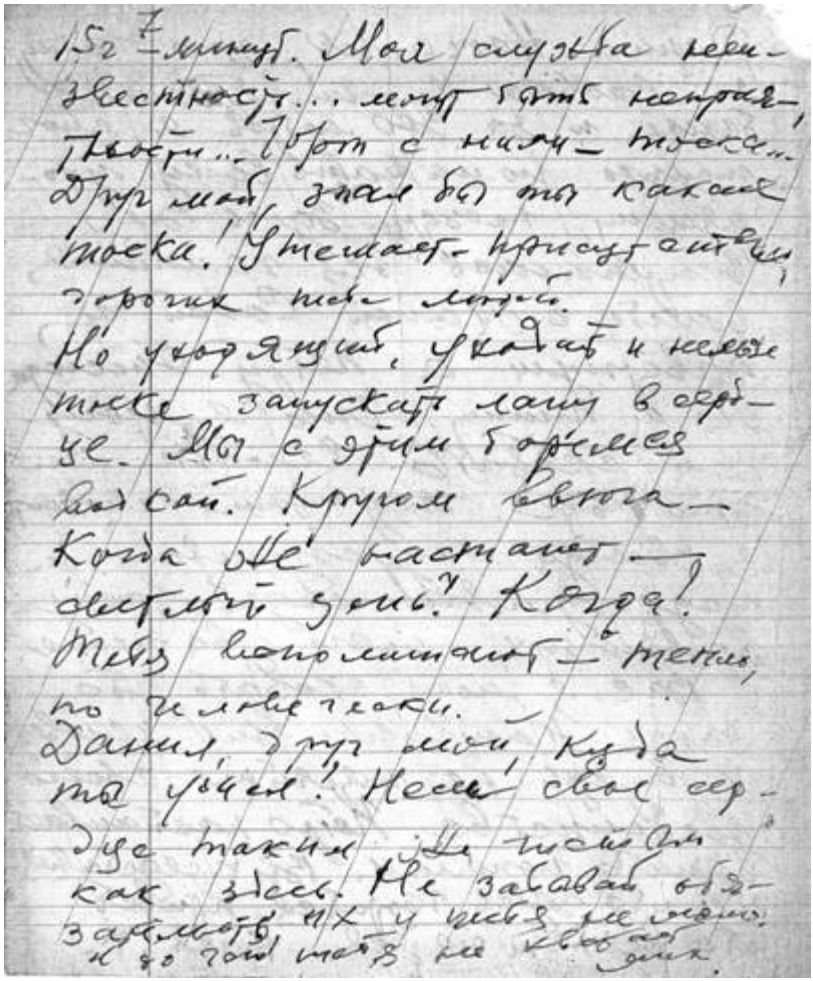
15 ч. — 7 минут. Моя служба неизвестность. могут быть неприятности. Черт с ними — тоска.! Друг мой, знал бы ты какая тоска! Утешает присутствие дорогих тебе людей. Но уходящий, уходит и нельзя тоске запускать лапу в сердце. Мы с этим боремся водкой. Кругом вьюга. Когда же настанет светлый день? Когда? Тебя вспоминают — тепло по человечески.

Даниил, друг мой, куда ты уехал (неразборчиво)! Неси свое сердце таким же чистым как здесь. Не забывай обязательств, их у тебя не мало. И до чего! тебя не хватает.

Мих.[29]

Даниил Натаныч, это пишу я, Васька Хирный. Бежал бежал и за 300 метров я смог только махать вслед уходящму поезду. Здесь же встретилась вся компания вместе с Мамой Сашей[30] и завернули к Петру отсюда я и пишу. Что я могу Вам сказать. Человек — это все Под этим словом я всегда подразумевал и подразумеваю людей заслуживающих моего уважения. О Вас я могу сказать, что Даниил Натанович был человек. И впредь не теряйте своего достоинства. Петро настаивает выпить пополам. Вы представляете что здесь творится. Привет ото всех и ото вся.

Вася Х.»[31]



Подлинная страница из письма провожавших. Строки, написанные рукой М. Н. Лупанова

notes

Примечания

1

Пушкин А. С. О поэтическом слоге // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т. Т. 7. Критика и публицистика. Л.: Наука. Лен. Отд., 1978. С. 58.

2

Бережно храню и порой перечитываю замечательную книгу его воспоминаний «Черные камни», подаренную мне с трогательной надписью: «Дорогому Даниилу Натановичу Алю, товарищу по двум каторгам — сталинской и литературной. 30.V. — 89 г.»

3

Об этих и других исследованиях подробно написано в моей книге «Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного». Л., «Наука», 1988, а также в журнале «Нева», №№ 2, 5, 7, 11 за 1989 год и в Сборнике «Белые ночи», Л., 1989 — «Допетровская Русь в граде Петра». См. также научно-популярные книги: Пересветов Р. Т. Тайны выцветших строк. М., 1961; Пересветов Р. Т. По следам находок и утрат. М., 1962; 2-е изд. М. 1963.

4

См.: *Альшиц Д. Н.* Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного. — Л.: Наука, 1988. С. 239–240.

5

Моссельпром — Московская организация торговли сельскими и промышленными товарами — дала название всем лоточницам страны благодаря популярной в 20-х годах кинокомедии «Девушка из Моссельпрома».

6

Анатолий Жигулин тоже пишет, что в момент ареста испытывал чувство облегчения, освобождения от тягостного ожидания этой напасти.

7

58-я статья Уголовного кодекса касалась политических преступлений. Наиболее распространенные ее виды: 58–1 — измена Родине, 58–8 — террор, 58–10 — антисоветская агитация и т. д.

8

Эта, первая, часть моих воспоминаний о годах заключения писались в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века.

9

Стихотворение записал уже находясь в лагере, в 1950 году.

Несмотря на это, Корнатовский в 1950 году был «разоблачен» как «враг народа» и арестован.

В преступлениях, предусмотренных.

12

В «подлиннике» другое слово.

13

В те годы этого термина в блатной среде, кажется, еще не было.

14

58-я статья Уголовного кодекса касалась политических преступлений. Наиболее распространенные ее виды: 58–1 — измена Родине, 58–8 — террор, 58–10 — антисоветская агитация и т. д.

ОУН — Организация Украинских националистов.

16

Впрочем, теперь, когда я пишу свои воспоминания, я уже не так в этом уверен, поскольку наблюдаю, как все больше и больше стираются границы между общей культурой и «культурой» блатного мира. Слова воровского жаргона то и дело мелькают в речи молодых людей, чиновников, депутатов. Голоса и пение многих нынешних бардов звучат один к одному, как голоса и песни блатников.

17

Подлинная фамилия здесь искажена с помощью сокращения трех букв в ее середине.

18

Здесь необходимо предостеречь читателя от впечатления, что заключенные ГУЛАГа жили так богато, что, как буржуи в поэме Маяковского «Хорошо», объедались ананасами и жевали рябчиков. Это, разумеется, не так. Я уже писал о том, что с начала 50-х годов в лагерях в целях повышения производительности труда был введен хозрасчет. В лагерном ларьке за деньги можно было кое-что купить. Что касается конкретно ананасов, то на полках в нашем ларьке действительно стояли несколько банок аргентинских ананасов. На этих банках была изображена аргентинская красавица под зонтиком, защищавшим ее от солнца. А такого, чтобы кто-нибудь из заключенных покупал или ел ананасы — я ни разу не видел. Стоила такая банка девятнадцать рублей. Я, например, получал за месяц работы сто рублей, которых мне едва хватало, чтобы покупать в лагерной столовой стакан молока и второе блюдо — скажем, котлету с пюре или с макаронами, а иногда и конфеты-подушечки, или другую мелочь. Многие, в том числе зарабатывавшие больше, тоже не покупали аргентинские ананасы, предпочитая добывать из-за зоны отечественный деликатес — водку.

19

На лагпункт «Мостовица», где распоряжались «суки» — отступники от воровского закона, — начальство по ошибке запустило целый этап «воров в законе». Соединившись с местными «угнетенными» блатными, вновь прибывшие учинили расправу над «суками». Всего, что там творилось, не опишешь. Потому и «полубыль».

Слово это уже тогда произносили, в основном, так.

21

Нынешних шестьдесят. В те годы, напомню, заключенным платили «зарплату». Мне, например, сто рублей в месяц, то есть десятку.

22

Магнитофон — огромный серый ящик, других еще не было, — был тогда всем в новинку.

23

Особое совещание при министре Госбезопасности Л. П. Берии.

24

Бесконвойными назывались заключенные, получившие пропуск на выход за лагерную зону по делам своей службы (например, почтальон), или к месту работы (например, на электростанцию). Пропуск давали обычно после отсидки трех лет, при сроке заключения, не превышающем десяти лет. Обвинение по некоторым статьям, например, измена Родине, бандитизм и др., исключало получение пропуска.

25

К. А. Георгиади — талантливый грузинский композитор, отсидевший свой срок до моего прибытия в Каргопольлаг. Он стал известен мне и моим друзьям по рассказам Бориса Яковлевича Магалифа, познакомившегося с ним на одном из лагпунктов. Магалиф слышал марш в исполнении автора, и с его разрешения записал его ноты. Замечательный этот марш стал как бы гимном нашего клуба и многократно исполнялся перед началом наших концертов и по другим поводам.

26

Василий Яцула.

27

Житель Ерцева — Дед в семье Учватовых, со своей внучкой, прозванной «Запятая».

28

Владимир Сазонов, наш лагерный художник.

29

Адвокат Михаил Николаевич Лупанов.

30

Александра Семеновна Носова — начальник культурно-воспитательной части нашего лагпункта. Присутствовала только на вокзале.

31

Василий Хирный — музыкант, обладатель прекрасного тенора, постоянный участник наших лагерных концертов.